РА40
Пушкин
С-50

А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ

РА
40 ПУШКИН
С 50 Смирнов, А. О

АВТОБИОГРАФИЯ

(НЕИЗДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

ПОДГОТОВИЛА К ПЕЧАТИ
Л. В. КРЕСТОВА

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Д. Д. БЛАГОГО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—«М И Р»—1931

Отпечатано в Тверской
Гостипо-литографии
им. К. Маркса.
Мособлит № 5048
Тираж 4000 экз.
Зак. № 1279—31.

А. О. СМИРНОВА
(Из собрания Ф. Н. Малинина).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

История опубликования мемуаров знаменитой приятельницы Пушкина, Жуковского, Вяземского, Гоголя—Александры Осиповны Смирновой-Россет—может служить ярким примером того, как политика, классовая борьба властно и неудержимо вторгаются даже в такие, казалось бы, чуждые и далекие им области, как издание историко-литературного документа.

Вопреки желанию и воле самодержавия и его приспешников, творчество Пушкина, уже при жизни пользовавшееся огромной популярностью, после смерти поэта начало приобретать все больший вес и значение в русском общественном сознании. Пушкин вошел в школу,—в систему школьного воспитания и образования,—как один из создателей и величайших гениев русской литературы. Между тем при жизни Пушкина самодержавие вело с ним ожесточеннейшую борьбу. Поэта ссылали, брали под секретный надзор, вскрывали его интимнейшие письма, зажимали „в тиски“ тройной и четверной цензуры, наконец, затравили и уничтожили рукой международного слуги монархического принципа, легитимиста Дантеса. Отношение к Пушкину самодержавия ложилось темным, позорным пятном на последнее, и вот прилагаются всяческие усилия к тому, чтобы как-нибудь затереть, закрасить это пятно. Сейчас же после трагической гибели поэта начинает твориться обычная легенда о добром царе и злых придворных—об отеческом попечении и непрерывных благодеяниях царя Николая по отношению к Пушкину. В пятидесятые годы запрещается роман одной детской писательницы, обработавшей в беллетристической форме биографию Пушкина для школьников. Запрещается потому, что автор вынужден был упомянуть

нем о ссылке Пушкина Александром I, рассказать о предмертной дуэли поэта. Уже почти в наши дни, незадолго до революции, в рецензии официального органа министерства народного просвещения на один из учебников по истории русской литературы автору его вменяется в вину, что он слишком останавливается на притеснениях, чинившихся Пушкину правой рукой царя—шефом жандармов, генералом Бенкендорфом.

С этой же целью используется имя Смирновой.

Архив А. О. Смирновой находился в руках ее дочери, О. Н. Смирновой, ярой сторонницы монархической власти, мечтавшей о создании особой „священной дружины для искоренения нигилизма“ и борьбы со „злодеями“—революционерами. В начале девяностых годов, сперва в журнале „Северный Вестник“, затем отдельной книгой, она публикует нашумевшие „Записки“ своей матери, в которых история отношений Николая к Пушкину расписана самыми радужными красками. Так называемые „Записки Смирновой“ становятся отныне надежным материалом для всех тех, кто хочет стилизовать Пушкина под восторженного „верноподданного“ и представить отношение к нему царя, как серию непрестанных щедрот и благодеяний.

Встреченные с восторгом воинствующими антиобщественниками девяностых годов—Мережковским и его друзьями—„Записки Смирновой“ вызывают, однако, с самого момента своего появления недоверие со стороны некоторых отдельных исследователей. С накоплением новых фактов и материалов недоверие это все нарастает. В самое последнее время редактор настоящего издания, Л. В. Крестова, в результате тщательного расследования, приходит к заключению, что так называемые „Записки Смирновой“ представляют собой прямую фальсификацию, плод верноподданического пера О. Н. Смирновой-дочери (см. статью „К вопросу о достоверности так называемых Записок А. О. Смирновой“ в книге „А. О. Смирнова-Записки“, изд-во „Федерация“, 1929 г.). Но только находка ныне публикуемой подлинной автобиографии А. О. Смирновой окончательно решает вопрос.

Пушкинистов и вообще почитателей Пушкина подлинная автобиография Смирновой несколько разочарует.

Фигура великого поэта, которой в „Записках“ отведено цент
ральное место, в подлинных мемуарах Смирновой обрисо
вана лишь попутно, эпизодически, в достаточно беглы
чертах. Зато мемуары Смирновой дают интереснейшу
социальную и бытовую картину различных сторон рус
ской действительности первых трех-четырех десятилети
XIX века.

Фрейлина двора ее величества А. О. Россет или Россети
по мужу Смирнова была, конечно, проникнута психоидеоло
гией своей социальной группы—высшей придворно-аристо
кратической среды. Однако, с другой стороны, „аристокра
тизм“ Смирновой не отличался слишком большой давностью
был не столько потомственным, сколько благоприобретен
ным: „дед твой, может быть, был портной“, полушутя
полувсерьез говорил ей один из ее родственников. При
шедшая, по ее собственным словам, „в палаты царей рус
ских из бедной деревушки“—из дворянского мелкопоместья—
она сохранила и во дворце свежесть восприятий—„свобод
ный ум“ и „здравость суждений“, которые так восхищали
в ней Пушкина. И для нас важнее не то, что говорит и
хочет сказать Смирнова, а то, в чем она, сама того не за
мечая, проговаривается. А проговаривается она во многом.

Так, например, фрейлина Россет, как и подобает ей в
ее положении, „обожает“ императора Николая. После вос
стания декабристов, в котором Николай и высшие придвор
ные сферы усматривали происки против самодержавия
древней аристократии—мятежного дворянства,—царь ищет
популярности среди других социальных слоев—буржуазии
городского мещанства, мелких ремесленников и т. п.—опоры
в „народе“. А. О. Смирнова рассказывает в своих мемуарах
ряд ходячих анекдотов на тему о „народолюбии“ Николая I.
Вот царь привез в Зимний дворец и обласкал бедную де
вочку, ставшую тайком на запятки его саней. Вот, по его
распоряжению, прибавляют жалованье несчастным фонар
щикам, о горькой доле которых царь узнал во время своих
прогулок по городу incognito. Смирновой царь высказы
вает негодование по поводу бесчеловечных бар, которые,
танцуя на балах, целыми ночами морозят своих кучеров у
подъездов. Сам царь, оказывается, отпускает в таких слу
чаях своего кучера домой, предпочитая возвращаться во

дворец на извозчике и т. д. и т. п. С той же целью приобретения популярности в народе, во дворце устраивается особый „бал с мужиками“. Императрица и придворные дамы надевают русские костюмы—сарафаны и повойники. Во дворец пускают всех желающих. Однако, тут же Смирнова наивно передает некоторые подробности этого патриархального „народного праздника“. При раздаче гостям чая стаканы подают без ложек: „мужики могли украсть“. Дамы на всякий случай надевают на этот вечер фальшивые камни. В корридорах дворца, тоже на всякий случай, сосредоточены „целые войска черных дворников“... Таково было трогательное общение царя с его народом!

Помещица Смирнова, равным образом, в самых идиллических тонах вспоминает о своем „золотом детстве“ „в милой бабушкиной деревушке Грамаклее“: степная „ширь и гладь“, „синий бархатный воздух“ украинских ночей, простая и добрая бабушка, веселые поездки к соседям, служанка бабушки, босая поэтичная Гапка... Однако тут же, походя, повествуется о том, как добрая бабушка собственноручно кормила по субботам плюхами эту же самую Гапку за дурно навощенные столы. А раз Сашенька Россет забежала ненароком в переднюю и отпрянула в удивлении и в испуге: „там сидел мужик в рогатине на шее“. Если бы не просьба Сашеньки,—провинившийся мужик просидел бы в рогатине всю ночь. Такова была оборотная сторона крепостной грамаклеевской идиллии.

Не женская резкость и прямота описаний и характеристик, вообще, является отличительной особенностью мемуаров Смирновой. Придворная жизнь, жизнь высшего аристократического круга, помещичий быт предстают в них чаще всего без каких-либо „возвышающих“ прикрас, во всей „тьме низких истин“, иногда почти с физиологической обнаженностью.

Мемуары писались А. О. Смирновой в преклонном возрасте. Тургенев в своем романе „Рудин“ дал злую зарисовку стареющей Смирновой в образе эгоистической и пустой светской барыньки Ласунской. Некоторые страницы мемуаров Смирновой невольно заставляют вспомнить эту зарисовку и даже подчас согласиться с ней. Однако, из-под белил и румян увядшей светской дамы в автобиографии Смирновой

то и дело сквозят живые и подвижные черты „черноокой“ смугляночки Россети—ее острый ум, зоркий взгляд, меткий и злой язычок, столь пленявшие в ней Пушкина и его друзей. Зоркий взгляд и меткий язычок дали возможность Смирновой-Россет увидеть и рассказать в своих воспоминаниях многое такое, чего не заметили или что сознательно замолчали другие мемуаристы Николаевской эпохи. Это сообщает автобиографии Смирновой, помимо ее бесспорно-крупного историко-литературного и культурно-бытового значения, несомненный интерес и для читателя наших дней.

Д. Благой.

ВВЕДЕНИЕ.

I.

Александра Осиповна Россет, по мужу Смирнова, родилась 6-го марта 1809 года и прожила долгую и интересную жизнь. Исключительной красоте „черноокой Россетти“ приносили поэтическую дань и Пушкин, и Жуковский, и Вяземский, и Хомяков, и Туманский. Смуглая, похожая, пожалуй, больше на молодую цыганку, чем на южанку, с изящными, маленькими ушками, этой аристократической женской приметой, с прекрасными черными глазами, иногда улыбающимися, иногда огнестрельными, Россет была „обворожительницей“ многих. За тонкую наблюдательность, за остроумие в беседе, за неподражаемый юмор в рассказах слыла она придворной Севинье. Россет привлекала широтой своих взглядов, южной ленивостью, противоречиями натуры. Жуковский не даром называл ее „небесным дьяволенком“.

Годы молодости Александра Осиповна провела фрейлиной при дворе Николая I, куда она попала тотчас после восстания декабристов, и где у нее был богатейший материал для наблюдений и размышлений. Эти годы прошли у нее в близости с Жуковским и Пушкиным. Встречаясь в обстановке светского общества, ветреного и неглубокого, Пушкин и Россет не относились друг к другу серьезно. „Ни я не ценила его, ни он меня“, признавалась Россет. Это не помешало, однако, Александре Осиповне оказывать поэту услуги при дворе. Известно, что она передала Николаю на непосредственную цензуру 8-мую песнь „Евгения Онегина“. В лето 1831 года, за время совместного пребывания

в Царском Селе, Россет и Пушкин сблизились понастоящему. Поэт, тогда уже женатый, был занят писанием сказок. Александра Осиповна часто навещала его, вызывая ревнивое недовольство Наталии Николаевны.

В 1832 году Россет вышла замуж за Николая Михайловича Смирнова, „доброго малого“, очень богатого, недалекого, хотя и честного, взбалмошного и горячего до бешенства. Семейная жизнь Смирновой сложилась тяжело... Неудачные роды, отсутствие близости с мужем, скоро изменившее здоровье, ради которого ей подолгу приходилось живать заграницей. Так 1833 год она проводит в Берлине, Франкфурте, Шлянгенбаде и Пирмонте, затем возвращается на родину, откуда уезжает в 1835 году. Смирнова снова посещает Берлин, путешествует по Швейцарии и Германии и, на пути в Париж, останавливается в Баден-Бадене, где завязывается ее роман. Пережив заграницей смерть Пушкина, Александра Осиповна возвращается в 1838 году в Россию. Она сближается с поэтессой Ростопчиной, охарактеризовавшей Смирнову следующими строками:

Но вам являлась ли она,
Раздумья томного полна,
В тоске тревожной и смятенной,
Когда в разуверенья час
Она клянет тщету земную,
Обманы сердца, жизнь пустую
И женщин долю роковую,
И все, и всех—себя и вас...

В 1841 году Смирнова знакомится с Лермонтовым, также принесшим ей поэтическую дань в стихотворении: „Без вас хочу сказать вам много“... и набросавшим ее портрет в неоконченной повести „Лугин“:

„Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее молодое и правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли“.

Холодным и критическим взглядом смотрит в это время Александра Осиповна на все ее окружающее. Она замечает отсутствие общественной жизни в столицах, скудость интересов провинции, утомительную бедность русской деревни. Ее охватывает „отечественная меланхолия“, неразрывная с сознанием своей внутренней пассивности и тоской об уходящей молодости.

В таком настроении Александра Осиповна уезжает в 1842 году в Италию, где она искренне увлекается искусством и прошлым этой прекрасной страны, которая не возмущает ее даже жалким настоящим состоянием и моральным оскудением, а трогает и внушает ей какую-то нежную симпатию и сочувствие, не имеющее ничего унизительного. В Италии Александра Осиповна сближается с Гоголем, с которым она познакомилась много раньше. Она переживает какой-то тяжелый душевный надрыв, и Гоголь становится ее духовником и руководителем, особенно в период их совместного пребывания в Ницце. В ответ на его „душевные заботы", Александра Осиповна отвечает вниманием к его практическим делам, хлопочет о пенсии, о пропуске „Мертвых душ". Именно в этот период имя Смирновой сопровождается какими-то темными слухами, которые забегают ранее ее в Петербург. Там ее не сразу принимают при дворе, она не сразу реабилитирует себя.

В 1845 году Александра Осиповна переезжает губернаторшей в Калугу, где непосредственно знакомится с подлинной русской жизнью. Она встречается здесь с Иваном Сергеевичем Аксаковым, знакомство с которым запечатлено бурными столкновениями прямолинейного и жестокого в суждениях 22-летнего юноши с уклончивыми мнениями стареющей женщины. В Калуге Александра Осиповна болеет нервно и переживает период глубокого душевного упадка. Ей выпадают на долю тяжелые неприятности по службе мужа, за которого она усиленно хлопочет.

Накануне Крымской кампании Александра Осиповна переезжает в Петербург, где ее муж получает место гражданского губернатора. Воспитателем сына Смирновой является поэт Полонский, внимательно к ней присматривающийся. Полонский удивляется ее колоссальной памяти, считает, что она умна, но не мягким женским согревающим умом, а каким-то колючим и парадоксальным. В общем, жизнь Александры Осиповны, по отзыву Полонского, не представляется радостной. Как жена, она несчастна в браке и невысокого мнения о муже. Как мать, она не сумела воспитать детей. Как человек, она не внушила никому истинной симпатии. Как русская—она не любит своей родины. В этот период Смирнова знакомится с Тургеневым и

Толстым, которые также отнеслись к ней отрицательно. „Столичной львицей“, эгоистичной и тщеславной представлена она Тургеневым в образе Дарьи Михайловны Ласунской в романе „Рудин“. Вслед за Севастопольской кампанией в салоне Смирновой собираются сторонники освобождения: Черкасский, Милютин, Самарин. Но Александра Осиповна мало живет в России. Ее симпатии склоняются в сторону Англии, где она проводит большую часть времени. Между тем, огромное состояние Смирновых постепенно приходит в упадок, главным образом, благодаря расточительности Николая Михайловича. Стесненная материально, Александра Осиповна устраивает денежные дела, хоронит в 1870 году мужа, с которым она прожила последние годы в разъезде, и проводит остаток дней в Париже. Она переносит последние годы тяжелую психическую болезнь и умирает 7-го июня 1882 года.

Пройдя длинный жизненный путь, Александра Осиповна видела и Александровскую, и Николаевскую эпоху, и Россию периода преобразования. Она встречалась со многими людьми, о которых могла бы многое порассказать.

II.

В потомстве осталась память об А. О. Смирновой, как о необычайно интересной рассказчице. Некоторые из ее рассказов были действительно записаны Полонским и Кулишом. Было известно также, что она пишет свои мемуары. Недаром начертал Пушкин на альбоме, куда он вписал стихотворение: „В тревоге пестрой и бесплодной“—„Исторические записки А. О. Смирновой“. Но, конечно, более, чем кто-либо знала обо всем этом старшая дочь Смирновой Ольга Николаевна, оберегавшая традиции семьи. Перевезя прах матери на погребение в Москву, она тотчас после похорон предприняла поиски ее мемуаров. Однако, только через десятилетие, сначала в отдельных номерах журнала „Северный Вестник“ за 1892 г., а затем отдельным изданием появились „Записки А. О. Смирновой“. Книга вызвала чрезвычайно разнообразные отзывы. Многие отнеслись с недоверием к опубликованному материалу. Приняв участие в возникшей полемике, издатель „Русского Архива“ Юрий Бартенев полагал, что сообщенное Ольгой Николаевной не

могло быть плодом ее фантазии. «Тетради с подлинными „Записками“—писал он—были переданы О. Н. Смирновой И. С. Аксакову. У нас находится следующий листок (рукой О. Н. Смирновой):

„Дорогая Анна! Мы встретились с Иваном Сергеевичем в четыре часа. Я ему оставила 67 тетрадей моей матери и белый конверт с отдельными листами.“—Рукой И. С. Аксакова:

„Получил сентября 16-го 1882 г. Москва. Иван Аксаков“.

И. С. Аксаков не имел времени разобраться в оставленных ему тетрадях. Они лежали у него до его смерти и потом были возвращены О. Н. Смирновой, которая, поселившись в Париже, и составила из них то, что мы имеем теперь в печати. В каком виде были подлинники, она сама говорит в своем предисловии, а насколько она придерживалась их, может быть решено лишь тогда, когда отысканы будут своеручные тетради ее матери. После кончины ее в Париже бумаги ее, весьма неряшливо охраненные русским консульством, были отосланы в Россию к ее сестре Н. Н. Сорен. Среди них до сих пор не удалось отыскать тех тетрадей А. О., по которым работала Ольга Николаевна. Где они?»*) Отсутствие указанных тетрадей, действительно, чрезвычайно осложняло вопрос, тем более запутанный, что опубликованные в 1895 году в „Русском Архиве“ по подлиннику „Записки А. О. Смирновой“ ни в какой мере не сходились с мемуарами, изданными „Северным Вестником“. Казалось несомненным, как мною уже доказывалось, что эти записки „Северного Вестника“ неподлинны и принадлежат перу О. Н. Смирновой **). Самые же подлинники считались погибшими во время восстания 1905 года, когда сгорел дом Н. Н. Сорен на Пресне. Однако, предположение это оказалось совершенно не соответствующим действительности. В то время, как специалисты, волнуясь и споря, решали вопрос о подлинных записках, тетради Александры Осиповны более, чем десяток лет, покрывались пылью в Рукописном отделении Румянцевского Музея, ныне Публичной Библиотеки им. Ленина.

---

*) „Русский Архив“ 1899 г. № 5, стр. 147 и 148.

**) „К вопросу о достоверности так называемых „Записок А. О. Смирновой“. („А. О. Смирнова „Записки“. „Федерация“. М. 1929, стр. 355—395).

III.

Что же представляют из себя эти вновь найденные 67 тетрадей А. О. Смирновой? Обозрение материала заставило вспомнить прежде всего слова Ольги Николаевны:

„Мать советовала мне никому не доверять ни автографов, ни ее собственноручных записок, и опыт показал мне, насколько мудр был ее совет. Да никто и не мог бы разобраться в ее записках, не нашел бы нити в ее тетрадках, где рядом с рисунками, засушенными цветами (мать очень любила ботанику), с переписанными стихами и выписками из книг разбросаны эти заметки. Они написаны по-французски; иногда попадается русская фраза, иногда какое-нибудь изречение по-немецки, по-английски, по-итальянски".

В высшей степени разнообразный и обширный материал архива А. О. Смирновой после его всестороннего изучения может быть разбит на три основные группы: выписки из различных книг, литературные переводы и собственно записки А. О. Смирновой. Но эта последняя часть материала также не представляет из себя чего-либо однородного. Выделяется прежде всего связное повествование, доведенное Александрой Осиповной до начала придворной жизни. О пребывании во дворце подробно повествует записная книга № 4612/48, которая поставлена нами в связь с предыдущими тетрадями. Затем идет большое количество тетрадей, повествующих о баденской любви Смирновой, дальше „Воспоминания о Гоголе" и, наконец, тетради исторических рассказов, из которых взята здесь лишь одна небольшая глава. Все вышеупомянутые части автобиографии Смирновой в большей или меньшей части не отделаны, не доведены до конца. Начав писание их еще с пятидесятых годов и возвращаясь к ним в дальнейшие периоды жизни, Александра Осиповна обычно всякий раз начинала сначала. Отсюда устойчивость в ее повествовании, отсюда же большое количество вариантов. Кроме того, среди перечисленных тетрадей имеются и такие, которые написаны Смирновой в период душевной болезни, а потому не подлежат опубликованию. Особенности материалов заставили редактора распределить его по отдельным главам, построенным, насколько то было возможно, в хронологическом порядке. Вместе с этим, он считал возможным выбросить наиболее сходные варианты и многочисленные отступления Смирновой.

На первый план были выдвинуты неизвестные до сих пор материалы, по-новому освещающие как отдельные моменты общественной жизни и быта, так и эпизоды личной жизни Россет.

IV.

Смирнова-дочь представляла мать свою аристократкой, близкой к высшим сферам, блестящей фрейлиной, занимавшей особое место в тогдашних литературных кругах. Она являлась в своем салоне, по словам Ольги Николаевны, связующей нитью между аристократией духа и ума: Пушкиным, Гоголем, Жуковским, Вяземским—с одной стороны, и царской семьей с Николаем I—с другой. А, между тем, дело обстояло совершенно иначе. Александра Осиповна никогда не была аристократкой по происхождению и очень страдала от этого. Действительное происхождение рода Россет неясно, несмотря даже на те первые главы автобиографии, которые, быть может, намеренно написаны Александрой Осиповной. В Одессе отцу ее, занимавшему там перед смертью место инспектора карантина, принадлежала, между прочим, типография. Не даром, когда А. О. хотели взять ко двору, то предварительно навели справки о служебном положении отца. Смирнова была искренна, когда впоследствии писала Гоголю, что к высшему свету она принадлежала только случайно. Публикуемые документы с большей ясностью, чем раньше, вскрывают и психопатологическую наследственность Россет. Автобиография Смирновой дает возможность с отчетливостью определить те больные корни, которые были заложены в основу ее организма и привели к тяжелым нервным заболеваниям, а позднее к психическому расстройству. Чрезвычайно мало было известно нам также о детстве Смирновой. Ольга Николаевна набрасывала его в идиллических красках, да и сама Александра Осиповна с восторгом вспоминала о безмятежном Грамаклеевском житье, под кровом любимой бабушки. Теперь становится известной вся оборотная сторона ее тяжелого сиротства. „Бедность и насилия“—вот чем характеризует Александра Осиповна свои молодые годы. Не менее ярко встают далее также не освещавшиеся ранее ее годы, проведенные в институте. Колоритно передается

период фрейлинства в годы николаевского царствования, вся окружавшая её дворцовая обстановка. Никакого салона не было и не могло быть, конечно, на „чердаке“ у скромной „фрейлинки Россет“. Лишь один раз поднялся к ней наверх Михаил Павлович, где втроем, в компании с Софи Карамзиной, они провели вечер. Случалось, может быть, еще, да и то не наверное, принимать Александре Осиповне тайком гвардейских офицеров, товарищей своих братьев. Недаром фрейлина Моден „наплела о ней нивесть что“ перед государыней, и ее не взяли в 1828 году на юг. Эта первая часть автобиографии Смирновой насыщена богатейшими бытовыми подробностями. Живя с детства то в Одессе, то в Грамаклее, то скитаясь по югу России вместе с полком отчима, А. О. познакомилась с провинциальной помещичьей жизнью. Она вращалась в самых различных социальных слоях и сумела зачертить отдельные картины быта. Многое из рассказываемого Смирновой воспринимается нами, как яркое отражение эпохи. Таким представляется, например, ее отчим, полковник Арнольди. Не осуждая и не порицая, представляет затем Смирнова нравы эпохи и, сама того не замечая, дает картину яркой моральной распущенности, господствовавшей при дворе Николая I. Прекрасно владея даром портрета, она зачертила рельефные образы отца, бабушки, генерала Недоброва и других. В совершенстве владея русским разговорным языком и обладая острым даром рассказывания, она смело вставляла в свои повествования как бы отдельные новеллы о встречавшихся ей лицах (Драгневич, Кобле и др.). Отдельную главу в этой части повествования занимает дневник ее матери, который Александра Осиповна всегда мыслила, как составную часть ее личных мемуаров. Дневник этот изобилует мелкими, но драгоценными подробностями военного быта первой четверти девятнадцатого столетия. Гораздо более сложной по структуре является вторая часть книги, озаглавленная нами „Баденская любовь“. Эта часть повествует о неизвестном до сих пор романе Смирновой с Николаем Дмитриевичем Киселевым, сначала вторым секретарем посольства в Париже, позднее посланником в Риме. Роман этот был настолько значителен для Александры Осиповны, а Николай Дмитриевич Киселев так любим ею, что именно

для него предприняла она писание своих мемуаров. Она ставила целью своей, с одной стороны, ознакомить Николая Дмитриевича с собственным прошлым во всех его деталях ей хотелось, с другой, представить переживания своего романа во всех подробностях. Эти два плана, эпический и лирический, легли в основу тех глав, в которых повествуется о любви Смирновой. Особенность этих глав чрезвычайно затруднила редактора подбором материала в виду того, что он имелся ранее в связном повествовании первой части. Ему пришлось итти на сокращения, на выбрасывания многочисленных повторений и, наконец, на приспособление второй части не столько к сюжету романа, сколько к плану эпической автобиографии. В связи с этим в повествовании появляются несогласованности, не зависящие от редактора. Читателю это лишний раз напомнит ту долю искусственности, которая есть в построении книги.

Проводимый Смирновой в тетрадях, касающихся „Баденской любви", план двойного повествования, определил и весь ее стиль. Так, если в первой части преобладало эпическое повествование, то в этой части Смирнова должна была ввести диалогический момент, много ожививший ее изложение. Эта часть автобиографии Смирновой не менее ярка и жива, чем первая. Но этот же самый план повествования обусловил и все его недостатки: быстрый переход от темы к теме, поверхностное скольжение по затронутым вопросам и хронологические неточности. Обозначая обыкновенно тех лиц, от которых она слышала повествуемое, Смирнова, как впрочем и многие другие мемуаристы, откровенно признается в несоблюдении хронологии. Сохраняя весь интерес ярко начерченных картин быта, представляющих распущенность нравов, жестокость, внутреннюю грубость аристократической среды, Смирнова пытается создать новый жанр повествования. Она приближается к тому виду романизированной биографии, которая столь популярна в нашу эпоху. В этом, надеемся, один из залогов успеха ее книги.

V.

Среди многих имен автобиографии Смирновой то там, то тут, как золотая россыпь, мелькает имя Пушкина.

Встречаясь с поэтом у Карамзиных и Е. М. Хитровой, Потоцкого, позднее в Царском Селе, Смирнова не вела с ним, конечно, тех серьезных разговоров, которые передает Ольга Николаевна. Но бесспорно, что оба они питали друг к другу несомненное дружеское чувство. Так, на всю жизнь запомнился Россет разговор с Пушкиным перед ее замужеством. Он решительно не советовал ей выходить замуж за Николая Михайловича Смирнова, у которого „нет положения в свете и никогда его не будет". Нам неизвестно все то, что рассказывал Пушкин Смирновой. Память сохранила ей лишь некоторые эпизоды из поездки поэта на восток, некоторые из его исторических рассказов. Поэт запомнился Смирновой в двух обликах: то веселым и смеющимся так заразительно, что у него „даже все кишки видны", то грустно озабоченным и повторяющим: „скучно, тоска". Глубокие причины тоски Пушкина остались скрытыми от Смирновой. Не следует забывать, что в 1835 году Смирнова уехала заграницу, а потому не была осведомлена о многом, происходившем в семье Пушкиных. Сведения об этих „неурядицах" она могла почерпнуть, однако, из очень точных источников: рассказов любимого брата Аркадия Осиповича, проведшего долгие часы у постели раненого Пушкина. Повидимому, с его слов считает Александра Осиповна виновником анонимных писем князя Петра Владимировича Долгорукова. Ознакомление с подлинными записками Смирновой позволяет решительно опровергнуть тот образ поэта, который начертан Ольгой Николаевной. Встречаясь со Смирновой в великосветских салонах или стараясь развеселить ее во время болезни, Пушкин являлся к ней не с учеными трудами, а с томиком острослова Шамфора, насмешника Вольтера, с „Historiettes galantes" писателя легкого жанра Де-Рео. Скандальная хроника последнего, картины распущенных нравов, острота любовных авантюр и отточенного анекдота—вот та литературная традиция, которую незаметно для себя впитывала Смирнова. Так вместо Пушкина-педанта, скучнейшего фразера, ведущего длительные разговоры на отвлеченные темы, вырисовывается из записок Смирновой живой Пушкин, отзывчивый и сердечный друг.

В ином виде представляется из автобиографии Смирновой и образ Жуковского. Задумчивый, склонный к меланхолии, мечтательный, как это всегда казалось, он представлен здесь живым человеком, большим любителем скользкого, не вполне приличного анекдота. Переданный в необычайно ярких красках эпизод сватовства к Смирновой вскрывает корни той дружбы, которая продолжалась у Жуковского с ней почти целую жизнь. Из старшего поколения писателей интересен И. А. Крылов, любитель не только одной гастрономии, но и страстный поклонник классической музыки.

Центральное место в воспоминаниях Смирновой, конечно, занимает Гоголь, которому она посвящает многие страницы. В них выясняются подробности их общения, особенности характера Гоголя, замкнутого, подозрительного и больного. Автобиография А. О. Смирновой в корне разрешает вопрос об ее увлечении Гоголем. Вовсе не его любила она всю свою жизнь. Гоголя сближал с Смирновой напряженный интерес к вопросам религиозного порядка и взаимная жалость друг к другу. Оба были физически надломлены и смотрели на общение с богом и на молитву, как на средство самообладания и борьбы с болезнью. Он терял талант и приневоливал себя к творчеству. Она была лишена личного счастья, что составляет все или почти все для женщины в ее положении.

VI.

Наличие подлинников с очевидностью обнаружило теперь всю ложность записок Ольги Николаевны. Познакомившись с тетрадями матери, она отчетливо поняла, что не может ни в коем случае опубликовать их. Этому препятствовала интимность содержания. Пережив, повидимому, полосу некоторых колебаний, Ольга Николаевна решилась на прямой подлог. Имея в основе материал собственных записей, рассказы матери и печатные источники, она сочинила несуществовавшие разговоры. Вместе с этим мы можем с определенностью утверждать, что Ольга Николаевна не только не охраняла подлинники Александры Осиповны, но намеренно уничтожала в них те места, которые могли бы пролить свет на мемуары Смирновой. Так, в одной

тетради вырван, например, край листа, в котором говорится, что Смирнова пишет свои мемуары для Н. Д. Киселева, также, как она писала их для кого-то другого. Помимо подлога литературных документов, Ольга Николаевна решилась на еще больший подлог. Она в корне исказила образ Александры Осиповны, сделала из нее „разностороннюю" женщину, придумала ей литературный салон. Строгая по натуре, сухая и требовательная, Ольга Николаевна не понимала своей матери. Ей был чужд ее юмор, ее восприятие жизни. Она думала, что придаст особенный интерес запискам, ложно утверждая, „что в них нет ни сплетен, ни скандальной хроники, ни двусмысленных рассказов, так как Александра Осиповна никогда не интересовалась ими, не признавая за ними никакого исторического значения и даже не записывала их". Между тем, Александра Осиповна была гораздо более женщиной своего круга и своей эпохи, чем того хотела Ольга Николаевна. В записках Смирновой, написанных с необычайной живостью и талантливостью, доходит до нас подлинный аромат Пушкинского времени. Ее книга, как убедится читатель, является выразительным документом эпохи.

Печатание тетрадей Смирновой было технически чрезвычайно затруднено неразборчивым почерком их автора. С годами этот почерк становился все менее и менее удобочитаемым, буквы приобретали все большее однообразие в своем написании. К тому же Александра Осиповна часто пропускала многие слоги. В связи с этим особенно много неразобранных мест падает на записную книгу 4612/48, в которой столь много пропусков, что они не оговариваются нами отдельно. Большинство тетрадей Смирновой написаны на французском языке. Переводы выполнены Е. В. Герье.

Академику М. Н. Сперанскому, М. А. Цявловскому и Н. Л. Бродскому моя глубокая благодарность за поддержку в работе.

Ноябрь, 1929 г.

Л. Крестова.

I. АВТОБИОГРАФИЯ.

I. Родословная А. О. Смирновой, урожденной Россет [1].

Я родилась в 1809 году шестого марта, день мучеников в Аммерии. Мои воспоминания начинаются с трехлетнего возраста. В Одессе выпал снег в 1812 году. Я шепеляявила и сказала отцу:

„Тата! Что это за маленькие белые мушки?“—„Это снег, дитя мое“.—„Откуда он?“—„С неба, как и все, что существует на земле, дитя мое“.

Отец мой был le chevalier de Rossette, уроженец Безансона, смежного с Швейцарией. Его мать была девица Лагарп, сестра наставника императора Александра, полковника Лагарпа. Дед мой был вольтерьянец, как, впрочем, все в то время; он воспитывал сына до пятнадцати лет в этих же неглубоких понятиях. Бабка моя перешла в римскую церковь и была, кажется, весьма крутого нрава: она хотела обратить сына, с ним спорила и постоянно его попрекала,—он вышел из терпенья и оставил отеческий кров. [2] Как он дошел до Вены, мне неизвестно, и все последующее я узнала от дяди, Николая Ивановича Лорера (декабриста). Венский университет считался лучшим в Германии, и отец окончил там курс своих наук. Должно быть, что он встретил там знатных и богатых благодетелей. Я часто слышала, что отец мой и герцог Ришелье говорили о князе Кантемире, а когда я спросила, кто был Кантемир—отец мне отвечал: „Иди, играй с своим воздушным шаром, это тебя не касается“.

Эти благодетели советовали ему принять должность драгомана у Порты. Порта платила тогда щедрой рукой и награждала драгоманов драгоценными камнями, жемчугами и шалями (теперь турецкие шали точно так же тяжелы, как

попоны, а в то время очень славились, когда шаль была так тонка, что можно было ее продернуть в обручальное кольцо). Через три года отцу надоела эта должность, и он приехал в Херсон и определился в Черноморскую гребную флотилию [3], которой командовал известный, умный и всеми уважаемый адмирал Мордвинов и вице-адмиралы Ламбро и де-Галето. Там он подружился с Мордвиновым, Николаем Степановичем Волковым, господином Измайловым, т.-е. с самыми образованными людьми[4]. Тогда Мордвинов получил за заслуги Байдарскую долину, ему дан был выбор, и он, конечно, выбрал самую лучшую местность, где великолепная растительность, воздух самый живительный и местоположение самое красивое. Яйла освежает и оживляет эту местность. Мордвинов дал тоже землю моему отцу по близости к Байдарской долине, но какой-то граф Капнист ею завладел незаконным образом. Тогда слишком мало заботились о документах, отчего были постоянные процессы. В послужном списке моего отца сказано было, что он был флигель-адъютантом князя Потемкина и получил Куяльники в Бессарабии, но и на это не было документов, остались только счета по Куяльнику (Куяльник—дача виноградная, по-бессарабски). [5] Мордвинов и многие другие оставили Крым, и в Херсоне остались адмиралы Ламбро и де-Галето. Тогда была война с турками, и Суворов осаждал Очаков.

Я была давно замужем, а муж мой был губернатором в Калуге. Однажды приехал престарелый князь Вяземский и спросил у него, на ком он женат. Он ему отвечал: „На mademoiselle Rossetti“.—„А как ее звать?“—„Александра Осиповна“.—„Так это дочь моего лучшего друга, chevalier de Rossette! Я хочу ее видеть“. Тут гостили у нас двое из моих братьев. Он нас насмешил и сказал: „Ваш отец был человек не только большого сердца, но и большой доблести: без него мы никогда бы не взяли Очакова. Суворов не любил иностранцев, и его недостаточно оценили. За взятие Очакова он получил Георгия на шею, очаковскую золотую медаль и шесть тысяч десятин земли на Телигуле“. [6] Телигул впадает в Ингул, Ингул в Водяную, а Водяная в Буг под Николаевом. Что делал мой отец после Очаковского дела, в котором турки потеряли до десяти тысяч убитыми и ранеными, а русские пять тысяч, остальное турецкое войско отправилось

на своих довольно пробитых нашими ядрами судах, и до двадцати тысяч погибло в море, [я не знаю].

Со взятием Очакова кончилось владычество в южной России турок.

Во время революции французские эмигранты рассеялись по всей Европе. В Петербург [приехали] между прочими, герцог Ришелье и несколько аббатов. Император Александр был сметлив и тотчас, узнав герцога Ришелье, сказал ему: „Дорогой дюк! Вы знаете, я чувствую угрызения совести. Юг России мне достался в наследство. Этот край богат и плодороден, но землевладельцы пользуются своими правами для его разорения. Я даю вам неограниченные полномочия и прошу вас возможно скорее установить связь между Малороссией, Турцией и портами Средиземного моря.“—„Государь,—отвечал Ришелье,—я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Прошу вас только об одном условии: пусть моя шпага никогда не направляется против француза.“—„Идите, дорогой дюк. Я вас отпускаю“. Еще при Потемкине были отпущены большие суммы на постройку церкви, казармы, присутственных мест госпиталя и тюрьмы. Каково же было удивление герцога, когда он приехал в Одессу! Все эти строения были почти развалины, всего было две систерны [воды] на восемь тысяч жителей, половина их состояла из евреев и молдаван, а русские были нищие, и главная улица называлась Молдаванской. С Ришелье отправились лучшие из эмигрантов: граф Мортемар, маркиз Мезонфор, его кузен маркиз Растиньяк, граф [слово не разобр.], граф д'Олон, граф Кастельно, который написал историю Одессы и ею управлял при герцоге.

Он приехал в 1808 г. [7], и Кастельно в своей книжке говорит: „Chevalier de Rossette распоряжается в настоящее время двумя стами пятьюдесятью кораблями, которые вошли в Одесссский рейд“ [8]. Герцог очень обрадовался моему отцу, потому что он его познакомил с бытом края и некоторыми личностями, ему известными, как люди честные и способные. Комендантом был назначен шотландец, генерал Фома Александрович Кобле. Тюрьма была под присмотром генерала Фёрстера. Гарнизонный командир был полковник Гакебуш. Вызваны были негоцианты: итальянец Лано, швейцарец Сикар и француз Рубо. Герцог вызвал француза Вассоля,

который привез испанских овец и лошадей. Он вызвал бывшего своего садовника Батиста, который привез огромное количество корней фруктовых деревьев, опортовых яблок, больших груш, называемых „груши дюшес“ [по-русски— дули], мелких груш и полосатых груш, черных, красных и белых, из которых готовится слабительная манна. Ришелье назначил Растиньяка губернатором в Крым. Раздавая земли под Одессою, он повторял: „Сажайте, скрещивайте, поливайте“.

Сношения были весьма затруднительны. Не получая давно известий от Растиньяка, он послал к нему отца моего, который был инспектором карантина. Бабушка моя, Екатерина Евсеевна Лорер, рожденная княжна Цицианова, была содержательницей станции. Отец мой спросил у смотрителя, где бы он мог переночевать. Ему сказали: у полковницы. Станция была за полверсты от дома. Ему навстречу вышла ее дочь Надежда Ивановна и привела его домой. Для бабушки было достаточно, что он послан дюком. [Она] его угостила ужином и даже предложила ему ночевать у нее. [Она] сказала дочери:„ Надя, поди посмотри, хорошо ли Гапка взбила перинки и подушки в гостиной?“ Отцу моему было пятьдесят пять лет, а матери восемнадцать[9]. Он пленился необыкновенной красотой и детской простотой: она не подозревала, что была замечательной красоты. В 1836 году я встретила в Мариенбаде Софью Станиславовну Киселеву. Меня с ней познакомил великий князь Михаил Павлович. Она мне тотчас сказала: „Я знала вашу мать. Мы были в Одессе, вся наша семья и жена Сергея Гагарина, которая вас знала. Однажды он пригласил нас на вечер, предупредив, что мы увидим самую красивую и милую женщину в мире. Когда ваша мать взошла, в обществе произошло движение. На ней было белое платье из индийского муслина. Ее черные волосы были причесаны à la Titus и стянуты красным шерстяным шнурком. Единственным ее украшением были круглые серьги с застежкой из мелких бриллиантов. Линии ее фигуры и рук были восхитительны. Следом за ней шел красивый старик в белокуром парике. Дюк нам ее представил. Она отвечала непринужденно и, казалось, не имела представления о своей красоте. Дюк относился к ней с отцовской нежностью и радовался ее успеху. Знаете ли вы, моя дорогая, что когда она овдовела, и в Одессу

прибыл Киселев, посланный государем сопровождать дюка в Петербург, он до безумия влюбился в нее и просил ее руки, но она ему отказала. Киселев—человек высоких нравственных качеств. Она была бы счастлива с ним". Моя дочь Софья Трубецкая встретила графа Киселева у графини Софии Львовны Шуваловой, он ей сказал: „Княгиня! Вы очень красивы. Ваша мать красивей вас. Но ваша бабушка была самой красивой женщиной, какую я видел". На возвратном пути из Херсона отец мой сделал предложение. Бабушка с радостью согласилась, не спрашивая, конечно, согласия дочери: тогда послушание было первым долгом. Их, вероятно, обвенчали в церкви Андрея Первозванного, в семи верстах от Грамаклеи,—так называлась деревушка бабушки. Теперь я должна сделать отступление от начатого повествования. На музыкальном языке это называется fugato, а сколько их приходится испытывать в жизни!

II. Бабушка Екатерина Евсеевна Лорер [1].

Бабушка Екатерина Евсеевна Лорер была рожденная княжна Цицианова. Во время Петра Великого царь Вахтанг просил подданства России, во избежание нападок враждебной Персии и Турции. С ним приехало множество княжеских и некняжеских родов: Цицианова, Багратионова, Давыдовы, Эристовы и другие. У князя Евсевия и жены его был единственный сын, князь Дмитрий. Он сделался известен своим хлебосольством и расточительностью да еще привычкой лгать в роде Мюнхгаузена. Он женился на побочной дочери царевича Александра Георгиевича и какой-то княгини или княжны Заборовской (этот род угас, и есть просто Заборовские). За ней он взял восемь тысяч душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход. За ней был дом, конечно, деревянный в приходе Рождества в Кудрине. Это был целый квартал, и церковь была в саду, окружавшем этот дом. Дмитрий Евсеевич сказал отцу: „Я ничего не беру из десяти тысяч десятин. Наплевать мне на эту дрянь! Земля, чорт знает, где, в каком-то пустыре безлюдном". Жизнь в Москве была слишком дорога для большого семейства, и они отправились в местечко Санжары (турецкое название), где живут

реестровые казаки. Девица Скоропадская, у которой именье близ Санжар, говорила мне, что это прелестный уголок, который утопает в роскошной зелени фруктовых деревьев... [1 слово не разобр.]; синяя слива так обильна, что ветви гнутся над палисадниками, из которых выглядывают огромные подсолнечники, заячья капуста (valeriana), барская спесь и душистая павилика. Дома выкрашены желтой краской, спальные стекла и крыши зеленые. Вот где поселились Евсевий и Матрона Цициановы. Старшая дочь вышла замуж за дворянина Гангеблова и получила две тысячи десятин в Балтском уезде. [Вторая] вышла за Шмакова и тоже получила две тысячи десятин, не знаю—где. Третья была за Чепелевским и получила такое же количество доходов в Чигакме. Четвертая вышла замуж за грузина Бонгескула, и не знаю—где поселилась. Старики продали свою землю и копили деньги для меньшой дочери.

Однажды вечером приехал в Санжары военный, который спросил, где бы он мог поужинать и переночевать. Ему отвечали, что самый большой дом у князя Цицианова, и что он очень гостеприимен. Он постучался. Ему отворили и спросили, кто он, и что ему угодно. Он отвечал, что он полковник фон-Лорер, уроженец северной Пруссии, и приехал [он] и два брата его с Петром III; что несчастный государь назначил его главнокомандующим своих картонных войск и, когда крысы изгрызли его войско, он его сажал под арест; что это ему надоело, и, несмотря на обещание императора дать ему земли, он решил ехать на юг России искать фортуны. Пока он ужинал и готовили ему постель, он разговорился, сказал им, что немцы любят семейную жизнь, и что, если ему посчастливится, то хочет жениться. Все это было сказано, конечно, ломаным языком. „А если ты хочешь жениться,—сказал ему старик,—у нас есть еще незамужняя дочь. У нее теперь короста (чесотка), и она лежит на лужайке вымазанная дегтем“. Его повели к ней, Он увидел черные курчавые волосы, черные глаза, нос à la Bourbon и белые, как жемчуг, зубы и сказал, что она ему нравится. А ее спросили, согласна ли она выйти за него замуж. Она отвечала: „Почтенные мои родители! я на все согласна, что вам угодно“. Ему сообщили, что за ней двадцать тысяч капитала, двенадцать серебряных приборов и дюжина чайных

ложек, лисья шуба, покрытая китайским атласом, с собольим воротником, две пары шелковых платьев, несколько будничных ситцевых, постельное и столовое белье, перины и подушки, шестиместная карета, шестерка лошадей, кучер и форейтор. Выпили по обычаю рядную. Нареченный жених отправился вторично на тройке прямо в Херсон. Он, вероятно, встретил там князя Потемкина, который не был славянофил и не гнушался услугами иностранцев. [Тот] увидел европейски образованного человека и назначил его херсонским вице-губернатором, с казенной квартирой и тысячью руб. содержания. На крыльях любви он поскакал на тройке, увы, может быть, и в жидовской фуре, в Санжары. Там их обвенчали в приходской церкви. Князь Евсевий и княгиня Матрона горько плакали, расставаясь со своей милой Катеван (Екатериной).

Вице-губернатор сделался всем известен знанием дела, честностью и простотой[2]. У богача Щенсного-Потоцкого был нескончаемый процесс. Он решился ехать в Херсон и поручил свое дело вице-губернатору, который окончил процесс в два года. Щенсной так обрадовался, что предложил ему две тысячи душ, но дед мой сказал ему, что исполнил только свой долг, что ему за это правительство дает жалованье. „Но если вы хотите сделать мне приятное, то подарите мне часы. Здесь они не очень нужны, но я дослужился до пенсии, жена моя купила землю, и мы хотим поселиться в деревне". Щенсной [Потоцкий] прислал ему прекрасные золотые часы с золотой цепочкой. Когда дедушка умер, бабушка остановила стрелку и сказала: „Как закатилось солнце моей жизни, я их остановила". Дядя Николай Иванович говорил, что очень долго после кончины отца он приехал в отпуск, и бабушка была очень грустна и задумчива. Он ее спросил, отчего она так грустна. Она ему отвечала: „Душенька, отец твой был такой добрый и кроткий. Я раз послала его в поле он не исполнил мои поручения, я на него рассердилась. Он хотел пить со мной кофий. Когда он сказал, я ему сказала: „Идите к немцам пить кофий". Когда я это вспоминаю, мне всегда грустно и совестно.[3] Это в теперешнее время покажется смешным. Есть люди, которые смеются и над Пульхерией Ив[ановной], а в моей молодости и молодые и старые плакали, читая эту трогательную идиллию"[4].

Как выше сказано, шестого марта явилась на свет некрасивая смуглая девочка, которую назвали Александрой в честь двоюродной сестры отца, графини Александры Россет.

III. Ранние воспоминания. [1]

Возвращаюсь к отцу и матери. Они очень обрадовались появлению на свет смуглой девочки. Маменька меня хотела кормить, но, не знаю—зачем, не могла продолжать, и мне взяли в кормилицы еврейку. Когда мне было шесть месяцев, я не хотела сосать, и тогда меня повезли в Адамовку. Я несколько раз была в Адамовке, и, когда туда ехал человек, всегда спрашивал: „Как прикажете ехать—на Андреевку или на Янгакраки?“ (опять турецкое название).

Тогда имения заселялись или покупкой, или залучением бродячих крестьян из голодных губерний, цыган и булгар. Им отводили места, глину, известь, солому для кровли, покупали соху, волов, и два-три года они работали на себя. Отцу моему нужен был повар, и он его [4 слова не разобр.] купил за триста рублей в Москве. Фрейлина Шишкина, известная писательница русских романов, мне говорила, что когда она вышла из Смольного монастыря, ей купили на рынке девку за семь руб. Импер[атрица] Мария Федоровна это узнала, сообщила свое негодование императору Александру, который приказал продавать семьями. О чем же думала Catherine la grande? *) К счастью Вольтер, Дидерот и Гримм не знали, что в ее владеньях люди продавались поштучно, на рынке. О, Екатерина, Екатерина! Сколько зла ты сделала земле русской!

Моя крестная мать была тетушка Екатерина Ив[ановна] Вороновская, а крестный отец—Ришелье. Брат мой Климентий родился десять месяцев после меня. Его крестил герцог и назвал именем крестного отца, а крестная мать была бабушка. Год спустя родился брат Иосиф, он был красавец. Через год—брат Аркадий и, полтора года спустя, еще брат.[2]

В этом году неаполитанская королева Каролина просила покровительства нашего государя: она не могла больше

---

*) Екатерина Великая.

выносить оскорбления Мюрата. Тогда эскадра адмирала Бентинга крейсировала возле берегов Неаполя. Ее первый министр Актон вывез ее тайно ночью на адмиралтейском корабле. Бентинг ее довез до Генуи. Государь предложил ей ехать в Одессу. Но так как она ехала на придунайские княжества, а в Константинополе была чума, то из предосторожности ее поместили в карантинном доме, а мы переехали в собственный дом на Дерибасовскую. Как инспектор карантина, отец мой обязан был всякий день являться к королеве за приказаниями. Она узнала, что маменька родила, и предложила быть восприемницей новорожденного с тем условием, чтобы его звали Charles—Alexandre. Она овдовела очень рано и очень любила мужа. Ее заменила г-жа де-Рибас, а крестный был Ришелье. После крестин королева прислала крестнику крест из крупных бриллиантов и en esclavage. Весь город приезжал любоваться этим склаважем: Трегубовы, Кантакузены, одним словом, вся Одесса. Жемчуга цепочки были перевязаны бриллиантами, и фермуар составлял ее имя: Caroline. Королева изъявила желание видеть меня и старшего брата. Герцог учил нас кланяться. Мы так старались, что чуть было не упали к ее ногам. Она была очень стара и страшна, нарумяненная сидела в кресле в бархатном темно-зеленом платье и вся покрыта бриллиантами. При ней были две старые дамы, тоже очень нарядные. Она посадила нас на колени и говорила: hорça ça. Она была дочь австрийского императора. [3] Когда и куда уехала неаполитанская королева, мне неизвестно.

У детей своего рода интересы. Меня дразнил брат Клименька, говорил, когда мне было три года: „Ты думаешь, что ты хорошенькая. Ты и толстая, и ходишь, как качка (утка)“. Я отвечала: „Тетя Маша говолит, сто у вас видны одни глаза, а я с ней поеду в Плибуг“. Тетя Маша была жена дяди моего Александра Ивановича Лорера. Она была урожденная Корсакова, дочь того псковского губернатора, который вышил по кисее подушку и поднес ее Екатерине, которая за это ему прислала бриллиантовые серьги.

Дядя мой вышел в отставку в чине полковника уланского полка. В какой-то стычке с французами его почти изрубили, и у него был на носу шрам.

IV. Смерть отца. [1]

Вскоре по отъезде королевы в Одессе открылась чума. Герцог тотчас оцепил город, и полк был расположен лагерем за несколько верст. Он и эмигранты обходили улицы и справлялись о состоянии здоровья. Провизию приносили в дома гарнизонные солдаты. Мы сидели у окна и считали страшные дроги, на которых везли трупы чумных. Колодники в засмоленных рубашках шли рядом, гремя цепями, под конвоем солдат с ружьями. Это не мешало нам играть с попугаем, которого мне подарил дюк. Маменька не могла вынесть этого зрелища и сидела в комнате с окошками на двор. Когда папенька возвращался из карантина к обеду, первым движением было бежать к нему, но он делал знак рукой и уходил в другую комнату, где его обливали уксусом с водой, и надевал другое платье. Часто он нас так крепко прижимал к сердцу и целовал так горячо, как будто он думал, что на другой день и он сможет сделаться жертвой страшной чумы.

Однажды герцог подошел к окошку маменьки и спросил ее: „Когда вы в последний раз видали Антона Ризенко?“ (наш домашний доктор).—„Он вчера был здесь и жаловался на головную боль. Он сидел в этом кресле“.—„Прикажите его сейчас же вынести, chére madame. Он делал ночью операцию чумному, порезался и утром скончался. У нас, бедных, его некем заменить“.

Дорогой отец мой был последней жертвой чумы [2]. Он велел меня позвать, остановил на пороге и сказал: „Друг мой, мое возлюбленное дитя! обещай мне заботиться о твоих братьях, их наставлять. Я не спокоен за вас. Дюк обещал замолвить за вас слово перед государем и его матерью. Ты будешь воспитываться в каком-нибудь институте, а братья—в кадетском корпусе. С хорошим образованием можно проложить себе путь в жизни. Что касается до вашего имущества, то о нем позаботятся дюк и ваш дядя Дмитрий“. Я после узнала, что триста тысяч были положены в Херсонский Приказ Общественного Призрения [1 слово нрзб] для братьев и Адамовка, в которой было двадцать тысяч душ крестьян, доход был с земли, огорода и сада [1 строка нрзб.] Мне оставлен был хутор и дом на

Дерибасовской, девять пудов серебра, подарок дюка, все бриллианты и жемчуга маменьки.[3]

Нас всех посадили в карету, и герцог нас повез к г-же Попандопуло, самой короткой знакомой маменьки. У нее были дети и дети ее сестры Домбровской. Мы резвились в саду, не подозревая, что нам готовится после папеньки самая горькая участь. Через два дня пришла горничная маменьки Татьяна, сняла с нас мерку и сказала, что шить будет черное. Она заплакала, а я разрыдалась так, что добрая Попандопуло не знала, что со мной делать. Нас привезли в карантинный дом. Маменька сидела перед камином в глубоком трауре, я села на полу с большой куклой, последним подарком папеньки. Приехала бабушка с моими тетками. Отца моего обратил l'abbé Nicole, а поэтому в дом приехал католический священник. С отца сняли парик, он был прекрасен, потому [что] и жизнь и смерть его были прекрасны. Маменька и все его целовали, а я со слезами просила позволения с ним проститься, но мне отказали. Весь город следовал за погребальной процессией. Герцог ехал впереди верхом, в мундире, с Андреевской лентой и орденом св. Людовика. По дороге у греческой и русской церкви служили литии. Я сидела с бабушкой, которая не знала, что со мной делать: я металась и рвалась.

Только что мы вернулись с похорон, начали перевозить нашу мебель на Дерибасовскую в наш маленький дом. Так как маменька не могла нас воспитывать, то приехал генерал Фёрстер и рекомендовал ей гувернантку Амалью Ив[ановну] Шредер.

V. На хуторе.[1]

Амалья Ивановна была истинное сокровище: нянька и гувернантка, друг семейства. Она была с Констанцского озера, а так как его берега делятся между хозяевами, то не знаю, с каким паспортом она проживала в гостеприимном Новороссийском краю. Говорили, однако, что она— швейцарка и потому непременно должна знать французский язык. Она же знала его плохо, даже очень плохо, зато любила детей и всех, и все на свете сердцем истинно-христианским. Она была кротка, благодушна и всегда весела. Не знаю, каких лет она была, на мои детские глаза, она была

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ

старая и потому уже, что носила очки, когда читала библию по-немецки.

Я тут впервые услыхала слово „библия“, и вообще с этой поры я помню, что мы начали молиться богу. Утром и вечером мы за Амалией Ивановной повторяли „Vater unser“ *). Маменька меня заставляла читать по-французски по какой-то книге, где повторялось часто: „Mon cher Théophile“ **). Эту книгу я терпеть не могла и помню живо переплет и красный обрез, и скуку, которая охватывала меня, когда велено было принести книгу.

Весной 1814 г. мы весьма рано поехали на хутор. Дела и все состояние маменьки находились в довольно расстроенном положении, и потому она должна была часто ездить в город и отлучаться в деревню Адамовку. Мы же блаженствовали под кротким и прозорливым надзором доброй Амалии Ивановны. В пять часов утра она уже отворяла окна, и мы вставали. После молитвы, как птиц из клетки, нас выпускали в сад. Чаю и кофию мы не знали, а давали молоко с хлебом. Потом читали по-немецки, я вязала чулки. Все занятия прекращались, когда наступал большой зной. Тогда затворяли ставни, поливали пол водой, и мы играли с попугаем. Это был серый попугай, он переехал с Амальей Ивановной в дом. Довольно странно, что мы обедали в час. Впрочем, час этот зависел от повара Дмитрия, который был большой пьяница и часто оставлял нас совсем без обеда. Тогда являлась вся практичность Амальи Ивановны, и нас кормили Heringsalat, Apfelcompot, Butterbrot ***) и всякой немецкой снадобью.

В саду была личность, которая нас очень занимала. Это была дочь Якима-дворника, Пронька. Пронька ходила всегда босая, в одной рубашке, волосы ее были желтые, как выжженные зноем, и глаза у Проньки были совершенно кошачьи, желтые и с какими-то странными зрачками. Где бы мы ни были, она являлась, ничего и никого не боялась, ползала по пригоркам, хватала больших змей и отбрасывала от нас в сторону, ловила ящериц, собирала червяков, жуков и всякую ползающую тварь и для нас, и для себя.

*) Отче наш.

**) Любезный Феофил.

***) Селедка, яблочный компот, хлеб с маслом.

Пронька ела какие-то ягоды, которые называла пасленом и приговаривала: „Свиньям горько, нам солодко". Мы делали коробочки и выводили бабочек, и, вообще, занимались по-деревенски, не подозревая, что впереди готовится нашему поколению громадная и страшная цивилизация 30-х, 48-х г. и нынешних времен. И в самом деле, когда всматриваешься в это прошлое, когда учились „чему-нибудь и как-нибудь", и сравнишь это с настоящим временем, какая пропасть между обеими эпохами! Яким был всегда пьян и бил свою жену Гапку. Тогда Пронька убегала до вечера к нам в дом, пока неугомонные родители не улягутся. На это все смотрели как-то равнодушно, как на какую-то неизбежность. В саду были еще две личности, нас занимавшие. Был высокого роста мужик, широкоплечий, весь в белом, как все хохлы, голова была бритая, и большой чуб торчал всегда кверху. Он поливал цветы и вообще вертелся вокруг дома. Иногда маменька спрашивала: „Отчего цветы не поливали?" Ей очень спокойно отвечали: „Чудной опять ушел". И Чудной пропадал месяц и два, возвращался всегда с упреком, что у него нет чобот. Ему делали чоботы, и он принимался поливать грядки, покуда ему жилось на месте. Куда он уходил и зачем, никто не знал, да и не спрашивал. Другая личность была светлая и являлась в коротеньком рыженьком мужичке, которого звали Скачко. Скачко пел песни, делал нам из тростника дудочки, свирелки и палочки, ходил с нами на море после нашего купанья и помогал нам ловить бычков на ужин. Случалось, что вдруг набегали тучами какого-то рода мошки, и тогда вся дворня выбегала с простынями, ситами и всякой посудой; их набирали страшное количество и сушили на солнце впрок для постных дней.

В конце этого же 14 года, к превеликому сожалению города Одессы, да и всего края, герцог Ришелье решился возвратиться во Францию, потому что произошло восстановление Бурбонов. [2] Со всех уездов съехалися дворяне, чтобы изъявить ему свою благодарность. Матушка была еще в трауре, но он убедил ее приехать на прощальный вечер, который он давал городу в своем саду. Всем известен этот клочок земли, обсаженный акациями, который величают садом герцога. Маменька взяла Амалью Ивановну и меня с

собой, мы отправились в двуместной карете. Герцог нас ожидал и ввел в беседку, где был покрыт стол с разными угощеньями. Впечатление у меня осталось грустное: маменька плакала, еще были какие-то дамы, и герцог сам был невесел. Он подарил мне два эмалевые яичка, в одном были часы, в другом necéssaire, и сказал, чтобы я их берегла на память друга моего отца. У меня они пропали невозвратно в институте из ящика, и я до сих пор жалею, bric à brac теперь в такой моде. Часов в десять я начала скучать и ложиться на колени Амальи Ивановны, и маменька решилась нас отослать на хутор.

От города вдаль до хуторов была такая темь, что принуждены были зажечь по обеим сторонам смоляные бочки. Наши старые и всегда смирные кони испугались и понесли нас. Бедная Амалья Ивановна спустила все стекла, кричала кучеру: „Mein Gott! *) Держи, держи". Но удержу не было, и мы стремглав пролетели под гору мимо пьяного Якима, Гапки, Проньки, и лошади стали, как вкопанные, у подъезда нашего домика. Тут бедная Амалья Ивановна в страшном испуге написала маменьке, чтобы она осторожно ехала, и что мы чудным образом были спасены.

После отъезда герцога все как-то затихло у нас, да и во всем городе. Приходили Попандопуло, Трегубовы, Стемпковский, его друг и адъютант, вспоминать его добродетели. Всем известный и достойный священник Павловский говорил мне в 1866 году: „Герцог Ришелье был в нравственном отношении великий человек", а я прибавлю, что все, чему он положил начало, чего не успели испортить, и теперь еще живо в Одессе. Он основал лицей, иезуит Nicole был директором, но для православных детей была церковь, и не было ни одного совращения в римскую церковь. Вообще, эмигранты, которые группировались вокруг герцога, были люди честные и верные, а люди, вызванные герцогом по разным хозяйственным отраслям, принесли краю большую пользу. Вассолю мы обязаны овцеводством, в Крыму начали заниматься садоводством. Одним словом, Ришелье создал Одесскую колонию в виду оживления и обогащения южной России, в которой неисчерпаемые богатства, не взирая на недостаток воды и леса.

*) Боже мой.

Наш хуторок находился между хуторами Рено и хутором Фомы Александровича Кобле. У него была дочь Клавденька, с которой я играла, и не без зависти смотрела на ее игрушки; в особенности меня прельщал ее золотой наперсток. Фома Александрович был большой оригинал, говорил всегда очень громко, по-русски. Жена его была казачка Щепетова. Он сам мне рассказал всю свою историю в Петербурге в 1827 г., всегда называл меня Сашенькой, хотя я уже была фрейлина. Мы с ними видались ежедневно, а с Рено, не знаю—почему, не имели никаких сношений. Лето проходило очень скоро и приятно в саду. Все хозяйство было в руках у Амальи Ивановны, и мы принимали участие в ее занятиях; утром ходили собирать сморчки и дикую спаржу; когда поспевали ягоды,—я помню только смородину,—ходили обирать кусты; когда поспевали яблоки и груши, ходили собирать падаль. Старушка все распределяла, что впрок, что в продажу. Вечером ходили купаться и удили рыбу на ужин. Поздней осенью в доме начиналась большая возня. Я и теперь, кажется, вижу синий чайный прибор, который добрая старушка сама укладывала с особенным тщанием, и который всегда оставался на хуторе.

Только поздней осенью мы переезжали в наш городской дом. Тут опять проходила неделя в раскладке домашней утвари. Когда маменька уезжала к бабушке или в Киев на контракты, нас препоручали очень странному господину. Артемий Макарович Худобашев был, кажется, армянин, ходил всегда в синем фраке с золотыми пуговицами, носил белый галстух, панталоны горохового цвета, сапоги с отворотами, как английские грумы теперь носят, часы в кармане и золотая цепочка такая толстая, что ее вернее называть цепью, и огромная сердоликовая печать. Кажется, все носили такие печатки. От того ли, что у Артемия Макаровича был необыкновенно большой и красный нос, но как-то вся его фигура и теперь мне живо представляется. Он приносил нам карамели в кармане. И в затруднительных обстоятельствах, когда, например, Дмитрий напьется пьян и приготовленный обед выбросит на пол, грозит всех перерезать, как куриц, бедная Амалья Ивановна посылала за Артемием Макаровичем. Он тотчас приходил, и мирный дом опять принимал

свою мирную физиономию. Не знаю, что делали тогда с поваром. Его держали потому, что он был очень хороший повар, потому что жена его ходила за маменькой, а мать его была нянькой меньшого брата. Я помню, что говорили, что вся семья была куплена в Москве у какого-[то] барина Высоцкого за дорогие деньги. Слова „купить и продать людей“ тогда никого не смущали.

Зимой мы долго жили одни с Амальей Ивановной, у нас была корь без особых болезненных припадков, и наша добрая старушка нас страшно баловала, о чем-то часто вздыхая. Маменька гостила у бабушки и у Кудашевых в Виске, где было очень весело, потому что в Ново-Миргороде и Златоноше стояли полки. В доме были невесты, и не бедные, поэтому в Виске были частые собрания. Кудашевы были в родстве с бабушкой, хотя, как кажется, не в дружбе, а, как говорили, на политике.

Летом мы отправились на свой любимый хутор, где жили по-старому, покойно, но как-то одиночно: я не помню ни Кобле, ни Фёрстеровых, ни даже Артемия Макаровича. Раз в доме или лучше в саду была тревога, заподозрели кошку в бешенстве. Нас заперли в дом. Она как-то странно прыгала и, наконец, исчезла, Филипп-кучер сказал, что последний прыжок был в море, и что кошка, должно быть, утонула, что подтвердила и Пронька, которая бесстрашно следила за кошкой.

VI. „Le diable boiteux“ *). [1]

В 1817 году, три года после кончины нашего дорогого отца, мы были на хуторе. Человек пришел объявить Амалье Ивановне, что военный господин желает ее видеть. Он вошел и сказал, что он капитан Петр Карлович Арнольди, и что его брат, полковник Арнольди, женился на вдове Россет. Бедная Амалья Ивановна слушала и побагровела. Он ей сказал, что его брат будет воспитывать оставшихся бедных сирот, и что их надобно ждать через день или два. Петр Карлович ужинал, ночевал и на другое утро уехал. Вечером Амалья Ивановна очень плакала, а на другой день началась чистка, хотя было всегда чисто, примеряла нам платья.

---

*) Хромой чорт.

Клима объявил, что он уйдет к Батисту, и его оттуда никто не вызовет. Амалья Ивановна решила, что я и Ося должны принять гостей.

Теперь я скажу, как состряпалась эта свадьба. Два или три полка артиллерийской батареи стояли в Миргороде, Соколах и других местах. Раз полковник Арнольди до того хвастался своими воинскими доблестями, уверял, что он очень хорошо... [1 сл. нрзб.] и имеет состояние. Но тут случилось, что Карл Астафьевич Гербель сидел в уголке очень тихо и скромно, но сказал ему: „Где у тебя состояние и какой ты фамилии? Ты—рижский мещанин Арнольд, а прибавил „и", как будто ты принадлежишь к итальянской знати, и взял чужой герб. А что касается до твоих воинских доблестей, то тебе одному оторвало ногу под Лейпцигом?" Сконфуженный, он ретировался. Маменька ехала в Виску к Кудашевым, а на возвратном пути встретила полковника Арнольди на станции. Чем пленилась, для меня непонятно, только через три дня она вышла за него замуж. Кобле ее назвал злодейкой и рвал на себе волосы. Ланжерон тоже. Он его иначе не называл, как le diable boiteux.

На другой день утром началось ожидание, приготовлен был завтрак, но они подъехали к вечеру. Мы стали ужинать. На козлах сидел денщик, полупьяный. „Емельян!—закричал грубым голосом полковник,—отвори дверцу". Он вышел. И как Ося увидел деревяжку, закричал, и его унесли. Потом вышла полковница с молодым мужем, не обратила внимания на меня и Амалию Ив[ановну] и спросила: „А где Клименька?"—„Он у Батиста, маменька". Они ужинали особо. Амалья Ив[ановна] вздыхала и почти ничего не ела, но Ося и я ели по обыкновению, а потом [отнесли] Климе ужин. Мы туда сбегали и рассказали все. Клима прижался к Батисту и говорит: „Я поеду к бабушке. Я не хочу его видеть".—„Да, малютка, ты поедешь к бабушке".

На другой день солнце обливало золотом наш милый хутор, создание дорогого отца. Море, как зеркало, покрылось бриллиантом. Издали видны были корабли и паруса, окаймленные белорозовым цветом. К одиннадцати часам новобрачные вышли в залу, где был приготовлен кофий и чай доброй Амалией Ив[ановной], на которую накинулся полковник, но маменька ее обласкала, потом спросила: „Где же Клименька?"—

„Клименька у Батиста“.—„Однако, соус выкипел, за это надобно наказывать, я... [1 слово нрзб.] не допускаю“. Потом пошел распоряжаться, как будто все его, и сказал, что хутор—только лишние издержки и не покрывает расходов. Мое сердце вздрогнуло, я отправилась к Скачко, которому сообщила это известие. „Ах, он! Вот безногий чорт!“ Все люди как-то оторопели, даже Пронька смутилась, Яким и Гапка наградили его не совсем лестными словами. Об Аркадии и Клименьке не было спросу, но они были так малы, что не сознавали этого ужасного равнодушия. Все как-то не клеилось, и вдруг объявили, что мы едем к бабушке в Грамаклею.

Мы не скрывали свою радость. Простились с садом, с Батистом, всеми прислугами, которых очень любили, набрали по берегу моря раковин. Началась укладка не на шутку. Марийка и Гапка уложили белье и платье. Амалья Ив[ановна] велела заготовить провизию, а в бутылках холодный кофий и чай; котлеты, пирожки с мясом, яйцо в крутушку положили в миску, которая накрывалась крышкой и служила тарелкой. В свои карманы она положила лакомства. Утром кучера впихивали в чемоданы подушки, постельное белье и одеяла. С нами отпустили Пожидора, который при сей оказии, конечно, был подпоясан красным кушаком. Марийку посадили на запятки и велели ей держаться за кисти. Перед отъездом не садились, как бывало в старину полагалось и полагается, а просто на просто нас с холодностью поцеловала полковница. От него мы отвернулись. В карете сидел уже Клименька, о нем позаботился добрый Батист. До первой станции мы ехали на своих, а потом, не помню, где ночевали, но знаю, что ели, веселились и были уверены, что навеки будем жить у бабушки. Когда мы подъехали к крыльцу, все вышли. Амалья Ивановна заплакала и бабушка тоже. Бабушка ласкала нас и говорила: „Играйте, детки! я вашего шума не боюсь“. [2]

VII. У бабушки в Грамаклее. [1]

В Грамаклее дом был о пяти окон, выштукатуренный и желтого цвета, а крыша была железная, черная. Напротив дома была большая хата, которую тотчас приготовили для нас. Рядом с домом был флигель, в котором жил Карл

Ив[анович] и выводил голубей. В самой глубине двора были конюшня и сарай. Там жил кучер Филипп и держал в конюшне козла: „Щобы чорт не путал гривы лошадей“. По ту сторону дома был сарай, крытый, как и все строения, в старновку. Затем была кладовая.

Давно, еще когда Ришелье был в Одессе, он ездил в Крым, проехал через Грамаклею и видел, что бабушка сидела перед домом, а l'ombra della casa *), как говорят итальянцы. Он ей сказал: „Катрин Евсевна, что вы не сажал сад?“— „Ах, батюшка дюк, а где мне достать корней? Тут не найдешь и прута, чтоб сечь непослушных детей“.—„Я вам буду присылать“. Под осень приехал Батист и вдоль по Водяной посадил деревья, кусты ягод, даже малину, черносливы, кукурузу. Сад тогда уже был важный, а теперь, я думаю, разросся в настоящую рощу. Бабушка купила десятину по пять копеек, а теперь, т.-е. в 70 году, уже платили сорок рублей за десятину. Это имение принадлежит дочери Николая Ив[ановича], княгине Сталь-Гольштейн, и она там живет с мужем и детьми.

Дворня бабушки была немногочисленна: приказчик Роман, ключница Маланья, у которой указательный палец был точно, как веретено, кухарка Солоха, девка Гапка, еще другая, кучер Филипп и мальчик Сидорка, который служил за столом, ходил в белых штанах и по праздникам носил зеленый сюртук, надевал тогда чоботы, служил как форейтор, когда бабушка ездила в церковь.

В полверсте от дома была станция, и смотритель был курчавый малый Измаил. Перед домом был палисадник, в котором росла заячья капуста, барская спесь и павилика. Он был окружен крупными кольями, из окон видны были только гладь и даль. В сорока верстах жила тетушка Екатерина Ив[ановна] Вороновская, ее муж Сергей Ефимович был сын священника из дворян. В Малороссии часто были священники из дворян и были лучшие помещики, а их крестьяне—лучшие работники. Доктор... [1 слово нрзб.] был сын священника из дворян, также и почтенный старец Павловский.

Бабушка сидела в своей комнате так, что могла видеть все четыре стороны своего маленького царства. Так как летом окна всегда были открыты, то она хлопала в ладоши,

*) В тени дома.

и являлась под окнами Машка за приказанием. В семь часов она уже пила кофий с Амальей Ива[новной] и тетушкой Верой Ив[ановной]. Обедали в час: борщ или щи, жареная телятина... [4 слова нрзб.], как не водится в больших городах, и сосиски, вареники с ежевикой. В постные дни сладкое блюдо составляли шулуки, необыкновенно вкусное блюдо. После обеда она отдыхала, а в четыре часа подавали кофий и арбуз или дыню. Два раза в неделю открывали кладовую, и вся дворня пересыпала из сита в сито просо, горох и мак. Для нас это был праздничный день, мы объедались маком.

Иногда бабушка выезжала на поповских дрожках (поповские дрожки была линейка на две персоны с фартуком). Она меня брала с собой, я ехала без шляпки, пелерины; Амалья Ивановна кричала: „Боже мой, с ней случится удар!“ Когда было слишком жарко, я подползала под фартук. Длинный Роман в синем сюртуке ехал рядом на рыжей лошади и показывал на поля: „Вот тут, сударыня, гарка, а подалее у меня двадцать десятин под арнауткой, а вон баштаны, гарбузы вовсе плохи от засухи, да и дыня мала“. И Роман мне давал маленькую [дыню] вместо мячика.

Вечером за ужином был кулеш, галушки и манная каша, по обыкновению хорошо сваренная. Я подобной каши не ела нигде. Когда приезжали господа, то важные ужинали и ночевали, а чиновники только ужинали, а на станции была чистая комната и постель. Роман говорил, что у Машки большой запас дынь и гарбузов: она их опускала в Водяную. Водяная тем была замечательна, что так тихо катилась меж высокого тростника, что казалась неподвижной. Раз давно в ней утонул человек, и рассказывали, что он в полдень выплывал греться на солнце, а ночью, в лунную ночь, зазывал к себе запоздалых косарей и девок.

Тетушка Вера Ив[ановна] часто опаздывала к обеду и подвергалась насмешкам на столичное образование. Она воспитывалась в Москве у Цициановых. Амалья Ив[ановна], как представительница западного образования, заступалась за свое воспитание, но бабушка не обращала никакого внимания и говорила: „Ты скажи мне, Верка, на що Дмитрий учит бедную девку Варвару Бонгескул танцовать?“ Потом бабушка начинала перечислять своих сыновей: „Александр

женат на Корсаковой. У них есть имение где-то под Петербургом, а они все ездят в чужие края и говорят, что там лучше, я их жду теперь. Николаша служит теперь в Воронеже[?], он—мот и балагур. Митя служит в Ордынском кирасирском полку, в корпусе безносого Прозоровского, он только что женился на племяннице княжне Волконской. Оно бы хорошо, но совсем бедная и воспитывалась в каком-то институте и все, верно, по-французски. Катя замужем за Каховым — славный человек, и живут они в Пондике, да несчастье с сыном: у него собачья старость".

Я видела часто бедного Ваню. Он точно был похож на старую собаку, уши отвисли, он сидел на корточках и засыпал, сидя на коленях у матери. Семь лет томился он и она. Отец и бабушка заливались слезами, когда его видели. Нас посылали с Климой два раза в неделю к нему, он грустно улыбался, когда мы резвились перед ним, он лакал молоко, как собака. Бывает у бедных детей атрофия, но болезни, подобной бедного Вани, я никогда не видала.

Соседей у бабушки не было. Ее приглашали... [1 слово нрзб.] и Бредихины. „Що воны думают, щобы я к ним поехала. У них по пятьсот десятин, зато пьют колодезную воду". К ней, хотя редко, [приезжала] сестра ее Елизавета Сергеевна Шклоревич, рожденная княжна Баратова. Она жила в двадцати пяти верстах от Грамаклеи, в Баратовке. Когда она приезжала, то Улька, бедовая девчонка, нам говорила: „Теперь играйте, можете шалить, сколько угодно. Елизавета Сергеевна приехала". Старушки сидели в гостиной на диване, перед ними на столе — ключевая вода, варенье, смоква и другие лакомства. „Представьте, Екатерина Евсеевна, что я три года не видела сестры Анны Сергеевны".—„Да на что вам к ней ездить? Она гордится, что она— княгиня Кудашева, а не знает, какие они князья. Кудашевы ездили на запятках у Цициановых (Кудашевы купили себе княжество, „кудаш" по-грузински значит „отхожее место"). У нее дом со столбами, а штукатурка обвалилась, в доме вонь, а у меня Гапка всякий день моет пол с мылом, щоб не было блох и мокриц. А варенье у нее на меду, и она не стыдится им подносить. А сам старик сидит в зеленом бархатном халате с собольим воротником и в красны[illegible]лях, точно как будто царь какой с того света. Я ту[illegible]ча

Сашу, бо там у них Катенька". —„Кстати, Екатерина Евсеевна, я издержала пять фунтов сахару на ваше варенье. Так не забудьте купить пять фунтов, когда пошлете Романа в город. Попробуйте этого варенья с имбирем. Это очень хорошо для желудка, мне его прислала Марья Павловна Кулябко. Она мне сродни по Ворожейкиным". —„А у меня просьба до вас, Екатерина Евсеевна: отпустите Верочку и Сашу погостить у меня только на три дня". Я при этих словах прыгнула, как кошка и объявила свою радость Амалье Ив[ановне] в уверенности, что нас отпустят. Она завязала в узелок мои вещи, а Вера Ив[ановна] уложила свои в сундучок, привезенный еще из Москвы.

Карета Елизаветы Сергеевны была на высоких рессорах и качалась, как люлька. Когда мы уселись, началось маханье платков. У брода начались расспросы, нести ли нас на руках или переехать в карете. Ничипорка... [4 слова нразб.] сказал, что опасности нет. Девке, которая сидела на запятках, велели крепче держаться за кисти, и карета пошла прыгать по крупным камням. Елизавета Сергеевна все время крестилась. Мы ехали крупной рысью по самой гладкой дороге. По обеим сторонам были высокие поля, освещенные солнцем. Мы остановились у церкви, зазвонили во все колокола, и навстречу вышел священник в ризе с крестом. Церковь нас поразила своим великолепием, все образа в иконостасе были в золотых окладах, мы прикладывались, и все отправились к дому. Дом поразил меня: он был вдвое больше грамаклеевского. За ужином Елизавета Сергеевна объявила нам, что на другой день мы поедем на именины к ее соседям Требинским. Именины в деревне—магические слова. И Пушкин писал:

„Уже заря багряною рукою
Выводит за собой
Веселый праздник именин".

Кажется, что мой приятель Александр Сергеевич занял это выражение у Северного рыбака, который писал:

„Уже заря багряною рукой
От утренних зеркальных вод
Выводит месяц за собой"... [2]

[illegible]омню. Для именин Елизавета Сергеевна облеклась

в серое левантиновое платье, напялила белые лайковые перчатки, на голове у нее был чепец с огромным белым атласным бантом, и вся уборка напоминала колокольню. Тетушка Вера была в белом платье с прошивками и крево. Тогда женский народ делал букли, и она надела черную бархотку, а коса на гребень à l'espagnol *). Мне надели белое платье с нескончаемым количеством мелких складок и розовый платок на шею, новые башмаки и сережки дюка со змейкой мелких бриллиантов. Мы уселись так, что девка сидела в моих ногах с корзиной абрикосов. В этом благословенном краю [они] сладко растут на чистом воздухе.

До Требинских было двадцать пять верст. Мы выехали рано, чтобы поспеть к обеду. Ничипорка стоял в ливрее на запятках. Мы отъехали шесть верст, и на самом маленьком косогоре карета опрокинулась, неизвестно как и зачем. И Селифан, когда опрокинул бричку Чичикова, сказал всего: „Вот и опрокинулась“ [3]. Но Селифан был пьян, а наш кучер не был пьян. Поднялся крик. Кучер лежал без памяти. Форейтор не смел показаться, Ничипорка стоял, как вкопанный. К счастью, прохожие крестьяне нас вывели из затруднения. Прежде всего, открыли дверцу и начали вытаскивать Елизавету Сергеевну, которая была высокого роста и уперлась ногами в противоположный угол кареты. Вера Ивановна всей тяжестью лежала на мне, а я уткнулась в корзину абрикосов и преспокойно их уплетала вместо Требинских. Наконец, кучер очнулся к великому удивлению выбежавшей дворни. Елизавета Сергеевна так и всплеснула руками, когда увидела на моем лбу шишки—то, что Пульхерия [Ивановна] называла „гуглями“. Что скажет Екатерина Евсеевна? Дала дитя на руки, а привезут ее изуродованную!“ И у нее, как у Пульхерии Ив[ановны], были снадобья. Она приказала настругать ивняка и прикладывать изнанкой к больному месту. Меня страшно баловали, т.-е. целый день закармливали лакомством. На другой день осталось только желтое пятно, а на третий день из предосторожности мы ехали шагом до брода. У брода Ничипорка велел всех нести на руках, кроме девки. Шагом мы подъехали к крыльцу в Грамаклее, и Улька закричала, что приехал дядя Александр и тетушка

*) По-испански.

Марья Ив[ановна], при них горничная, красивая Аннушка, которая говорила по-французски, и человек, Никита. Елизавета Сергеевна только успела пообедать, и об несчастном приключении не было и слова. Она отправилась восвояси.

VIII. Семья Лореров.[1]

Приезд Александра Ив[ановича] был очень неудачен. За столом Марья Ив[ановна] говорила Никите: „Не правда ли, Никита, что церковь Петра лучше нашего Казанского собора?“—„Как можно, сударыня! Десять Казанских поместятся в св. Петре.“—„Молчи, дурак, що ты брешешь? Да як ты смеешь говорить, когда господа кушают“. Напрасно Александр Ив[анович] хвалил кушанье и жареного поросенка. Это было самое утонченное блюдо в Грамаклее, и им потчевали императора Александра, в. к. Николая и, вообще, знатных людей. Недолго они погостили и поехали в Петербург. У Марьи Ив[ановны] был чудный голос, в роде голоса Зонтаг, она была хорошая музыкантша и особенно хорошо пела венецианские баркароллы: La Biondezza in gondoletti,— их всего шесть. Она играла также на флейточке. Марья Ив[ановна] была замечательная личность: она не выносила крепостного права. В ее деревне Гарни в Острожском уезде, Псковской губернии, было тысяча душ. Она любила жить независимо, не принадлежала к высшему обществу и не искала его, а любила заграничную жизнь. Всякий год она созывала крестьян и спрашивала их: могут ли они ей дать двадцать пять тысяч рублей асс. чистоганом. Они всегда доставляли ей эту сумму вперед за весь год. Она им говорила: „Перед смертью я вас отпущу на волю“.—„Живи, живи, матушка, нам у тебя и без воли хорошо“. С тысячи душ двадцать пять тысяч рублей асс., кажется, очень умеренное требование. Она скончалась в своем имении Гарни девяносто пяти лет и имела удовольствие видеть, что ее желание исполняется. А крестьяне продолжали ей платить вышесказанную сумму. Император Николай Пав[лович] проезжал мимо Гарней, любовался домом, который на пригорке и окружен садом. Красоты природы никогда не ускользали от его внимания.

Перед захождением солнца ласточки то поднимались, то опускались так низко, что крылышками подымали пыль

и оглашали воздух веселыми звуками. Они, как будто, резвились перед ночным отдыхом и потом укрывались в свои гнезда под крышей. Потом прилетал журавль под крышу сарая, поднимал одну красную лапку и трещал своим красным носиком, зазывая самку и птенцов. Дети говорили: „Журавли богу молятся. Бабушка, пора ужинать". Перекрестившись набожно, она садилась, а возле нее Карл Ив[анович] в белом галстухе, темно-зеленом жилете, таких же панталонах и в ботфортах, а мы вокруг нее с Амальей Ив[ановной] и Вера Ив[ановна]. После ужина приходил Роман со станции и передавал ассигнации бабушке. Она их клала в мешок, который висел над ее кроватью, а медь Роман вкладывал в сундук. После этого она играла в дурачки с Карлом Ив[ановичем], конечно, не за деньги и очень сердилась, когда он выигрывал.

Самое замечательное в Грамаклее была ничем невозмутимая тишина, когда на деревне умолкал лай собак, и сизый легкий дым бурьяна поднимался с земли. Крестьяне вечеряли галушками и пшенной кашей или мамалыгой. Синий бархатный воздух, казалось, пробирался в растворенное окно, его как будто возможно было осязать. Звезды с небесной высоты задумчиво смотрели на заснувшую природу. Бурьяном топят для кухни, а для топки изб делают кизяк. Паллас говорит, что бурьян состоит из пахучих трав: artemisia vulgaris—полынь,—chicorium—цикорий, verbascum nigrum, dupsachus saivestris,—dilucus mauritanicus — морковь, conium maculatum тысячелиственник—мать мачеха, althoca leonurus cardiaca, lavatera thuringiaca, erigeron camphoratum.

Трава в степях выше человеческого роста и вся испещрена подснежниками и гиацинтами,—это только весной, но производит удивительное впечатление.

У бабушки была еще дочь, которая жила в Пондике у Вороновских, но когда умерла Екатерина Ив[ановна], она возвратилась в Грамаклею. Она не была хороша, но стройна, грациозна и была необыкновенно кротка. Раз утром пришли сказать бабушке, что флотс-капитан приехал на станцию, что бричка сломалась, и он просит позволения ее починить на станции, а вместе желает ей представиться. Бабушка велела его позвать к обеду. Вошел плотный среднего роста господин, очень смуглый, с большими черными глазами и курчавыми

черными волосами с проседью. Он расшаркался, подошел к руке бабушки и сказал: „Имею честь представиться—отставной флотс-капитан Вантос Ив[анович] Драгневич. Еду в Херсон по собственной надобности". Вантос Ив[анович] ел с большим аппетитом и все хвалил. После обеда бабушка пошла в свою комнату и поручила Дунюшке показать гостю сад. Вечером он ужинал и отправился ночевать на станцию. Со станции пришли сказать, что бричка еще в поломке, и где ему обедать? Гостеприимная бабушка сказала: „Надоть человеку и покушать". И он пришел к обеду. После обеда Сидорка принес ему гитару на голубой ленте, и он пел: „Тише, ласточка болтлива" и еще „Ах, Саша, как не стыдно сердце чужое взять и не отдать". И в это время он посматривал на Дунюшку. Вечером она вместе с ним гуляла, а после ужина он сделал предложение. „Що ты, с ума сошел, что ли! У меня все дочери за людьми известными, а ты що? Да я отродясь не слыхала такого имени: Вантос Иванович, да еще Драгневич!" Бедный Вантос так смутился таким ответом, что не нашелся, чтобы ей сказать, что он из славных сербских князей и дворян. Екатерина их всех произвела в дворяне.

Утром хватились Дунюшки. Измаил пришел сказать что она села в бричку Драгневича с его гитарой и поехала в Херсон. Бабушка всплеснула руками и при сем сказала Вере Ив[ановне]: „До какого я сраму дожила на старости, что моя дочка с чужим мущиной убегла!" По приезде в Херсон, они обвенчались под благословением Дубницкого, он об этом написал, также Дунюшка, но от бабушки не было ответа. Дунюшку это так огорчило, что она заболела и умерла. Вантос перестал играть на гитаре, поставил ей памятник—разбитая урна на пьедестале; проводил целый день у праха нежно любимой жены, набожный, как все сербы, всякий день бывал у обедни и вечерни, служил панихиды. Он лишился сна и чувствовал, что он скоро с ней соединится. В последний день он принес гитару и так грустно запел вечную память, что соседи кладбища сбежались и нашли ночью его труп. Дубницкий продал его походную бричку и гитару и похоронил его возле нее. Он написал об этом в Грамаклею. Бабушку это известие повергло в страшное состояние, и она целыми ночами молилась по усопшим. Это мне сообщила Вера Ив[ановна].

Она вышла замуж за полковника Мазараки и, по смерти Елизаветы Сергеевны, получила Баратовку. Когда Н[иколай] Ив[анович] Лорер возвратился в Грамаклею, он жил во флигеле и женился на бедной девушке, которая жила у Мазаракиных. Мазараки был моряк и взял к себе сироту товарища (фамилии я не помню). От этого брака была единственная дочь Екатерина, которую имп[ератрица] Александра Федоровна поместила в Киевский Институт. Катенька после смерти дяди Дмитрия Ив[ановича] жила с Варварой Петровной у графа Дмитрия Ерофеича Сакена. Они очень полюбили ее и выдали замуж за Сталь-Гольштейна, его адъютанта.

Бабушка боялась приезда Варвары Григорьевны, но ее кротость и смирение победили ее предубеждение. Обе были очень набожны, что не было по вкусу Николаю Ив[ановичу]. Он мне говорил: „Все читают акафисты, каноны и жития святых“. Николай Ив[анович] воспитывался у Василья Николаевича Капниста в Обуховке. Наставником его детей был почтенный гернгуттер, т.-е. протестант, не придерживавшийся никаких формул, а просто христианин. Он имел сильное влияние на убеждения Николая Ив[ановича] и не чувствовал потребности святынь и не верил в чудеса, кроме повествовавшихся евангелием. Совсем иначе смотрел на эти важные предметы Дмитрий Ив[анович]. У него в детстве была падучая болезнь, и он получил совершенное излечение у Ахтырской божьей матери, куда возила его бабушка. Как ни затруднительны были путешествия, но она через два или три года ездила в Ахтырку. Обыкновенно она нас с собой возила к Андрею Первозванному. Образ был самый уродливый. Святой был похож на казака, всклоченные черные волоса, злые черные глаза, длинные усы, в красном жупане, он держал какое-то оружие в руках, похожее на алебарду наших старых будочников. Но бабушку это не смущало. Кто знает, после смерти дедушки она ездила там молиться и получала успокоение и утешение. Его похоронили возле церкви и, вероятно, и ее похоронили возле.

Мы недолго оставались у бабушки, полковник и полковница приехали за нами. У них был крупный разговор с Дмитрием Ивановичем. До нас долетали слова: „Продать хутор Ланжерону за сорок тысяч, а дом на Дерибасовской за двадцать тысяч“. Нас они увезли в Златоношь, а они были

в Одессе и Херсоне, а, приехавши в Златоношь, мы уже нашли [их] там. Не даром бабушка при нас говорила: „Надя была замужем за Осип Ив[ановичем] Россет, хороший был человек и дюка правая рука. Он оставил хоть немного денег, но довольно, чтобы им жить безбедно". Никола[й] Ив[анович] мне рассказывал, что папенька привез с собой деньги из Конст[антинополя]. Однажды герцог его просил составить компанию для ускорения торговли. Отец просил Лоде и Сикара. Они погрузили корабли пшеницею, и эти корабли должны были привезти колониальные товары. Ришелье призвал отца и сказал ему: „Mon cher chevalier! *) Я очень сожалею, что втянул вас в эту спекуляцию. Наполеон [задержал] ваши корабли. Это нанесет урон вашим капиталам".—„Mon cher duc! **) Я пригласил Лоде и Сикара, они понесут большие потери: надо поделить убытки сообща". —„Я знал, кому я доверял", сказал герцог, обнимая его. Но они удачно употребили свои капиталы, и отец мой поместил триста тысяч в Херсонский Приказ Общественного Призрения.

Златоношь—жидовское гнездо и утопает в черной грязи. Дом был большой деревянный, длинный и примыкал к саду, в котором были акации и деревья.

Мне взяли учителя музыки, он так оказался скверен, что принуждены были его отблагодарить. Маменька зашивала или шила что-то, уронила клубок и сказала Карленьке: „Подними клубок". Он подполз под стол, долго не мог его найти, а полковник его ударил в голову деревяжкой. Он, бедняжка, расплакался, и Амалья Ив[ановна] его увела. Мы переглянулись, полковница покраснела и покачала головой. Начались враждебные действия. За обедом бывали всегда офицеры, кто-то просыпал соль, полковница сказала: „Будет несчастье". В эту минуту Ося подавился костью гуся и посинел. Адъютант [слово неразб.] сидел рядом, у него были длинные пальцы, он проткнул горло, и кровь хлынула ручьем. „Мерзавец, есть не умеешь!" Клима и я мы сказали: „Нам, кроме кости, ничего порядочного не дают".—„Вы лжете!" вскрикнул этот злодей. Но он иногда

---

*) Дорогой кавалер.

**) Дорогой герцог.

любил похвастать своим чадолюбием. Поехал в Миргород и привез оттуда мне очень странные козловские башмаки, а братьям из мела или извести фрукты, такую дрянь, что они все покидали. Но к несчастью, он привез толстую книгу, называемую энциклопедией. По его мнению, она заменяла всевозможные знания. Нас никто не учил по-русски и энциклопедия осталась мертвой буквой. Мы недолго оставались в этой трущобе. Пришло приказание выступать в поход. Батарею собрали посреди площади против собора, служили молебен. Арнольди ехал верхом, а за ним вестовой вез деревяжку, как трофей.

IX. Журнал походу Надежды Ивановны Арнольди.[1]

1 февраля [1818] оставили мы местечко Златоношь. С горестным сердцем рассталась я там с матушкой и милой сестрою. Восемнадцать верст переходов, которые мы должны были сделать, я не переставала об них думать. Приехали в деревню Ремштаровку, где уже приготовлена была для нас квартира в господском доме, но хозяев не было дома. Они нарочно для этого случая уехали в гости. Дом их очень скучный и грустный, но удивило меня очень, что флигель я нашла там довольно изрядной. Впрочем, квартира сия была для нас выгодна. Приехавши, мы нашли обед наш готов. Вдруг собрались офицеры, и мы отобедали, постели наши тотчас были готовы, и, как мы поздно обедали, не хотели ужинать, а все пили чай и легли, спокойным сном уснули.

На другой день рано утром, т. е. второго февраля, вставши, по обыкновению, напились горячего, трубы прогремели, означающие сбор. Рота проиграла зарю, экипажи были готовы, мы отправились в путь шагом в м[естечко] Баландино, переход был весьма мал. Тут мы должны были ночевать и дневать. Квартира наша, хотя не так хороша, как прежняя, в ней нет ни мебелей, ни картин, ни флигеля. Однакож, довольно выгодна. Три комнаты весьма чистых. Мы здесь только не нашли полковника Лошкарева, ибо он со своим полком нам предшествует, а сегодня поутру я очень была рада слышать, что благовестят к обедне,

церковь от нас в нескольких шагах, и я ходила к обедне, удивило меня очень с началу, что не нашла там ни одной души, кроме двух нищих. Священник служил, а два дьячка пели, я узнала, что не большой был праздник св. Симеона и Анны: по той причине, верно, не было людей, и я полагаю, что сегодня торжество в. к. Анны Павловны, ибо после обедни был молебен. Теперь только девять часов вечера, но в округу легли все спать, ибо завтра рано надо выехать, и я иду ложиться.

...Оставивши местечко Баландино, ушли мы прежде роты, ехали мы лесом по прекрасной дороге, но видя, что рота нас не обгоняла, спросили у проходящих двух человек: куда мы едем? К великой досаде узнали, что мы взяли совсем противную дорогу, принуждены были воротиться, доехавши до настоящей нашей дороги, увидели, что рота уже здесь прошла, ибо дорога была очень испорчена, и мы принуждены были ехать по сей несносной дороге двадцать верст лесом. Я удивлялась пространству сего леса (куда он делся и чей был?) и воображала приятности лета и весны. Тут мы видели в самом лесу поселенную деревню, принадлежащую княжне Давыдовой, и деревня довольно велика (не Каменка ли это, где Пушкин гостил и писал стихи Адели?). Церковь также есть, местоположение совершенно картинное, между горами и лесом построены избы, а внизу, без сомнения, должна быть река. Приехали мы, наконец, в деревню Александровку, нашли роту, давно пришедшую, Иван Карлович был в большом беспокойстве об нас, посылал нарочного к нам на встречу, рад был чрезвычайно, увидя нас. Квартиру мы заняли у одного польского господина, который сам живет в Киеве, а здесь только его эконом. Мы имели три комнаты, все это: расположение дома, мебели и прочее на один польский манер, который для меня весьма не нравится. Тут мы тотчас пообедали и по причине большого переходу и дурной дороги полегли все отдохнуть, потом напились чаю, легли в постель. Тут я вспомнила, что четвертое февраля есть тот самый счастливый для меня день (а для нас, сирот, самый злополучный), в который я в первый раз увидела Ивана Карловича год тому назад. Мне живо представилось все это прошедшее время. Могла ли я тогда думать, что через год я буду с ним в походе?

На другой день обыкновенным порядком все выехали и пустились далее в путь. Мы ехали впереди роты, дорога наша была прекрасная, переход был очень мал—семнадцать верст. Мы приехали довольно скоро в деревню, называемую Любомирка. Тут подъехали мы к довольно изрядному домику, где я полагала найтить опять какого-нибудь эконома, но мы на крыльце были встречены самим хозяином, мущина польской фигуры. Пришедши в комнату, встретила нас хозяйка полька, но уж не молода и не хороша. Они оба весьма старались нас угощевать, но мне это очень не нравилось, их присутствие нас несколько женировало. Домик их хотя велик, но дурно расположен, так что их комната разделяла нас с детьми. Хозяйка очень разговорчива, рассказывала мне о своих соседях, сказала, что старинный мой знакомый, господин Поджио, живет от них в восьми верстах. Я было хотела к ним ехать, но после раздумала и день дневки осталась там, чтобы отдохнуть, и целый день проводила довольно приятно. На другой день, вставши очень рано, располагались собираться в путь, как вдруг, приходит наш добрый Фридрих и извещает нас, что кучер, наш собственный человек Тимошка, ночью бежал. Эта весть меня не столько встревожила, сколько удивила, ибо сей человек жил от восьмилетнего возраста до двадцати, был человек очень смирный, трезвый, и потому никогда не был наказан. Я долго не хотела верить, но удостоверило меня то, что платье и белье его было взято. Однако ж, мы имели при себе много лишних людей, тотчас место его занял другой, и это ничуть не помешало нам отправиться тотчас в путь. Только что я вспомнила, что он куплен нами от г-жи Поджио, имеет там родных, решилась послать к ней юнкера Поцци с моим письмом, где просить (это все влияние безногого чорта) на случай, он явится к ней, послать его под караулом в суд (зачем, сударыня?) для препровождения его к нам.[2] Отправивши посланных, отправились сами в путь. Здесь мы уже оставляли границу Киевской губ., въехали в Херсонскую, что было довольно приметно, ибо при въезде нашем в первое селение увидели тотчас большую разницу во всем, избы гораздо лучше выстроены, хлеба у мужиков изобильнее, народ гораздо смирнее и покорнее и не так груб, как польские мужики. Мы приехали

в селение, называемое Стацовка, где я была один раз десять лет тому назад, но при всем том узнала даже тот домик, в котором жили Чепелевские и где мы были, хотя он уже разваливался; здесь мы уже не нашли ни господского, ни экономического дому, а остановились в мужицких двух избах, из которых одна была довольно чиста и велика, а другая, (где) были дети, была немного сыра, но мы нашли средство помочь этой беде. Обили стены коврами и так довольно хорошо и спокойно провели ночь, а на другой день отправились в путь в местечко, называемое Андрусовка. Тут я узнала весьма приятное для меня, что деревня сестры моей Лизаньки в двенадцати верстах от нас, я ту ж минуту хотела послать ей дать знать, но заседатель, который был здесь для препровождения нашей роты, сказал мне, что уже послал по просьбе сестры, которая знала, что мы должны здесь проходить. Я с нетерпением ее ожидала и [она] в скором времени с мужем приехали. Не нужно, я думаю, изъявлять радость, которую я чувствовала, увидя их, не видавшись три года, в которые случилась со мной такая большая перемена в жизни моей.

...Приехавши в Крюков прямо на берег Днепра, где уже Иван Карлович нас ожидал, паром и шлюпки все было готово, мы немедленно вылезли с карет с детьми. Экипажи наши и большая часть людей были поставлены на большой паром и отчалили уже от берегу. А я с детьми и Амальей Ивановной сели в шлюпку. С нами была только Марийка и Наташка, добрый наш Фридрих и унтер-офицер Андрианов, а попутчики наши были какие-то два офицера и солдаты, похожие на инвалидов, и я заметила, что они все были пьяные, и, как только мы тронулись, поднялся ветер, и на место сияющего солнца покрылось небо черными облаками. Потом начинал накрапать дождик, все это меня устрашало и, чем далее мы пошли, тем более поднималась погода. И как только мы пристали к берегу и, наконец, к мосту, по которому должны были иттить с пол версты до берега, как вдруг полился дождь с ветром, снегом или градом, так что едва мы могли держаться на ногах. Я удивлялась детям, что на них это не делало никакого влияния, некоторые еще бежали и смеялись, кроме один Карленька плакал, и то я думаю, что он в шлюпке на руках у няни уснул и потом

вдруг, проснувшись, видит себя на дождю и ветре. Приставши на берег, я так устала, что в силу могла дышать, просила провести нас куда-нибудь в дом, где бы мы могли отдохнуть. Тут брат Павел Карлович попался навстречу, он удивился, увидя нас, никак не думал, чтобы мы в такую погоду могли переехать. Он проводил нас к береговому, мы вошли в маленькую избушку, где сидела одна старушка и торговала у купца русского нитки и прочие товары. Здесь во всем видна была бедность, и я просила ее позволить нам отдохнуть в ее доме, что она охотно позволила. Я увидела маленьких детей и спросила, чьи они. Она мне сказала, что это дети ее внука от дочери, которая замужем за князем Р. [слово не разоб.], он здесь береговым приставом и живет здесь, но теперь они поехали в лавки. Между тем я вижу, что и сам князь с женой и дочерью входят в комнату. Я увидела в нем тотчас обыкновенную грузинскую физиономию доброго и простого человека. Она, казалось, очень была занята своим княжеством. Погода вдруг переменилась, небо очистилось, блеснуло солнце, и я просила Павла Карловича, чтобы он нашел нам двое дрожек и отвез бы нас в назначенную квартиру, что было скоро исполнено и, хотя князь так был учтив, предлагал нам завтрак, но я не согласилась. И как мы не могли все поместиться на двух дрожках, то я прежде поехала с Сашей, а на других Павел Карлович с Клименькой и Марийка с Карленькой. Приехали на квартиру русского купца. Квартира, хотя изрядная, к счастию, хозяин был вдов, во всем доме не было женщины, только один с мальчиком здесь вертелся, дом был совсем пуст, кровати не было, где бы можно было отдохнуть. Подъехала Амалья Ивановна с детьми, с Наташкой и Гришкою. Павел Карлович с Фридрихом остались на берегу с намерением приехать на ту сторону, между тем, поднялся опять страшный ветер, а мы здесь остались без людей, без провизии и без денег. Дети просили есть, ибо уже был час, я не знала, что делать, жалела, что уехала от князя, где бы могли скорее все иметь. Я очень боялась, что Иван Карлович проплывет по такой погоде (и как жаль, что не утонул, не убил бы оглоблей станционного смотрителя, как хвастал этим сыну Льву). Не много подумавши, я заняла у хозяина денег, послала Гришку купить нам хлеба, кренделей,

просила также хозяина поставить самовар, дать нам чаю, сахару. Он так был добр, что все нам доставил, и мы пили чай с большим аппетитом. Между тем, является наш Фридрих и говорит, что он с братом по причине сильного ветра не могли переправиться на ту сторону и что видели, что экипажи наши, хотя далеко в стороне, но приблизились к берегу и хотят там выгрузиться, но брат поехал туда, чтобы дать помощь, а Фридриха прислал к нам. Я очень была рада, что имею хотя одного человека, послала его тотчас в трактир заготовить нам обед. Он нам приносит семь блюд очень вкусно приготовленные, и каждого блюда было на две персоны, и весь обед нам стал пять рублей. Я нашла, что весьма дешево. Как только мы пообедали, приехали наши экипажи, хотя с трудом, но благополучно выгрузились. Брат опять поехал к берегу, ожидая хотя немного благоприятной погоды, чтобы переехать в шлюпке к Ивану Карловичу, который там оставался в неизвестности об нас и, без сомнения, был в большом беспокойствии. Я же, видя, что ветер не утихал, отчаивалась тот день видеть Ивана Карловича, и от беспокойства была даже нездорова, легла, но уснуть не могла. Все грустные мысли и воображение были на той стороне у мила друга моего Ивана Карловича. Уже было довольно поздно, но вдруг слышу в стене стук, и Иван Карлович вбегает в комнату. Я хотела ему выговор сделать, но он сам раскаялся, что пустил нас вперед. Я узнала, что он почти ничего не ел, велела подать чай, потом он поужинал, и мы легли спать. На другой день я удивилась скорой перемене погоды, ветер совсем утих, солнце во всем пространстве сияло. Нам дали знать, что рота наша давно уже переправилась. Мы оделись, Иван Карлович уехал к берегу, а я с Амалией Ивановной поехала в лавки, чтобы купить разную провизию к дороге. Я удивительную разницу нашла в цене с прочими городами: салат, кофий все вообще здесь дешевле и всего изобильно, только я нашла здесь дороже апельсины, за десяток 2 р. 50 к.

На другой день, рано проснувшись, велела подать кофий, который нам принесла Татьяна. На вопрос, зачем не Пелагея, которая по обыкновению всегда варит одна, нам сказали, что она больна. Я тотчас догадалась, что пришло

время ей родить, ее отвели в другую избу. Я не знала, что мне начать делать, ибо мы были совсем готовы выехать. Переход наш был в двадцати верстах. Я послала Татьяну спросить ее: если она может еще проехать верст двадцать, то чтобы ехала, я же знала, что там будет дневка. Но Татьяна приходит и говорит, что она уже родила девочку, очень скоро и благополучно. Я удивлялась, как бог милостив, что он, видно, покровительствует этих мерзких, но притом несчастных тварей. Я после начала гадать, как бы избавиться ее ребенка и надо было все это сделать скоро, ибо рота ушла. Экипажи наши все мы отправили, оставили только дормез и коляску и Иван Карлович мой верхом. Я тотчас просила хозяйку привести мне такую женщину, которая бы согласилась взять себе ребенка, что я сие заплачу. Приводили двух, но обе не захотели, наконец, говорят, что сию ночь у одной женщины умерло дитя, которого она кормила, и что она, верно, согласится взять его по причине бедности, что так бедна, что умершего нечем похоронить. Ту же минуту послали к ней и появилась женщина, еще очень молода, но с нею пришла мать-старуха. Оне тотчас согласились, только оставалось узнать цену. Я никак не думала, чтобы в Малороссии, где, кажется, не известна еще теперешняя дороговизна, особливо в нанятии мамки, при том же, зная их бедность, удивилась, услыша, что спросили двести рублей. Чтобы долго не торговаться, я ей дала сто тридцать пять рублей, сдала ей ребенка, а Пелагею хорошо управили, положили в коляску, и мы поехали.[3] Иван Карлович был верхом впереди на полверсты от нас; мы выехали опять на большую почтовую дорогу, не доезжая немного до места, я удивилась, что мы обогнали все наши экипажи, так тихо они ехали, как вдруг наш Авдулка говорит мне, что на одном косогоре опрокинута была карета. К счастью, дети не ушиблись, только испугались, но карету удивительно как испортило, т. е. кузов. Одну сторону раскололо. Натурально, я испугалась за детей, жалела очень об карете и досадовала, уже сама не зная на кого, конечно, более на кучера и на Ивана Карловича за то, что не знавши кучера, поверил ему экипаж с детьми.

В Харькове мы приехали к доброму русскому купцу, который отвел нам во втором этаже две комнаты изрядные, более не мог, потому что все прочие заняты были приезжими. Здесь мы нашли сено, овес, для нас согрели самовар. Мы пили чай и легли спать. Я с нетерпением дожидалась рассвета, который нас соединит с Иваном Карловичем (вот полюбился сатана, лучше ясного сокола). Все расположились, что надо было, сделала, заказала обед, купили хлеба, который здесь очень хорош, а за обед за пять блюд по три рубли с персоны, я нашла то дорого. Квартира наша была на большой улице, где беспрестанно проезжали, проходили разного классу люди, и все более военные, и по различным мундирам можно было заметить, что разных полков. Я увидела, что пришел наш обоз, потом лазарет, я обрадовалась, полагая, что рота должна быть близко, но после этого через час еще я вижу, что наш доктор идет мимо нашей квартиры. Я наверное знала, что он нас ищет, послала к нему. Он пришел и вдруг меня испугал, сказавши, что он с Иваном Карловичем ехал на дрожках, ось сломалась, и лошади понесли. Он соскочил, а Ивана Карловича понесли далее. Но, к счастью, остановились, и он без всякого вреда соскочил с дрожек и едет верхом, а рота еще оставалась позади. Я, было, боялась, что он мне в утешение рассказал это, но увидела, что Иван Карлович подъезжает к дому бодр и весел. Рассказал, что при въезде в город повстречал графа Делона, что он его узнал, тоже помнит меня и обещал быть тот же вечер к нам. Я, было, хотела съездить в лавки, но пришедшие гости, знакомые Ивана Карловича, помешали. Первый—полковник Граббе, прекрасный молодой человек (почище вашего безногого чорта). Пузанов—брат родной тому, который женат на Дойвичевой, человек он—не дурак, но собою не авантажен, а бакенбарда его ужасна, но он удивительно нас всех полюбил, точно как родной с нами обходился, почти во все время нас не оставлял. (Этот господин должен быть в роде Ноздрева, сейчас на „ты“). Пришли и другие, и все артиллеристы, наконец, показалась наша рота, все пошли смотреть. Она прошла мимо города в селение, называемое Даниловка, расстоянием десять верст от Харькова, и мы еще тот весь день оставались в городе. С нами обедал Ган, адъютант

Палена. После обеда я поехала с Амальей Ивановной в лавки. Цены в разных продуктах никакой разницы нет с Кременчугом, хотя лавок здесь гораздо изобильнее, так что почти весь город наполнен лавками, точно, как в Одессах магазинами. Город, хотя я не успела рассмотреть, но строения есть очень хорошие, двухэтажных домов очень много и о трех есть. Улицы сухи, не так грязны, как в Полтаве. Мне очень хвалили магазин Витковского, и что там можно все найтить. Правда, что́ есть довольно хорошие вещи, как-то: фарфор, хрустальное стекло, все почти петербургской фабрики, также галантерейные вещи, бриллиантовые фермуары, но все довольно дорого, и что нам нужно было, не нашли и потому купили только на сто руб. Потом я ездила с Иваном Карловичем в Спассков трактир, где продаются самые лучшие водки, ликеры и вина. Подъехавши, мы послали позвать хозяина, он приходил, и я узнаю в нем одесского, бывшего в Андросовой лавке сидельцем. Я удивилась, видя его здесь. Он мне сказал, что хозяин трактира— его отец. Мы велели ему принести к нам на квартиру разные водки. Мы у него много купили, и он, ради моего с ним знакомства, уступил на каждой бутылке по рублю дешевле. На другой день мы расположились рано выехать, но нас задержали письма, которые мы должны были писать в Херсон (верно, чтобы взять из нашего капитала в триста тысяч внесенного в Приказ Общественного Призрения) и доверенность засвидетельствовать того же утра. Того ж утра приехал к нам граф Делон. Я нашла, что он похудел, кажется авантажнее прежнего, а более, я думаю, генеральские эполеты и ордена. Он также и мне пофлятировал, сказал, будто я ничего не переменилась. Клименьку нашел, что он очень похож на покойного, просил нас остаться этот день и быть у него, но мы учтиво отговорились. Он уехал, и к нам опять пришел Пузанов, который с нами не расставался, проводил нас в карету, и тут мы с ним расстались. Было уже семь часов. Девятого марта мы оставили Харьков, приехали на ночь в Даниловку, пошли далее в деревню князя Волконского, Веселое, двадцать верст от Даниловки. Квартиру имели в маленьком господском доме. По обыкновению было здесь все одно и то же, ели, пили. Теперь Иван Карлович мой (вас не тошнит от этого Ивана Карловича?)

пошел в баню, а я легла спать. На другой день погода была очень дурная, туман. Дорога тоже была очень дурная, какой мы еще не ехали: множество снегу сверху и под исподом вода. Мы же отсюда должны были взять дорогу совсем противную маршруту: иттить на Белгород по причине разлития реки, называемой Донец в Волчанске.

Мне говорили, что изба черная, т. е. курная, мне это не помешало, и я нашла здесь очень доброе семейство и довольно чисто, только стены черны от дыму во время топки печи. Хотя и были в избе полати, но для меня их стащили на двор, и я нашла две очень чистые лавки, где велела себе и Сашеньке сделать постель. Вечером не велела топить, а вместо их лучинушки зажгла свою восковую свечу и этим услужила хозяйке, ибо она почти всю ночь просидела возле свечи, работала, поспешая к празднику шить рубахи, любовалась, что горит свеча, да еще восковая. А муж ее, старуха мать и дети, все влезли на полати вверх и там ночевали. Я удивлялась, как они могли спать в такой жаре. Внизу была такая теплота, что я принуждена была открыть возле себя деревянное окошко без стекла. Я удивлялась простоте сих людей, точно дикой народ! Все, что они у меня видели из платья, платков, всему удивлялись. И я подарила шелковый платочек ее дитяти, но она так была рада, как помешанная, смеялась, кланялась, не знала, как меня благодарить. Наречие их так странно, особливо женщин, что я мало понимала. На другой день, напившись горячего, поехали мы далее. Одно воображение, что через несколько часов я буду в Воронеже, меня восхищало, я начинала уже забывать все ужасные беспокойства, страх, все претерпеваемые мучения, притом же и дорога была лучше. Беспокоила меня еще река Дон в деревне Самолуки, где протекает Дон.

X. Усмань[1]

Дом, в котором мы жили, был, конечно, о пяти окон: три окна в зале, одно в диванной с дверью на балкон и одно в спальне полковницы и полковника, а за этим была комната для Амальи Ив[ановны] и для меня. Этот дом был странно построен: довольно высоко, как будто в два этажа, а, между

тем, внизу ничего не было, кроме плотной бревенчатой стены. На дворе были две комнаты, которые считались кабинетом Арнольди. Далее, на дворе была кухня и огород, а налево от дома сараи и конюшни. Вправо от дома была гауптвахта, налево площадка, на которой бывал праздничный развод. Против дома была небольшая церковь, в которой никогда не служили, и перед церковью стоял юродивый в белой рубашке, подпоясанный красным кушаком, без шляпы и босой. Если ему бросали деньги, он своей длинной палкой их отбрасывал. Влево от площадки был собор. Братья мои спали в зале на тюфяках, одеяла—еще старые, одесские, парчевые, оранжевые с серебряными лилиями, но не подшитые простынней. Они утром молились с Фридрихом „Vater unser“ *). Фридрих приютился в уголке на ночь у самого ватер-клозета. А я ложилась с Амальей Ив[ановной]. Полковник обычно делал свой туалет на балконе; раздетый, он утирал себя полотенцем, брызгал, фыркал, щипцами выдергивал волосы из ноздрей, а после этого я должна была нести чай. Вижу теперь эту чашку с крышкой. Я рассказывала Гоголю про его мытье, и он это приписал генералу Бетрищеву. Нам приказано было целовать его наглую руку. Приказано было звать его папенька. Мы говорили: „Папка!“ „Что вы сказали?“ спрашивал он часто. „Мы сказали: Папаша“. Боже, что накипело негодования и злобы в наших детских сердцах! Карленька жил с Марийкой внизу, и его никогда не брали наверх. А он был болен, у него выходила кишка, и он был самый кроткий и тихий ребенок. Одна наша добрая заступница Амалья Ив[ановна] всякий день к нему ходила. Полковница заставляла меня вышивать по канве шелком и просто крестиком какой-то странный узор. Я беспрестанно ошибалась. Меня за это ставили в угол. Я к ней Амалье Ив[ановне] тихонько ходила, чтобы напиться горячего кофия, который она сама варила на камфорке и пила с густыми кипяченными [сливками]. Утром нам давали вчерашнее молоко с булкой, а на второй завтрак в двенадцать часов Арнольди сказал, что довольно с нас пеклеванного, делали тартины с маслом и редькой; он объявил Амалье Ивановне, что сыр слишком дорог. Иногда Дмитрий нам посылал тайком телятину или холодную говядину.

*) Отче наш.

Я раз слышала ужасный крик у гауптвахты. Несчастный рядовой кричал: „Ваше высокоблагородие, за то, что одна пуговица дурно пришита, пятьсот розог!“ Амалья Ив[ановна] нас увела в сад. Нас водили гулять по усманским улицам, всего была одна длинная, влево от дома. Проходили мимо окошек капитана Паскевича. Перед его окном стояла пьяная Улька. Она никогда не пила, но переваливалась с ноги на ногу и была тоже юродивая.

Он ей говорил: „Что Улька, брат мой, Федор, глуп?“ „Глуп, а будет фельдмаршалом“. „А я?“ „Ты умен, с неба звезды хватаешь, а будешь вечно капитаном“. „А знаешь ли ты, что безногий чорт закатил рядовому пятьсот розог за то только, что у него одна пуговица была дурно пришита. Попадись он мне и Бремзену, как бы мы ему с радостью закатили тысячу!“ Паскевич никогда не был в нашем доме. Бремзен стоял, не знаю где, со своей батареей, был отличный командир и человек образованный и, конечно, не мог сойтись с неучем, как наш милый отчим.

„Жаль мне деток“, говорила Улька,—„ведь он, говорят, грабит и пустит их по миру“. Ведь угадала: юродивые все знают и видят, что в доме творится. В пять часов собирались офицеры в залу, где обедали. Он à la tête de la table *), а возле него его адъютант, болван Жданов. Мы на том конце стола с Амальей Ив[ановной]. Арнольди всегда находил случай оставить братьев без пирожного. Если были пирожки с вареньем, Амалья Ив[ановна] тайком их прятала в свой ридикюль, и он их выкрадывал у нее. После обеда запрягали коляску нашими старыми лошадьми, и кучер и форейтор были в каком-то странном армяке, подпоясанные красным кушаком. Мы один день ездили к полковнику Гакебушу, где нас угощали кофием, ягодами. У них росли оврикулы, которые мы называли звездочками, и пахучий калуфер. Как попал Гакебуш из Одессы в Усмань, мне неизвестно. Они были бездетны и большие приятели Амальи Ив[ановны]. А на другой день мы ездили в лес, где рыжий мужик нам давал прекрасный ржаной хлеб и соты с медом. В лесу мы собирали грибы и ягоды. За обедом полковник рассказывал турусы на колесах о своих воинских доблестях,

*) Сидел на хозяйском месте.

потом смеялся над Паскевичем и пьяной Улькой. Ему Жданов, его лазутчик, все пересказывал. Он был красив и ловок, но очень развратен, женился на какой-то княжне Хованской. Она с горя умерла, а что с ним было, не знаю. Когда и где родился Саша Арнольди, не знаю. Для него наняли рыжую, рябую и гадкую няньку Аннушку. Осенью, когда нельзя было выезжать в коляске, мои братья обязаны были возить Сашу в санках по зале, и, не будь Фридриха, они бы ударили [его] головой о какую-нибудь мебель.

Воскресенье было для меня чистая каторга. Меня завивали, при чем маменька беспрестанно повторяла, что я — урода. Я ездила с ней в собор, где была сумасшедшая женщина, которой я боялась, и она заставляла меня подавать ей медные пятаки. По возвращении домой, приезжал на паре в дрожках хромой городничий Боголюбский поздравить с воскресеньем. (Это принято в губернских городах, и в Калуге к нам приезжали с поздравлением по чинам). Потом стряпчий [слово не разобр.], совершенно желтый, небрежно одетый и всегда в пуху, от него пахло сивухой. Вечером он оставался [играть] в бостон. [Были] какая-то старуха, которая родня какой-нибудь важной персоны, помещик Прибытков с женой, помещик Федоров с женой и дочерью, лет моих девчонкой.

Эти Федоровы были совершенные Маниловы: льстили полковнику и полковнице отвратительнейшим образом. Закатывая глаза к потолку, Федорова говорила: „Какое счастье для детей ваше второе замужество, что они нашли такого нежного и заботливого отца“. На что последовал, конечно, утвердительный ответ, а подлую девчонку мне ставили в пример благодарности и нежной дочерней любви. Мне было так гадко, что я молчала. Верстах в десяти жили помещики Болховские, они были очень горды, потому что были потомки Болховских князей (Последняя из княжен Болховских вышла замуж за мещанина этого города. Граф Блудов был тогда министром внутренних дел, она просила помощи у государя, который приказал ей выдать десять тысяч асс. Она купила домик и была очень счастлива. Sic transit gloria mundi). *) У Болховских были две дочери, и

*) Так проходит слава мира.

при них была гувернантка, француженка. Она для практики заставляла их играть комедию сочинения m-me Жанлис. Узнавши, что я говорю по-французски, от Болховских прислали звать маменьку погостить у них. Он очень сухо обошелся с Арнольди. Я играла у них в комедии „Les deux colombes“ *). Рядом с нами жил Иван Петр[ович] Бунин, который звал нас к нему на именины. Иван Петр[ович] показывал сашé, сделанное из бумаги, и на отделке вместо шелку был простой кретон. Анна Петр[овна], сестра его, была сочинительница очень плохих стихов и при сей верной оказии писала стихи брату. У них за обедом подавали буженину. Это блюдо совсем позабыто, оно очень вкусно приготовлено [с] разными специями по-старинному. Была также маринованная по-французски, по моему мнению, прегадкая, полусладкая утка. Было бланманже, и пили за здоровье дорогого именинника цимлянское. Гакебуш не посещал дом полковника Арнольди.

Вскоре получилось известие, что князь Яшвиль приедет делать смотр семнадцатой конной артиллерии.[2] Лицо Яшвиля было очень неприятное, что-то суровое и холодное, и он участвовал в страшном убийстве в Михайловском дворце. Ему очистили залу, а братьев перевели вниз. Он остался доволен и прибавил, что надеется, что государь тоже будет доволен, что его на-днях ожидают в Борисоглебске, где была батарея Бремзена, которым он был чрезвычайно доволен. Наконец, получили известие, что приедет император. Весь дом очистили, выколачивали мебель, обили новым ситцем, выписали провизию из Воронежа на почтовых тройках. Государь и князь Петр Михайлович одни поселились в доме, нас всех перевели вниз. С государем был его камердинер и метр д'отель Миллер, которому служил наш Дмитрий, к счастью, в трезвом виде. Матушка родила за две недели перед тем дочь. Государь изъявил желание ее видеть. Первая комната была завалена подковами, сбруей и прочей дрянью. Не обращая внимания на беспорядок, государь сказал: „Мы с вами старые знакомые, если ваша дочь не крещена, я хочу быть ее крестным отцом и пусть ее назовут Екатериной. Есть ли у вас ко мне какая-либо

*) Две голубки.

просьба, madame?“—„Государь я озабочена воспитанием детей“.—„Вашу дочь я помещу в Екатерининской институт, брат Михаил, как артиллерист, будет платить за нее, а этих молодцов я беру на свой счет в Пажеский корпус; кажется, у вас есть еще сын Карл-Александр—и его помещу туда же“. У царских особ особенная память. Он не забыл, что обещал герцогу Ришелье нас не оставлять. Я сделала реверанс, а братья низко поклонились. Государь выпил чашку зеленого чая с молоком и отправился отдыхать и обедать. Арнольди не было при его посещении маменьки, и [он] не был зван на обед. На другой день был по обыкновению развод, батарея Бремзена пришла и соединилась с батареей Арнольди и стала лагерем в поле вне города. Городничий Боголюбский всюду скакал во весь дух перед коляской государя, запряженной вороными лошадьми. Александр Павл[ович] любил всегда скорую езду и не терпел ожидать. В одной из польских станций явился маршалка в белых штанах, шелковых чулках и ботинках с пряжками. Снял свою треуголку с черным султаном и сказал: „Ваше императорское величество! Польское дворянство имеет честь и проч.“—„Хорошо! Волконский, пора ехать! Форейтор, запрягать!“ Маршалка сел на запятки, так что никто не видел, кроме Ильи, и [проехал] двадцать пять верст по страшной грязи, слез тайком и скрылся. Это мне рассказывал в. к. Михаил Павлович и помирал со смеху, воображая забрызганную фигуру маршалки. Вечером был смотр, и маменька взяла меня с собой в коляске. Государь подъехал к ней и сказал несколько [слов] самым противным тоном. Он был сердечкин и дамский кавалер, как выражаются губернские барышни. Во время посещения государя я видела в первый раз столовый прибор герцога Ришелье. Его было девять пудов, много vermeil *). Мне он подарил этот ящик, а мне не досталось даже чайной ложки. Полковник Арнольди был communaire и находил, что твое—мое, а мое—не твое.[3] Государь был очень доволен батареями, особенно батареей Бремзена, были лошади всех шерстей: вороные, гнедые, рыжие, саврасые, пегие.

---

*) Вызолоченное серебро.

После его отъезда все пошло старым порядком. Наступила скверная осень. Грязь была такая, что не было возможности выходить. После уроков с Амальей Ив[ановной] по ее серой немецкой книге мы сидели, как мухи, по углам и шептались, потому что у матушки были страшные головные боли, и на ее голову лили холодной водой. Наступила зима. Снег падал хлопьями так, что не видно было жизни, и не слышно было ничего. Мертвая тишина наводила какое-то чувство уныния и страха. Дверь отворилась, и вошел в комнату господин небольшого [роста], весь покрытый снегом. „Брат Александр!—воскликнул Иван Карлович:—Как я рад тебя видеть! Вот дети жены, а мои уже спят. Наденька,—брат Александр!“ Она вошла. Он ее поцеловал, и подали чай. У Александра Карловича были очень черные брови, из-под которых видны были серые глаза с весьма приятным и добрым выражением. Фридриху приказали приготовить постель в диванной. Александр Карлович был председателем Уголовной палаты в Тамбове. [Он] был человек честный, бескорыстный и всеми уважаемый. Он был женат на девице Молчановой, у которой было состояние. У него было восемь человек детей, в течение месяца они умерли от скарлатины, и жена умерла с горя. Александр Карлович нас очень ласкал, мы казались ему жалкими. Он сказал матушке, что уроки Амальи Ив[ановны] недостаточны, учителей в Усмани нет. Надо устраивать братьев в Пажеский корпус, а меня в Екатерининский институт, и предложил ей послать всех в Тамбов, оставить в его доме. Он сказал, что мы получим бесплатно приготовительное воспитание у его приятеля, генерала Недоброва. Генерал Недобров был из любимцев императора Павла, как и Аракчеев. Аракчеев был очень умен, его угрюмый и слишком строгий характер не был в уровень с его умственными способностями. Сенатор Боратынский тоже был в числе любимцев в. к. Павла Петровича. Недобров получил две тысячи душ, большая часть имения была в Васильевке Моршанского уезда, а в Кирсановском уезде, богатом дубовыми деревьями, была маленькая деревня Вельможка, где был маленький дом. Александр Карлович видел наше грустное положение, нас очень ласкал. Он привез из Тамбова ящик конфект и дал его Амалье Ив[ановне] для нас, и у нас сердце ёкнуло. Он оставался не

более недели и перед отъездом сказал, что Амалья Ив[ановна] не в состоянии нас приготовить: меня к вступлению в институт, а братьев в Пажеский корпус. По-русски меня учил также юнкер Коднев, очень ученый и добрый молодой человек. [Александр Карлович] предложил матушке переехать весной в Тамбов, остаться в его доме, а он нас повезет к генералу Недоброву, у которого есть гувернер—немец, очень добрый и ученый, а его жена—гувернантка его маленькой дочери, которой десять лет. После его отъезда конфекты были конфискованы, ими пользовались Манилова-Федорова и ее противная дочка.

Весна была ранняя и прекрасная. Арнольди распоряжался батарейными лошадьми, как своею собственностью. Кучера выезжали четверкой и шестериком. Мы немало поплакали, прощаясь с доброй Амальей Ивановной, Карленькой и Аркаденькой, ему было шесть лет только. Я сидела в дормезе с маменькой, а братья в четвероместной карете с Пашкой. К моему ужасу я проснулась в четвероместной карете, и возле меня мерзавец. Дверца была открыта, я вышла и позвала Пашку, которая сидела на запятках. Мерзавец поместился в дормез, и таким образом, я доехала с братьями в Тамбов. Александр Кар[лович] нам обрадовался. Я спала одна, а в другой комнате Пашка, и дверь была немного отворена, я спала всегда очень крепко, проснулась с ужасом: возле меня лежал мой заклятый враг. Я вскочила и позвала Пашку, легла возле нее, и она заперла дверь на задвижку. Пашка мне сказала: „Я все расскажу Александру Карловичу“. На другой день я слыхала, что Александр Карлович ему сказал: „Ведь это уголовное дело, если ты еще тронешь Сашу, я же ее научу придти ко мне с жалобой и угоню тебя туда, куда Макар телят не гонял. Я слышал, что ты кому-то хвастал, что убил станционного смотрителя оглоблей, если бы ты это сделал в моей губернии, я бы без суда повесил [тебя] на первой осине. В нашей семье порядочных только три брата: Петр, Павел, да я. Осип с детства был дрянь и бегал за девками, и ты был всегда жаден, зол и тоже бегал за девками. Отец наш был бедный, но честный человек, а ты не мало горя ему причинил. Что ты хвастался своей деревяжкой! С двенадцатого года немало русских ходят на деревяжках; у Дризена отняли

ногу до бедра, у Кульнева вся нижняя челюсть повреждена; он этим не хвастает. Берегись ты у меня, я пугать не люблю". Мы беспрестанно подходили к Александру Карловичу, его целовали, даже его руку. С каким восторгом мы сели в карету с ним, когда поехали к Недоброву. Прощаясь с маменькой, мы ей целовали руку и при ней мы все сказали: „Прощайте, Иван Карлович", поцеловали Пашку, которой велели как можно лучше прятать фунт конфект, которые Александр Карлович нам дал.

XI. У генерала Недоброва.[1]

Генерал Недобров принял нас очень ласково, сказал, что надеется, что нам будет приятно жить у него, и, оборотясь ко мне, сказал: „И ты, моя миленькая, будешь неразлучна с моей Варей, которой десять лет". Василий Александрович был довольно высокого роста и плотный, волосы его были совершенно седые. Васильевка меня поразила своим великолепием. Большой дом был в два этажа, под зеленой крышей, окружен садом и цветниками, влево от дома был большой каменный домик, под красной крышей. Там жил гувернер, племянник генерала, сирота Данила Недобров, трое братьев Боратынских: Ираклий, Лев и Александр, сын гувернера и мои братья. У них была своя прислуга, туалет их был очень аккуратен, их купали в холодной воде, на это было несколько ванн. В большом доме жили две взрослые дочери Василия Алекс[андровича],— красавица Екатерина В[асильевна] и Надежда В[асильевна], весьма приятной наружности смугляночка, очень живая и веселая, жена гувернера с дочерью Варей и я. Против дома была церковь во имя св. Петра и Павла, главы были позолочены, внутренность была восхитительная, все образа в золотых окладах, ризы священника и дьякона были богатые, в церкви был паркет, на одном крылосе пели женщины и девки, на другом мужчины. Церковь набивалась битком крестьянами и крестьянками, многие стояли на паперти. Богослужение отправлялось с возможной торжественностью, никому в голову не приходило сидеть. В будни все собирались в большую залу, где уже был накрыт стол, на котором лежали груды тартин с маслом, разного печенья,

кренделей, подковок, самовар уже кипел. Василий Алекс[андрович] входил в залу и читал громким и твердым голосом утренние молитвы, я слушала рассеянно, потому что, кроме „Vater unser", никакой не знала. Потом Василий Александрович и все становились на колени, он читал молитву поминания дрожащим голосом и всегда поминал покойную жену и императора Павла. Он уходил один с Варей пить кофий у себя на балконе против церкви, где покоился прах его жены. Я не знаю, кто она была. А его старшие дочери разливали чай и кофий для прочих. Три повара работали на честную компанию, у которой от весеннего живительного воздуха был волчий аппетит. Потом все отправлялись учиться.

Читателю может быть любопытно узнать некоторые подробности о семействе Боратынских. Их род, говорят, происходит от князей Барятинских. Мать их была девица Черепанова, одна из лучших воспитанниц Смольного монастыря. Когда ее старшего сына Евгения отдали в солдаты, она помешалась и не выезжала из своего имения. Евгений был камер-пажем, задолжал и просил дядю, сенатора Боратынского, дать ему денег. Старик ему отказал. Когда тот ушел, в отчаянии юноша увидел золотую табакерку с алмазами его дяди и продал ее, вероятно, за бесценок. Дядя не пощадил красивого и даровитого племянника, его разжаловали в солдаты и послали в Гельсингфорс. [2] Там он влюбился в Аврору Карловну Шернваль и писал ей свои первые стихи. [3]

„Выдь, дохни нам упоеньем,
Сопременница зари.
Всех
Оживи и озари.
Сердце юноши не сводит", далее не помню [4].

Пушкин был самого высокого мнения о его поэтическом даровании и уважал его как человека.

В Васильевке был биллиард, и в ненастные дни молодые люди играли на биллиарде.

После смерти жены генерал Недобров посвятил себя добрым делам. Как образованный человек, он хотел, чтобы дети его соседей получили образование. У него был доктор. Для крестьян больницы не было, но при церкви была

комната, куда помещались те больные, которым нельзя было лежать дома. Обедали в четыре часа и после обеда катались на линейке или гуляли особенно в дубовом лесу, собирали грибы и поддубные орешки, из которых делали чернила. В свободные часы он сидел задумчиво, и с ним Варя. У нее была комната, на полках были всевозможные сервизы чайные и столовые и куклы большие, одетые, у которых был туалетный стол, была кукла в колыбели.

Я с ней тут часто сидела, один раз она меня спросила: боюсь-ли я исповедываться? Я вытаращила глаза и спросила ее, что такое исповедь. „Как, ты не знаешь? Надобно остаться одной с священником и говорить ему все свои грехи. Мне было семь лет, когда я в первый раз исповедывалась и надобно было говорить правду, что я шалила, дурно молилась богу, сердилась, это называют „быть на духу“. Когда будет пост, ты научи Пашку, и ты будешь исповедываться и разговляться, а до семи лет приобщают детей без исповеди“. Я все это намотала на ус.

В Васильевке был домашний оркестр, и в воскресные и праздничные дни были танцы. Александр Карл[ович] был влюблен в Екатерину Васильевну и откалывал с ней казачка (так выражались в Васильевке). Левушка Боратынский и я танцовали в костюме matelote *), я не помню теперь, как и что это за танец, а Варя очень хорошо плясала русскую с Александром Боратынским. Василий Алекс[андрович] всегда присутствовал и приходил в восторг, когда его любимая дочь Варя плясала русскую в сарафане и повязке. Два раза мы ездили в Вельможку на линейках, веселая компания всю дорогу пела русские песни: „А я в три косы косила“, даже камаринскую, „Ай Феня, Феня, ягода моя“, „Шла с царева кабака“, „Деревня наша хороша, только улица грязна“.

На траве расстилали ковры, все садились, а лакеи, повара разносили холодные блюда, паштеты, жареные курицы и прочее, даже подавали цымлянское. Зачем и вызывать из Франции виноделов из Шампани [6 слов не разобрано]. О, русские неряхи!

---

*) Матросский танец.

XII. Переезд в Петербург. [1]

Поздней осенью нас повез Александр Карлович в гадкий Усмань, где он объявил Ивану Карловичу, что женится на Екатерине Васильевне Недобровой, старшей дочери генерала Недоброва, и берет за [нею] тысячу душ и прекрасное приданое. Он был очень холоден с полковником, остался всего три дня, очень нас рекомендовал Амалье Ивановне, даже поцеловал ей руку. Я воображаю, что Арнольди скрежетал зубами.

Нам очень обрадовалась добрая старушка, Карленька и Аркаденька, потом рассказам не было конца. Опять учила немецкие слова по серой книге Амальи Ив[ановны], слово [не разобр.] мне не давалось. Молились опять „Vater unser", братья с Фридрихом, я с Амальей Ивановной, ездили к Гакебушу и в лес к мужику.

Наступили трескучие морозы. Дмитрий начал пить, его по обычаю привязали к дереву и обливали холодной водой. Можно себе представить его крик. Я не понимаю, что он остался у этого изверга, а не последовал примеру Тимошки, которого никогда не отыскали, славу богу! У Арнольди была старая моська, которую я любила, у меня был поплиновый капот с бархатным воротником, его переделали для Кати, которую я очень любила. Она начинала говорить, и ее мамка говорила, что Катя „гуторит". Я нарядила моську в этот капот и пустила на грядки, можно себе представить, в каком виде явилась моська в этом капоте.

Не помню, в какой пост полковница пила кофий, то с миндальным молоком, то белое молоко из фунтовых орехов, то из белка; за обедом был суп [1 слово не раз.], пирожки, начиненные грибами, на пирожное левшанки с вареньем или оладьи. Она на неделю поехала в монастырь, игуменью звали Анфиса Павл[овна]. Она была еще молода и очень хороша собой. В монастыре была схимница, ее черное платье было покрыто мертвыми головами, костями на крест и хоругвями, все это было вышито. Она наводила на меня страх. Уроки Вари не были забыты. Я сказала игуменье что [мне] минуло девять лет, и я ни разу не исповедывалась и не причащалась со смерти моего отца, что хотя он был

католик, но очень часто приобщался, мне было шесть лет, когда он скончался, и что мать моя не служила по нем панихиду. Просила исповедываться, по отце у обедни отслужить панихиду. „С чего это ты взяла?“ сказала мне полковница. „У Недоброва всегда так делали“. Игуменья ей выразила свое удивление, сказала, что один пост не загладит грехов и пригласила ее более часто приезжать в ее монастырь. „Вы можете в Усмани найти духовника“. Раз я слышала необыкновенный и унылый звон колоколов в соборе, мне сказали, что умер священник, и всегда так звонят при смерти духовного лица.

К весне начали все укладывать, и все отправились в Грамаклею. Бабушка и Амалья Ив[ановна] плакали, а я слышала, что бабушка сказала, что выменяет образ Иосафа. Тут был опять крик и шум, спор с дядей Дмитрием Ив[ановичем], и нежные родители поехали в Херсон. Дубницкого уже не было на свете, а в Херсонском банке Арнольди всех разругал впух и впрах и взял сто пятьдесят тысяч из нашего трехсоттысячного капитала. У бабушки оставили Карленьку, Катю и няню их, и Марийку, а Палашку взяли с собой. Бабушка с Дмитр[ием] Ив[ановичем] и его женой Верой Ив[ановной] жила в Баратовке, после смерти Елизаветы Сергеевны. Приезжал только Илья Ив[анович] Чепелевский, привез бубликов из Виски и очень хвалил бабушкины сосиски. К светлому воскресению пекли пасху, что по-русски кулич, в нее вкладывали маленькие кусочки очищенного миндаля, что давало особо приятный вкус, конечно и то, что у нас пасха, было необыкновенно вкусно, а писанки были гораздо милее красных яиц. Их крестьянские девушки окрашивали зеленой краской и делали на них красные глазки с белой каймой. Опять такой же обед и ужин, все в довольстве, а не с гнусным ругателем Арнольди. Где были Арнольди, я не знаю. Вероятно, в Крыму и в Бессарабии отвоевывали Куяльники по процессу с Капнистом. Поздно осенью они приехали и сказали, что мы едем в Петербург. Антоний Ефимович Вороновский просил, чтобы отвезли с нами его старшего сына Митю и передали его в Москве в семейство Прудниковых.

В большой карете ехал полковник с супругой, а напротив Клима, Митя и я. На козлах сидел крепостной

Богдан, его закадычный друг. В четвероместной карете Арнольди, Оля, Катенька и рыжая рябая девка Аннушка с маленьким Сашей Арнольди. Она знала, как угодить господам, и говорила, что мы дразним Сашу. Мы ехали то на колесах, то на полозьях. После 1812-го года беглые солдаты укрывались в лесах, тогда дремучих (Увы! вот она жизнь! Гоголь вздыхал и говорил: „Леса рубят без толку, реки мелеют и климат все суровее“).

Однажды в лесу послышался свист, кучер наш стал ехать почти шагом и сказал, что лошади стали. Свист не переставал, кто знает, тут, может, была шайка капитана Копейкина и Дубровского. Емельян по обыкновению был пьян. Арнольди вышел и сказал кучеру: „Если ты тотчас не поедешь во всю прыть,—ты видишь эту деревяжку,—я сам убью тебя костылем“. Мимо нас проехала коляска во весь дух. Пожидор вышел из тарантаса на воздух. У Пожидора на козлах сидел его младший сын Митька, которого он очень любил. Мы благополучно приехали в Москву и остановились в доме родных Ив[ана] Кар[ловича],каких-то Геевых. Дом был маленький, грустный. Тут мы остались три дня и поехали в Петербург, тащились неделю то на полозьях, то на колесах по бревенчатой мостовой. Приехали в феврале и остановились в доме Галкина на углу Малой Морской и Большой Миллионной. Потом поехали к его родным, доктору Миллеру, женатому на девице Циргольц. У нее были две сестры—Елизавета Ив[ановна] и Дарья Ив[ановна]. Арнольди строил куры Дашеньке Она была недурна, он ее колол в боки, прищелкивал языком и припевал, поддерживаясь на своей деревяжке: „Все на свете можно, только осторожно“. После обеда [3 слова неразобр.] говорил, что у него изжога и пил клюквенный морс. Жена Миллера была в чахотке. У них было два сына, один был похож на лягушку. У них был гувернер Шнуллер, он написал очень дельную книгу об России и знает ее лучше русских бар. Она напечатана в Петербурге. Циргольцевы были знакомы с Гречем и Фаддеем Булгариным. Арнольди читал „Выжигина“ и очень ценил этого подлеца. Говорил, что зачитывается „Северной пчелой“, а особенно фельетоном Бранта. Пушкина он в грош не ставил, говорил: „Скверный, вольнодумный мальчишка!“ Вот вкус!

Я сидела у окошка с рябой Аннушкой и заметила, что все девочки гуляли в синих капотах и розовых шляпочках и, признаюсь, им завидовала, вспоминая, что у меня красный мериносовый капот и старая соломенная шляпка. Но приехали две девицы Циргольц, они сказали, что у Чуркина в магазине продаются черные касторовые шляпки с перьями и что это с красным капотом будет очень хорошо. Маменька меня повезла к Чуркину на углу Невского проспекта и Гостиного двора. Его лавка мне показалась каким-то раем. У него были шляпки, духи, помада в белых банках, платочки, перчатки всех цветов и работные [sic] ящики. Я то и дело просила маменьку купить мне что-нибудь. Купили черную касторовую шляпку и перчатки. Дяденька Николай Ив[анович] служил тогда в Воронеже [?] и был в отпуску. Он всегда был человек светский, то, что бабушка называла „балагур“. Он очень любил вести под руку красавицу сестру, а я шла возле них и замечала, что на матушку смотрели со вниманием.

Когда мой туалет выгладили, надели на меня красное ситцевое платье, завили меня барашком, надели серьги, подаренные мне герцогом, повезли меня к Цициановым. Их дом поразил меня своим великолепием: большая зала с колоннами, мебель, обитая светло-голубой материей, занавеси той же материи, затем гостиная, тоже голубая; на диване сидела длинная, сухая фигура женщины, Варвары Егоровны. Она хотела меня приласкать, но строгий вид ее меня смутил. Она мне сказала: „Поди, душенька, к тетеньке Анне Дмитриевне“. Анна Дмитриевна была чудной, самой аристократической красоты, она занималась живописью, повела меня в молельню бабушки. Это был уголок у ее спальни, весь наполненный образами в золотых окладах и украшенных драгоценными каменьями. Под образами горела и день, и ночь лампада. На тарелке были конфекты, княжна дала мне одну розовую с портретом какого-то воина и повела наверх. Там сидела княжна Елизавета Дмитриевна, Машенька Мутковская и брат ее Иван Сергеевич, арапка Фетинья в гороховом мериносовом платье и в чалме, она была мила, грациозна и танцовала прекрасно, была тоже экономка Каролина Ивановна Витлих и ее племянница Катенька Эвспиус. Каролина тотчас начала мне приносить из кладовой всякую всячину.

XIII. В Екатерининском институте [1].

В марте месяце приехал граф Ланжерон из Одессы и подарил мне большую куклу. Мне купили сундучок, в который уложили красный стомматовый капот, платье и две перемены белья, пока приищут казенные в мой рост, и мы подъехали в подъезду того приюта, откуда я столько лет не выходила, в котором я была совершенно счастлива шесть лет. Нас ввели в гостиную начальницы, маменька очень плакала, рекомендуя меня, я же не проронила ни слезинки. По приказанию начальницы явилась пепиньерка M-lle Schlein которая меня повела в пустой дортуар, в котором стояли пюпитры и кое-где сидели девицы моих лет и моложе меня. Это были новенькие для формирования девятого выпуска. M-lle Schlein сказала девочкам, чтобы они со мной познакомились. Пошли расспросы и рассказы о том, что меня ожидает в течение дня, узнали, что я Сашенька Россет. Я не обедала дома и должна была ждать черный хлеб с солью, который раздавали тем, которые не пили чай у классных дам. Добрая M-lle Schlein меня напоила чаем, после чаю мы играли, потом меня немного проэкзаменовали и сказали, что я буду в первом отделении, потому что хорошо читаю по-французски и по-немецки. Потом ужинали и после молитвы легли спать. В постели я вспомнила добрую Амалью Ив[ановну], бабушку и плакала, но заснула крепким сном до звонка, в который беспощадно звонил солдат. Его звали „курилка“, потому что его обязанность была курить смолой в корридорах. Мало-по-малу число новеньких дошло до ста тридцати, и перестали принимать новеньких. Класс был сформирован, и первого августа явились учители. В понедельник, в девять часов законоучитель, священник с какого-то кладбища, который был рассеян и немного помешан, никого по-имени не знал, а вызывал прозвищами. Была одна „курчавая“, другая „белобрысая“, „маленькая“, „большая“. Если кто урока не знал, он говорил: „Поди, стань на дыбки“, т.-е. на колени. Мы учили наизусть катехизис митрополита Платона и священную историю, кажется, его же. В половине одиннадцатого в классе отворяли форточку, и мы ходили попарно, молча, в корридоре (не смели разговаривать). Потом приходил учитель географии Успенский. Он всегда был

пьян, но хорошо знал свое дело, и мы любили его урок. В двенадцать часов обедали. По милости нашего эконома, обед наш был очень плохой; суп, подобный тому, который подали Хлестакову, разварная говядина с горохом или картофелем и большой пирог с начинкой моркови или чернослива. Вторым—размазня с горьким маслом и рагу из остатков. Картофель в мундире был самое любимое блюдо, но увы, порция горького масла была самая маленькая, из-за нее были торги или споры. Питье было весьма кислый квас, из которого два раза в неделю делали гадчайший кисель. Картофель уносили по уговору с Крупенниковой в кармане или в подкладке наших салопчиков, а Крупа жарила этот картофель в печке и разносила, когда дама классная уходила в свою узенькую келью, оставляя из предосторожности дверь полуоткрытую. Моя классная дама была родом англичанка хорошей фамилии, M-lle Walsch, а я у нее пила утром и вечером чай. Маменька ей платила десять рублей в месяц. Чай был хорош, с свежим молоком и сухарями из лавочки. Их приносил Никита, рябой, хромоногий инвалид, наш большой приятель, он в лавочке покупал нам фунтовой белый хлеб, мед, пряники и леденцы. Наши другие учители были очень плохи: некто Гронский для перевода с немецкого, Тимаев для переводов с французского. Два учителя рисования, Шеман, вечно пьяный, учил рисовать цветы, а Фарофонтов: добрый и почтенный старик,—фигуры; старик Слонецкий—учитель истории и арифметики, Эртель—немецкого языка. Я брала уроки на фортепиано у M-lle Nagel, французской эмигрантки, играла les exercices de Cramer *) и маленькие сонаты Плейель. Учительница танцования была M-lle Слонецкая, дочь нашего учителя. M-lle [слово не раз.] была очень добрая и умная старушка, и, как много французов, никогда не могла выучиться говорить по-русски. Всякое утро она говорила своей девушке: „Christine, петикок“, т.-е кипяток. Очень любила делать покупки в Гостином дворе. Ей нужен был гребень. Она спросила, как называют un peigne, ей сказали гребень. Она все повторяла „гребень“ и, пришедши в лавку, спросила „грабди“. „У нас, сударыня, нет. Это в Щукинском“. Но она увидела гребень, ужасно рассердилась и показала, как чешутся. Наконец, купила и пришла

*) Упражнения Крамера.

очень довольная. В нижнем корридоре жили также графиня Rosalie Chaillet, премилейшая особа, M-me Küchelbecker et Mathilde de Meron, которая прекрасно пела. Она была персона светская и часто ездила на вечера к банкиру Бергику. В корридоре жила еще загадочная личность, которая никогда не выходила из комнаты. Потом говорили, что она никогда не могла родить, и что в ней жило дитя, и она так страдала, что доктора решились сделать ей операцию, вследствие чего она умерла. Но все это делалось ночью, и мы только после похорон ее узнали, что никого нет в ее комнате. Еще была в корридоре комната для приватных уроков, в ней собирались наши учители. Наша начальница была госпожа Брейткопф, родом из Бельгии, католичка. Ее рекомендовал брат ее, доктор Парис, врач старой и богатой княжны Шаховской. Maman Breitkopf была женщина замечательного ума и больших достоинств, один ее вид вселял в детях уважение и любовь, потому что она понимала детство и любила нас. Муж ее, почтенный старичок, жил в конце корридора, а ее дочери жили возле нее. Она была большая охотница до цветов, в свободные часы мы помогали ей поливать цветы, пересаживать, сеять и очищать грядки. Для своих милых и хорошеньких дочерей M-lle Nathalie и M-lle Emilie она построила в конце сада домик в две комнаты. Не всем позволено было подходить к этому заветному месту, полному поэзии. У окна, полузанавешенного кисейной гардиной, висела клетка с канарейками, которые пели свою веселую песню. Цветы в корзинках, прекрасный рояль для M-lle Emilie, пюпитр, пред которым сидела M-lle Nathalie и писала масляными красками. Обе сестры были просто одеты в чистенькие ситцевые платья. Из отворенной двери обдавало запахом цветов. Я всегда думала, что в таком скромном домике счастье обитает.

Классы еще не сформировались. [2] В этот день я успела познакомиться с некоторыми девицами и меня посвятили во все тайны, сказали, что надобно непременно обожать кого-нибудь из больших, сказали, что есть противные учители, а дамы классные „кошечки“. Одним словом, так приготовили меня, что на другой день я встретила одну девицу, она мне понравилась, я узнала, что ее зовут Делия Потоцкая, и начала ее обожать, т.-е. подходить к ней в корридоре и говорить:

„Ангел мой, я вас обожаю". Делия была, действительно, очень красива. У нее были прекрасные алые губы и восхитительные черные улыбающиеся глаза. Ее сестра Пелажи была брюнетка и, по правде сказать, еще более красива. Пелажи вышла замуж за Сангушку, а Делия за пана Млодецкого, и когда привезла сына в Петербург, часто бывала у Плетнева, который уже был учителем с седьмого выпуска в институте.

Летом нам давали ягоды. Я забыла, что у меня была в детстве перемежающаяся лихорадка, очень обрадовалась клубнике, и вследствие этого у меня сделалась лихорадка. Я была уже более двух месяцев в лазарете, и доктор не знал, что делать. Императрица Мария Федоровна приехала из Павловска и спросила у меня, отчего я больна. Я ей сказала, что мне доктор в Одессе давал рвотное, а потом что-то горькое, и лихорадка проходила. Она велела написать матушке, которая прислала рецепт, и после трех приемов хины лихорадка прошла и более никогда не возвращалась.

Я поступила в первое отделение маленького класса. Учителем французского языка был эмигрант M-r Charles de St. Hilaire, его очень любили и уважали. Мы писали под диктовку, и St. Hilaire очень удивился, что не нашел ни одной ошибки ни у меня, ни у княжны Стефани Радзивилл. Я сама не знаю, [почему] я правильно писала. Учителем русского языка был Василий Ив[анович] Боголюбов. У него был рот до ушей, уши ослиные, он заставлял учить наизусть самые скучные стихи. Говорил, что басни Крылова просто дрянь в сравнении с Херасковым. Вот басня, от которой он был в восторге.

На зелененьком листочке
Червячок во тьме блистал.
Змий поспешно прибегает
И невинного пронзает
Жалом гибельным своим.
„Что я сделал пред тобою?"
Червячок, упадши, рек.
„А зачем блестишь собою?"
Змий сказал и прочь потек.

Вообще, выбор учителей не был удачен, но всех хуже, конечно, был священник. К нам приезжал полупомешанный старый священник с какого-то кладбища. Мы зубрили

Платонов катехизис и поступили в большой класс. Там нам дали другого священника, который скоро помешался, с ним мы, однако, выучили наизусть литургию, „Книгу премудрости Сираха“, составленную придворным священником Мансветовым. В большом классе учителем французского языка был М-г Bordé, пустой и дрянной французишка, человек, лишенный вкуса, и мы даже не знали лучших стихов Расина и Корнеля, а повторяли стихи из [8 слов не раз.] и Буало. Зато учитель русской словесности был Петр Александрович Плетнев, которого все любили и уважали. Так как учитель истории Слонецкий возбуждал только смех, то для новейшей и российской истории его также заменил Плетнев. Учитель физики, естественной науки и астрономии был почтенный и красивый старик, аббат Делош. Императрица так его уважала, что всегда подавала ему руку и говорила ему: „Mon cher abbé, * мне очень жаль, что вы отказываетесь давать уроки в Смольном“. У нас была пневматическая машина, электрическая машина и лейденские банки. Мы делали опыты. Делош приносил листки, исписанные прекрасным сжатым почерком. Мы их переписывали, и когда он приходил, повторяли урок в продолжении трех четвертей часа, а остаток времени заполняли вычислениями. Курс был достаточно сжатый и легко усваивался. Учитель географии Успенский был очень ученый и умный человек. Мы учились по карте, путешествовали, и в главных городах он сообщал нам сведения о состоянии города, о числе жителей, о промышленности и торговле, а мы записывали в тетради. Учитель немецкого языка был Herr Mellina. Он нас познакомил с лучшими германскими поэтами. Я и теперь повторяю стихи, которые выучила у Mellina. Мы начали с Маттисона и Hölty, которых теперь никто не читает. Знали и Hans Sachs, Schuhmacher, Гете, Грильпарцера и Шиллера:

„У бедных пастырей в селенье
Являлась с каждою весной
При первом жаворонка пеньи
Девица чудная красой.
Где родина сей гостьи милой,
Отколь пришла—никто не знал,
Девица скоро уходила,
И след прелестной исчезал.

*) Дорогой аббат.

XIV. Учители и подруги. [1]

Наш день начинался в шесть часов зимой и летом. Наши слуги были инвалиды, которые жили в подвалах, женатые, со своими семьями. Тот, который звонил, курил смолкой в корридорах. „Курилка“ звонил беспощадно четверть часа, так что волей-неволей мы просыпались. После моей продолжительной лихорадки доктор сказал, что мне надобно позволить спать до семи часов и обедать у начальницы для подкрепления, что было весьма приятно. Мы все были готовы в половине восьмого и шли молча попарно в классы. Были три отделения, и каждое в особой комнате. У дежурной классной дамы была тетрадь, куда она записывала малейший проступок в классе. Дежурная девица читала главу из евангелия, а потом воспитанницы разносили булки, за которые родители платили даме классной десять руб. в месяц, пили уже чай с молоком, а прочие пили какой-то чай из разных трав с патокой и молоком. Это называлось „декоктом“, и было очень противно. В девять часов звонок, и все должны были сидеть по местам в ожидании учителя.

В понедельник был новый священник Смирнов. С этим мы прошли ветхий завет пространно и остановились на Сауле. Когда он приходил в четверг и спрашивал: „Девицы, где мы остановились?“ „На Сауле“, и он опять начинал историю Саула. Так продолжалось около шести недель, и получили известие из Смольного, что бедный Смирнов помешан. В Смольном его заменил весьма замечательный священник Недешев, переведенный из Ревеля, а нам объявили, что нашим законоучителем будет Василий Михайлович Наумов. Он был из Филаретовых учеников. Всего оставался год до выпуска, и мы должны были выучить катехизис Филарета и толкования на четыре евангелия. Это стоило нам больших трудов. Для нового священника была квартира, назначен был дьякон Кузьма Колычев, который учил воспитанниц. Эти девушки были предметом особых забот императрицы, их в младенчестве отдавали на воспитание чухнам, которые гораздо честнее и образованнее русских крестьян и, поступая к нам, они почти не говорили по-русски. Мы у них узнали много чухонских слов и их учили говорить по-русски. Две из них спали около дортуара, мели его, делали

постели и надевали чехлы. В среду и субботу они нам мыли головы и ноги. Зимой вода была так холодна, что молоточками пробивали лед и мылись ею. В 1825 г. существовало еще библейское общество, и нас заставляли читать прескучную книгу „Училище благочестия“. К великой нашей радости вдруг взяли все номера.

Государыня очень заботилась о вентиляции, тогда не было новых способов изменять воздух. В каждом классе были две двери, их открывали, когда в половине двенадцатого мы ходили по корридору, и открывали форточку. Когда мы входили, было тринадцать градусов Реомюра. Мы снимали пелеринку, когда отогревались и, чуть делалось жарко, открывали окна в корридор. Эти окна называли фрамугами. В корридоре всегда было свежо и накурено смолкой. Когда было холодно, мы надевали большие драдедамовые платки. В двенадцать часов мы обедали. Начиналось пением трехголосного „Отче наш“, и на голодный зуб пели дурно-должны были повторять. Обед наш был самый плохой, но это была вина эконома. Экономы во всех казенных заведениях—бедовые люди. У всякого заведения был опекун. Наш был ученый генерал Клингер (он тоже написал трагедию „Фауст)“, мы ему жаловались. Сменили одного и взяли Дирана, у которого был единственный сын и было состояние, а нас кормили все также худо. Провизия не была дурная, но кухарки из рук вон небрежные, поджаривали скверную говядину с тертой des pommes de terre ou des pois *). Суп был в роде того, который подавали Хлестакову, и трапеза заключалась пирогом из какой-то серой муки и начинка была чернослив или морковь, мы ели эту дрянь и были здоровы. На первой и последней неделе великого поста в среду и пятницу нам давали похлебку, белорыбицу, от которой столовая наполнялась такой вонью, что мы кричали издали воспитанницам;—„Вон, вон“, а вместо пирогов—клюквенный кисель с сытой. Но хлеба всегда было вдоволь, и мы делали тюрю, были сыты и здоровы. Я узнала, что [теперь] часто в институтах дают картофель счетом и даже черный хлеб порциями.—Изменили часы. Мне кажется, что в то время все было правильнее устроено. Для учениц и учеников

*) Картошкой или горохом.

полтора часа сряду следить за уроком по силам, а два часа утомительно. Когда мы обедали, класс выметали, опять открывали форточку и впускали свежий воздух. От часу до двух мы ходили и учили наизусть для учителя. В два часа учитель приходил, до трех с половиной опять ходили попарно, молча по корридору. Вообще молчание соблюдалось и за отдыхом, а в пять часов ходили пить чай, а победнее довольствовались ржаным хлебом с солью. Хлеб пекли у нас в подвалах, и он был прекрасный и прекрасно испечен. Из лазарета государыня обыкновенно входила в первое отделение, она вызывала, осматривала с ног до головы, ей показывали руки, зубы, уши. Она сама убеждалась, что мы носим панталоны. Их шили из такой дерюги, что они были похожи на парусинные, а фланелевые юбки такие узкие, что после первой стирки с трудом сидели в них. Когда мы говели, после причащенья все отделения: „катечки“ и „простушки“ были собраны. Императрица приезжала нас поздравлять с принятием св. таин и увещевала нас не забывать, что мы совершили самый важный акт в этой жизни. При ней нам подавали чай с красным вином и каждой просвиру. В институте не делали шагу без ее истинно материнской заботы и любви. Ее деятельность была изумительна. Летом и зимой она вставала в семь часов, тотчас одевалась, а с восьми часов она уже занималась с секретарем Вилламовым. Он вел переписку с госпиталем и институтом. Екатерининский институт был основан в 1800 году на собственные деньги императора Павла и его супруги. Дом, кажется, принадлежит графу Воронцову и вполне отвечал своему назначению, потому что за домом был большой сад, и стена отделяла нас от Литейной улицы. Наш капельмейстер Herr Berting—персонаж из сказок Гофмана. Он так любил музыку, что даже, когда настраивал фортепиано, останавливался на созвучиях и покачивал головой,—когда мы танцовали des pas, M-r Didelot хлопал в ладоши и приговаривал: „Раз, два, три, голова ваша сюда“,—Бертинг с чувством ударял смычком по своей старой скрипке и качался на стуле. Прочие музыканты были сыновья наших солдат: Ванька, Ванька malade, потому что был всегда болен, и Васька косолапый. У Ваньки malade был прекрасный почерк, и он всегда подавал государыне рапортичку.

Начальницу M-me Breitkopf мы так любили, что точно от души называли ее maman. Наш сад был как игрушка, maman сама сеяла, сажала и пересаживала цветы. В больших перчатках она рылась в грядках, и мы ей помогали. Ее старшая дочь была замужем за Василием Николаевичем Зиновьевым. Василий Николаевич был человек известный строгостью своих правил, твердостью своих убеждений и щедростью. Он был друг Воронцова, князя Михаила Цицианова. Его сестра была замужем за несчастным Григорием Орловым. Она умерла в чахотке и похоронена в Ливорно, где скончалась. Она была красавица, и после ее смерти Орлов окончательно помешался. Говорят, что Екатерина его боялась. Я очень люблю надпись на воротах в Царском: „Орловым от беды избавлена Москва“. Первая жена Зиновьева была Дубенская, дочь духовника Екатерины. У него было шесть тысяч душ и прекрасно меблированный дом на Фонтанке, возле Троицкого подворья. Это состояние досталось бездетному Василию Николаевичу. У Зиновьева было своих две тысячи душ и под Петербургом имение Капорья, где видны развалины крепостцы. Это маленькое укрепление было, вероятно, построено каким-нибудь российским Вобаном. Я видела табакерку с изображением крепости Капорья у Зиновьева. Они там проводили лето. Зиновьев жил очень скромно, откладывая из своего дохода для составления капитала дочерям. Когда он овдовел, в память жены внес двести пятьдесят тысяч в Опекунский совет. Из процентов давали самым бедным девицам двести пятьдесят рублей асс. при выпуске. Всякое вокресенье он приезжал к обедне в институт, становился против алтаря у самого входа. Перед ним—все дети, иногда племянники его жены, Балабины. В то время не ходили в сюртуке и Василий Николаевич с утра был в белом галстуке. После обедни вся его семья завтракала у maman и опять собиралась у нее в четыре часа, играли в „кошки-мышки“, танцовали. Старшему сыну Степану было восемнадцать лет, его гувернер заметил, что ученик задумывается, небрежно учится, смекнул, что очередь влюбиться. В кого? В меня. Мне было тринадцать с половиной лет. И он перестал являться в четыре часа. У начальницы по вечерам бывали два гимназиста, Митенька и Боренька Глинка, пасынки

madame Кюхельбекер, мы с ними играли в шашки. Дмитрий теперь посланником в Португалии. Вечером Василий Николаевич угощал девиц бриошами с молоком, угощевали только тех, у которых были на руке перевязки. Ленточка была свидетельством, что хорошо училась и хорошо себя вела в течение недели.

За год до нашего выпуска скончалась maman. Нельзя выразить нашего огорчения. Мы просили, как милости, постоянных дежурств у ее гроба. Три дня покрывали ее дорогой труп свежими цветами и повезли хоронить. Мы все уныли, осиротели. По рекомендации графини Адлерберг, начальницей назначили Амалию Яковлевну Кремпину, которую с первой минуты мы не взлюбили. Она была женщина очень ограниченная, жестокая и любила подарки. Мы, конечно, звали ее m-me Krempine, Кремпуська, Крыса. Следующие выпуски хотя и звали ее maman, но никогда ее не любили. После же была Родзянка, рожденная Самарина, но она вовсе не понимала своего назначения. Тоже произошло в Смольном по смерти умной графини Адлерберг. Теперь все заведения императрицы Марии Федоровны совершенно упали. Покойная благодетельница никогда не теряла из виду своих воспитанниц. Они могли всегда найти защиту и помощь, когда приезжали в Петербург. Из ее институтов выходили искренние дочери, хорошие жены и матери.

Мы были все так дружны, что старые подруги легко обращались к тем, которых положение было выше и давало способы помочь. Княжна Стефани Радзивилл получала во дворце шестьдесят тысяч рублей с своего огромного состояния. У ее отца было сто пятьдесят тысяч душ крестьян в Польше и Литве, огромные великолепные леса в Царстве Польском, местечки Кайданы и Несвиж. Ее опекуны, князь Любецкий и граф Грабовский, сказали ей, что так как был большой долг по имению, они не могли давать больше дохода. Ее отец Доминик содержал кавалерийский полк, когда Наполеон завладел Польшей. Эти два магната только славились опекунами, а все было в руках какого-то Дмитриева, очень ненадежного человека. В счетах было выставлено, что на ее содержание в институте отпускали четырнадцать тысяч рублей, а на деле не было и трех. В воскресенье какой-то

Крыжановский приносил ей изредка пятьдесят рублей асс., а обыкновенно десять только, а к вечеру у нее ничего не оставалось. Во дворце она делала долги, девице Королевой дала двадцать пять тысяч. Пирамидова выходила замуж и просила на приданое, Лебле тоже, каждой из них она дала по десяти тысяч. Всякий день раздавалось пятьдесят, двадцать или десять рублей, смотря по тому, что оставалось в кошельке. Ее гувернантка m-me Ungebauer с ней спорила, сердилась, но Стефани отвечала: „Я знаю, что Дмитриев пользуется моими доходами. Уж лучше я их отдам бедным, чем этому негодяю". „Крыжанька", как она его называла, был честный и от него она узнала, что Дмитриев обманывает Грабовского. Чтобы дать понятие о богатстве Доминика Радзивилла, я привожу слова старика Грабовского. В Несвиже был огромный дворец, окруженный садами и парком, Одна комната была назначена для приема короля. Карниз был из лучшего серебра и самой лучшей работы; кресла, стулья, канделябры, столы—все серебряные. Мебель была обита самым лучшим малиновым венецианским бархатом, и полы устланы богатыми коврами. Знаменитые изумруды были спрятаны во время войны в стены. Куда все это девалось, неизвестно. Исчезло также серебро. Обвиняли в краже какого-то Кочинского, Маленькую Стефани привезли в Екатерининский институт, когда ей было пять лет. Она жила у начальницы. Мать ее не любила и с охотой отдала в чужие руки. Она была Моравская, и ее отдал отец шестнадцати лет замуж за какого-то Старжинского. Доминик Радзивилл в нее влюбился, и Старжинский ее проиграл в карты за шестнадцать тысяч злотых. Она, как многие польки, была не красавица, но грациозна и в высшей степени то, что французы называют séduisante *). Император Александр следовал примеру бабки и надеялся сблизить русских с поляками свадьбами. Он убедил княгиню выйти замуж за генерала Александра Ив[ановича] Чернышева. Чернышев был убежден, что он герой, что все наши победы—его победы. Между прочим, он точно первый занял Кассель. Подъезжая к Вильне, он сказал: „Ваш Александр взял Кассель". Полусонная княгиня ему сказала: „Прекрасно, m-r, возьмите Вильну и не будем более об этом вспоминать".

*) Обольстительна.

В Петербурге она сказала государю: „Ваше Величество! Можно ли развестись с мужем, который изводит жену ежедневно?“—„Бесспорно“.—„Так вот, государь, ваш Чернышев морит меня скукой“, и преспокойно отправилась в Варшаву.

Императрица любила Стефани, как свою родную дочь, и постоянно заботилась об ее судьбе. Впрочем, о ком не заботилась эта христианская и сердобольная душа? Плетнев женился очень молодым и был учителем в институте с платой тысяча рублей в год. У него была квартира, состоящая из трех комнат в Павловском корпусе, где он тоже давал уроки. Когда родилась его дочь, расходы почти удвоились. Нужна была сперва кормилица, потом нянька. Жена его хозяйством занималась и помогала няньке стряпать. Плетнев начал беспокоиться, лишился сна и нервы его расстроились. Он просил начальницу выпросить ему трехмесячный отпуск. Какой-то швед советовал ему лечиться холодной водой. Он нашел одну комнату на Охте, лечился уже два месяца и мало получил облегчения. Грустный, озабоченный он сидел на лавочке перед домом. Мимо его проехал фельдъегерь на тройке: „Вот, какому-нибудь счастливцу этот фельдъегерь везет или чин, или ленту через плечо“. Проскакав все село, фельдъегерь возвратился и спросил его: „Не знаете ли вы, где здесь живет учитель Плетнев?“ „Да это—я. Я—Плетнев“, отвечал встревоженный Плетнев. „Ее величество императрица прислала меня из Павловска, велела узнать о вашем здоровье, и чтобы вы не изволили беспокоиться. Если вам нужно еще лечиться, отпуск продлят и вы еще получите для этого пособия“. Плетнев сказал мне, что с этой минуты он вдруг начал поправляться: „Я почувствовал, что у меня есть опора, что я не какое-то ничтожество, что и мне есть цена. Великодушной государыне я обязан всей моей карьерой“.

При Кремпиной начались в институте интриги, и образовалась немецкая партия! Сама Кремпуська и наш инспектор классов Карл Федорович Герман привязывались беспрестанно к Плетневу и к священнику Наумову. Священник, наконец, вышел из терпения и объявил ему, что будет жаловаться самой государыне. Однажды, уже при императрице Александре Федоровне, в пятницу на масленой

неделе она мне велала приехать в институт. Мы сидели рядом, императрица между Кремпуською и мной. Священник вышел и сказал: „Какая у нас неделя?“ Отвечали, как следует. „Как должно проводить ее?“ „Со среды начинаются особые молитвы и коленопреклонения, а в субботу день прощения“ и прочее. „А как проводят эту неделю в свете? Утром и вечером театры и балы, а в последний танцуют с утра и до полночи“. „Дорогая моя, это камень в мой огород“, сказала государыня. Кремпина вспыхнула и сказала: „Как вы думаете, ваше величество, можно прервать экзамен?“ и сделала знак рукой. „Зачем, это и мне полезный урок. Продолжайте, батюшка. Я вижу, что девицы очень хорошо учились“. Потом экзаменовал Плетнев. После экзаменов начальница и Герман представляли учителей к награждению, но имели подлость не выставить имя священника. Императрица собственноручно написала: „Почему нет священника? Я довольна его экзаменом. Дать ему часы в пятьсот рублей и золотую медаль“. „Вот видите, Амалья Яковлевна“, сказал ей Наумов, „государыня дала вам хороший урок“. Когда после двадцатилетнего преподавания он просился на покой, императрица определила его в придворный штат. Он получил пенсию и квартиру в Запасном дворце под Таврическим садом.

Теперь я еще скажу, что когда были в Петербурге иностранные послы или путешественники, которые изъявляли желание видеть институты, то государыня сама с ними приезжала. Приезжал какой-то австрийский эрцгерцог. Он был в золотом венгерском мундире и с ним большая свита тоже в венгерских мундирах. При французском после графе Лаферроне Делош меня вызвал, и я толковала о выпуклых и вогнутых зеркалах, т. е. о законах отражения, а в ботанике-Линнееву систему: двадцать один класс, основанные на катилидонах и акатилидонах. Я у него была первая ученица, а Стефани описывала Бюффонову систему.

XV. Приезд Каталани. [1]

Когда приехала знаменитая певица Каталани [2], то и ее пение мы слышали. Государыня приехала и сказала: „Дети мои, вы услышите великую певицу, m-me Каталани. Государь окажет вам честь своим посещением. Каталани

пользуется его особым уважением". Начали приготовления, которые продолжались неделю. Вытащили белые коленкоровые платья, которые переходили из выпуска в выпуск. Марья Ив[ановна] Ветошникова, очень злая сероглазая кастелянша, которую звали „серый волк", и портной Шмидт, которого палец был култышкой, как у портного Акакия Акакиевича, примеряли платья, то убавляли, то прибавляли к талье и росту. Кушаки были красные атласные, а сзади бантом, и кушакам было по нескольку лет. Из Гостиного двора принесли козловые башмаки, а по будням у нас были опойковые. Нас всех завили барашками. В большом классе были косы под испанскую гребенку и кушаки были атласные.

Наконец, настал великий день. Наша зала была освещена сальными свечами, а на этот случай купили стеклянные рожки. Три звонка, и вошла государыня со своей свитой. Она была decolletée, на шее у нее всегда были три нити крупного жемчуга. Она ходила на высоких каблуках, переваливалась и была очень крепко зашнурована. С ней была madame Catalani в оранжевом платье и с пунцовой розой в волосах. При ней—фрейлины Екатерина Николаевна Кочетова и княжна Елизавета Григорьевна Волконская, барон Альбедиль, гофмейстер, и камергер князь Андрей Пав[лович] Гагарин, красавец. Они все зашли за перегородку. Там стол стоял с разным угощением, все блестело золотом и серебром. Освещение было ослепительное.

Два звонка, и в залу впорхнуло прелестное существо. Молодая дама была одета в голубое платье и по бокам приколоты маленькими букетами roses pompons *), такие же розы украшали ее миленькую головку. Она не шла, а как будто плыла или скользила по паркету. За ней почти бежал высокий, веселый молодой человек, который держал в руках соболью палатину и говорил: „Шарлотта, Шарлотта, ваша палатина". За решеткой она поцеловала руку государыни, которая ее нежно обняла. Мы все сказали: „Mesdames, какая прелесть! Кто такая? Мы будем ее обожать!" Нам сказали: „Это в. к. Александра Федоровна и в. к. Николай Павлович".

---

*) Мелкие розы.

Три звонка. Вошел Александр Павлович, тотчас повел рукой по своей лысине. Он был удивительно свежим и ходил прекрасно. Государыня пошла к нему навстречу, благодарила его за сделанную институту честь и сказала: „Дети мои, благодарите государя!“ и раздалось громкое: „Мы благодарим ваше имп. величество“. Еще три звонка и вошла маленькая дама в белом чепце, окутанная белым газом, в красных пятнах на лице. Она подошла к нам и спросила: „Где маленькая Радзивилл?“ и сказала ей несколько слов. „Ах, mesdames, какая противная: кто это?“ Дамы сказали, что императрица Елизавета Алексеевна. „Она точно старая гувернантка“. За перегородкой ее приняли по холодку. В. к. Михаил Павлович тогда был за границей, где и обрел вюртембергское сокровище[3], которое отравляло его жизнь. M-me Catalani пела „Sui margine de Rio“ *) и „La placida campagna“ **), два прелестных романса, которые были тогда в моде.

Неделю готовились к празднику и после неделю говорили о празднике, а все удовольствие продолжалось два часа [4]. По отъезде высоких гостей нам дали чай вместо ужина и раздавали придворные конфекты. Впрочем, нам часто государыня посылала гостинцы: когда привозили с Дона первую и лучшую паюсную икру, и для нас была доля. На святой и на масленице мы катались в придворных каретах, и в каждом кармане был фунт конфект. В лазарет для выздоравливающих из дворца привозили то, что прописывал доктор Рейнбот—виноград, желе.

XVI. Наводнение 1824 г.. 14 декабря 1825 г.. Выпуск из института. [1]

Я поступила в Екатерининский институт в 1820 году В 1824 году было знаменитое и ужасное наводнение в Петербурге. Ночью поднялся сильный ветер и продолжался двенадцать часов. Утром мы по обыкновению были в девять часов в классе. Швейцар вышел и объявил, что дрожки пришли, но учители не будут, потому что на многих улицах вода выступает. Через несколько минут вошла m-me

*) На берегу ручья.

**) Тихое поле.

Krempine, очень озабоченная, и сказала: „Возьмите тетради и идите в дортуар“. Наши солдаты жили в подвалах, и их начало заливать. Они перешли со своим добром и семейством в классы, где оставались три дня. А мы блаженствовали в дортуарах. Все облепили окна и смотрели, как прибывает вода. Наша смиренная Фонтанка была свинцового цвета и стремилась к Неве с необыкновенной быстротой, скоро исчезли все камни. По воде неслись лошади, коровы, заложенные дрожки, кареты, кучера стояли с поднятыми руками. Пронеслась будка с будочником. Дело становилось серьезным. Наконец, кто-то закричал: „Ну, mesdames, если вода дойдет до нашего среднего этажа?“ „Что вы, что вы говорите, неужели вы думаете, что императрица не найдет способа нас вывезти!“

При Петре Великом было большое наводнение, и он дал приказ, чтобы все имели большие лодки или баржи. Император приказал, чтобы ему подали его лодку, но адмирал Карцов не знал или забыл это приказание. Наконец, из адмиралтейства привезли лодку, и государь со свитой отправился в надежде успокоить встревоженное народонаселение. Полкам велено было выступать за город к „Трем рукам“, за исключением тех, которые стояли за Литейной. По церквам, где могли, служили молебны, и в двенадцать часов пополудни ветер начал утихать. Мне неизвестно, сколько людей погибло, но с той поры, благодаря богу, еще не было подобного наводнения. Многие здания были повреждены, оказались трещины во многих домах. Все хлебные магазины были залиты, и мы долго ели затхлый ржаной хлеб, пока из Москвы не подвезли свежий.

Императрица, всегда готовая подать помощь, поместила в наш институт двадцать девочек, поместила других в разные заведения. Их называли „наводняшками“. Их должны были поместить в четвертое приготовительное отделение, они почти не смогли читать. Одна из них была пятнадцати лет и неутешно плакала. Она все повторяла: „Я круглая сирота и жила одна с братом, других родных у меня нет. Я не знаю, где мой брат“. Его отыскали, и государыня его поместила в кадетский корпус. Почти все были дети бедных чиновников и немцев с Выборгской стороны и с Петербургской стороны. В этот день нам не могли приготовить обед,

и мы пили казенный чай, а вечером свежий квас, как ужин. На другой день утром Фонтанка была ниже обыкновенного и покрыта досками, собаками и кошками.

Я была в институте. В пять часов мы посылали женщину, которая жила у начальницы, в лавочку за всякой дрянью. Она долго не приходила [2]. Все ее окружили и спрашивали, что с ней было? „Девицы, я чуть от страху не умерла“,—отвечала Сашка: „В городе был бунт, стреляли из пушек, и что народу перебили!“ Это все прибавлено. Начались аресты, получили весьма тревожные известия из второй армии. У генерала Киселева находился самый опасный член общества—Пестель, умный и образованный человек. Он очень легко вербовал молодежь. Между тем, казаки везли шагом из Таганрога тело покойного государя, останавливались в городах и у всех церквей служили литию. Гроб был закрыт и поставлен в Казанском соборе. Казаки в память того, с кем они воевали во всей Европе, жертвовали серебро на иконостас. Все жители Петербурга сочли долгом поклониться тому, который с такой славой умиротворил Европу. Всем известны стихи на возвращение покойного:

Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч с небес.

Все институты облеклись в черные передники, и нас возили в Казанскую. Признаться надобно, что для нас это было partie de plaisir *), потому что мы катались в придворных экипажах только на масленицу и на святой. Когда после смерти государя императрица вошла в наш класс, мы были так поражены ее переменой и грустью, что встали молча. У многих навернулись слезы. Она, видимо, была тронута и сказала: „Дети мои, вы потеряли одного покровителя, но у вас будет другой“. Четырнадцатое число отозвалось и у нас в институте. Очень искусный шулер, полковник Богданович, брат дамы классной, был замешан в заговоре и застрелился. Брат девицы Гангебловой тоже был арестован, но вскоре выпущен.

Великим постом назначен первый экзамен у священника при императрице. Она приехала в десять часов утра,

*) Приятная прогулка.

с ней князь Александр Николаевич Голицын. Нас экзаменовали от десяти до часу, а в два продолжался экзамен до семи часов вечера. Императрица и ее свита у нас обедали.

После этого были публичные экзамены. В первых рядах за решеткой сидел митрополит Серафим, священники, католический епископ Сестренцевич, он был почтенный старик, и все иностранные послы, которые знали, что это приятно государыне, присутствовали и министры. После этого назначен был день прощания, императрица приехала с государем. Он был бледен и очень худ, видно было, что он очень озабочен. Мы пели прощальные стихи, сочиненные Плетневым, а Кавос, наш учитель пения, сочинил музыку:

Расстаемся, расстаемся
Мы с приютом детских лет,
Мы судьбе, зовущей в свет,
Невозвратно отдаемся.
Был у нас другой хранитель,—
Он уж взят на небеса.
Небеса его обитель [3].

При этих словах слезами прервались наши голоса. Мы не окончили. Государыня взяла за руку молодого императора и сказала: „До свиданья, дети мои".

Пришел и день выпуска. В десять часов была обедня, молебен с коленопреклонением, все уже были одеты в городские платья, всякая по своему состоянию. Я была в казенном платье, меня никто не брал. Дядя Дмитрий Иванович написал, что он и жена его стары, никогда не выезжают из Грамаклеи, и что я со скуки у них умру. Марья Ив[ановна] Лорер тоже отказала, потому что была в глубокой горести. Ее племянница Елизавета Петровна Нарышкина, рожденная графиня Коновницына, готовилась ехать в Сибирь с мужем. Ее братья Петр и Иван были сосланы на Кавказ.

Три звонка. Дверь отворили в рекреационной зале, и вошла государыня. Мы стояли, за ней шла начальница и дамы классные в своих синих мундирных платьях и несли шифры, золотые и серебряные медали. Первый шифр получила Бартоломей, дочь известного доктора Бартоломея, второй—я, меня подкузьмила арифметика, а то-бы я получила

первый. Третий—Нагель, четвертый—Эйлер. Шифры очень красивы, золотая буква „М“ с короной, на белой муаровой ленте, окаймленной красным цветом. Императрица сама прикалывала шифры и раздавала медали. Стефани Радзивилл получила вторую золотую. Это мы смастерили, чтобы сделать удовольствие государыне. После медалей пошли поклоны. Последний для бедной Трембецкой, которая не хотела подходить, но императрица ее подозвала и сказала: „Дитя мое, хотя вы и не учились отлично, но классные дамы были очень довольны вашим поведением. Я знаю, что ваша мать очень бедна. Вместо двухсот пятидесяти рублей, которые получают те, кто не может сделать себе приличный туалет, вы получите пятьсот“. После этого, государыня собственноручно дала каждой из нас евангелие и каждой сказала: „Читайте, дети мои, каждый день по главе“.

В институте я брала уроки музыки у m-me Nagel, ее внучка Капитолина была косая, злая и капризная девчонка, ее терпеть не могли. Бабушка ее, которую все звали grand maman, была католичка. У нее было много католических книг, между прочим, жизнь блаженного Августина. Старушка обедала у начальницы и всегда оставляла пирожное для внучки. Капитолина приглашала Балугьянскую и меня в три с половиной, когда был отдых, с ней разделить это пирожное. Однажды она все нам отдала, когда мы спросили ее, зачем она не ела, она отвечала: „Святая Моника ела только тогда, когда была голодна“. Балугьянская и я, мы уплетали все, и всякий день она отказывалась. Мы говели на страстной неделе у Наумова. Он нас очень серьезно приготовил к исповеди и принятию святых тайн: до той поры мы не слыхали подобных слов. Все заметили, что он произвел сильное впечатление на Капитолину. Она вдруг изменилась, утром молилась и с молитвой умывалась, одевалась. В классе делала то же самое, можно без преувеличения сказать, что она вся обратилась в молитву, начала прилежно учиться. Девицы было начали над ней смеяться, но ничто ее не смущало, и с уважением смотрели на нее. Она была очень нетерпелива, играла арпеджии на фортепиано и сказала мне: „Дорогая Сашенька, окажи мне услугу. Вот очень трудная соната Гуммеля, мы ее проиграем такт за тактом“. Что было сказано, то было сделано,

и я ей очень благодарна. После выпуска Балугьянская пригласила некоторых подруг на танцовальный вечер. Старушка m-me Nagel предложила Капитолине туда ехать, но она слезно просила не везти ее на бал. Ее назначили пепиньеркой, но, спустя месяцев шесть, она занемогла. Ее свезли в лазарет, доктор сказал, что у нее нервное расслабление и что должна быть нравственная причина, потому что все укрепляющие лекарства не помогали. Она на исповеди призналась Наумову, что желает перейти в римскую церковь и вступить во Францию в Монкармель, что желание так сильно, и она только тогда будет здорова. Нечего было делать! Наумов очень жалел, но знал состояние наших монастырей, он ей сказал, что поможет и не хочет ей мешать. Бабушка отвезла ее в Версаль к аббату Préfontaine. Она выучилась латинскому языку и поступила в Sacré-Coeur de Paris. *). Теперь она настоятельница du Sacré-Coeur à Constance.

Когда я была еще выпускная в институте, я получила известие о смерти матери.[4] В день четырнадцатого числа [декабря 1825 г.] она умерла, я плакала, меня отпустили горевать в дортуар. Я сказала своей приятельнице Стефани: „Стефани, я не могу утешиться, это ужасно". — „Дорогая моя, успокойся, я не плакала, когда умерла моя мать, она тоже не любила меня и предпочитала мне Felice Antouchewitch, свою дочь от monsieur [слово не разоб.] я же ей—только законная дочь.." Я помню, что моя бедная мать очень подружилась с моей дамой классной m-lle Walsch, и я слышала, что она все заботилась выдать меня замуж. Она жила на Софийской в доме [слово не разобр.]; она хотела дать Климе, своему фавориту, редкие часы отца, безногий чорт взвизгнул и сказал, что это баловство. Ограбить нас совершенно было главной заботой этого изверга. И все сходило с рук этому скоту. Он заехал в институт, прямо в комнату m-lle Walsch, которая вышла, не знаю куда, Арнольди хотел меня поцеловать, насильно посадил меня на свои поганые колена. В эту минуту вошла m-lle Walsch и сказала: „Как, моя дорогая? Вы позволяете обращаться с собою, как с девочкой?"—„M-lle

*) Католический монастырь в Париже.

Walsch, уверяю вас, я тут совершенно ни при чем. Он посадил меня на колени к себе силой". Он смотрел на меня своим дерзким, мерзостным взглядом. „Генерал, оставьте мою комнату, подчинитесь приказанию императрицы. Если вы будете меня преследовать, то швейцар вас выставит за дверь". Я спросила, что мне досталось после матушки и где мое серебро. „Две подушки, платье разорвалось". „А где серебро мое?"—„Все мое, и брилльянты, вам один фермуар в кленовом ящике". Фермуар был изрядный, я его продала за четыреста руб. асс. „А вот капиталов у вас ничего нет. Адамовку твоя мать записала на мое имя для моих детей". —„Вы знаете, все на свете можно, „только осторожно". Я все ваши мерзости расскажу когда-нибудь государю, потому [что] я назначена быть фрейлиной императрицы Александры Федоровны." При этих словах он сконфузился.—„А теперь, вон отсюда, генерал, надеюсь, навеки".

Так как Арнольди распустил слух, что отец мой был танцмейстер, вырвал из книг наш герб (мы должны были взять герб Лореров—три дерева елки) и выдумал, что мой отец на службе накрал деньги, то императрица Мария Федоровна велела навести [справки] в Одессе. Ответ был, что шевалье де-Россет умер от чумы и имел чин полковника. Это пришло через месяц.

XVII. Во дворце.[1]

Нам сшили черные шерстяные платья, и начальница повезла нас в Зимний Дворец, где нас представили, как будущих фрейлин, императрице Александре Федоровне, а оттуда в Аничковский, где нас представили Марии Федоровне. После нескольких слов гофмаршал от двора, граф Моден, велел нас отвести в наши комнаты: всего три маленькие конурки. В спальне была перегородка, за которой спала моя неразлучная подруга Александра Александровна Эйлер. Она тотчас нашла фортепиано, и мы с ней играли в четыре руки. Тогда в моде был Hummel, концерты его и сонаты прекрасны.

У нас был слуга, мужик Илья, он приносил нам обед[2]. У Эйлер была девушка чухонка, а у меня русская. Эти две постоянно ссорились. Илья мне сказал: „Ваша Прасковья

Михайловна злейшая раскольница и очень вредная женщина. Она принадлежит к расколу Солодовникова и серебряных лавок". Однажды она была так зла, что я ее спросила, что с ней делается. Она мне отвечала, что закрыли часовню купца Милова, а вскоре закроют часовню купца Косова. Я ничего ровно не понимала и только позже узнала, что значит секта „серебряных лавок".

Однажды утром я слышу громкий голос в передней и узнала голос Фомы Александровича Кобле. Он вошел, меня обнял и сказал: „Ах, Сашенька, как я рад, что вы теперь во дворце, и что государыня не отдавал вас к Арнольди, даже запретил этот скверный человек принимать в институте". Я спросила его о бабушке. „Ваша бабушка еще жива, но очень горюет, что Николаша в Сибири, а Митя с женой взяли племянника Пузанова и хотят ему оставить Грамаклею. Я сказал им, что нехорошо, потому что Сашенька будет просить государя, и Николашу простят". Я его спросила о детях.—„Клавденька вышла замуж за маркиза Паулуччи, с ней поехала m-lle Курель,—вы помните ее. Аполлон управляет Коблевкой, а я живу с моей попугаем. Все сожалею моя жена. Я ее очень любил. Она была дочь казацкой полковника Цветогорова. Меня туда послали в его станицу. Мы полюбили друг друга. Полковник мне сказал: „Чорт тебя знает, кто ты такой, и вера-то у тебя не наша". Тогда я свою невесту увез, посадил ее перед меня на лошадь, сказал ей держаться крепко. Я был шестный человек. Мы скакали сорок верст, и в первой станице, где был поп, я на ней женился. Она прежде не хотела и говорила: „Фома Александрович, вы такой ушеный, а я ничего не училась". „Какой я ушеный? Я только помню свои шотландские песни". „А как же вы—генерал?" „А это я за свою храбрость генерал". А, Сашенька, вы были у Мордвинова? Вам надо туда ехать. Он был друг вашего папеньки. Его жена моя сестра, а племянница моя за господином сенатором Столыпиным, прекрасный человек".—„Я ее знаю, она очень дружна с тетенькой Марьей Ивановной".—„Ну, так вы должны с ней ехать к Мордвинову". Добрый Кобле уехал, и я более его не видела.

Однажды я стояла у окошка и видела, что императрица, стоя, кушала что-то, она меня увидела, и я заметила, что она

рукой меня зовет. Когда я пришла в кабинет, она мне сказала: „Случалось ли вам есть когда-нибудь фрукты не в сезон? Вот в этой маленькой корзинке фрукты из царскосельских оранжерей. Как вас зовут?“ „Александрой, день моего ангела 23 апреля“. „Дорогая, в этот день скот выгоняют в поле, а день моего ангела 21 апреля“.

23 утром вошел лакей, меня поздравил с именинами и принес белое gaz de Chambery на платье, гренадиновые цветы и веер trocadéro. Он был в моде, и я его долго сохраняла. Очень часто императрица за мной посылала, и я ей рассказывала наши институтские шалости. У нее была счастливая способность серьезно интересоваться окружающими ее. Ее фрейлина, графиня Софья Гавриловна Моден, заметила, что я пользуюсь расположением государыни и не взлюбила меня. Однажды императрица мне сказала: „Придется чаще приглашать Софи по утрам, она очень завистлива. Воображают, что я могу видеть и любить тех, кого хочу. Это было бы завидным уделом, но ошибаются. Я очень люблю княгиню Трубецкую и Катишь Салтыкову, но стоит мне пригласить ту или другую лишний раз, они ссорятся“.

Мы поехали, кажется, на страстной неделе поста в Царское Село [1826 г.].[3] Императрица жила в Большом дворце, собирались в китайском кабинете. Она делала шнурок на рогульке. У нее после четырнадцатого числа была сильная невралгия в голове. Граф Моден читал какой-то невыносимо скучный роман. Доктор Крейтон сопел и храпел, а мы зевали. В десять часов подавали ужин, слышался мерный и твердый шаг государя. Он приходил в сюртуке без эполет. Императрица ему говорила: „Боже мой, какой у вас утомленный вид“.—„Да, с Алексеем Андреевичем Аракчеевым, работать не шутка, дела страшно запутаны за два года“[4]. Потом государь уходил, и в одиннадцать часов скучный вечер кончался. Софья Моден жила внизу за комнатой великой княжны Ольги Николаевны. Государыня повела Эйлер и меня к ней и сказала ей: „Oly, вот мои новые фрейлины“. Ей было четыре года и была дивной красоты, она на меня посмотрела и сказала, глядя на меня—„Черненька“, а на белокурую Эйлер — „Беленька“. Это имя так осталось навсегда.

Мы жили в нижнем этаже окнами на двор в самом крайнем углу, слева от караула. Всякое утро к нам приходил очень старый камер-фурьер, я его спросила, кто прежде жил в этих комнатах?—„Светлейший князь Таврический".—„А после кто?"—„Никто, потому что император Павел жил в Павловске, а осенью в Зимнем."—„Так вы верно знали Потемкина?"—„Я при нем был камердинером и через него сделал всю карьеру. Вам, верно, известно, что покойную императрицу Екатерину возвел на престол Орлов и князь Таврический. Говорили, что Потемкин был ее любовник. Может быть, но недолго. Светлейший этими пустяками не занимался, зачастую, как его позовут к обеду или на вечер, он отказывался. Утром рано он с ног до головы мылся самой холодной водой и весь туалет делал один, потом подолгу молился и всегда на коленах, а потом уж позовет меня и спросит кофию. Все посты соблюдал. Он матушке-царице, снисходя к ее слабости, выбирал любовников. У него была одна страсть—любовь самая нежнейшая к матушке и к России. Как уж очень ему тяжко, он скачет в Москву к своей старушке матери. Она жила в Москве в маленьком домике. Светлейший хотел ей купить большой дом с церковью. „На что это мне, Гришенька, я ведь привыкла к этому дому, а в церковь езжу на саночках в одну лошадку, одно не люблю, что попы торгуются на обедню и говорят: „Дай пять целковых или закушу". Ну, я с одним уговорилась и всегда даю ему пять рублей и знаю, что он меня ждет". С ней светлейший богу молился, привозил всегда от нас ей евангелие и духовные книги. Говорили, что он кутит, живет в свое удовольствие. Это клевета, все деньги шли на устройство государства. Вот что Херсон выстроился, ему обязаны. Он дружбу свел с англичанином Говардом, и тот советовал ему везде устроить больницы и богоугодные заведения. Он и сыскал Говарда в Херсоне и памятник ему поставил и сказал: „Говард был друг человечества". Опять, в Николаеве он учредил черноморскую компанию, вам было это известно. Уж больно ему надоели турки, так сказал Суворову, которого ужас как любил, что покончить бы турков. Так и была большая баталия под Очаковом, на все это шли русские деньги. А что государыня подарила ему Таврический дворец и дом в Петербурге,—

это правда. Она из благодарности к заслугам его России[5] Светлейший более всех любовников матушки Екатерины любил Ланского, для того [что] он не вмешивался в дела и не с интересу любил государыню. Он был крепкий, обходительный, красавец, манера его была искренняя. Он был смелый ездок, ему выбрали самую лучшую лошадь. Он у „Лебедя" хотел перескочить, лошадь споткнулась, и он лежал без памяти, его подняли и понесли в его комнаты, что под лестницей, оттуда был ход к государыне. Позвали докторов (слово не разобр.), Вейнарта, открыли кровь—не пошла. Доктора решили известить государыню. Она только сказала: „Похоронить его в Софии". Села в карету и на шестерке поскакала в Петербург, спустила все шторы, поехала в Зимний дворец, никого к себе не впускала и через три дня вернулась в Царское, прямо в Софию на его гробницу[6]. А вскоре было известно, что его заменил Дмитриев-Мамонов, только на короткое время, для того он влюбился в свою двоюродную сестру, фрейлину княжну Щербатову".

Гораздо позже Александр Иванович Рибопьер мне рассказывал, что она заметила, что Мамонов краснел, когда произносили имя Щербатовой, заметила также, что он был с ней холоден, и ему было не по себе. Однажды она ему сказала: „Дорогой Мамонов, я хочу вас женить". — „Сделайте милость". — „Мне кажется, что княжна Щербатова приняла бы ваше предложение". Он замолчал, она ему сказала: „Так, значит, это правда, monsieur?" Тотчас подписала ему семь тысяч душ и дворцовый дом и сад у подошвы Воробьевых гор. Он лишился жены и был несколько лет сумасшедший[7].

Отец Рибопьера был эмигрант из Эльзаса, там есть остатки замка Рибопьер. Все эмигранты искали способа существования, говорят, что Шатобриан жил тем, что делал салат у больших господ и получал пять шиллингов за это. Рибопьер вызвался быть парикмахером Екатерины, и кривой сын его Алексаша завивал Екатерину, но она узнала, что Рибопьер был прежде военный, сделала его генералом[8]. Была война с турками, и он был убит под Варной, где и похоронен. Александр Иванович был большой анекдотист, также и Александр Николаевич Голицын. Рибопьер мне, между прочим, рассказывал, что при Екатерине было всего

двенадцать андреевских кавалеров. У него был старый дядя Василий Иванович Жуков, который страсть как хотел получить голубую кавалерию. Один из двенадцати умер, и князь просил Екатерину дать ему этот орден—он был очень глупый человек. Получивши ленту, он представился, чтобы благодарить. После представления его спросили, что ему сказала государыня. „Очень хорошо приняла и так милостиво отнеслась, сказала: „Вот, Василий Иванович, только живи, до всего доживешь".

Раз, часу в одиннадцатом, Эйлер уже спала, я еще читала и услышала топот копыт, подошла к окну и видела ездока на серой лошади, в сером плаще и серой каске. Он проехал в ворота, я чувствовала, что ездок был призрак и под плащем не было тела. На другой день я узнала от графини Моден, что он привиделся очень многим, у „Лебедя" еще был след подков, потом все исчезло. Ни государь, ни императрица ничего не слыхали. Моден полагал, что эта была фарса какого-нибудь лейб-гусара. Караул на дворе также его видел. Инвалид у решетки отворил ее, часовой у померанца тоже.

История этого часового очень смешная. Император Александр увидел, что на померанцевом дереве один [цветок] уже начинался, хотел его сберечь и приказал поставить часового. Померанец давно сгнил, и дерево поставили в оранжерею, а часового продолжали ставить у пустой беседки. Император проходил мимо и спросил часового, зачем он стоит. „У померанца, ваше величество:"—„У какого померанца?"—„Не могу знать, ваше величество!" Волконский ему объяснил дело, и часового отменили. Тот, который M-me Staël говорил: „Я—лишь счастливая случайность", был либеральнее на словах, чем в действительности. Мучить человека из-за померанца непростительно.

Мне рассказывал Александр Иванович Яковлев, что когда он ехал в Калугу, не знаю где, был крутой спуск, погода была дождливая, и губернатор Омельяненко целую неделю сам ездил осматривать дорогу. Император приехал не в духе. С горы пришлось спускать его экипаж на руках. „Дорога очень дурная", сказал он сердитым тоном. „Ваше величество, восемь тысяч человек работали целую неделю".—„Пятьдесят тысяч, милостивый государь, когда едет ваш император".

Нелиберальный Николай Павлович после приключения в Чембаре не ездил более со своим кучером Яковом.[9] На станциях ему выбирали лучшего кучера. От Подольска до Москвы дорога была ужасная. Ямщик ехал шагом, государь был подвержен мигреням, его тошнило. Он сказал Орлову: „Я лучше пойду пешком". Ямщик повалился ему в ноги: „Государь, я пропал, если скажут, что я своего царя не сумел везти". Он сел, и шесть часов битых они тащились до Москвы.

Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя Лопухина, который был столько же глуп, как красив. Вернувшись он все переврал, государь ему сказал: „И я дурак, что вас послал". Николай Павлович сказал генералу Тхоржевскому дурака и на другой день извинился перед фронтом[10].

Мы поехали говеть в Петербург. В восемь часов была утреня в гостиной, а вечером тоже, я была в восторге от придворных певчих. В день причастия императрица Мария Федоровна приехала. Государыня хотела ей сделать приятное, пригласила Криницкого, ее духовника, служить обедню, а дьяконом выбрала [слово не раз.] которого она любила[10]. Он служил прекрасно и с благоговением. Криницкий его терпеть не мог и объявил Модену, что не будет с ним служить. Моден кричал и сознавался: „Канальи русские попы! Они смотрят только в руку". Наконец, уломали Криницкого. „Вкусите и видите" пели по напевам Сарти. [Сарти приехал при Елизавете Петровне, он советовал пустить Бортнянского и Березовского в Италию—ехать в Неаполь].

После обедни я отправилась в свою каморку. У нас была дворцовая карета, и мы в ней ездили в институт, а я к Стефани Радзивилл в Зимний дворец. Государыня на страстной неделе прислала мне желтый, украшенный букетами хвост, вышитый серебром, и юбку, всю вышитую серебром, а Эйлер голубой шелковый, весь вышитый серебряными цветами, и такую же юбку. У нее девушка была предобрая чухонка, а у меня русская, Прасковья Михайловна, мне ее рекомендовала Хилкова, она много лет жила в доме кастрата Алексея Захаровича Хитрова при старшей дочери его Наташе, он гордился ее красотой и, показывая ее всем, говорил: „Какова!" Она вышла замуж за Долгорукова, и ее всегда звали: — „Какова".

Мы обычно отправлялись в прихожую императрицы. Она мне сказала: „Как вы бледны, вы кокетничаете. Не надо быть похожей на больную. Я подрумяню вам щеки для того, чтобы у вас был хороший цвет лица, но никогда не делайте этого, идя на бал".

Государь в пасхальную заутреню шел под руку с императрицей, оба кланялись на все стороны. Камер-паж нес длинный хвост, другой шел за государем, потому что в церкви он держал шпагу государя, за ними шли вдовствующая императрица с в. к. Михаилом Павловичем (я его уже прежде видела на двадцатипятилетии нашего института, он разговаривал с m-me Штатниковой:—„Мы оба какие толстые"). И за ними шли камер-пажи, потом вся свита, прямо в большую залу, потом в длинную залу, затем в белую залу, где были собраны обоего пола знатные особы. Меня поразила своею красотою и туалетом графиня Морков. У нее была лента св. Георгия. В церкви я стояла возле Стефани, которая была покрыта бриллиантами и в великолепном кремовом платье. У обеих государынь были бриллиантовые диадемы на голове, тогда не было еще русского платья и кокошников и носили платье времени Екатерины: habit de cour *). Впереди меня грузинские царевны.

Стефани меня рассмешила и сказала: „Посмотри на [слово не разобр.] ее жемчуг так тяжел, что ее задушит". Придворные певчие шли в черном по другим комнатам, попы были в черных ризах. Вернувшись, певчие облеклись в богатейшие ризы, тогда форменных еще не было. Певчие пели „да воскреснет бог" и пр. Царская фамилия стояла за перегородкой.

Царская фамилия встала и начала подходить, затем светлейший Лопухин, за ним боком царевич, который ходил, как Бобчинский, граф Нессельрод и Ланжерон, генерал сенатор Дризен, Сперанский, который поразил меня: удивительный лоб, большой, открытый и голубые глаза,— государственный совет, сенаторы в новых мундирах, потом гвардия, и кончилось все к одиннадцати часам. Царская фамилия разговелась у себя, я поехала к Стефани, где был кулич, пасха, крашеные яйца, чай и кофий, и вернулась

*) Придворное платье.

утром домой. В четыре часа—царские часы и поздравления митрополита, присутствующих в сенате и дам. Графиня Нессельрод подошла, потом вдруг из-за нее стала прямо против государыни графиня Ланжерон и сказала: „Я старшая гофмейстерина". Императрица с трудом удержалась от смеха.

На третий день после христова праздника весь двор [поехал] в Царское Село, жара была невыносимая. [11]. От Петербурга почти до Москвы горели леса. Солнце стояло на горизонте, как огромный красный шар. Императрица очень страдала от жары и сидела в мраморной комнате, там она писала свой журнал и письма. Мы из этих комнат спасались от жару в других комнатах окошками в сад. Принц Карл приехал с графом Редерном и графом, кажется, Höltze [12]. Принц вел себя очень дурно, если нам случалось пройти мимо его комнаты, он стоял в одной рубашке на окне. Мы, наконец, перестали ходить в сад и переехали опять на ту сторону. Эйлер с Редерном играли в четыре руки Бетховена. В мой дежурный день, пока императрица спала, я бродила по комнате и нашла плохой портрет á la sepia Мамонова и сказала ей. „Дорогая моя, ответила она, государь приказал убрать все портреты фаворитов императрицы. Прекрасный портрет Валериана Зубова находится у князя Дмитрия Зубова". Мать Зубовых была Воронова и приходилась как [то] сродни Смирновым по Бухвостовым. Мать Николая Михайловича была рожденная Бухвостова. Петр Великий подарил восемь тысяч душ Бухвостову в Никололуцком уезде и в Пусторжевском, там были огромные столетние дубовые деревья, а в Рязанской губернии он ему дал половину Михайловского уезда и город Раненбург. Расстрелли высек из зеленой яшмы его статую. Бухвостов был человек глубоко религиозный, его огорчила беспутная жизнь Петра, и он удалился в Рязанскую деревню, где и умер забытый и Петром, и его придворными.

Наконец, подошел день к отъезду в Москву. [13] Впереди всех должна была ехать вдовствующая императрица со штатс-дамой княгиней Репниной-Волконской (она была очень стара), фрейлиной Кочетовой и княжной Прасковьей Александровной Хилковой. В коляске ехал в. к. Михаил Павлович с наследником, которому было семь лет. Императрица

заметила, что Михаил Павлович был очень любезен со мной и сказала мне: „Откуда это у вас дружба с Мишелем?“ „Вам известно, мадам, что он платил за меня в институт. Это установило между нами дружеские отношения“.

Однажды он сказал мне, что любит Пашу [Хилкову]. Как-то раз после бала он встретил ее на лестнице [Смольного] монастыря, пожелал ей покойной ночи и сказал: „Не забывайте меня в своих молитвах“. Покраснев от смущения, она ответила, что молится всякий день за свою благодетельницу государыню и за всю царскую семью. Михаил Павлович мне рассказывал позднее: „Я был в Павловске и ожидал вместе с Бибиковым в греческой зале, чтобы maman меня позвала. Княжна Полина [Хилкова], проходя, поклонилась мне. Я подошел к ней и сказал: „Княжна, желаю вам счастья от чистого сердца, я уезжаю сегодня вечером“. Она покраснела до корней волос и сказала: „Уже!“ Только это, дорогая Александра Осиповна, и позволяет мне предполагать, что я ей не безразличен“. — „Смею вас уверить, ваше высочество, что Паша любила вас и очень страдала.“—„Откуда вы это знаете, расскажите мне ради бога“. —„Я спала в маленьком дортуаре вместе с тремя сестрами Паши; тонкая перегородка отделяла нас от инспектриссы, Madame Штатниковой, с которой Паша очень дружила. Мы слышали, как Паша, рыдая, говорила ей: „Бедный великий князь! Как я несчастна! Его мать ничего не понимает в любви“. Он был очень доволен, когда я это рассказала ему, и поцеловал мне руку.[14]

Итак, они отправились. Императрица со своей дамой. У старой Волконской беспрестанно был понос (я скажу, что она черезчур мерзостная). Она говорила: — „Позвольте, мадам“. Из заднего экипажа, где сидели камер-юнгферы, выносили трон, гайдуки из своих ног делали ширмы и „тортунья“ *) (ее звали Баба-Яга, потому что она едва передвигала ноги) освобождалась, возвращалась в карету не без запаха. На козлах сидел ее постоянный кучер Чулков. Городской форейтор, точно так же, как в городе, скакал во весь дух, останавливались обедать и ночевать.

---

*) „Тортунья“ (франц. tortue)—черепаха.

На осьмые сутки они приехали в Москву[15]. Потом приехала императрица с государем и детьми, и все жили в Малом дворце. В Петровское выехал к ним митрополит, многочисленное духовенство, генерал-губернатор, князь Дмитрий Владимирович Голицын. Из Петровского уже ехали в московских каретах; мои братья Аркадий и Осип получили золотые часы. Аркадий сохранил свои до последних дней своей жизни, а Ося боялся носить. Восемь тысяч человек было в параде, брат мой Клементий упал с лошади, но не ушибся. Его отнесли в какую-то карету. Москва кишела иностранцами. Английский посол дюк де-Девоншир, вместе с ним был его племянник Russel, французский посол дюк де-Мармонт, принц Карл прусский, граф Редерн и двое братьев Радзивилл, Фердинанд и Гильом. Прусская принцесса, двоюродная сестра короля, была замужем за князем Антуаном Радзивилл. Когда король приехал после родов своей любимой сестры, он ходил под руку с императрицей Марией Федоровной. За ней шла в. к. Александра с Александром Павловичем. Николай Павлович вел Елизавету Алексеевну. Императрица в какой-то больнице останавливалась, расспрашивала докторов и о всех осведомлялась. Александр Павлович ему сказал: „Это слабость maman. Она уверена, что все интересуются тем, что более всего занимает ее в жизни". Он повернулся, и они тронулись с Елизаветой Алексеевной с насмешливой улыбкой, а великий князь ничего не сказал. Но в ту же минуту король обратился к великой княгине и сказал: „Дорогая Шарлотта, я был бы очень счастлив, если б когда-нибудь узнал, что вы делаете хотя бы половину того добра, которое делает императрица". Вот уж был реприманд Елизавете Алексеевне!

Коронация была веселая, затем последовал обед в Грановитой палате, а потом не было конца балам и праздникам. Народу был устроен праздник на Ходынке. Жареные быки, бездна сластей, вино и пиво. Бал и пляс до вечера, но тут некоторых до смерти раздавили. Мне писала моя Стефани, а я пока жила в Таврическом дворце с княгиней Ливен и Авдотьей Михайловной Луниной. Императрица мне сама рассказывала: „Вы знаете, как maman строга к этикету. Мне нужно было надеть розовое платье. Я послала записку государю, что не могу надеть красную ленту на

розовое платье, а надену голубую. Не подумав, он отправил записку к maman. Она отвечала мне: „Вы наденете красную ленту. Что это за фривольности!“ Но я все-таки отказалась надеть розовое платье“.

Стефани мне писала: „Представьте себе, дорогая моя, однажды мы поехали в Архангельское к Юсупову. Императрице надо было освободиться. Вы знаете походку императрицы: она с трудом передвигала ноги. А он, дурак, крикнул садовнику: „Подай горшок императрице“. Что за нравы! На следующий день, возвратясь домой, вижу—моя комната убрана розами. В цветах записка: „Княжна, позвольте мне принести к ногам вашим мое сердце и все, что я имею.“ Я тотчас же пошла сказать императрице, что не могу принять его предложение. Она велела написать ему несколько строк, ответив отказом, и отослать розы. Я отвечала: „Князь, благодарю вас за цветы, но не могу принять ни ваших роз, ни вашего сердца“. Он женился на хорошенькой семнадцатилетней девушке Зинаиде Кнорринг“.

После коронации все поехали в Царское Село. Я танцовала с [слово не разобрано], который мне сказал: „Я стар для того, чтобы ухаживать за женщинами, но таких глаз я не видал в Париже“ [16].

XVIII. Фрейлины Стефани Радзивилл и Александрина Россет. [1]

Я не жила на Елагином острове, но в девять часов уезжала из Зимнего в придворной карете и имела по дежурному офицеру. Я заметила, что меня провожал кавалергардский офицер Андрей Николаевич Архаров, он был беленький. Я спустила шторы с его стороны, он подъезжал к другому окну, и эта история продолжалась во всю поездку. Я это сказала императрице, и она, наконец, велела мне дать одну комнату во флигеле, где жила Юлия Федоровна Баранова и ее дочь Луиза. Я вздумала писать масляными красками деревья с натуры, но Жуковский меня обескуражил, сказав, что мои деревья похожи на зеленые шлафроки.

Императрица Мария Федоровна жила на Головинской даче с фрейлиной Екатериной Ивановной Нелидовой,

Кочетовой и [слово не разобр]. Великая княгиня Елена Павловна жила на Васильевских островах, была беременна [2].

В свободный день я с утра отправлялась на Головинскую дачу, где очень скучала Стефани. Раз Стефани мне сказала: „Мимо нас на дрожках ездит какой-то кавалергардский офицер и смотрит на нашу дачу. У нас скука страшная за обедом: Велеурский, секретари, „le roux" *) (как звали рыжего барона Мейендорфа, не очень приятного). А у вас лучше?".—„У нас всегда ужинает Салтыков, адъютантишки и дежурный по караулу, даже урод Боголюбов и Котревицкий, Ферзен, я его терпеть не могу". — „Знаешь, дорогая, эти обеды непереносимы. Старуха Ливен сказала, что я никоим образом не должна выходить замуж за Васеньку Кутузова: он беден. Так ты мне приищи кого-нибудь". „Дорогая моя, государыня просила меня, как раз сегодня, поговорить с тобой насчет Фердинанда. Мать его писала ей, что он хиреет с каждым днем. Государыня просит тебя написать несколько строчек его тетке".—„Хорошо, но ты увидишь, что из этого ничего не выйдет". Недели через три императрица меня позвала и сказала: „Милая Черненькая, бедный Фердинанд умер. Его последнее слово было: „Прощай, Стефани, мы увидимся в лучшем мире". Я отправилась на Головинскую дачу и сказала ей: „Стефани, меня прислала государыня сообщить тебе ужасную весть: Фердинанд умер".—„Я говорила тебе, что из этого ничего не выйдет. Я напишу письмо тете с выражением соболезнования и сама отнесу его на почту[3]. А ты теперь поищи мне жениха".

Я гуляла всегда за решеткой сада с Софи Моден, она всех знала, в этот день дежурный по караулу был красавец, я ее спросила: „Кто он?" — „Это граф Луи Витгенштейн". Я ей сказала: „Какой он красавец!" Он у нас ужинал, я ему сказала: „Граф Витгенштейн, у вас серая лошадь? Вы часто проезжаете мимо Головинской дачи". —„Да, а кто вам это сказал?"—„О, вы не знаете кто, одна из моих подруг".—„Как ее зовут?"—„Княжна Стефани Радзивилл, она только что получила известие о смерти своего кузена и жениха, князя Фердинанда Радзивилла".—„Она его

---

*) Рыжий.

любила и сожалеет о нем?“ — „Нет, это был брак по расчету, его желал князь Антуан. У Стефани сто пятьдесят тысяч душ, прекрасные леса в царстве Польском, имения в Несвиже и Кайданах, где у нее замки. А вы, monsieur, собираетесь жениться или хотите устроиться как-нибудь иначе?“ Он сильно покраснел (Софи Моден мне сказала: „У него есть любовница-немка и двое или трое детей от нее“).—„Мое сердце свободно. Родители мои хотят меня женить, так как мне уже тридцать лет. Но все мое богатство —двадцать пять тысяч рублей дохода с Дружина, из них я посылаю отцу“. Потом говорили всякий вздор. У Салтыковых был бал, я спросила его: „Поедете ли вы туда?“ Он отвечал, что совсем не ездит в свет. Стефани писала, что ей все надоело и продолжала разговор: „Каким образом с ним познакомиться?“—„Скажите Волконскому, что дежурный по караулам у нас всегда ужинает, приглашаются к ужину и гвардейцы, которых у вас не приглашают“. Сказали Волконскому, он ответил: „Вот хорошая мысль, дорогая моя, наши ужины смертельно скучны, всякий лишний человек, помимо Ивановского и Безобразова, будет развлечением. Луи Витгенштейн достоин этой чести“. Он раз ужинал, императрица с ним была ласкова, потому что уважала его отца. Он ей [Стефани] понравился и через Велеурского сделал предложение. Она была хороша, умна и мила. Витгенштейн тотчас взял отпуск и поехал в Тульчин к отцу и матери. Стефани разгорелась любовью и говорила: „У нас останется еще шесть недель, чтобы поближе познакомиться“.

Двор отправился в Зимний дворец, но фрейлинские комнаты еще не были готовы, и я жила в Аничковом и с утра отправлялась к Стефани. При ней была гувернантка m-me Ungebauer, при ней мы с Стефани делали свой туалет. В спальне за перегородкой с ног до головы обливались холодной водой с одеколоном, сами причесывались и очень хорошо делали свои букли, потом на босу ногу у открытой форточки садились пить чай. Медный самовар кипел, мы сами заваривали чай в высоком чайнике. Тут был кулич, масло, варенье из черной смородины, купленное в лавочке. Она находила, что это лучше. Перед ней стоял ее человек Сергей Игнатьев, с которым она болтала всякий вздор и говорила, чтобы карета была готова в два часа, и Богданка

стоял на запятках: он похож на обезьяну. „Помилуйте, ваша светлость, Богданов—ничего, а Васильев и Гурьев обижаются.“—„Это ничего. Им обоим дать: каждому—целковый, они и будут очень рады, а я хочу, чтобы Богданов всегда ездил“. Лизавета Андреевна тотчас говорила: „Княжна, ведь это уж двенадцать рублей“.—„Ну, так что же. Мне можно тратить.“—„Но, княжна, вы забыли, что вы дали десять рублей m-lle Кривовой и также две тысячи рублей ей на свадьбу. Затем вы заказываете ежедневно новую пару атласных ботинок у Петцольда. Вот еще расход тысячу триста двадцать пять рублей. Надо носить кожаную обувь“. —„Я не виновата, что у меня нога, как у мишки, а Петцольдом я очень довольна“. В день никогда не раздавалось менее пятидесяти рублей: бедные имели пенсион в месяц. Раз, только что я приехала, входит Табен в коричневом сюртуке, похожий на повара. Я сказала Стефани. Она отвечала: „Верно, пришел за деньгами“. Табен был ужасный немец, притворный и довольно толстый. Но Лизаветка, как мы ее звали, приносит письмо. Стефани читает и помирает со смеху: Monsieur Thun, секретарь генерала Мюллера, делает ей предложение. „Княжна, он ждет ответа“. — „Скажите. что ответа не будет“.—„Но, княжна, ведь это невозможно, напишите ему“. — „Ну, дайте бумагу и перо“. — „Княжна Радзивилл благодарит monsieur Thun за предложение, но не может принять его“. Но было хуже предложение: Александр Вюртембергский, двоюродный брат государя и племянник Марии Федоровны, сделал предложение. Надобно было что-нибудь отвечать. „Пойдем в Эрмитаж и там мы придумаем, что отвечать. Что за радость выйти замуж за personnage muet“*). (Александр и брат его Евгений, которого в кавалергардском полку звали „чушка“, всегда ужинали за фрейлинским столом и ни слова не говорили. Мы их называли „personnages muets“). В Эрмитаже занялись картинами, нам особенно нравилась картина Греза. Тут целая сцена, это лучшая картина Греза. Останавливались у „Монны Литта“ Леонардо-да-Винчи, рассматривали Рембранта, восторгались Овербеком. Поехали кататься по Невскому с Богданкой на запятках. Возле саней в огромных санях,

*) Безгласное лицо.

похожих на пошевни, ехал генерал Костецкий, который выдумал влюбиться в Стефани, от этого назывался „Боголюбов номер второй". Только что он был с ее стороны, я тотчас пересаживалась, и так все время. Костецкий мне говорил: „Не для вас, не для вас, сударыня". Из ее окошка в седьмом этаже видна была Зимняя канавка, и карета Костецкого там стояла, когда мы возвращались. Тотчас я на него сыпала бумажки и выливала воду. Когда совсем смеркалось, он уезжал. Он вздумал раз ей сделать предложение и сказал, что у него имение в Канотопском уезде, и послал ей бриллиантовые серьги. Ее девушка их себе взяла, из этого вышла история, и она должна была отпустить девушку. Вдруг она мне говорит: „Поженюсь-ка с Александром Вюртембергским, на зависть всем, он очень приятен". —„Нет, дорогая, это невозможно. Давай писать письмо". „Ваше величество, я имела честь получить предложение принца Александра Вюртембергского. Но так как я уже дала слово графу Луи Витгенштейну, то могу лишь поблагодарить его высочество за оказанную мне честь. Остаюсь смиренной и покорной слугой вашего императорского величества. Стефани, княжна Радзивилл".—„Ты знаешь, я его хотела иметь для забав, а я Витгенштейну покажу, буду кататься с мужичком". После обеда Сергей запрягал сани и мы с девяти до одиннадцати катались.

Двор переехал в Зимний дворец, и в городе были маленькие вечера в полутрауре. Первый был у Елизаветы Михайловны Хитровой. Она жила во втором этаже посольской квартиры, приемы ее были очень приятные. Черные волосы под гребенку. Она говорила в нос и принимала гостей на кушетке в negligé. Стефани и я мы были званы на этот вечер. В углу между многими мущинами стоял Пушкин. Я сказала в мазурке Стефани: „Выбери Пушкина." Она пошла. Он небрежно прошелся с ней по зале, потом я его выбрала. Он и со мной очень небрежно прошелся, не сказав ни слова[4].

Зимой я была больна. Доктор Арендт мне сказал, что у меня печень расстроена и просил заботиться. Четырнадцатого октября меня и Эйлер сделали фрейлинами, и мы, наконец, переехали в Зимний дворец, в третий этаж: девяносто шесть ступенек приходилось высчитать два и три

раза. У Эйлер пошли прыщи по всему лицу и болели здоровые зубы, она лечилась гомеопатией у д-ра Пянинга, и он ей очень помог. У меня же все были нервы не в порядке, и я вздумала пить молоко и больше ничего не есть. Мне казалось, что я лучше сплю от этого молока.

Я летом в Павловске познакомилась с семейством Карамзиных. Lord Hartford привез государю орден подвязки. Государь был в Берлине по случаю болезни императрицы, и в Павловск были приглашены два родственника лорда Пари Soymer[5]. Лизаньке Карамзиной было пять лет, она была прелестная девочка, и мы затеяли познакомиться с этим лордом. Тут сестра ее София Николаевна была и пригласила меня побывать у них в Царском. Они жили в Китайских домиках, и тут началась долголетняя дружба с этим милым семейством. Екатерина Андреевна, по виду своему сухая, была полна любви и участия ко всем, кто приезжал в ее дом. Они жили зимой и осенью на Литейной против самой церкви и просили меня у них обедать. После обеда явился Фирс Голицын и Пушкин. Он захотел прочитать свою последнюю поэму „Полтаву". Нельзя было хуже прочитать свое сочинение, чем Пушкин. Он так вяло читал, что казалось, что ему надоело его собственное создание. Когда он кончил, он спросил у всех их мнения и спросил меня, я так оторопела, что сказала только: „Очень хорошо"[6].—Арендт мне советовал ехать в Ревель купаться в море. Я сказала об этом императрице. Она велела мне дать четвероместную дорожную карету, подорожную на шесть лошадей, и все было уплачено. Мне выдали жалованье за три месяца, что составляло пятьсот рублей асс., и я отправилась с Карамзиными в Ревель.

Старшему сыну Андрею было тринадцать лет, Александру—десять, Владимиру шесть, а Лизе пять лет[7], у них был гувернер француз M-r Thibaut, девушка Екатерины Андреевны, крепостная Феона, и крепостной человек Лука. Мы жили на даче Келлера, бывших полотняных заводах, неподалеку от нас были развалины Brigittenkloster, далее Wennis барона Делинсгаузена, прекрасный замок, очень хорошо по-старинному устроенный, туда надобно было ехать в коляске. Как только мы трогались, коляска наша издавала самые странные звуки, но это было безопасно, и мы

с кучером ездили все лето в церковь, где служил священник (слово не разобр.), большой приятель Екатерины Андреевны. У Карамзиных жила еще англичанка Miss (слово не раз.), красавица, у нее были две сестры. Покойный Александр Павлович их заметил и, кажется, очень к ним благоволил.

В Ревеле был адмирал [слово не разобр], но он редко приезжал, зато адмирал Сенявин очень часто звал нас к себе или приезжал ко мне. Он меня очень полюбил и называл „прекрасная особка". Одна из его дочерей была красавица и была замужем за маркизом De Traversay, эмигрантом. Марья Христофоровна Шевич была с падчерицей Александрой Ивановной. Был граф Евграф Евграфович Комаровский, Евгений Петрович Штерич и Николай Михайлович Смирнов. Я прежде с ним познакомилась в Петербурге у княгини Долгорукой, она хотела выдать замуж свою дочь и звала фрейлин, потому что балы только тогда были удачны, когда были фрейлины. Ярцева была очень хорошенькая блондинка. В Ревеле стоял армейский полк Суворовский, бывший фанагорийский, и на бале я познакомилась с капитаном Яковлевым. Он говорил только по-русски и танцовал, конечно, с кандачка. Это был тот капитан Яковлев, который с кандачка же прошел по Остроленскому мосту. Он тут же и умер.

Вечером играли часто в вопросы и ответы. Комаровский был большой мастер на это и всегда все критиковал. Я ходила гулять в поле, любила бродить, меня сопровождали Володя и Лиза. Он был прегадкий мальчик и раз сказал Лизаньке: „Убирайся к чорту". Раз я встретила бродягу в халате, морщинистый, небритый и босой. Я ужасно испугалась и бросилась бежать. Я писала Вяземскому, что в Ревеле очень хорошо, только я боюсь бродяг, у нас было много слухов о бродягах.

Из Ревеля я приехала уже в Зимний дворец. Окна были на двор, а за перегородкой спали мои девушки. У Билибиных были маленькие вечера. Я часто бывала у них. Там Александра Александровна Эйлер познакомилась с Алексеем Николаевичем Зубовым.[8] Он был высокий смуглый мущина, не моего вкуса, очень противный и слыл богачем. Он ей сделал предложение, и свадьба была в Зимнем дворце. Императрица надела на нее свои бриллианты.

В то же время устроилась свадьба Елизаветы Витгенштейн с князем Репниным-Волконским. Наследнику был пятый год. Государь назначил его наставником Жуковского, который жил в Шепелевском дворце, сам назначил юродивого Мердера его дядькой [9]. Мердер женат на англичанке miss Loley Oxford, ее мать и горбатая сестра Mary Oxford жили с Мердером. Он сказал государю, что нужен ночной дежурный и рекомендовал полковника Семена Алексеевича Юрьевича, который жил в комнате наследника.

Во время коронации государь просил матушку простить Виельгорского. Он был женат на принцессе Бирон-Курляндской. Когда он, овдовев, приехал в Петербург, то очень естественно, искал утешения у сестры своей покойной жены, принцессы Луизы. Они друг друга полюбили и тайно обвенчались. Она была любимая фрейлина Марии Федоровны. Ей пришлось в этом признаться. Она обратилась к первому секретарю Григорию Ивановичу Вилламову, который был католик. Вилламов был замечательный человек: необыкновенный ум с большой начитанностью. Он был предан, как верная собака, государыне. Он не решился сделать доклад императрице. Она [принцесса Луиза] была дежурная и ехала в карете с государыней, бросилась на колени и сообщила ей о своей свадьбе. Ответу не было никакого, но через Вилламова по приказанию государя А[лександра] П[авловича] они присуждены были жить в Курском имении. В то же время возвращены князья Барятинские, которые тоже жили в изгнании в Курской губернии. Эти два семейства очень опять подружились и скоро получили позволение жить в Петербурге. Не знаю почему, гетман Скоропадский пожаловал князю Барятинскому триста тысяч десятин земли в Курской губернии. Это мне фельдмаршал Барятинский рассказывал. У них остались владения только в селе Ивановском. Фельдмаршал рассказывал историю убийства Петра III. Он говорил, что князь Федор Барятинский играл в карты с самим государем. Они пили и поссорились за карты. Петр первым рассердился и ударил Барятинского, тот наотмашь ударил его в висок и убил его.

В 1828 году вышел манифест с объявлением войны с Турцией. Императрица решила ехать в Одессу с великой княжной Марией, которая была особа капризная, а с ней

фрейлины: графиня Моден, княжна Урусова, доктор Крейтон. Я просила императрицу меня взять, мне так хотелось увидать бабушку, Грамаклею и Адамовку, которая, увы, была уже не наша. Мать моя помешалась за несколько месяцев перед последними родами, и этот мерзавец Арнольди заставил ее совершить преступное дело, — Адамовка по духовному завещанию отца принадлежала братьям. Она умерла в родах тридцати шести лет от роду. Не раз бедная мать сама раскаивалась, что так безрассудно вышла замуж. Государыня мне сказала. „Я бы с удовольствием взяла вас вместо скучной Урусовой. Но все точно установлено maman. Я не могу взять третью фрейлину, это был бы слишком большой расход. К сожалению, maman вас не ценит. Старая злючка Моден вас оклеветала, сказав, что вы принимаете офицеров в своей комнате. Император призвал Модена с женой и сделал им хороший выговор".

В 1828 году был первого генваря бал с мужиками, в их числе, конечно, было более половины петербургских мещан. Государыня была в сарафане, в повойнике и все фрейлины тоже. Мужчины в полной форме, шляпа с пером; тогда была мода на султаны из белых и желтых куриных перьев, и каждый старался, чтобы его султан был лучше других. Полиция счетом впускала народ, но более сорока тысяч не впускали. Давка была страшная. За государем и государыней шел брат мой Иосиф, уже камер-паж, он держал над ее головой боа из белых и розовых перьев. Государь [говорил] беспрестанно: „Господа, пожалуйста", и перед ним раздвигалась эта толпа, все спешили за ним, я шла с каким-то графом Ельским, впереди Стефани с графом Витгенштейном. Он давно был в Петербурге, но узнал, что она усердно кокетничает с кривым князем Андреем Львовым. Бедный Львов сделал ей предложение, она ему отказала. Он занемог, впал в чахотку, поехал в Италию, умер в Ливорно, где его похоронили с Кутузовым и Мухановым. Это оскорбило Витгенштейна, но раз он ее где-то встретил и решился явиться на этот праздник.

Императрица Мария Федоровна сидела за ломберным столом и играла в бостон или вист, с ней министры, в Георгиевском зале; туда мужиков пускали по десять зараз. Везде гремела полковая музыка. По углам были

горки, на которых были выставлены золотые кубки, блюда и пр. Лакеи разливали чай и мешали чай ложечками, не равно кто-нибудь позарится на чужое добро. Церковь была открыта: и священники, и дьяконы служили молебны остальным, их было немало. Удовольствие кончалось в восемь часов, а в десять часов дежурная фрейлина и свита отправлялись ужинать в Эрмитаж. Все комнаты были обиты разноцветным стеклярусом и освещение было a giorno и (это все от времен Екатерины) за ужином играла духовая музыка Бетховена. Мужики имели право оставаться до полночи, а мы все расходились по своим комнатам. Я видела, что боа Стефани было в шляпе Витгенштейна. Я ей сказала: „Знаешь, я приеду болтать с тобой".—„Нет, я устала и у меня болит голова". Я поняла, что все решено. На другой день я поехала к ней, она сидела, смеясь, возле жениха и Лизаветка тут же.

Утром рано я к ней уезжала, захвативши белье, несколько дюжин белых, красных, голубых, черных башмаков. Тогда мода была, чтобы обувь была того же цвета, как платье. Bologüel шила платье, она была не в моде, но Стефани ее любила и слышать не хотела о Цаклерах: „Обе сестры Цаклер в моде, а я на зло им хочу все заказывать у мадам Bologüel". Опекуны князь Любецкий и граф Грабовский расщедрились, прислали немца Римплера, и она выбрала, что хотела. Из серебряных лавок принесли несессер, столовое серебро и туалетное. Она прежде просила Грабовского купить ей туалетное серебро, он ей прислал аплике, она его побросала и дала своим девушкам. Она очень любила Крыжановского, который приносил ей всякое воскресенье пятьдесят рублей асс. и „Крыжаньке" она подарила уйму вещей и запретила Дмитриеву к ней являться, он был ужасный мошенник. Чтобы дать понятие о роскоши польского магната, я расскажу, что ей сообщил Грабовский. В Несвиже была комната, стены были лучшего венецейского бархата и вдоль по стене были арабески en relief из чистого серебра. Верхний и нижний карниз тоже, на таких же карнизах были артистически вырезаны сцены из всяких действий полков. Красные стулья en argent, огромные люстры, стол так был тяжел, что его едва можно было сдвинуть. И ничего ровно не осталось, и никто не знает,

когда и кем Несвижский замок был разграблен! В стенах были des placards,*) где хранились vermeil **) и брильянты и были замечательные изумруды. Обвиняли какого-то Кочинского в их пропаже. Витгенштейн сказал Стефани: „Дорогой друг, что я могу предложить вам за все ваше богатство?“ — „Ну, дорогой Луи, мы отправимся туда в [Несвиж] после свадьбы“.

Волконский ему подарил дачу Павлино, но Стефани ни за что не хотела, чтобы он ее принял. У Волконского были вкусы против натуры, он просто влюбился в Витгенштейна, но, кроме этого, ничего не было предосудительного. У Витгенштейна же была любовница и дети. Стефани ему сказала, что она это знала и просила его продать Павлино и отдать деньги этой женщине. Он продал Павлино за сорок тысяч асс., кажется, Велеурскому и разделался с этой женщиной. Протестантская свадьба была во дворце, посаженной матерью его была Мария Федоровна и посаженным отцом в. к. Михаил Павлович. Католическая — была в церкви св. Екатерины, было торжественное богослужение и Михаил Павлович поехал в католическую церковь, как свидетель[10]. Они наняли дом Гурьева на Фонтанке, меблированный Гамсом, который был в большой моде. Ливрея была синяя, а штаны коричневого цвета, оливковые чулки и башмаки. Повар был француз, но для Стефани особенно готовила жена ее возлюбленного Сергея Игнатьева, который стоял за ее стулом, и она с ним разговаривала. Ей готовили щи или борщ с пирожками, кулебяку, жареный картофель с луком, яичницу с луком, варенье, и она пила брусничную воду. Когда я обедала, то разделяла ее трапезу. Иностранные послы, секретарь французского посольства Lagrennais обедал всякий день без зазрения совести. Конюшенная девка Ярцева тоже ездила к ней и подучила Lagrennais сказать, что Стефани кокетствовала с [слово не раз.] и поссорила меня с ней. Во время беременности Стефани ела воск, от нее прятали воск, даже восковые свечи. На бале она подошла ко мне и сказала: „Я люблю только свечи. Я хотела бы их все съесть“.

---

*) Стенные шкафы.

**) Позолоченное серебро.

Она родила дочь Марию, нынешнюю княгиню Hohenlohe, они поехали во Флоренцию, где жила польская эмиграция, познакомилась с лучшими фамилиями и здесь она родила сына Петра. Во Флоренции доктора объявили, что у нее чахотка и послали их в Эмс. Ее любимая девушка Полина родила дочь и бросила ее в отхожее место, флорентийской полиции дали взятку, и Полину освободили. Они уехали в Эмс.

Как все чахоточные, Стефани была полна надежд. Однажды она была в розовой кофте с кружевом, закашлялась, сказала мужу: „Сделай мне гоголь-моголь“ и спокойно заснула. Во Франции поляки ее сбили с толку и сделали ее противницей России и государя, даже Марии Федоровны. По духовному завещанию она оставила мужу все свое огромное состояние по Литовскому статуту, десять тысяч Полине, десять тысяч другой девушке, тысячу— подруге Качаловой.

XIX. В свете. Встречи с Пушкиным. [1]

Еще до свадьбы [Стефани] в Петербург приехал богач граф Станислав Потоцкий, который купил дом на Аглицкой набережной. Зала была темно-голубого цвета, во всю стену был золотой герб Потоцких. Он давал обеды, и обеды на десять персон „des dîners fins“ *). Государь его спросил: „Умеет ли Gibon готовить „des dîners fins?“—„Нет, государь, ваши обеды и ужины слишком сытны и тяжелы. Они не изысканны“.—„Так угости меня изысканным обедом“.—„Соизволите назвать приглашенных, ваше величество: „des dîners fins“ могут оценить лишь гурманы“.—„Приглашайте, кого хотите“. Государь и отправился, обед длился более полутора часов, государь встал и сказал: „Прошу извинения. Я занят и должен вас покинуть. Признаюсь, я так и не понял, что такое „dîner fin“.

Стефани еще была во дворце, поехали с Качаловой в манеж. Качалова была длинная, очень дурная собой. Она ей надела розовый платок на шею и светло-зеленую шубу на собольем меху. Лицо и шуба были одного цвета. Ко мне подъехал Потоцкий и сказал: „Разве вы не участвуете в

*) Изысканные обеды.

каруселе?“ „Я не умею ездить верхом“. „Я сейчас вас научу, привести Сакена“. Сакен была белая старая кобыла, на которой всегда ездил фельдмаршал Сакен, когда приезжал в Петербург из Киева. Сакена привели, поставили стремена. Потоцкий показал, как занести ногу, как держать уздцы, показал, как поворачивать лошадь и повел шагом вокруг манежа, потом велел ехать рысцой вокруг и приказал привести Юлию, старую рыжую лошадь. Тут оказалось, что я езжу без страха и что я должна быть в карусели. Я просила государыню, она велела мне сшить синюю амазонку и черную шляпу.

У Потоцкого в столовой был прекрасный орган из Вены. В нем было двадцать регистров. Он вздумал дать большой обед, на котором были государь, государыня и Ларион Васильевич Васильчиков.

Я сидела за столом между в. к. Михаилом Павловичем и Потоцким, и Михаил Павлович сказал: „Потоцкий, Потоцкий, un doux penchant vous entraine“. *)“ „Что вы хотите, ваше высочество! Ведь и старики влюбляются“. Так как это было летом, то репетицию делали по летнему обычаю с музыкой. Напротив были дворецкие на лошадках, за каждой из нас был берейтор. Мой кавалер был брат Елены Павловны, принц Павел Вюртембергский. Она, конечно, не участвовала в карусели. C'était trop frivole“ **). После разных фигур, галопом ехали мимо публики. Подъезжая к Жуковскому, я ему сказала: „Василий Андреевич, каково! Каприз на лошади“. Государь был кавалер Вареньки Нелидовой, она прекрасно ездила верхом, но всех лучше императрица. Она была так грациозна и почти не прикасалась к лошади. Ее кавалер был Михаил Павлович. Государь мне сказал: „Зачем ты меня не выбираешь?“. По-русски он всегда говорил мне „ты“. „Ты“ было знаком его расположения к женщинам и мужчинам. Ярцевой он всегда говорил „вы“, Любе Хилковой тоже, графу Воронцову—„вы“, Киселеву—„ты“, Потоцкому тоже, Канкрину из уважения „вы“, также многим генералам прошлого царствования—Уварову, Дризену, Мордвинову, Аракчееву и Сперанскому.

---

*) Нежная склонность вас увлекает.

**) Это слишком легкомысленно.

У Потоцкого были балы и вечера. У него я в первый раз видела Елизавету Ксавериевну Воронцову в розовом платье. Тогда носили cordelière *). Ее cordelière была из самых крупных бриллиантов. Она танцовала мазурку на удивленье всем с Потоцким. Шик мазурки состоит в том, что кавалер даму берет себе на грудь, тут же ударяя себя пяткой в centre de gravité (чтоб не сказать задница), летит на другой конец зала и говорит: „Мазуречка, пане“, а дама ему: „Мазуречка, пан Храббе“. У него постоянно брюхо тряслось, когда он был в белых штанах, а легкость была удивительная. Тогда неслись попарно, а не танцовали спокойно, как теперь, и зрители всегда били в ладоши, когда я с ним танцовала мазурку. На его вечерах были швейцары со шпагами, официантов можно было принять за светских франтов, ливрейные были только в большой прихожей, омеблированной, как салон: было зеркало, стояли кресла и каждая шуба под номером. Все это на английскую ногу. Пушкин всегда был приглашаем на эти вечера, и говорил, когда хотелось пить, ему подавали en fait de refraichissement **) кофию черного, то то, то другое, и моченые яблоки, и морошку, любимую Пушкиным, бруснику, брусничную воду, и клюквенный морс, и клюкву assez glacée, даже коржики, а сладостям конца не было. В воскресенье у императрицы были вечера на сто персон и игры в petits jeux, „кошки и мышки“. Я отличалась в этой игре. Убегала в другую комнату, куда рвался Потоцкий. Я от него опять в корридор и кончалось, когда он говорил: „Я не могу больше“.

Александра Васильевна д'Оггер вышла замуж за Ивана Григорьевича Сенявина. Они устроили свой дом на Аглицкой набережной. Она сказала, что принимает запросто у себя утром. Тогда спускали занавески и делался таинственный полусвет. Она сказала Кирилле Алексеевичу Нарышкину: „Знаете, кузен, приходите всегда в сюртуке, не взирая на погоду“. Нарышкин явился весь обрызганный грязью, с сапогов его текла вода. „Кузен, вы грязны, как козел, а погода, между тем, прекрасная“.—„Дорогая кузина, я искупался в луже, около дворца. Мне жаль, что я

*) Цепь из драгоценных камней.

**) Как прохладительное.

испортил ваш прекрасный французский ковер". На следующий день он явился в форменной шинели, шпага была надета сверху. „Дело в том, сказал он, что у меня сегодня доклад у государя". Она получала „Revue de deux Mondes", который всегда лежал у нее на столах. У нее делали живые картины: „Урок музыки в Torbury". Граф Гаген, секретарь прусского посольства, держал виолончель со смычком между ног. Стол был накрыт ковром. Я в длинных локонах, нарумяненная, сидела облокотясь и слушала. Татищева одевала Софию Урусову и забыла ее нарумянить. Она дрожала и закрывала лицо нотами. Медем подошел и сказал „О, Rosalie amabile". Потоцкий издали протягивал мне руки. Два раза заставляли нас спеть. Татищева хотела непременно выдать [Урусову] за Воронцова-Дашкова, который был наш посланник в Бельгии и приехал в отпуск, но это ей не удалось. После были картины графини Завадовской: „Мать Гракхов". Она лежала на кушетке, дети стояли за спиной ее кушетки, оба сына. Она сама была хороша, в ней было столько спокойной грации, что все остолбенели. Эту картину повторяли три раза. Потом я, в итальянке, в крестьянском итальянском костюме сидела на полу, а у ног моих Воронцов-Дашков в костюме транстиверианина лежал с гитарой. Большой успех! Ее повторили три раза, и мы в костюмах отправились к Карамзиным на вечер. Я знала, что они будут танцовать с тапером. Все кавалеры были заняты. Один Пушкин стоял у двери и предложил мне танцовать мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал: „Как вы хорошо говорите по-русски". „Еще бы, мы в институте всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкий махнули рукой". „Но вы итальянка"? „Нет, я не принадлежу ни к какой народности, отец мой был француз, бабушка—грузинка, дед—пруссак, а я по духу русская и православная. Плетнев нам читал вашего „Евгения Онегина", мы были в восторге, но когда он сказал: „Панталоны, фрак, жилет"—мы сказали: „Какой, однако, Пушкин индеса"*). Он разразился громким, веселым смехом. Про него Брюллов говорил: „Когда Пушкин смеется, у него даже кишки видны".[2]

*) От франц. слова indécent (непристойный).

Зимой я ездила к тетушке Марии Ивановне Лорер. Она жила на Гороховой, в доме Грачева. У нее жил тогда Дмитрий Евсеевич Цицианов, а жена его, больная, жила в Москве у какой-то Лопухиной, которая их кормила потрохами и всякой дрянью. Толстая княжна написала Сергею Александровичу Лунковскому, что им невтерпеж. Он им предложил жить в его доме у Харитонья, в Огородниках, кажется, у Сухаревой башни. Взяли кое-какую мебель и с крепостной и двумя старухами поместились. Когда княгиня умерла, то княжна выгнала отца. У тетушки он был на кухне целый день, ходил на рынок покупать провизию. Дмитрий Евсеевич был русский Мюнхгаузен, между прочими выдумками он рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в икру. На другой день камердинер прибегает и говорит: „Ваше сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотрите, что там творится". —„Вообразите, мои фраки сбесились и скачут". Я был, говорил он, фаворитом Потемкина. Он мне говорит: „Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с калачем, ты один горазд на все руки, поезжай же с горячим калачем". „Готов, ваше сиятельство". Вот я устроил ящик с камфоркой, калач уложил, и помчался, шпага только ударяла по столбам все время, тра, тра, тра, и к завтраку представил собственноручно калач. Изволила благодарить и послала Потемкину шубу. Я приехал и говорю: „Ваше сиятельство, государыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни на есть лучшую". —„Вели же открыть сундук".—„Не нужно, она у меня за пазухой". Удивился князь. Шуба полетела как пух, и поймать ее нельзя было, так и не носил ее". Дмитрий Евсеевич Цицианов говорил, что французский язык—это вертопрашный язык. „Только, говорил он, наши барыни любят болтать всякий вздор по-французски. Скажи им по-французски: pantalons, так и растают, а скажи им штаны—чуть в обморок не падают". Кроме того, он говорил странности, раз при мне он сказал „То ли дело при Екатерине: все фрейлины были княжны или графини, а теперь все прачки".—„Дедушка, я не прачка".—„Ты первая прачка и есть, отец твой дослужился, а дед твой, может быть, был портной".[3]

У тетушки я играла в четыре руки с Павлом Зубовым Бетховена. Она жила с своей неизменной тетенькой, гувернанткой mlle Girardon, со своей Аннушкой, которая была все в доме. Серафима Ивановна Штерич представила Ивана Сергеевича Мальцева и говорила, что он очень богат и будет хорошим мужем для меня. Иван Сергеевич смотрел глупыми глазами, но не производил ровно никакого впечатления. Егермейстер говорил мне, что он ужасно скуп [4], но вскоре он простился, был секретарем Грибоедова и уехал с ним в Персию.

Я бывала часто у Зубовой. Там всякий вечер была музыка Фирса, т. е. Сергея Голицына (зачем его звали Фирсом, я не знаю, 14-го числа [декабря] св. Фирса, его арестовали, вообразив, что и он в заговоре, но очень скоро его отпустили), да Глинки, которого звали Signor Glincini. У Глинки был дишкант, но весьма чистый, и он пел превосходно. Я заметила, что у Зубовой появилось несколько прыщей на губах и вокруг шеи, но она была здорова и весела. Доктор Арендт меня встретил и сказал: „Пожалуйста, барышня, будьте осторожны, не пейте из одного стакана с ней, а главное, не садитесь на ее горшок". Я ничего не поняла, через два года приехала [слово не раз.] и сообщила, что [Зубову] мерзавец муж заразил дурной болезнью, что ребенок был гнилой и заразил даже няньку. Ей делали ванны из квасцов, между тем, она открыла, что они в долгу, как в шелку. Зубов занял у каких-то жидов по десять процентов, продал всю мебель, и они поехали в Нижегородскую губернию в г. Горбатов, где приютились в маленьком имении двоюродной сестры Зубова, Александры Александровны Зубовой. Она и там не скучала, занималась хозяйством и садом, сажала и прививала деревья и цветы. Узнав, что [слово не раз.] уволен со службы за недобросовестностью, просила государыню доставить это место ее мужу. Императрица с радостью это устроила, прося Канкрина, и они поехали жить в Нижнем-Новгороде. Все деньги она выплатила понемногу. Зубов оставил ярмарку и поступил в Москве в почтамт, там они купили трехъэтажный дом на Садовой. Она купила рояль, с ней жили две тетки, старые девицы Чибисовы.

Почти все вечера я проводила всегда у Карамзиных. Екатерина Андреевна разливала чай, а Софья Николаевна делала бутерброды из черного хлеба. Жуковский мне рассказывал, что когда Николай Михайлович жил в китайских домиках, он всякое утро ходил вокруг озера и встречал императора с Александром Николаевичем Голицыным. [Император] останавливался и с ним разговаривал иногда, а Голицына, добрейшего из смертных, это коробило. Вечером он часто пил у них чай. Екатерина Андреевна всегда была в белом капоте, Сонюшка в малиновом балахоне. Пушкин бывал у них часто, но всегда смущался, когда приходил император. Не любя семейной жизни, он ее всегда любил у других, и ему было уютно у Карамзиных: все дети его окружали и пили с ним чай. Их слуга Лука часто сидел, как турка, и кроил себе панталоны, государь проходил к Карамзиным, не замечая этого. „Карамзин", говорил Жуковский, „видел что-то белое и думал, что это летописи". У нас завелась привычка панталоны звать „летописи". Жуковский заставил скворца беспрестанно повторять—„Христос воскресе". Потом скворец ошибется и закричит: „Вастиквас", замашет крыльями и летит в кухню. Александра Федоровна терпеть не могла Наполеона. Государь часто его хвалил. Княгиня Трубецкая, чтобы польстить государыне, сказала: „Это был тиран, деспот". Догадалась, что сказала невпопад, и сконфузилась. Я Жуковскому сказала: „Эта дурища при слове деспот сконфузилась и с ней сделался „вастиквас". Все это было принято в нашем „арго", также слово флёртовать.

XX. При дворе Марии Федоровны.[1]

Весной Мария Федоровна поехала в Павловск, она ехала в своей городской карете и вязала из серебряных ниток кисеты, и надобно было считать ряды. За ней ехала карета с другими фрейлинами. В коляске ехал Павел Иванович Кутайсов, ее гофмейстер, егермейстер Михаил Юрьевич Велеурский, гофмейстер Ласунский в карете, потому что у него болели глаза. Затем фрейлины, Дюбуа, Дебле, камердинер Матвей Петрович Петров и камердинер Гримм.

До нашего отъезда в Салтыковском корридоре произошло весной нечто вроде междоусобной войны. Князь Волконский заметил, что придворные лакеи долго не гасили свет. Было правило, что если свеча догорит более половины, им доставался [остаток], который они продавали. Он долго сам наблюдал, наконец, поручил арапам: они были гораздо честнее. Честнее всех был красивый арап Кейрам. Он всегда стоял у ручки государыни. Он гасил свечи, за это они ему отомстили. Обвинили его сына Ивана, что он что-то украл, его послали в Кронштадт, где он был барабанщиком. Зетюльба была жена Кейрама, который был очень падок на девок, она ревновала, и Кейрам ее трепал до полусмерти. Она уходила к себе со слезами и говорила: „Бедный мой Ваня, должен бить в барабан. Это меня так огорчает. Александра Осиповна, попросите его помиловать!“ Его послали в исправительное заведение, что гораздо хуже барабана. Наконец, его простили.

В нашем корридоре жила фрейлина Дивова, Екатерина Ивановна Арсеньева, сестра Павла Ивановича, лучшего кавалера великих князей Николая и Михаила (у них было их двенадцать), Пущина, Наталья Николаевна Беклешова, совершенная дура, сестра генерала Беклешова (человека необыкновенно умного и бескорыстного, он вышел из министерства с честным Трощинским), Олимпиада Петровна Шишкина и графиня Сухтелен, сестра нашего посланника в Стокгольме. В этом же корридоре фрейлинская гувернантка Наталья Семеновна Ховен, рожденная Борщова. Она, наконец, и прекратила междоусобную войну за свечи. Я думаю, что такой войны не было во всем свете. Брат мой Клементий говорил, что в России все так особенно и странно, что надобно иметь ключ к таинствам России, подобно книге Юнга Штиллинга—„Ключ к таинствам природы“.[2]

В воскресенье государыня ходила к обедне в большую церковь и стояла в роброне, т. е. в платье с хвостом, дежурная тоже была в роброне. Наталья Семеновна ходила ко всем фрейлинам и просила их одеться в роброн, мы обыкновенно говорили: „Пусть старушка потешится“. Я раз согласилась итти к обедне в роброне. Она так обрадовалась, что меня поцеловала и сказала: „Дорогая моя, у меня есть новгородские [слово не разобрано], я вам их пришлю“.—

„Уверяю вас, Наталья Семеновна, я делаю это по доброй воле. Не беспокойтесь".

Екатерина Николаевна Кочетова жила особо, у нее были три комнаты и две девушки. Она была оригиналка, вставала в шесть часов. Ванна со льдом была готова. Она купалась и вытиралась одна, затем дверь на ключ, и ходила, как ее создал господь, перед открытой форточкой, какой бы ни был мороз. Потом одевалась, надевала легкие ботинки, одевала чепчик, легкую пелеринку, а в восемь часов была у обедни в большой церкви, откуда возвращалась в свою комнату и пила чай со сливками, а в постный день с миндальным молоком. Ей приносила федоровская баба ржаной хлеб с черникой и сухую калину, когда ее хватил мороз. Я часто у нее пила чай. После чая она читала „Четьи-Минеи" и сочинения Симеона Полоцкого. Воображаю скуку от этих сочинений! Потом [она] ездила, и часто обедала у Ивана Петровича Новосильцева. К ней приезжала француженка с модами и уверяла ее, что тюрбан или берет ей очень пристали. Она говорила: „Вы—цветок", а оборачиваясь ко мне—говорила: „Да разве что-нибудь пристало такой старухе, у нее и нос-то крючком". Новосильцев имел привычку петь, когда играл в карты. Граф Александр Иванович Соллогуб говорил, что он пел: „Ты не поверишь, ты не поверишь, как ты мила".[3]

После нашего приезда в Павловск приехала светлейшая княгиня Ливен, наследник с Мердером, Паткулем и Петей Мердером. Жуковский был болен и уехал в Швейцарию со своим другом, безруким Рейтерном. Я подружилась с семейством графини Элмпт (Elmpt), она была гофмейстериной Елены Павловны, но не поехала в Англию с графиней Нессельрод, князем Николаем Сергеевичем Голицыным и фрейлиной Анной Петровной Толстой. В Павловске жила старуха Архарова, ее дочь Софья Ивановна Соллогуб и с ней ее необыкновенно хорошенькая [невестка] Наталья Львовна Соллогуб и ее два сына Лев и Владимир. Старшему было лет шестнадцать, а Владимиру одиннадцать или двенадцать. При Ольге Николаевне была девица Дункер, презлая, препротивная и глупая скотина. Она была классной в Смольном. Великая княгиня Веймарская приехала на два или три месяца погостить с мужем и детьми. Императрица

проводила день в Большом дворце, затем в одиннадцатом часу с дежурной фрейлиной отправлялась в Николаевский деревянный дом, где жили дети. Она просыпалась в шесть часов, тотчас приходил лакей и говорил [нам]: „Ее величество изволили проснуться". В семь часов он говорил: „Ее величество изволила выйти в уборную". Потом в семь с половиной: „Изволят кушать кофий". Тут уж приходилось бежать. Она была необыкновенно пунктуальна. Людовик XIV сказал: „Пунктуальность—вежливость королей". И точно, Марию Федоровну никогда не ждали, и мы не могли не быть пунктуальны. Ее [ждали] доктор Рюль, гофмейстер Ласунский, секретарь и два садовника. Она назначала, кому притти к обеду из соседей, а егермейстеру назначала экипажи для всякой прогулки. Рюль делал отчет о больнице и вообще о санитарном состоянии Павловска и деревни Федоровской. Это был рассадник кормилиц для царских и городских детей. Народ был трезвый, здоровый, постоя никогда не было, а все знают, что постой войск развращает женщин. Государыня [во время прогулки] очень крепко опиралась на руку фрейлины. В ридикюле всегда было пятьдесят рублей ассигнациями. По дороге встречали людей на коленах, раздавали пятьдесят рублей, с садовником разговор о деревьях, которые срубить, которые помазать известкой, где поправить мостик или беседку. Нагулявшись с час, она садилась в дрожки, а ее собака, Азбр, сидела впереди и не спускала с нее глаз. После прогулки государыня занималась делами со своим секретарем Виллямовым. Новосильцев делал доклад о домашних делах, а ровно в три часа она выходила из уборной в гостиную. Мы все стояли manches courtes, decolletées *) в шеренгу. Иногда она приглашала к обеду свою племянницу, принцессу Марию Вюртембергскую, она была очень приятна, но застенчива. Обед был [слово не раз.], за каждыми двумя стульями был официант, напудренный, мундир весь в галунах с орлами и в шелковых чулках. За государыней камер-паж. Камер-пажи где-то жили в городе, обедали и ужинали во дворце за ширмами в проходной комнате. Обеды продолжались более часа. Рядом с государыней Нелидова, а потом

*) Платья с короткими рукавами, декольтированные.

фрейлинство, княжна Репнина, Лунина, Ярцева, Кочетова и я, так чтобы государыня могла нас видеть. Прочих не приглашали к обеду. Однажды приехал Мириани царевич, императрица его спросила, пьет ли он сельтерскую воду по ее совету. „Нет, ваше величество, с нее дует. А как раскроют окошки, Мириани царевич может простудиться". Иногда обедали в „Лебеде" или в „Розовом Павильоне". После обеда отдых до шести часов, а тут кататься. Государыня в открытом ландо со статс-дамой и фрейлиной Кочетовой. В восемь часов мы все уже были готовы к вечернему собранию. Государыня сидела за круглым столом и вышивала по канве, а барон Мейендорф читал ей „Les memoriales de St. Hélène" *). В половине девятого ужинали. Я заметила, что ей Дюбуа принес дупелей и сказала Велеурскому: „На кухне есть еще три штуки дупелей. Мне хочется их попробовать". Но я нечаянно толкнула тарелку, и жаркое упало на пол. Всем это показалось смешно, со мной сделался нервный смех, я все повторяла: „Вот смешно, дичь на полу". О ужас, государыня сказала: „Можно смеяться и веселиться, но такой громкий смех неприличен". Я боялась, что она спросит, отчего я так смеялась? [4]

---

*) Воспоминания об острове св. Елены.

II. БАДЕНСКИЙ РОМАН

I. „О милый гость, святое прежде“ [1]

О милый гость, святое прежде!
Зачем в мою теснишься трудь?
Могу ль сказать: живи, надежде.
Скажу ль тому, что было, будь?

После вторых моих родов, сопровождавшихся ужасающим кровотечением, доктора послали меня на воды, и знаменитый Horn, который специально лечил нервные болезни, сказал мне, что все происходит от атонии печени. Я совершенно потеряла сон, но очень много ела. Меня мучили ужасные idées fixes [2]. После двухнедельного пребывания в обществе нашего посланника, маркиза Рибопьера, я уехала со своим мужем и двумя малютками-близнецами—Адини и Оли, немецкой бонной и англичанкой, русской горничной, которая напивалась пьяной, и лакеем моего мужа, который служил также курьером. Мы поехали в Мариенбад. Доктор Hadler сказал мне: „Grand ferre le matin et deux ferres le soir“ *). Пребывание в Мариенбаде было для меня благоприятно, особенно ванны Ferdinandsquelle. Там находилась моя приятельница Алина Дурново, в. к. Михаил тоже пил воды.

Там была Madame Киселева, рожденная Потоцкая, и князь Илья Долгорукий. Киселева была давнишней приятельницей моей матери. Она меня очень полюбила и поведала мне все свои горести. Ее муж пил воды в Карлсбаде, и каждые два или три дня она встречалась с ним на полдорогена почтовой станции Katzenellenbogen, где и порвала с ним

*) Исковерканная французская фраза: «Большой стакан утром и два стакана вечером».

окончательно после того, как [ее муж] показал ей портреты своих детей от мадам Гальяни, урожденной Багратион. У нее от мужа был ребенок, которого она положительно уморила своим баловством и чрезмерными заботами. Этот ребенок, умненький и красивый, умер по дороге в Бухарест, куда она ехала к мужу.[3] Генерал Киселев был исключительно умен, у него была обаятельная внешность и золотое сердце.

Я была хорошо осведомлена об этой замечательной семье. Я знала от Пушкина, что у него был брат, по имени Сергей, который был женат на хорошенькой барышне из Москвы, по фамилии Ушакова. Они жили на Арбате. Эти барышни вели такие разговоры, что „святых выноси". Я не знала, что [у Киселевых] был еще третий брат, и что от этого брата будет зависеть моя судьба.

В Франценсбаде я особенно близко познакомилась с графиней Юлией Строгановой, женой Григория Строганова. Вслед за посольством в Константинополе, ему дали место посланника в Испании. Графиня Юлия была замужем за графом д'Альмейда, португальским посланником. У нее не было детей. Строганов безумно в нее влюбился и женился на ней после смерти своей жены, но он похитил ее у мужа, которого она не любила, и женился на ней только в Дрездене. У него была дочь от модистки—французской гризетки. Эта молодая девушка была прелестна, умна, благовоспитанна, у нее были большие голубые, ласковые и кокетливые глаза, и графиня выдала ее замуж за monsieur Полетика, человека очень хорошего происхождения и с порядочными средствами. Idalie не было во Франценсбаде. Мой муж играл в карты с графом, с его доктором, полковником Лахманом, польским евреем, женатым на одной из Потоцких. Смирнов ухитрился подраться с этим негодяем Лахманом, Строганов устроил дело и не стал принимать Лахмана.

Графиня, которую все называли Жюльеттой, сказала мне, что она едет в Баден, что там будет много русских, между прочим, графиня Нессельрод, m-me Киселева, братья Мухановы, и что мы будем там жить, как в своей семье. Я уже бывала в Бадене, когда умирал генерал Мёрдер. Местность мне очень понравилась. Я обладала редким для русской

женщины счастием—любовью к природе: птицы, цветы приводили меня в восторг. У меня всегда была маленькая собачка, которую я любила, как любят человеческое существо. То страшное сердечное одиночество, в котором я жила, заполнили мои дети, которых я обожала, и моя собачка Beauty. В Бадене мы поселились в вилле Chesey по ту сторону за Грабеном и далеко от променада и от графини Юлии. Мы решились переехать в дом Дургольц; скромная Мур бесшумно текла по своему каменистому руслу, покрытые лесом холмы закрывали горизонт; рядом со мной жил Киселев, в нижнем этаже an die Rose, недалеко от него Валериан Платонов, а напротив старинная моя знакомая валашка, урожденная княжна Гика [по мужу Трубецкая]. Она была многим обязана генералу Киселеву. Она была совершенно разорена при оккупации ее родины нашими войсками, во время войны с Турцией в 1830 г. Генерал Киселев был назначен генерал-губернатором Молдавии и Валахии. Русская фамилия княгини Трубецкой привлекла его внимание, он взялся за дела, занялся ими и в результате мудрого управления передал ей сорок тысяч фр. дохода. Киселев так хорошо действовал, что двух лет было достаточно, чтобы восстановить эту несчастную страну, разоряемую частыми оккупациями. Император Николай, узнав из его доклада, что он очень много сделал для крестьянства, с которым бояре обращались, как с вьючными животными, удержал его в Петербурге и поручил ему работу, которая должна была подготовить эмансипацию. Султан Махмуд, имевший сюзеренные права, выплачивал задолженность очень аккуратно. Он сделал Киселева беем. Этот титул Киселев не принял.

Это было в вилле Chesey. Здесь Юлия представила мне Киселева. Я была беременна и очень толста и разрывала фланель на простынки для ребенка, которого ожидала. Комната была завалена пеленками, распашенками, маленькими платьицами, и в углу стояла колыбель. Я ему сказала банальные слова: „Monsieur, я очень рада с вами познакомиться".—„Madame, я знаю вашего мужа, мы вместе служили в канцелярии, позвольте мне вам представиться". —„Мы будем соседями, так как я переезжаю в дом Дургольц, рядом с вашей „Rose." Обычно, только после долгого

знакомства обращаются без слова m-r, я не знаю, как [это случилось], но четверть часа спустя, я его уже называла просто Киселев. Я рвала фланель, он мне сказал: „Какое нетерпение, почему вы рвете фланель?“—„Но фланель никогда не разрезают“. Графиня сказала ему: „Она все знает, она шьет, как маленькая фея; она сама приготовила все детское белье для близнецов. Она хорошая музыкантша“.

„Неужели, madame, у вас близнецы? Я обожаю детей, могу ли я их видеть?“ Я взяла Оли на руки, а няня шла сзади с Адини.—„Вот Оли, а вот Адини“.—„О, как они очаровательны; я обожаю детей“.—„Но вы не женаты, вы еще так молоды“.—„Но я вовсе не молод, мне 37 лет, а вам?“—„Мне 27 лет“.—„Вам нельзя дать и 23-х“.—„Это потому, что я здорова, как бык“.

Они встали, чтобы уходить, и я ему сказала: „Киселев, скажите Клеопатре, что я ее жду к обеду, а завтра с утра мы будем вашими соседями“.

На другое утро в десять часов я была уже в этом милом доме, где неведомо для меня самой завязался роман моей жизни. Все долгие семь месяцев я его страстно любила. Он меня боготворил. К моему несчастью, я открыла эту тайну лишь за три дня до его отъезда. Он уехал в Петербург, чтобы сообщить государю о вступлении в министерство Тьера. Он принимал ванны и пил воды Виши. Его друг, Федор Голицын, которого звали „Фифи“, и граф Поль Медем провели несколько дней проездом. Его брат Александр, человек серьезный, известный путешественник по Востоку, был очень близок с моим мужем. Я столько же гордилась этой дружбой с выдающимся человеком, сколько радовалась ей, зато Поля терпеть не могла.

Раз Киселев меня спросил: „Почему вы не любите Поля Медема? Это мой близкий друг. А так как вы говорите, что вы расположены ко мне, то и его вы должны были бы любить“.—„Я, право, не знаю, он сух, он так умен...“—„А вы не умны, вы, которая проводили свою жизнь среди таких людей, как Пушкин, Вяземский и другие?“—„Я посмотрю, может быть после более близкого знакомства в Париже...“—„В Париже?“—„Да, я проведу там зиму для лечения у Hanemann'a“.—„Какое счастие, я вам предоставлю место в нашей ложе в консерватории, и вы

услышите симфонии Бетховена, Генделя и Глюка".—„Ах, Киселев, для меня это будет просто блаженство".—„А для меня это будет рай."—„Пожалуйста, милая Александра Осиповна, приезжайте!"—„Непременно, я буду в вашей ложе блаженствовать. Да, да, это именно то, что мне нужно, слышать прекрасную музыку с человеком, которого я люблю и который понимает музыку".—„Да, я знаю, что вы ко мне расположены, хотя с вами знаком только неделю".—„Странная вещь чувства, не знаешь, чем объяснить симпатию к тому или другому".—„Да, это странно".

Он был среднего роста, у него были очень красивые черные волосы, тщательно расчесанные бакенбарды окаймляли овал лица, глаза его ласково улыбались. Он мне напоминал то, что M-me [слово не раз.] сказала о Вяземском в „Портрете" (была мода писать портреты своих почитателей): „Арманд улыбается, как мало кто". У него был маленький рот, губы ни большие ни маленькие, зубы белые, как жемчужины, тонко выточенное ухо. Он всегда был одет в черном, носил очень тонкое белое белье, черный галстук, никогда никаких украшений, только перламутровые запонки на рубашке и две очень простые, золотые на рукавах. Раз я ему сказала что он одевается со вкусом и восхищалась его запонками. Я держала его за руку и заметила, что изменилось выражение его красивых глаз. В них промелькнул какой-то радостный свет.—„Возьмите эти запонки,—этот подарок меня не разорит, это—русские пятачки, которые я дал позолотить". Уезжая из Бадена, он мне их подарил, я их носила в России. Это вошло в моду, и позднее я их подарила своей старшей дочери.

[В то время] еще не существовал Weber, который кормил обедами всех приезжих, и обедали по очереди у графини Юлии или у меня. Предпочитали обедать у меня, потому что после обеда можно было курить. Александр Медем курил черешневый чубук. Поль, в память Гейдельберга, тонкую немецкую сигару, Герсдорф, прозванный „красный нос", курил Knaster, Фифи Голицын и Киселев совсем не курили. Киселев мне говорил: „Как это муж позволяет вам курить. Хорошенький ротик, из которого выходят клубы дыма". „Тебе хорошо, сказал мой муж, она мне надоела своей тоской, ничего не делала: ни шила, ни рисовала, я

научил ее курить от скуки".—„Вот, поистине, новое средство. Если на нее находила тоска, вы должны были суметь развлечь ее, заинтересовать ее чем-нибудь. Мужья всегда таковы, кроме того, их никогда не бывает дома, по ночам они играют в карты, а днем спят. А потом в один прекрасный день здравствуйте, прощайте,—madame замечает, что ее больше не любят и от скуки берет себе любовника".

„О, Киселев, вы клевещете на женщин, мой муж очень много играет [в карты], я видела каждый день Вяземского, Жуковского, Пушкина, и никогда они ничего мне не говорили и никогда у меня не было любовника. Может быть заведу его у вас в Париже".

„Madame, я не причисляю вас к этим женщинам, впрочем, о присутствующих не говорят. Париж, конечно, безнравственный город, но и в других местах не лучше, я вас уверяю".

Мой муж уходил в двенадцать часов на рулетку. Он возвращался к обеду в пять часов, в семь часов он опять уходил и возвращался в двенадцать, после звонка к закрытию игорного зала. Киселев приходил и уходил. Он бывал часто у Клеопатры, где я его находила всегда веселым и с улыбающимися глазами, которые выражали больше, чем ласковый привет. Я встречала там тоже графа Гектора Беарна, который должен был на ней жениться, и Бакура. [Мы] беседовали и смеялись. „Кис", как мы его называли, после отъезда графини Юлии каждый день обедал у меня. У меня была очень хорошая кухарка, кухня была буржуазная, очень здоровая. Он восхищался распорядком наших обедов, аккуратно сервированных на старой фаянсовой посуде. Из Берлина я привезла красивые фарфоровые чашки с виноградными ветками и листвой и бульотку из темной жести. Он мне сказал: „Как же вы не привезли русского самоварчика?"—„У меня был тульский самоварчик, когда я путешествовала одна, но когда едешь с детьми, это—путешествие с „географическими картами", как говорит Рибопьер. Пеленки сушатся то у одного окна, то у другого, и желтые рисунки очень приятны.—„Моя милая, говорил мне Рибопьер, я с этими знаменами изъездил всю Европу, начиная от Неаполя".—„А во мне все еще жив москвич, русский чай вкусен только с водой, кипяченой в самоваре, я съедаю

яйцо в смятку и потом [пью] чай без молока и гренки с маслом".—„Вы, как князь Дмитрий Цицианов, сын двоюродного брата моей тети Цициановой".—„Цицианов, но это грузинское [имя]".—„Да, моя бабушка была Цицианова".—„И моя тоже, она была урожденная Грузинская".—„Ого, урожденная Грузинская, и в вас и во мне есть царская кровь. Государь мне несколько раз говорил: „Александра Осиповна, и в вас течет царская кровь".—„Потому-то и вы, и я, мы такие аристократы и так человечны по отношению к нашим слугам и нашим людям из крепостных".—„Я уверена, что вы обращаетесь с вашим старым Михаилом, как с другом". —„Но теперь, когда мы возвели друг друга на трон, рассказывайте! Вы рассказываете так хорошо, так мило и забавно".—Ну, хорошо. Гречневая каша сама себя хвалит. Я знаю, что я хорошо рассказываю. Жуковский, Пушкин, Тургенев Ал[ександр] всегда просили меня рассказывать. Возвращаюсь к Цицианову. Он был странный человек и оригинал, и это тоже грузинская черта. Я его встречаю раз в Франценсбаде, он идет среди улицы и несет свою порцию хлеба. Я ему кричу: „Князь, зачем вы ходите посреди улицы, здесь гораздо лучше". Он мне отвечает: „А мне доктор запретил гулять в тени и на солнце, так я хожу посреди". Я это сказала этому дураку Конради, он схватился за лоб и сказал: „Что за умная мысль". „Приходите пить чай", [сказала я Цицианову]. „Я купаюсь только в Каролиненбаде, водки не пью, а чай мне позволен. Как можно чай пить в поганой Неметчине. Вот я приеду в Москву, от дилижанса прямо в баню, а потом сажусь за самовар, горячий калач, густые сливки и сайка на столе, я живу с сестрами, и, наконец, ложусь в постель".

„Какая у вас болезнь, Киселев?"—„Препоганая, у меня idées fixes. Я все думаю, что убью себя, то-есть боюсь, что хочу это сделать".—„Представьте, что и я тоже, мне лучше после Мариенбада".—„Как, у вас такие ужасные idées fixes? Почему же вы так несчастны?"—„С тех пор, как я в Бадене, у меня тоже idée fixe, но она такая приятная".—„Какая, скажите мне?"—„О, это нет. Вы узнаете это в Париже, раз вы приедете, чтобы советоваться с Ганеманом. Я думаю, что тоже перейду на гомеопатию. Лечение французских докторов испортило мой желудок".

„Расскажите мне о своем пребывании в Берлине". „О, я очень веселилась, так как я уже раньше провела там три месяца и, благодаря Стефани, дом Радзивиллов мне всегда был открыт. Были сплошные праздники, концерты и живые картины, и я всюду фигурировала".—„Разумеется, по сравнению с этими немками, ваше итальянское лицо и ваш греческий профиль должны были произвести прелестное впечатление чего-то нового. Но кто же эта Стефани, о которой вы часто говорите?"

„Подождите, я покончу со своими берлинскими успехами. Я каталась там, как сыр в масле. Смирнов уходил с утра в канцелярию, потом в клуб и приходил к обеду, а я каталась с детьми и часто ездила в Шарлоттенбург, там стоял драгунский полк, и Каниц очень любил детей. У него была обезьяна, и дети, садясь в карету, говорили: „Каниц, Вау, Вау".—„А кто вам строил куры в Берлине?"—„Никто и все".—„Вот как, все?"—„Ни много ни мало, принц Вильгельм был мой лучший друг, это любимый брат императрицы, и я знала его страсть к Элизе Радзивилл, которая так несчастно кончилась смертью Элизы во время моего первого пребывания в Берлине".—„Знаете ли,—сказал он,—я думаю, что подлинное святое чувство любви всегда кончается несчастно. Как будто бог хочет оторвать нас от земли.—Вы не думаете этого?"—грустно прибавил он.—„Я верю, я ничего об этом не знаю; я люблю только своих братьев и своих друзей. Но это не любовь?"—„Нет! Но кончайте о вашем Берлине".—„Подождите, уже час обеда; я пойду вымыть себе руки и вы тоже. Вы заметили, что муж возвращается с рулетки с грязными руками, черными ногтями, не моет их, и шарики, которые имеет привычку катать, совершенно черные. Я поздравляю его любовниц и уступаю его им более, чем охотно. Он ревнив, но уверен, что я не сделаю его рогоносцем. Жуковский мне говорил: „Ведь вы—честный человек".—„Да, и очень честный, к несчастью для тех, которые вас знают. И в Бадене есть два сердца вам преданные. До свиданья за обедом". За обедом хозяин рассказывал, сколько раз он ставил то на черную, то на красную, и m-me De Lage играла с ним пополам и прочие. „А вы, madame, бываете на рулетке?"—„Одно название рулетки для меня отвратительно. Воздух, которым там дышишь, ужасен, и все

эти лица, искаженные самыми ужасными страстями, наводят на меня тоску".—„Ну, уж, пожалуйста, оставь свою мораль"—сказал муж. Обед кончался, он стал курить и захрапел в углу. Я сказала Киселеву: „Какой любезный компаньон". Он пожал плечами. „Плетнев, который был на положении только учителя, оскорблялся этими несоблюдениями приличий, и я ему сказала: „Петр Александрович, вы не думайте, что он только при вас ходит к Храповицкому; он и при Вяземском и при Жуковском спит".—„Как это хорошо—к Храповицкому".—„Вы разве никогда ничего не читали из Гоголя?"—„Где же вы хотите, чтобы я знал Гоголя. Я от всего русского отстал". „Ну, так я вас познакомлю с нашей современной русской литературой".

Вошла Клеопатра с Бакуром, мы побродили по променаду, он давал мне руку, когда мы шли в гору к моему другу, слепому. Это был необычайно красивый человек в полном цвете лет. У него была жена и ребенок, чтобы их [содержать], он честно работал, когда его поразило ужасное бедствие, слепота. Я ему платила небольшое пособие. Вы услышите, как он со мной разговаривает. Это так трогательно. „Как вы поживаете, милый друг?"—„Хорошо, милая, дорогая, ваше превосходительство! Моя женка сделалась прачкой, и теперь нам лучше, детки имеют свежее молоко и хлеб по утрам и хороший суп по вечерам. Я здесь сижу целый день, вечером около солнечного захода приходит моя милая, вместе с детьми мы молимся, она ведет меня домой, и мы спокойно засыпаем. Ах, солнце, прекрасное, теплое солнце, я его больше не увижу. Но там вверху я буду зреть лицо божие, я надеюсь на это". Все были тронуты, и каждый положил ему что-нибудь в руку. Клеопатра, всегда бестактная, сказала, что у меня трое друзей—слепой, старик Беверлей, который собирает нечистоты на улице, и старик из Хейнау, и что дети очень любят всех троих. Киселев с нежностью прижал мою руку и сказал: „Я надеюсь, что ваши прекрасные очи будут видеть солнце до последнего дня".—„И ваши добрые, улыбающиеся очи тоже, мой дорогой Кис". Он вздрогнул при этих словах, которые шли из глубины моего сердца. Я говорила себе: „Это ты, Николай, солнце моих очей". Как я его любила уже тогда, не отдавая себе отчета в том, что это была не дружба.

Бакур шел рядом с Клеопатрой, а она шла под руку со своим Hector de Bearn. Я обернулась, она показывала на меня пальцем Hector'у, которого я хорошо знала в Петербурге; он делал мне одобрительные знаки, имея в виду Киселева. „Пойдем к „Очень хорошенькой шляпе". Они спросили меня: „Что такое „Очень хорошенькая шляпа?"—„Это хозяйка мелочной лавочки, где продают игрушки и конфекты, табак и сосиски, „eine jute Wurst ist eine jute Jabe Gottes" *), как говорят в Берлине. Она умеет говорить моим детям только: „Очень хорошенькая шляпа" и дарит им игрушку в пфенниг, когда няни покупают на гульден. Дети, правда, очень милы в своих шляпах из итальянской соломки с голубыми лентами, падающими на плечи, и белокурыми вьющимися волосами".—„Надеюсь, что их не мучат папильотками", сказал Киселев.

„О нет, им моют головы каждое утро и наматывают волосы вокруг пальца; так прелестно, кудрявые головки".

„Как мне нравится, сказал Киселев, что у вас везде свои бедные".—„Я сама бедна, тем не менее, я сберегаю последние медные гроши для нищих".—„Так говорил Де-Местр. Вы видите, что я не так невежествен во французской литературе". Он слегка прижал мою руку и сказал: „Я тоже нищий, и прошу у вас немного дружбы".

„Киселев, я вас уверяю, что я вас очень люблю". Взволнованный, он поцеловал мою руку и пристально посмотрел на меня. Мне хотелось броситься ему на шею и сказать ему, что он тот идеал, о котором вздыхает моя душа. Мы вернулись. Я поспешно отняла свою руку, которую он сжимал в своей, он опустился на колени. „Встаньте, сядьте тут к окну".

Вошла Клеопатра со своим Bearn, Бакур пошел к княгине Ливен, а я с Киселевым вернулась домой.

Вечер был теплый. Мур тихо журчала по своему каменному дну, серп месяца стоял над нами и бросал бледный и мягкий отблеск на склон холма, где жил слепой. Мои дети называли его Киливов. Я ему сказала: „Киливов, поставьте кресло около окна и сядьте тоже здесь". Мы

---

*) Хорошая колбаса—дар божий.

молчали. „А что, если бы вы немного поиграли на своей разбитой кастрюльке, чтобы закончить музыкой этот прелестный день".

„Нет, я устала, я хочу лечь, принесите стул, чтобы я могла вытянуть ноги, они опухли". Он принес кресло, их было у меня четыре, и Дургольц сфабриковала их нарочно для меня. Они были обтянуты синей кожей с коричневыми мушками. Я вытянула ноги, он поправил мое платье; туфли мои полетели на другой конец комнаты и, поднимая их, он сказал:

„Где вы купили эти лодки?"—„Само собой разумеется, у „Очень хорошенькой шляпы".—„У вас должна быть очень маленькая ножка, ваши руки так малы".—„Да, они были очень маленькие и узкие, но они стали гораздо толще после моих первых родов,—вы может быть не знаете, Киселев, что у женщин, у которых ноги узкие и длинные, бывают трудные роды. К несчастью, это оправдалось на мне".—„Покажите мне башмаки, которые вы носили в Берлине."—„Я не знаю, здесь ли они. Позовите Лизу".—„Лиза, принеси мои красные туфли с черным мехом". Он попробовал надеть их на меня. Мы смеялись, как сумасшедшие. Они не надевались даже на самый кончик ноги. „Дайте мне их, умоляю вас, это будет воспоминание".—„Возьмите их".—„Благодарю вас, как вы добры, вы меня балуете. Это память на весь мой век".

„Как я люблю стихи Батюшкова:

О память сердца, ты милей
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня пленяешь в стране дальней,
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые
И нежное руки пожатье".[5]

„И я тоже люблю очи, но черные очи, как ваши. Эти очи находятся в Париже".—„Киливов, как приятно быть в таких близких отношениях с друзьями, что нет нужды придумывать разговор, молчишь или думаешь вслух. Я не понимаю других близких отношений, между друзьями, конечно".—„Я с вами согласен, я потому так люблю бывать у вас, вы так хорошо понимаете дружбу. О чем же вы думали

сегодня вечером, когда молчали?"—„Я говорила себе: нужно будет еще родить; надо надеяться, что, благодаря уходу M-me Heidenreich von Sybold, я избавлюсь от несчастных осложнений моих последних двух родов".—„Вы очень страдали?"—„Семьдесят два часа во время первых родов. Весь город был в волнении. Пушкин, Вяземский, Жуковский встречались, чтобы спросить друг у друга: „Что, родила ли? Только бы не умерла, наше сокровище". Он смотрел на меня с глубоким волнением и грустью. „Шольц попробовал применить то, что называется ложечкой, но ребенок лежал головой на одну сторону, и хотя ложечки нагревали, мне это причиняло очень сильную боль; но зачем я вам рассказываю, ведь вы же не женаты?"—„Умоляю вас, рассказывайте. Это будет для меня урок на то время, когда я женюсь на парижских черных очах, которые я так люблю".

„Шольц пригласил старика Мудрова, Арендта и нашего петербургского доктора Персона, которого вы знаете, это доктор нашего министерства. Императрица только что родила последнего своего сына Михаила и прислала мне Лейтона, своего акушера-англичанина. Я его знала. Он высказался за перфорацию и убедил всех".—„Остановитесь, ради бога,—сказал мне Киселев,—дайте вздохнуть, это слишком ужасно, и вы имели смелость начать еще раз?"—„Одну минуту думали сделать мне кесарево сечение".—„А это что? Какое ужасное слово!"—„Должны были разрезать мне бок и вынуть ребенка, но сделали перфорацию. Меня положили на край кровати, оба акушера держали мне колени, Арендт и Персон поддерживали поясницу и голову. У Лейтона в руках был инструмент, который он прятал, это был крючок. Я спросила: „А можно кричать"?—„Сколько хотите". Во время ложных схваток, которые хуже настоящих, я только стонала и сжимала изо всех сил ложечки и руки Шольца и акушерки. Я кричала, как орел, и только сказала Лейтону, увидя, как он поднял в руках маленькое окровавленное тельце: „Но дитя не кричит". Он мне сказал: „Он слаб, сейчас ему будет лучше". Дело в том, что он умер за два дня перед первыми схватками, это и сделало роды такими трудными". [6] Он [Киселев] вытирал себе глаза. „Десять часов, до которого часа я могу остаться здесь вас слушать?"—„О, до половины двенадцатого. Муж возвращается в двенадцать,

после последнего звонка. Ваше присутствие могло бы его удивить, хотя он никогда не смотрит на нас из-под своих очков. Так вот. Так как я трое суток не ела и не спала, мне дали сильную дозу опиума, и я великолепно заснула на спине, повернув только голову. Вы ничего не знаете о той пытке, которую испытываешь во время родов. Моя спина горела, я просила то акушерку, то старую тетку моего мужа, madame Безобразову, опустить руки в холодную воду, чтобы освежить мою бедную спину, я умоляла Шольца позволить мне повернуться на бок; он мне сказал: „Подождите, я вас спеленаю".—„Зачем это и что такое?"—„Вы увидите. Мне положили на живот две большие простыни и бандаж, очень туго стянутый, между тем молоко показалось на третий день; у меня так болели груди, и в них было так много молока, что можно было бы кормить всю семью. Так как тело было спеленуто, акушерка попробовала промывательное. Она испугалась раны и побежала за Шольцом, который сказал: „Связать крепко колени и, по крайней мере, две недели не поворачиваться". Я возненавидела свою комнату и свою кровать. Я ненавидела запах пахитоски, которую мой муж курил даже в кровати. Это отвращение продолжалось и после моих родов. Меня перенесли в маленькую гостиную, доктора перенесли меня на простынях. Но, как вы чувствительны, вы плачете, это доказывает вашу дружбу и ваше доброе сердце. До другого раза".—„Нет, нет, что такое мои слезы, по сравнению с вашими страданиями".—„Мне сказали, что ребенок был великолепный мальчик, что я его переносила десять дней, что и вызвало его преждевременную смерть. Его тело перевезли в Донской. Месяц спустя, государь приехал ко мне. Lise Дальгейм была у меня и Александр Алопеус, которого Lise очень любила, но он млел передо мной. Они все вышли, когда вошел государь, мой муж, который всегда был бестактен, остался. Государь ему сказал: „Смирнов, поди к гостям в другую комнату". Государь мне сказал: „Милый друг, я всесилен, но не могу прописать вам пластырь". Он это сказал, смеясь, а потом прибавил: „Доктора говорят, что вы не должны больше иметь детей; это очень печально, брак без детей, но вы молоды, вы перенесете это испытание. Бедная наша Черненькая, как мне жаль тебя".—„Как мне жаль тебя,

я повторяю за ним", сказал мне Киселев.—„Киливов, мой милый Киливов, вы забываетесь и говорите мне ты".—„Нет, я повторил слова нашего дорогого государя. Он так велик, так добр, вы его очень любите, не правда ли?"—„Я его обожаю, он муж моей дорогой Александры Федоровны, моей покровительницы, моей благодетельницы. Впрочем, почему бы двум друзьям не говорить друг другу ты, по-русски, конечно? Мы говорим же по-русски „ты" нашим слугам, но „ты" по французски, я сама не знаю почему, что-то такое интимное, что можно говорить только тому, кого любишь всеми силами своей души. Попробуем, Киливов, говорить друг другу „ты" по-русски".— „Нет, нет, слишком опасно, пожалуй, я обмолвлюсь при чужих. Слишком скоро приобретаешь эту сладкую привычку. Скажите, вы когда-нибудь говорили „ты" вашему мужу по-французски?"—„Никогда в жизни. Я вышла за него замуж по желанию императрицы и Aline Dournovo, которая его знала и умоляла меня принять его предложение. Я так же равнодушно относилась к своему мужу, как она к своему, но дети заставили меня все забыть. Так сладко иметь дитя, которое можно ласкать, особенно если можешь его кормить сама. Он мне сделал предложение у Карамзиных; я сказала М-me Карамзиной: „Без сентиментальных фраз, пусть он спросит только—„да?"—и я произнесла это роковое да".—„Почему роковое?"—„Вы это знаете. Вначале я была к Смирнову расположена, но его отсутствие достоинства оскорбляло и огорчало меня, не говоря уже о более интимных отношениях, таких возмутительных, когда не любишь настоящей любовью".—„О, как вы правы. В таких случаях в нас пробуждается все самое неблагородное".

„Что пробуждается? Я никогда не испытала ничего другого, кроме отвращения".—„Вы дитя, вы меня приводите в восхищение".

Он взял мою руку в обе свои руки и долго держал ее, глядя на меня своими кроткими глазами, полными слез. Я отняла свою руку. „Почему вы отнимаете ручку, такую хорошенькую и ласковую?"—„Вы же не можете ее держать бесконечно".—„Почему нет? Если бы вы позволили, она стала бы моей навек, т. е. на то короткое время, которое мы проживем здесь на земле, а в настоящей вечности на лоне

божием ничто нас уже не разделит".—„Киселев!"—„Что?"—„Как я люблю быть беременной".—„Мне кажется, что вы не слишком часто доставляете себе это удовольствие".—„Это действительно было бы удовольствие, если бы не нужно было для этого пройти через"...—„Через что?"—„Вы знаете что, это так возмутительно, когда не любишь".—„Я ничего об этом не знаю, я ведь не женат".—„Верно? Но я знаю, что существуют любовницы".—„Умоляю вас, madame, не говорите об этих вещах, которые недостойны того, чтобы проходить через ваши уста, я хотел сказать, ваш хорошенький ротик, но вы не любите комплиментов, это неправда, это только кокетство. О, женщины, женщины, как они подражают матери Еве!"

„Возвращаюсь к моей беременности. Как я люблю чувствовать, как движется маленькое существо, если что-то острое, говоришь себе, ножка или ручка, если круглое—головка. Вот он как раз ворочается, пощупайте-ка". „Боже меня упаси. M-me Смирнова, как вы любите играть с огнем; если он вас не жжет, он может жечь других".

После этого мы замолчали; он закрыл дверь, которая вела в мою спальню. „Я закрываю ее потому, что вы говорите громко, мы можем разбудить двух маленьких ангелов, которые там спят."—„Пойдем, посмотрим их".—„Пойдем".

Обе малютки спали. Одна в своей маленькой складной кроватке, другая на руках у Эйландт. „Она не могла заснуть, она боялась молнии и мышей".—„Эйландт, я тебе говорю, Киливов видел мышей". Я их благословила, перекрестив три раза. „Могу ли я их тоже благословить?"—„Конечно, это будет то благословение, которое не дает им отец. Он все же их очень любит. Возвращаясь со своей отвратительной рулетки, он говорит: „Дети здоровы, надеюсь?"—„Да". Тогда он, помолившись, начинает храпеть, как пехотинец. Он крестится, потом говорит: „Спокойной ночи, дорогая моя", к счастью, не целуя меня. Он так противен, язык у него желтый, обложенный и издает отвратительный запах табака". „Я не курю, так как парижские черные очи не любят запаха пахитосок, которые курят другие, но она сама курит, это восхитительное существо с черными очами".

„Киселев, она замужем?"

„К несчастью, да, но она не любит своего мужа, который отвратителен. Не думайте, чтобы я имел связь с ней, я ее слишком уважаю, чтобы сделать из нее свою любовницу. Она чистое и целомудренное существо, чистосердечное, как пятилетний ребенок, даже в нравственном отношении она на вас похожа, только она больше вас и красивее".—„Ого, ого! Она может быть не была бы восхищена, узнав, что вы—приятель другой".—„Она очень хорошо знает, что я ее обожаю, но что я не могу любить ее одну. Так, около вас, я думаю только о ней, а когда возвращаюсь домой, так как я всегда мало сплю, а иногда сплю очень плохо, я счастлив, так как думаю о ней. Мне кажется, что я слышу мягкий проникновенный голос, который говорит: „Николай, я тебя люблю, я тебя обожаю, но я честна".

„Принесите мне мои часы, они на столе, около моей кровати". Он принес их, говоря: „Вы покрыли этот стол салфеточкой".—„Да, еще бы, я ненавижу пыль и грязь, я никогда не притрогиваюсь к ручке двери, не взяв подола моего платья или платка".—„Я это заметил и сказал себе, какая хорошая мысль, я буду делать, как она, потому что я тоже очень брезглив".—„Агриппина Мансурова и Саша Трубецкая делают то же самое".—„Уже половина двенадцатого",—сказал он,—„добрый вечер и до свидания; я не забуду этот хороший день и буду думать о своих дорогих парижских очах".

Я его проводила. Я терпеть не могу встреч с этим противным евреем Haber; он за мной шпионит.

Клеопатра стояла у окна, со своим Bearn, они целовались без стеснения и подозвали Киселева. Он крикнул им: „Нет! Я слишком счастлив сегодня вечером".

Я вернулась и легла, тоже очень довольная своим днем, и хорошо заснула, мысленно произнося: „Киселев", но парижские черные очи меня немного мучили. На другой день Клеопатра пришла утром и сказала мне: „Ну, что же, моя дорогая, он вам признался в любви?"—„Совсем нет, он любит черные глаза в Париже".—„Моя дорогая, черные глаза—это вы. Это был лишь способ признаться вам в любви, бедный Киса, он без ума от вас".—„Клеопатра, вы настоящая валашка, и вы всегда скачете галопом".—„Дорогая, надо хватать счастье за волосы".

Тут он вошел. „Киселев,—сказала я ему,—после этого прекрасного дня я плохо спала“.—„Я тоже, я думал о парижских черных глазах“.—„Чтобы чорт побрал все эти парижские глаза! Представьте себе, проспавши очень хорошо, я проснулась от писка мыши, ее противный хвост щекотал мне уши. Я встала и разбудила мужа, который храпел так, что мог разбудить даже эхо в Бадене. А я очутилась, сама не знаю как, на комоде, продолжая его звать. Пойдите, посмотрите, насколько этот комод выше постели, я звала его около четверти часа. Наконец, я ему крикнула: „Скотина, да проснись же!“. Но вот затруднение, как слезть, он никогда не сумел бы это сделать. Я разбудила Эйландт, которая была акушеркой. Она поставила стол, помогла мне тихонько слезть на стол, потом на стул, она отодвинула мою кровать от стены, я так боялась за дитя. Тогда, чтобы меня успокоить, она приложила полотенца, окунутые в холодную воду, и сказала: „Слава богу, оно движется“. Он уже храпел, я легла и после хорошо спала“.

Киселев имел совершенно растерянный вид. „Я вам пришлю Михайлу, он заделает все дыры“.—„Но эти негодяйки пролезают под дверями“.

Он провел со мной весь день, следя за мной, как доктор, щупая мой пульс, он вызвал Гугорта, который констатировал, что я в очень хорошем состоянии. В течение дня я предложила рассказать о Берлине, он ответил: „Нет, я слишком взволнован, чтобы понимать что-либо, особенно запомнить, мои черные очи были в слишком большой опасности. На завтра—занимательные вещи, сегодня нужно благодарить бога за то, что вы благополучно избежали ужасной опасности. Два таких дорогих существа в опасности“.

II.[1]

Я застала у Клеопатры Николая Алексеевича Муханова и Николая Дмитриевича Киселева, который покраснел, когда я входила. „Дорогая моя, где же Смирнов?“—„Какая вы чудачка, Клеопатра, спрашиваете меня о том, где он. Конечно, на рулетке, а потом он вернется, задыхаясь, с такими грязными руками, как будто он собирал ими всю пыль в Бадене“. Я увидела, что Киселев бросил на меня удивленный взгляд.

„Вот, вот он,—вскрикнул Муханов,—летит, летит, „как пух из уст Эола“; верно, выиграл“. Войдя, он тотчас бросился в объятия Киселева. „Хорош же ты брат! Здесь, и не был у нас. Сашенька, мой двоюродный брат, Киселев“. — „Я уже с ним познакомилась. Графиня Строганова привела его ко мне“. — „Я, любезный друг, пью воду, не ищу знакомства и не читаю „Badenblatt“. Я не знаю, как Клеопатра это устроила, но Киселев был моим соседом за столом. Она указала мне на Платонова, торчавшего на своем балконе. Я ему показала кулак и сказала Киселеву: „Нет ничего приятнее для женщины, как видеть отчаяние мужчины, который ее преследует. Он такой противный“.—„Я с вами согласен и теперь буду его просто звать „нос на меху“.— „У нас с вами заведутся семейные шутки, как у меня с Пушкиным, Жуковским и Вяземским“.

Обед состоял из трех блюд и земляничного компота. Я слышала, что Николай Михайлович сказал Киселеву: „Приходи к нам“ Уходя, я протянула руку Киселеву. Он покраснел, смутился и побежал в свою скромную квартирку в первом этаже.

Я также вернулась домой. Муж мой был доволен квартирой. Мгновенье спустя, вошел наш сосед справа [Киселев].

„Послушай, братец, вообрази себе, что дурак Платонов вздумал влюбиться в жену, даже схватил ее за руку и хотел поцеловать,—я хотел вызвать его на дуэль. Какая скотина! Кто он, и как смеет так поступать, как крепостные лакеи, но из-за этого не стоит с ним драться на дуэли. Я думаю, он не знает, как взводить курок, и я заметил, что он не из храброго десятка. Он иногда заходил ко мне и любил пускаться в политику, что мне очень надоедает, и чуть я прикрикну на него, он тотчас на попятный [2]. Где ты обедаешь?“—„У Клеопатры или у Строгановых“.—„Ну, так лучше обедай почаще у нас, жена говорит, что хозяйка сейчас рекомендует нам кухарку и, видишь ли, я в двенадцать часов ухожу на рулетку и прихожу к обеду в пять часов. В семь я опять ухожу на рулетку до половины двенадцатого, так ты, пожалуйста, сиди у жены и гуляй с ней“. Мы оба так вспыхнули, что я ушла в детскую. „Сашенька, где ты?“—„Я вернулась с детьми, я ходила туда узнать, хороша ли каша“.

Киселев выхватил Оли и сказал: „Как! ты, брат, позволяешь жене носить детей в ее положении?“—„Киливов, поиграй с нами. Киливов, погуляй с нами“.—„Хорошо детки, но теперь идите спать“. Отец потрепал их по щекам и [так] как было семь часов, он поспешил на рулетку. „Я не знаю, мадам, будет ли вам приятно мое присутствие. Как кузен, я во всяком случае надеюсь, что вы просто скажете мне, когда я вам надоем“.—„Почему же вы думаете, что мне надоедите? Я люблю одиночество, так как в Петербурге вижу мало людей, но люблю поболтать с теми, кто не играет в карты и обладает хорошим вкусом. Для начала пойдем прогуляться на террасу или к фонтану, где попрохладнее.

О, как мне нравится ваша походка. Мы идем таким ровным шагом. Я не могу ходить с мужем. Он покачивается, и это утомляет“.—„Очень рад, что хоть этим могу вам оказать услугу“.—„Какая скромность, но кто это вам кланяется?“—„Это испанец, по имени Лос-Риос, близкий друг Донозо Кортец. Он был непродолжительное время после него посланником в Париже“.—„Донозо Кортец, тот самый, который написал книгу „Эпоха цезарей?“—„Да, и много других замечательных философских статей. Лос-Риос, позвольте вас представить М-me Смирновой, моей кузине“.—„M-me Smirnovska, если бы я был королем, я бы запретил женщинам в вашем положении показываться в общественных местах. Посмотрите, на что вы похожи. Ваше платье короче спереди, чем сзади. Вашими ботинками, похожими на лодки, вы поднимаете пыль, и кружевная черная мантилья не скрывает вашей бесформенности“.

„Все это по меньшей мере странно для нового знакомства. Я рада, что вы не король, и я могу гулять во всей своей бесформенности“.—„Я согласен с мнением Лос-Риоса и принужден сказать вам, мадам, что, когда я женюсь, то буду избегать прогулок по людным местам“.

„Раз вы согласны с мнением Лос-Риоса, то вы можете обойтись без моих прогулок“.—„M-me Smirnovska, вы неправы, мой приятель Киселев очень привык к прогулкам с дамами в вашем положении“.—„Киселев, почему вы краснеете? Почему вы делаете какие-то знаки Лос-Риосу“. Упорное молчание.

Дойдя до фонтана, я сказала ему: „Теперь я не сомневаюсь в том, что у вас есть любовница и дети. Вы мол-

чите, так это правда? Но ведь это меня не касается, и теперь давайте вернемся". Мы возвращались в молчании. „Я бы уселась на скамье перед домом, но Платонов выслеживает меня с остервенением и, кроме того, я голодна. Сашка, принеси чай и скажи, чтобы мне сделали яичницу. Пододвиньте это кресло к окну и другое также, чтобы я могла вытянуть ноги, они у меня горят. Вы можете сесть в другое кресло", и я кинула свои лодки на середину комнаты. Он встал и поднял их. Был теплый, успокаивающий вечер, луна освещала холмы, окаймлявшие долину, маленькая Мур журчала в своем каменном ложе. Он взял стул и сел рядом со мной. Мы молчали.

„Любите ли вы звуки тишины?"

„Очень,—падающий лист, птица, задевшая крылом поверхность вод, и далекий лай собаки—все это полно таинственного очарования".—„Это правда, и нельзя объяснить себе очарование тайны, потому что тайна полна неизвестным, которое хоронишь в своем сердце и не смеешь о нем говорить".—„Herr von Kisseleff, в вас много мистицизма. Знаете ли вы стихи Гейне, который говорит:

„Die Damen waren ästhetisch,
Die Herren mit zartem Gefühl *)[3].

„ Я совсем не знаю Гейне, но у меня, как у него, нежная душа".—„Гейне ненавидел ученых женщин; мадам де-Сталь, носившую всегда тюрбан, он называл султаншей поэзии".—„Султанша поэзии—это прелестно!"—„Гейне прав, нет ничего противнее синих чулок".

„Хотите яичницы?"—„Спасибо, но я не могу есть за двоих".—„Тогда пейте чай".—„Я страдаю бессонницей и после чаю не могу сомкнуть глаз".—„Я вам сделаю питье, подбавлю две ложки чаю на стакан воды, этот напиток освежает и успокаивает".—„Это чудесно".—„Граф Фикельмон научил меня его приготовлять. Он—один из горячих сторонников гомеопатии. Теин и кофеин—гомеопатические лекарства. Французские врачи употребляют настойки, ничто так не портит желудок, как эти настойки. Я также думаю начать лечиться гомеопатией".

---

*) Изяществом дамы сияли, мужчины тончайшим умом.

Я прервала наше долгое молчание словами:

„Пора спать, до завтра,“—мы дружески пожали друг другу руки. Перекрестив детей, я легла.

На следующий день, позавтракав с мужем, я пошла к Клеопатре. Выйдя оттуда, я бросила пахитоску в окно своего соседа и продолжала прогулку до Bains de Stephanie. У самого входа я встретила Киселева.

„Ах, как рано! Зачем вы пришли, не дождавшись меня?“—„Я пришла заказать себе номер, мне надобно взять восемь ванн, приказано M-me Heidenreich. Признаюсь, сесть в ванну после какого-нибудь жирного немца противно. Не знаю, заметили ли вы, что у них указательный перст всегда красный, всегда замасленный бутербродом и сердоликовое кольцо“.—„Какой номер вы оставили?“—„Двадцать первый“.—„Это мой. В моей чистоте вы не можете сомневаться, а так как вы пойдете после меня, то я велю бадемейстеру при себе вымыть ее порядочно и влить воду. Сколько градусов?“—„Двадцать семь, я буду очень благодарна, потому что моя Лиза никогда не умеет приготовить ванну. Впрочем, я уже выписываю новую девушку по рекомендации m-me Дургольц. А теперь пойдемте походим по Лихтентальской аллее. Надеюсь, вы обедаете у нас. Оба Медема и Фифи Голицын у нас обедают, и будут ленивые щи и, конечно, к ним пирожки“.

Мы вернулись в час и отправились в детскую, Киселев сел с ними на подосланное одеяло. „Вы так хорошо играете с детьми, я уверена, что это для вас обычное дело, и Клеопатра подтверждает это“.

„Если вы будете вести такие странные разговоры, мне придется просить Смирнова освободить меня от моих обязанностей“.

После завтрака я протянулась на диване, так как мне нужно было немного подремать. „Позвольте мне отгонять мух, которые вам мешают“.—„Я буду вам очень признательна“.

Через несколько минут я чувствую, какая-то муха прогуливается по моим губам, провожу по ним и дотрагиваюсь до его руки.

Смутясь, он сказал: „Злодейка муха села на ваш ротик“.—„Совсем не муха, прошу не сметь меня тревожить“.

Подремав четверть часа, я села у окна и стала вязать кошелек. „Пока вы спали, я наблюдал за вами и размышлял, какого вы можете быть происхождения? Ваши черты так правильны, а фамилия ваша итальянская. В Петербурге я часто виделся с Пушкиным, при мне он написал стихи мелком на зеленом сукне:

Своенравная Россети
В прихотливой красоте
Все сердца пленила эти,
Те, те, те и те, те, те. [4].

„Я не знала, что он написал эти стихи".—„Все играли на мелок. Один Николай Михайлович платил тотчас, и Пушкин ему говорил: „Смирнов, ты жену проиграешь в карты". —„Если Россети, то не проиграю".—„Я не принадлежу ни к какой национальности, я то, что англичане называют mixed. Отец мой был француз, крестный мой Ришелье называл его всегда: дорогой chevalier de Rosseti. Моя бабушка была княжна Цицианова и мой дед был немец: Herr von Lohrer. Я не понимаю, почему искажают мою фамилию".—Скажите мне, как будет „помесь" по-английски. Я удивлю Николая Палена, брата нашего посланника, первого секретаря английского посольства, который дает мне уроки английского языка".—„Знаете, как я зову вашего посланника, которого знаю лишь с ваших слов? „Статуя Командора". Он так холоден и так бесподобен, когда берет щепотку из своей табакерки, сначала ударяя по ее крышке".

„Я уверен, что вы были прелестным ребенком".—„Я была ужасна. У меня были черные, как смоль волосы, короткий лоб, весь покрытый пушком, мне повязывали его золотым позументом, который я почти беспрестанно снимала, а маменька мне говорила: „Ты будешь точно обезьяна", но я забавляла всех своими выходками". У меня есть миниатюра, нарисованная самим папа. Так как мама была всегда беременна, он больше всех всегда возился со мной, и я его любила также больше всех, называла его „Люлой", так, как Оли зовет меня „Лелей". В Париже я покажу вам этот портрет—страшно уродливая мордочка. Я хочу в Париже заказать миниатюры моих детей, вы знаете кого-нибудь из подходящих художников, не правда ли?"—„В Париже? Вы поедете в Париж?"—„Конечно, мне хочется там

посоветоваться с Ганеманом".—„Ах, какое счастье для меня, я буду еще раз как в родной семье, хотя у меня в посольстве все друзья. Я надеюсь, что и там я буду у вас домашним человеком. Я не думаю, что вы увлекаетесь французским обществом."—„Конечно, нет. Я довольно жила в нашем свете, так что мне очень надоело то, что называют le monde par exellence *). И кто дал право называть себя светом самому пошлому обществу?"—„Я совершенно с вами согласен, во мне остались все мои московские первые воспоминания, там более простоты, чем в Петербурге".—„Я уверена, что даже первые детские впечатления оставляют неизгладимые следы в нашей душе, сердце и уме, и это помимо нашей воли". —„Знаете ли вы, что это рассуждение совершенно философское? Когда вы сумели передумать столько?"—„Когда? Да в придворной жизни, а потом три года прожитых замужем, когда коснулась действительность, огорчения и болезнь, всегда приходилось думать и передумывать. Это гораздо поучительнее, чем много читать; впрочем, я таки читаю, хотя немного, летом же я больше гуляю, катаюсь и ничего не делаю, хожу в нашей подмосковной Спасском по крестьянам и с ними болтаю. Они меня часто поражают своим здравым умом и меткостью наблюдений".

„Я помню Спасское, там был большой круг перед домом, на котором мы с Н[иколаем] М[ихайловичем] резвилися, друг друга называли „Ютомита" и лазили на какую-то беседку в китайском вкусе, а назад всегда падали".

„А я себя называла „Соссита", а брата Клементия „Тлемита". Представьте себе, что я помню 1812 г. Я родилась 6 марта 1809 года, а он родился десять месяцев спустя, а потом все были погодки: Иосиф, Аркадий и Александр-Карл".

„Как? Ваш отец не ожидал шести недель?"

„Если вы не женаты, откуда вы знаете, что надо ждать шесть недель?"—„Для этого не надо быть женатым, все это знают. Вы родились 6 марта 1809 года, а я 1 марта 1800 года".

„Знаете ли, что 6 марта—сорока двух мучеников в Аммерии, от этого я всегда больна весной, тоскую и хандрю".

*) Высшим светом.

„Пожалуйста, расскажите мне свое детство, вы так хорошо рассказываете, мне многие говорили об этом в Петербурге“.

„Пожалуй, но как может вас это интересовать?“

„Напротив, это меня очень интересует, я чувствую какую-то потребность зарываться в вашу жизнь с детства до дня нашего знакомства“.

„Шуточка рассказать двадцатисемилетнюю жизнь“.

III. Рассказы о детстве.[1]

„Теперь расскажите мне что-нибудь о своем детстве, вы должно быть были красивы, как Адини“.—„Нисколько. Я была очень некрасива. У меня были лишь красивые большие черные глаза. Я ходила переваливаясь, потому что была очень толстая, волосы были из-рыжа черные. Я всегда сидела у папа на коленях. Он меня целовал и ласкал и всегда называл меня „Шасенька“, ведь он был француз и почти всегда говорил по-французски. Маменька говорила по-хохлацки, как и бабушка. Когда тетенька Мар[ия] Ив[ановна] Лорер приехала, она меня очень полюбила, и я все повторяла: „Не хочу жить в Грамаклее, я с тетей Машей поеду в Плибук“.—„Какая смешанная кровь течет у вас в жилах, вы то, что англичане называют mixed. Я никогда не был в Англии, но у меня есть близкие друзья в Париже, Charles Greville et Houssaye (он брат того красавца mauvais sujet*) Alfred Houssaye, которого вы знаете), я немного научился по-английски от них. Greville достал мне учителя, с которым я читал Шекспира, и мог сравнить русский перевод Кетчера, которого я лично знавал в Москве“. —„Послушайте, Николай, я вам все рассказываю, а вы ничего не говорите мне о своей жизни. Мне тоже нужно вживаться в вашу жизнь, милый друг собачка!“—„Как это мило, милый друг собачка,—я буду твоя верная собачка“.—„О, я еще не забыла о своих условиях, никогда не говорить мне „ты“— ни по-русски, ни по-французски. Мы заключим une reserve mentale“ **).

---

*) Негодяй.

**) Мысленное условие.

„Хорошо, решено! Если бы знали, какие я еще делаю reserves mentales“.—„И я тоже“.—„Какое счастье, это на то время, когда мы женимся. Я вам, милостивая государыня, все расскажу про свою собачью образину“.

„Вы говорите это, как Жуковский, он говорил [мне]:„Прелестная Иосифовна, потому что вы прямо дитя ст Иосифа прекрасного, [почему] гневаетесь на меня, свиную образину?“—„Нет, я не люблю, когда вы говорите свинья или скотина,—это гиперболы, которые вам вероятно запрещали в институте, не надо преувеличивать ни в плохом, ни в хорошем“.

„Вы правы, Гоголь мне говорил то же самое, он называл это: гнилые слова“.

„Как это верно! Но продолжайте о своем милом детстве“.

„Ну, так мое детство было очень счастливое, до второго брака моей матери с Арнольди, который был очень гадкий человек, безнравственный и жестокий“.

„Как вы вздыхаете, мой ангел, это можно?“

„Конечно. Я никогда не могла ей простить, что она больше любила хромого чорта (он потерял ногу под Лейпцигом), чем моего папочку“.

„Какая ты трогательная, извините ваше превосходительство“.

„А ты какой любопытный! Извините, господин камер-юнкер двора его императорского величества всех России: белых, красных, царя казанского и астраханского и кота сибирского“.

„Но продолжайте же, madame, это более почтительно, это приучит нас всегда быть на страже у врат наших неподчиняющихся сердечек“.—„Это с вашей стороны [слово не разобрано] берегитесь, чтобы не было реприманду или „бульверсману“, как говорил Иннокентий во время революции 48 г., я его возненавидела за это слово. Филарет не произнес бы ни единого французского слова за все золото в мире. (Это у меня анахронизм)“.[2]

„Как вы хорошо изъясняетесь на всех языках, как все хорошо рассказываете“.

„Это мне напоминает: „Утро делового человека“ Гоголя. Дворецкий дает бал аристократической части дворни, и

каждый должен доставить кавалера. Горничная из хорошего дома говорит буфетчику: „Ах, Лаврентий Михайлович, как вы хорошо говорите, я вас всегда заслушаюсь“, и в эту минуту входит маленький слуга с узелком в руках в фризовой шинели с воротником. Все смеются и говорят: „А ты, московская ворона, откуда прилетела?“ Тут смех и последнее слово Лаврентия Михайловича: „Без инженерного офицера и бал не балом“. Сильный звонок делового человека разгоняет всю лакейскую“.[3] О, Гоголь, как я буду наслаждаться чтением его“.—„Вы увидите его в Париже. Он придет повидаться со мной“.—„Держу пари, что он вас любит и за вами усиленно ухаживает“. Я разразилась смехом. „Знайте, monsieur,—и я приняла важный вид,—что я недоступная крепость“.

„Как вы должны хорошо играть на сцене. Да?“

„Нисколько! Пробовали заставить меня играть, но на сцене мною овладевала невероятная робость. Подите-ка, скажите Ивану или Якову, я тебя обожаю, ты мой ангел, я тебя люблю, это бессмысленно, невозможно!“„—Но оставьте это, продолжайте“.

„Но ведь это не я делаю выноски на полях. Так вот, папа держал меня на коленах, и я целовала его маленькую розовую бородавку, которую я так любила. Позднее, я увидела черное пятно на его колене, и он мне сказал трогательные слова: „Саша, ты старшая из моих детей и та, которую я люблю больше всех. Maman тебя поцелует и благословит всех вас“. Это была бубонная чума. Его так жгло, что он не мог переносить простыню на ногах. Мы шумели, и нас перевели к приятельнице maman Попандопуло, гречанке, дочери знаменитого критского генерала Кезоли (Кис-Оглу, по-турецки). Хотите знать, что долго, даже при дворе, когда я была весела, я видела розовую бородавку папа и говорила себе: „Папа доволен, что его любимое дитя имеет успех, она помнит, что он ей говорил: „Ты будешь заботиться о своих братьях и давать им хорошие советы“. Они все кончили пажеский корпус с военными отличиями, т. е. как камер-пажи. Они все были красивы и нравственны и меня обожали. У меня есть письма моих двух младших братьев. Осипу было девятнадцать лет, Аркадию восемнадцать. Когда они сели на лошадей, Осип в уланах,

а Аркадий артиллеристом, было двадцать градусов мороза, я их провожала: их слезы и мои мерзли на лице".[4]

„Довольно,—сказал Киселев,—я тоже плачу, все это так трогательно: сестра-мать в двадцать лет,—он вытирал глаза рукой. Вы принимаете серьезный и сосредоточенный вид, когда вы говорите, ваше лицо так подвижно, это восхитительно".

„А когда мне было грустно, я видела черное пятно моего дорогого папочки, и говорила себе: „Он не хотел меня поцеловать и сказал мне: ты была нехорошая и была в углу". Я тоже любила своего крестного отца, герцога Ришелье, надо мне повидать семью Ришелье в Париже."— „Брат Ришелье—Jumilhoc ничего особенного из себя не представляет, но вы увидите, что его сестра, маленькая горбунья — прелестная женщина".—„Герцог был так красив. Клеветники распустили слух, что я дочь Ришелье, потому что он очень ценил папа и дал ему такое важное место, как место инспектора карантина. Оказывается, папа притронулся к руке последнего зачумленного и умер от чумы. Maman не отходила от него, она хотела заболеть этой ужасной болезнью, но бог ее спас ради нас".—„Как! Она хотела оставить вас сиротами, без отца и без матери?" —„Э, мой милый друг! Я заметила, что почти всегда сироты счастливее, чем те, которые имели счастие сохранить хороших родителей. Доказательство—я сама. Я часто думала, что сам господь меня вел своей рукой и из бедной деревушки, на самом юге России, привел меня в палаты царей русских на самом севере".

„Вы говорите по-русски совершенно особенно. Я не знаю никого, кто бы говорил по-русски так, как вы". „Душенька, это потому, что я предчувствовала, что вам это будет приятно".—„Мой ангел, вы меня осчастливили".—„Знаешь ли, Николай, что сказал мне Вяземский: когда любишь, то восхитительнее всего то, что предшествует формальному объяснению. Ну, так вы мне еще не объяснились, но я знаю, что вы меня любите, я угадываю это. Я больше не хочу, Николка, чтобы вы меня целовали, но нежные слова, это даже не грех, просто endearing words *), как говорят англичане".

*) Нежные слова.

„Какое новое слово для Николая!“

„Так звали маленького Дундукова“.

„А что касается „endearing words“, я буду хвастаться ими перед Greville, он удивится моим познаниям, и я ему скажу, что научила меня этой науке самая хорошенькая женщина в мире“.

„Бакур мне сказал намедни, что когда он был в Швейцарии, он ужасно скучал и взял учителя, а старик Сухтелен ему сказал; „Э, мой милый, поверьте мне, самое лучшее— взять любовницу“.

„Увы, ты не моя любовница, и это к счастью, но когда мы женимся, вы меня научите всему, что знаете“.

Мы перебрасывались и „ты“ и „вы“, а также нежными словами с той и другой стороны, всем, кроме поцелуев, так как это уже был грех, который не прощается. Он проводил со мною почти весь день, это делалось совершенно естественно. Иногда приходил Платонов, и тогда все было почтительно и церемонно. Раз он мне сказал: „Как это случилось, что Платонов так влюбился в вас?“

„Я расскажу вам это. Смирнов его знал в Петербурге. Он у нас обедал и постепенно стал мне поверять свои тайны. Противная Héléne Belosselskaja была окружена поклонниками. Она кокетничала [5] с Григорием Волхонским и Суццой, и неизвестно, кто отец второй ее дочери: Григорий или Суцца. Я думаю, что ее очаровательное дитя—дочь Суцци. Она похожа на него, как две капли воды. Платонов, много бывавший в свете, был принят у нее, как кузен. Он любезен, хорошо сложен и не очень некрасив, но я нахожу его отвратительным с его носом на меху“. Киселев расхохотался: „Нос на меху“. Вы одна можете это придумать.“

„И вот он глупейшим образом объясняется ей в любви. Тогда мерзавка с гневом отвечает ему: „Как смеет незаконнорожденный претендовать на мою любовь?“ А Платонов крайне чувствителен в этом пункте, отказ его уязвил прямо в сердце. Между тем эта злючка уже успела устроить свадьбу своей очаровательной сестры Марии с Григорием (ей все нипочем).

Итак, Платонов в Петербурге сказал мне. „Какой ненавистный город Петербург, нельзя в нем найти истинного друга, которому можно было бы поверить свои сердечные

страданья. Я ему говорю:—„Да поведайте мне своего горе". Муж, конечно, храпел после обеда. „Как вы добры и милосердны,"—сказал он,—и рассказал всю историю. „Я испытываю муки ада; я и боготворю ее и в то же время ненавижу. Я не могу избавиться от этих чувств".—„За чем же дело стало! Уезжайте, попутешествуйте год или два, увидите—выздоровеете, а ведь „что пройдет, то будет мило". Я и не думала, что мой разговор будет иметь такие плачевные последствия. Вот он очутился в Бадене. Он сошел с ума по Малибран и следовал за ней повсюду. Он был в Ливерпуле, когда у нее произошел разрыв вен. Вы знаете, что она пела подлинный романс, тот самый, который слышал Шекспир из чащи кустов. Молодая девушка оплакивала своего любовника, вскрикивая не в такт, мне знаком этот крик отчаяния".—„Довольно, довольно,—с ужасом сказал он,—где вы слышали это?"—„В деревне, одна женщина приспала, т. е. во время сна задушила своего ребенка и сошла с ума. У нее были девочки-близнецы, одна из них умерла, другую она задушила. Когда Малибран умерла, он мне сказал: „Прошу вас, заступите место Малибран".—„Monsieur Платонов, это, невозможно, хоть я и не достаточно люблю своего мужа, но никогда никого любить не буду".—„Мне кажется, однако, что здесь, в Бадене, есть кто-то, кем полно ваше сердце". Я выпрямилась во весь рост, со словами: „Monsieur, выйдите отсюда, если хотите, чтобы я вас включала в число своих друзей. Это возможно только при условии, чтобы вы не шпионили за моими мыслями или поступками".

„Мой ангел, это божественно—и слова и жесты".—„Он дурак, пускай вздыхает, как петух сидящий на ветке". Он расхохотался при этих словах: „Откуда вы взяли эти выражения?"—„Одна французская модистка, приходившая ко мне с картонками, рассказывала любовные похождения модисток колонии. Я вас уверяю, это было интересней, чем слушать храп мужа. Гандольеф терпеть не могла madame Тардиф и говорила, она похожа на петуха, сидящего на ветке, когда на ней желтая шляпа с пером цапли".

„Николай!" — „Что?" — „Это так прелестно, что мы смеемся сквозь слезы и плачем сквозь смех."—„И смех и горе".—„По несчастью более горя".—„Да, уж этого с процентами у меня наберется миллионы. У тебя по крайней

мере процентов нет".—„Это правда, и теперь пошли радости, а чего доброго—в Париже я наживу тоже миллионы".

„Однако, милостивая государыня, вы у меня в долгу с процентами, извольте-ка рассказывать про Грамаклею!" —„Хорошо, где-же бишь я остановилась? Да, папенька, умер. Ришелье уехал. Маменька поехала с нами в Адамовку, где все плакала. Адамовку дали отцу за его заслуги, когда он служил в Черноморской гребной флотилии. Старик князь Вяземский, у которого был болезненный тик вследствие раны, полученной при осаде Очакова, мне сказал: „Дорогое мое дитя, ваш отец был человек выдающегося ума и всесторонних знаний, он был скромен, вот почему Суворов не выдвинул его больше". Папа получил пять тысяч десятин земли по берегу Телигула, впадающего в Ингул, который в свою очередь впадает в Водяную, а Водяная в Днепр".—„Как вы много знаете".—„Но я никогда ничему не училась, все это было прожито мной. Как я любила Ришелье! Он всегда носил меня на руках, я гладила его черные, седеющие волосы, и я ему говорила: „Дюкенька, папа умер, ты должен жениться на мама, и ты будешь тогда мой папа". Он грустно качал головой. Папа на шее носил крест св. Анны, украшенный бриллиантами, и очаковскую медаль. Эта медаль была самого чистого золота с изображением креста над полумесяцем. Все это пропало благодаря хромоногому чорту. Осталось только прелестная миниатюра папа у Аркадия".

„Если Ришелье держал вас на руках, надеюсь, вы не упадете в объятия Jumilhoc".—„Ай, вот он идет с рулетки, пойдем руки мыть".

За обедом он сказал моему мужу: „Ваша жена рассказала мне много интересных вещей об Одессе и герцоге Ришелье. Она хочет познакомиться с его племянниками. Я ее предупредил, что один из них любит компрометировать". Он [Смирнов] отвечал: „Дядя моей жены предлагал продать мне Грамаклею, я боюсь, что напрасно не купил".—„Само собой разумеется, сказал ему Киселев, будущее России на юге, а никак не в Москве—это татарва."—„Как татарва!" И пошел кричать, махать руками. Я толкнула Кису под столом чтобы прекратить эти крики, а по окончании обеда, покуривая и попивая, он заснул. Невыразимо отвращение, которое он внушал нам. Мы молчали, чтобы наслаждаться

прелестью более красноречивого языка глаз. Проснувшись, он потянулся, зевнул, сквернословил. Штаны были вечно расстегнуты. Когда он пошел на рулетку, Киселев мне сказал: „Бедная, бедная Шасенька, и ей надо терпеть то, что возмущает все, вплоть до целомудрия. Но ее Николай не доставит ей страданий ни с какой стороны. Прежде всего, если бы врачи запретили ей иметь детей, он жил бы как монах, не расставаясь с ней ни днем, ни ночью, он боготворил бы ее, как Мадонну, как святое дитя, какое она и есть".

Мы молчали, я на него также смотрела с нежностью, и он смотрел на меня своими добрыми, улыбающимися глазами. „Что-же, Арманд, хотите вы слушать про бабушку?"

„Разумеется хочу слушать про дорогую бабушку, у которой такая очаровательная внучка двадцати семи лет".

„Наша бедная бабушка не видела меня взрослой. Когда императрица поехала в Одессу, я выразила ей желание вновь увидеть свой родной город, то место, где похоронены папа и мама, увидеть бабушкину деревню и Адамовку; она мне сказала:„ Моя милая, это невозможно. Вы знаете, что мы имеем дохода только девятьсот тысяч франков, и установленный порядок требует, чтобы меня сопровождали старейшие фрейлины. Я бы предпочла, чтобы со мной поехали вы, Черненькая, и Беленькая, вместо Софи Медем и Софи Урусовой, но maman так строга по отношению к этикету, она стала бы возражать."

„Душенька, не только ваше лицо меняется, но и ваш голос, он то веселый, то серьезный, то нежный."—„Нужно же, чтобы жесты соответствовали словам... И когда они нежны, мой дорогой Кис!"

„Надеюсь, что это не будет, когда они обращены к этому франту из Парижа. Но сделаем скорей визит бабушке; вы остановились на Адамовке."

„Да! Мы недолго оставались в Адамовке. Возьмите карандаш и нарисуйте как-нибудь то, что я буду вам диктовать. Небольшой дом обращен фасадом к степи в пять тысяч верст, за которой был ключ очень холодной воды, с правой стороны протекал Телигул, в котором деревенские бабы стирали белье. Наше белье стиралось ключевой водой. За рекой росли ивы, которые образовали как

бы занавес из зелени; слева вытянутые в струнку мазанки, покрытые соломой в старновку".

„Что такое старновка?"—„Солома, особенным образом обрезанная, образующая крышу белых домиков наших крестьян на юге. Зона Малой России начинается с Харькова и заключает в себе губернии Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, еще Курскую. Это очень богатые места с великолепной растительностью. Полтавские дубы по берегам Ворсклы знамениты. Крестьяне вам отвечают, когда им говорят „Виткиля вы?" (т.-е. откуда вы?): „З Харькова или з Чернигова—завзятые", и с еще более гордым видом: „З пид Монумента." Повторите-ка малороссийский акцент!—Не дурно! вы совсем хорошо будете уметь говорить, как я."—„Да, да, продолжайте только."

„Дом был маленький, кажется было всего пять комнат, для нас этого было достаточно. Мебель была выкрашена в желтую краску на масле, а на спинках розы. Герцог подарил эту мебель моей матери, а для Шасеньки он заказал очень низкий диван, четыре кресла и стол, все это тоже желтое и раскрашенное розами. Направо от дома, первый дом—была хата Бибикова; дочь Маруси Бибиковой, Марийка, была у нас в детской. Потом хата Чуднова, он в жару поливал цветник водой из больших чанов. Тогда были сильные грозы, и вода лилась потоками. Нас всегда выгоняли в цветник. „Щоб дитятки росли, голубушка наша Надежда Ивановна!" А там была хата Скачко, который с нами ходил на взморье, делал нам палочки из ивняка и дудочки, с ним мы удили бычков и приносили их на ужин, бычки жарили на сковороде с маслом и сметаной, как грибы. Это превкусное блюдо, но Амалья Ивановна боялась косточек, она надевала очки и вынимала из рыбы косточки."

„Это кто еще Амалья Ивановна?"—„Подождите, атанде-с, я все расскажу, надо с чином, толком и расстановкой. Итак, за домом на пригорке папенька рассадил яблони, груши, черешни, айву, тутовое дерево, черное и белое, очень полезный плод и нам его давали, как слабительное. Мушмалла (по-турецки) не принялась, но зато ему очень повезло с кустарниками: смородина красная, белая и черная, несколько кустов розанов цвели прекрасно, и всякое утро папенька приносил маменьке розу. Под домом

был погреб, где ставили горшки с молочным сбором, и мама сама снимала сливки деревянной ложкой для кофия папы, когда он возвращался с хозяйства. Он всегда ее называл „Дитя мое“ и целовал ее в лоб, потом сажал меня на колени и давал нам всем гренок, опущенный в очень крепкий кофий, приготовленный по-польски. После смерти папы маме пришлось заниматься всеми делами. В то время в России говорилось о переписи. В России это называлось перепись, в Малороссии-„Ревизская сказка.“ Фактор-жид приходил каждое утро и приносил длинную бумагу, которую всегда читал. Он мне надоедал, и я говорила: „Маменька, когда же жид расскажет сказку?“ Дело шло, кроме того, о процессе, который из-за источника вел против нас один злой сосед.“

„Боже, как вы хорошо рассказываете, и какая чудная семейная картина: старый муж, который боготворит свою молодую прекрасную жену, пятеро детей, один другого лучше: все красивые, умные. Мой ангел, когда мы женимся, у нас будет пятеро детей, и мы будем жить в Адамовке. Двор уже не будет иметь прелести для нас. Когда-нибудь я потребую, чтобы вы опубликовали свои мемуары, и тогда увидят, что мадам де-Севинье ничто по сравнению с моей женой.“

„Когда мы уезжали, нас спрашивали: „А как прикажете ехать, сударыня, на Красный трактир или на Янгакраки?“ Дорога на Красный трактир была длинней, и большей частью ездили на шестерне на Янгакраки. Вернувшись в Одессу, мы уложились основательно и уехали в Грамаклею. Ах, Грамаклея, милая бабушкина деревушка, как [она] мне памятна и любезна! Бабушка стояла под воротами и рукой заслоняла наше палящее малороссийское солнце. Подъехал желтый дормез, в котором сидела моя душенька маменька и я, да еще висела канарейка, моя крепостная канарейка. Дормез дюк подарил нам, когда оставил Одессу. Спереди был ящик, который отворялся, в этом ларце было зеркальце, крошечный рукомойник, все, что надобно было для туалета, даже перья, бумага, и мама меня мыла, убирала свои черные густые волосы, мылась и оправлялась. За нами ехал большой шестиместный рыдван, где были Амалья Ивановна и братья, а на чемодане сзади сидела Марийка с тьмой

узелков. Когда мы вышли, бабушка сказала: „Надька, я тебя ждала давно, вчера, а, Сашка-дурка, и ты с мамой. Серденько мое! поцелуй у баби руку, а потом накалякаемся."

„Боже, как это красиво „серденько," по русски этого нет."—„Нет! Я вас буду всему учить по-малороссийски. Язык этот так богат и так мягок. Малороссы — итальянцы России.

Маменька уехала в Киев на контракты; в нее влюбился граф Ржевусский, которого называли арабом. Он изъездил всю Палестину и купался в Мертвом море, отчего покрылся соленой корой, но это вздор, стоит только сесть в теплую ванну с мылом, и все сходит. В Киеве собиралась вся польская знать. Маменька уже в Одессе видела всех Потоцких и Огинских. На контрактах польские паны отдавали жидам в ареду свои имения и разорялись, и, со свойственным им легкомыслием, пели:

Як приехал в Златонош
Да к жиду в аренду,
Кинцер мир, Кинцер бир
Schöne Минка, Кинцер мир!

„Это прелестно, теперь я буду вас называть shöne Minka".

„Я знаю еще одну польскую песнь, и потом еще две печальные. Вторая приводила в восторг Станислава".—„Как? Вы звали его Станиславом?" —„Успокойтесь, не волнуйтесь, я звала его: граф Потоцкий.

„Жила ж бабулька
З роду богатого..."

„Ну, теперь печальную".—„Атанде-с, атанде-с, дайте дух перевести, сударь мой. Я узнала ее от Гапки, служанки бабушки. Гапка была краснощекая дивка, всегда босая и в пестрядевом платье. Она все чистила и вощила столы и шкафы по субботам, и бабушка ей давала пощечины, когда столы не были навощены, как новые, или приказывала Малашке ее высечь. У Малашки был палец, как веретено".

„Неужели бабушка била своей рукой бедную Гапку?"

„Еще бы, но я раз видела ужасную вещь. Я вышла в переднюю, и там сидел мужик в рогатине на шее, я

закричала: „Бабушка, у вас в передней козел!“ Узнав, что это мужик, я просила ее снять рогатину: она сняла тотчас, а то он бы просидел всю ночь в рогатине“.

„Какой ужас! Неужели и теперь это у нас существует?“

„Нет! Уже при Александре запрещено было продавать людей по одиночке, только семействами, а при моем собственном милом государе никто не смел и руки поднять на крепостного. Хохлы все-таки были гуманней русских татаров. Однако, пора гулять, пойдемте гулять. Ведь я и на гулянье могу гуторить“.

„Это еще что за слово?“

„Это значит „говорить“ по тамбовскому наречию, меня Машка посвятила в эти тайны“.

IV. На прогулке [1].

„Николая Павловича очень тревожила мысль освобождения крестьян, особенно, когда возвратился из Бухареста Павел Дмитриевич [Киселев]. Он ему сказал: „Ты мне дай отчет!“—„Государь“, отвечал он, „отчет длинен, дурно написан, ведь я неграмотен“.—„Нет, ты все-таки дай мне его. Ведь я привык читать губернаторские отчеты, а там все ложь, ты привык говорить правду покойному брату“. Раза три он ему говорил. „Отчет твой очень интересен, ты так много сделал для бедного крепостного люда, и я хочу, чтобы ты написал проект для освобождения наших несчастных крестьян. Пора, пора отпустить их на волю“ [2].

„Кто же вам это рассказал?“—„Граф Павел Дмитриевич. Ваш любимый Поль. Фрейлина Шишкина мне рассказывала, что в седьмом году она вышла из Смольного, и ей купили девку за восемь рублей. Александр Павлович узнал и это запретил. Мой папенька должен был купить все семейство Дмитрия повара. Он заплатил Высоцкому триста рублей и перевез на свой счет. Оказалось, что дело было очень выгодно. Дмитрий был пьяница, но очень хороший повар. Его мать, Авдотья, славная нянька и выходила Карленьку, а Пелагея, его сестра, хорошая горничная, но кондуиту легкого, очень притом гадкая и вся в бородавках“.

„Я знаю одну с бородавками, но такими соблазнительными, не смею продолжать“...—„Молчите, сударь, вы „битих,

разбитих", как выражается князь Дмитрий Евсеевич Цицианов. Знаете ли, как государя тревожит это подлейшее крепостное право? Раз я ехала по Невскому: он меня объехал, и мы поклонились, как следует: я с решпектом, а он с ласковой улыбкой. Он поравнялся с партией мазанщиков, забрызганных известью. Он им поклонился низко, они до земли и следили за ним, а он оборачивается на них. Вечером на собрании он сел по обыкновению возле меня, я сказала ему по-французски: „Ваше величество, я имела счастье вас видеть на проспекте, и я заметила, что вы внимательнее кланяетесь крестьянам, чем нам".—„Еще бы, они знают, что у них нет другого защитника, кроме меня; все те, у кого есть просьбы, ко мне обращаются в комиссию прошений и могут также представлять их мне в форме писем, которые мне передает дежурный адъютант. Я беру прошение крестьян в собственные руки. Эти добрые люди смиренно становятся на колени. Вы видели это? Да, вот вчера я наткнулся на один случай, вы знаете, что Мандт велел мне ходить от шести до семи часов, я шел по Фонтанке, мимо дома датского посла Блюма. Он—гурман, как вы знаете, по-русски это значит обжора, т. е. что ни есть гадкого. Было десять градусов мороза, кучера руками колотили себя, маленькие форейторы скакали; не было даже костров. Один кучер говорил: „А мой-то, собака, утром рыскал по всему городу, потом сидел у любовницы, меня не отпустил (я не стану передавать вам глупые шутки о любовнице), не дал пообедать, я только утром успел перехватить стакан сбитню, да черствую булку, теперь трескает и будет поигрывать в картишки за полночь, хотя бы меня проиграл этому же посланнику, вишь-ты, егерь говорит, что они у него живут, как у христа за пазухой. Почитай, немцы лучше русских. Ох ты, крепость, крепость, когда-то царь нас отпустит, голубчик наш, на волю". Я им сказал: „Скоро, если бог позволит". Они шапки сняли. Я сказал им: „Шапок никому не снимай, когда холодно, молитесь богу". В другой раз он меня спросил: „Александра Осиповна, когда вы едете на бал, отпускаете ли вы ваших кучеров?"—„Нет, государь!"—„Отчего?"—„Я им предлагала, но они отвечали": „Сударыня, расспишься и вставать то [слово не разобрано], тут наживешь, пожалуй, горячку".—„Что за беда! Если и

схватит горячку, ваша совесть чиста, вы исполнили христианский долг, долг человеческий. Вот я намедни вышел от княгини Кочубей в полночь. Яков не приехал за мной, я дошел до извозчика и доехал до дворца и велел дать ему пятьдесят рублей, бедняк отвечал: „Барин, у меня сдачи нет“.—„Голубчик, сказал я, государю не нужна твоя сдача“. Согласитесь, что это прелестно и трогательно. Извозчик так и повалился ему в ноги и заплакал от радости.

Я начала давать вечера, когда муж отделал дом на Мойке, у Синего Моста. Государь мне сказал: „И долго у вас сидят? Я слышал, что у вас ужинают в час?“—„Да, государь, до двух и трех сидят, в карты не играют и болтают“.—„А кучера зябнут на морозе?“—„Извините, во-первых, разводят два костра и два раза угощают компанию чаем с булками, калачами и сайками, даже лакомства, так что кучера с радостью везут ко мне господ и говорят: вот это барынька хорошая“.

„Лаврентий Михайлович*), как вы хорошо говорите, я всегда вас заслушаюсь, но ваш колокольчик зазвенел, это знак, что нам надобно итти домой, а вам отдыхать, заснуть и закинуть вашу прелестную ручку за голову“. Он взял хризантему. „Погадайте!“ Вышло—„люблю немного“, и, наконец, „совсем не люблю“. Я швырнула оборванный цветок [ему] в лицо и сказала: „Это ромашка для вас, когда у вас заболит желудок, не так, как у мадам Смирновой, когда она беременна“.—„Этот цветок я приобщу в свою сокровищницу“. —„Да он отцвел“. —„Ничего, он был в руках одной панночки, которую я люблю больше всего на свете. Вы видите, что ваши уроки приносят пользу!“—„Отцветший цветок напоминает мне прелестные стихи Капниста:

Фиалка на заре родилась,
В час утренний развила цвет,
В полдень со стебелька свалилась,
А вечерком фиалки нет.

Я нахожу эти стихи такими трогательными, их можно было бы отнести к девушке или юноше очень счастливым, которых преждевременно скосила смерть“.—„Вот вы принимаете свое растроганное выражение“.

---

*) См. примеч. 3-ье к главе III-ьей.

Мы возвратились. „Киселев,—приходите к нам пить кофий, я тоже иногда устраиваю себе это утешение. Он [Смирнов] украсит самовар окурками сигар, будет пить чай с кипяченными сливками, он мочит хлеб пальцами и выходят просто помои".—„Ах, какой вы чудный человек, как вы замечаете смешную сторону людей, и вы так хорошо передразниваете".

После обеда он пошел к Клеопатре, где я встретила Анику Икскуль, урожденную Волконскую и Николая Алексеевича Муханова. Я ему сказала:—„Вы как тут без Владимира Алексеевича?"—„Владимира Алексеевича я проводил в Вену". Братья обожали друг друга, никогда не говорили друг другу „ты" и всегда называли один другого по имени и отчеству. Через пять минут Аника говорила мне: „Моя дорогая", так же как и другая родственница Клеопатры, madame Статиньяно. Одна из них сказала мне: „Какие маленькие дома в Бадене, когда я подумаю, какие у нас большие дома в Бухаресте".

„Ну, теперь про бабушку".

„Нет! Нет! Нужно окончить про императора Николая. Эти воспоминания мне так дороги. Итак, он раз возвращался во дворец, и на Морской маленькая семилетняя девочка встала на запятки его саней. Все прохожие оборачивались и смеялись. Он обернулся и увидел маленькую нищую, которая ему говорит: „Дяденька, дай покататься".—„Держись, только крепко". Он ее привез во дворец и привел в комнату к императрице. Она безумно хохотала и сказала ему: „Где вы нашли это дитя, нам надо взять ее на свое попечение".Девочка сказала, что мать ее бедна и работает в Измайловских казармах. Ее накормили блинами, она сказала государю: „Дяденька, у тебя блины лучше наших". Ей дали немного денег и отправили ее в царских санях. Якову приказали все узнать об ее матери и велели ей притти с девочкой во дворец. Оказалось, что старуха была честная женщина; у нас бабы от горя стареются с тридцати лет.

Однажды, когда он установил с Горголием жалование служащим в полиции, обер-полицеймейстер забыл ламповщиков. Эти несчастные, закутавшись в рогожи в сырые и холодные ночи, решили, что нужно только попросить жалования. Самый смелый сказал своим товарищам: „Я скажу.

Царь ходит в десять часов по Невскому, я и подойду и скажу, так и так, зачем нас в обиду поставили". Сказано, сделано. Государь сказал им: „Хорошо ребята, я завтра же скажу обер-полицеймейстеру". На другой день, когда пришел Горголий, он нахмурил брови, принял свой торжественный вид и сказал ему голосом разгневанного Юпитера: „Милостивый государь, вы, кажется, мало думаете о других, но себя никогда не забываете". „Государь!.." „Нет я знаю, что ты взяток не берешь, но есть другая честность она называется справедливостью к подчиненным. Назначить двенадцать рублей ламповщикам". Вечером он увидел всех фонарщиков, выстроившихся в ряд, которые говорили ему: „Батюшка-царь, ты наш отец и мать родные".

„Это великолепно, я понимаю, что вы восторгаетесь государем".—„Послушайте еще, что он сделал. Он встречает одного кварташку и ему говорит: „Про вас говорят, что вы все—воры".—„Ваше величество, мы не крадем, жалованье наше самое скудное. Чем жить с семейством? Мы получаем с домов где пятьдесят, где сто рублей". —„А с меня сколько?"—„Как можно с вас получать?"—„Я всех богаче, и потому ты будешь получать пятьсот". Оказалось, что это был известный человек, Горлов, написавший очень большую книгу о реформе в полиции".

„Ну, теперь про бабушку".—„Атанде-с, я тотчас кончу самый трогательный. Он любил ходить по Николаевскому мосту и молиться у часовни Николая чудотворца. Ты какого Николая?"—„Чудотворца".—„Я теперь буду ходить туда молиться о моем милом чудотворце, он оживил и освежил мое увядающее сердце".—„Душа моя, ангел мой, как я люблю твое „ты"; мне чудится, что ты моя законная жена и ребенок мой".

„Он пошел и видит дроги, а на них желтый гроб с черным крестом, он перекрестился и спросил: „Из какой больницы?"—Из Обуховской".—„Кто?"—„Кажись, чиновник, очень бедный". Он последовал за гробом до великолепного спуска—шедевр Кервуди, польского инженера. Он шел в кадетский корпус, народ пошел за ним, толпа дошла, говорят, до восьми тысяч человек. У входа на кладбище священник ужаснулся. По бедным служат только литию; поп был в изношенной черной ризе, закапанной

воском. Тут государь троекратно низко поклонился и сказал: „Братцы, я исполнил долг бедному брату, а вы помолитесь и посыпьте его прах землей“. Все стали на колени и плакали от умиленья“.—„Как не плакать, видя такие черты“ [3]. —„Он никогда не хвалился этим. Когда разразилась холера, народ взбунтовался, разорвал на части двух врачей, государь послал Василия Перовского из Петергофа в Петербург, чтобы постараться успокоить бедных крестьян. Отчет Перовского был убийственен, его чуть не убили, потому что на нем нашли флакон одеколона. Мы были у императрицы, когда он вошел и сказал: „Милый друг, я вижу, что должен платиться своей особой, я еду с Орловым“: Все встали, восклицая: „Ради Бога, ваше величество, не ездите в Петербург! Перовский сумеет справиться с несчастным мятежем“. В эту минуту вошел Орлов со словами: „Ваше величество, коляска у подъезда“. Императрица, у которой невероятная сила воли, подбадривала его и благословила. Мы все вышли на крыльцо и кричали ему вслед: „Христос с вами, дорогой государь!“ У него была мигрень, и его рвало всю дорогу. Прямо на Сенную, так как это форум русских рабочих. Там было восемь тысяч человек. Он встал в коляске и обратился к толпе, которая в его присутствии смела еще роптать: „Все на колени и молись!“ Священник, который раньше выходил с крестом и которого оскорбили, вновь явился с крестом в полном облачении, отслужил молебен, и он уехал. Спокойствие продержалось во все продолжение ужасной эпидемии; холера не заразительна, как думали, это эпидемическая болезнь, и совершенно теряются в догадках по поводу этого ужасного бича. В Петергофе от нее умер только один лакей. Я вам потом расскажу, что он сделал в военных поселениях. Да, хотя я обожаю государя, я больше еще люблю бабушку.“

V. Поездка в замок „Фаворит“.[1]

Графиня Юлия заехала за мной, чтобы вместе поехать в замок „Фаворит“. На возвратном пути мы поровнялись с коляской, в которой сидели три дамы. Наш кучер пришел в ярость, бил лошадей и все больше и больше выезжал на шоссе. Еще одна минута, и экипаж этих дам очутился в

небольшой канаве. Мы услышали ужасные крики. Графиня Юлия была почти без сознания, я побагровела—вся моя кровь прилила к сердцу. Киселев был бледен, как смерть, он держал обе мои руки и наклонялся, чтобы целовать их, говоря мне: „Мой ангел, мой милый ангел, успокойтесь". Что делать? Мы не могли помочь, они были под коляской. Графиня сказала: „Нужно вернуться и послать за Гугортом, который поедет в нашей коляске, а сначала Киселев довезет вас домой". Киселев сказал: „Дорогая графиня, ради бога, не оставляйте ее, я дрожу за нее". Гугорт тотчас же приехал еще с одним доктором. На возвратном пути Киселев мне сказал: „Я был также на рулетке, чтобы рассказать мужу о вашем испуге. Он мне сказал: „Отвяжись от меня, я на красную ставлю. Приняла ли она аконита?"—„Я не знаю, но я ей напомню". Он мне привел Гугорта, который не стесняется и сказал мне: „Вы мочились?"—„Я не могла". „Так выпейте чая из петрушки".

Вечером я ему сказала: „Послушай, дорогой Николай, твои заботы сегодня вечером доказали мне, до какой степени ты меня любишь, мы научились никогда не ошибаться, обращаясь друг к другу, теперь я всегда буду говорить тебе „ты" на всех языках, возможных и невозможных".—„Благодарю тебя, моя любимая, и можно тебя поцеловать, не правда ли?"—„Да, да, но только глаза и лоб, но не губы, тут тебе будет пощечина". —„Хорошо-же, покалякаем". Я поцеловала его в лоб, и он приник губами к моим губам, говоря мне: „Какое счастье эти розовые губки и эти уголки губ, которые так очаровательно подняты и придают [лицу] пренебрежительный вид". Я ему сказала: „А, да ты просто Соловей-Разбойник".—„Как это мило: Соловей-Разбойник, как вы это придумали?"

„Я не придумывала. Плетнев подарил мне в день моего рождения сборник песен Кирши Данилова, там поют про Никиту Добрынича, про Илью Муромца, который сидел сорок лет на дубе, и про Соловья-Разбойника [2]. Повидимому, это был господин такой же заботливый, как ты. За то, что ты нарушил договор и сказал мне „вы", ты будешь наказан!"

„Вот ты меня поцелуешь десять раз в лоб и глаза, а я тебя, моя милая Саша, десять раз в губы".—„За то вот тебе пощечина", и махнула всей рукой.—„Ведь это в самом

деле больно, и в наказание я конфискую эту восхитительную ладонь, прижму ее к своему сердцу и к губам. Скажи, ты когда-нибудь давала пощечины своим служанкам?“

„Никогда, ребенком я была очень несдержанна, топала ногами, разрывала на кусочки свой носовой платок, чтобы рассердить Амалью Ивановну или мама. В институте мы не смели назвать дурой своих подруг и говорили: „Какая противная“ или: „Какая вы нехорошая“. Это было в Зимнем дворце, в день нового года, когда меня проучила моя горничная, Мария Савельевна. Она зашнуровывала меня. Я терпеть не могла, чтобы меня стягивали снизу. Расшнуровывая шнурки, я ее ударила, она тоже ударила меня так, что это было чувствительно. „Это вашему фрейлинскому превосходительству будет урок. Вечером одевайтесь, как хотите, с Лизой!“ Это был бал с мужиками в количестве сорока тысяч“.

„Как, бал с мужиками? Как я однако далеко жил от света. Я никогда не слыхал, что русский царь веселится с своим народом“.

„Как же, видишь, мы были в сарафанах, дамы в повойниках, а барышни в повязках. Надевали запонки из фальшивых камней и вообще все надевали фальшивые камни в этот день, так как мужики могли украсть. В корридорах стояли целые войска черных дворников“.

„Ты должна была быть прелестна в этом костюме. Во всех ты, душенька, нарядах хороша“.—„Не правда-ли, это поэма Богдановича?“—„Психея ты моя, у греческой Психеи не было сердца, а у тебя сердце такое широкое, что ты всех любишь, всех, и вся, и все“.—„Это хорошо сказано“.

На этом балу моим кавалером был граф Ельский, который вел меня под руку, и Ленский, незаконный сын Фомы Лубенского, поссорился с Ельским, своим закадычным другом. На этом балу Стефани решилась выйти замуж за Луи Витгенштейна. Иосиф был камер-пажем императрицы, император вел ее под руку. Императрица играла в бостон с тремя скучными стариками по чинам: Лопухин, Куракин и Вилламов, ее первый секретарь, камергеры и высшие придворные чины окружали ее. Это происходило в Георгиевском зале, где стоит трон. Мужиков туда пускали десятками зараз. Церковь была открыта и освещена

agiorno, певчие и духовенство стояли перед царскими дверями и, кто хотел, просил отслужить молебен, полковая музыка гремела во всех залах „Гром победы раздавайся“ и „Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать“. Эти молитвенные звуки сливались с земными звуками радости душевной“.—„Лаврентий Михайлович, как вы хорошо говорите, я всегда вас заслушаюсь“.—„То-то так, M-lle Кочетова всегда это говорила“. По углам стояли горки до потолка с кубками и блюдами, мужикам давали чай, но ложек не давали. На этом бале Ося чуть не попал в беду, во все время он шел следом за своей богиней [государыней] и нес над головой ее боа из марабу. Я шла во второй паре, он мне делал знаки. Он пришел в такой азарт, что прошел мимо камер-юнферы, не отдав ей ридикюль, и стал снимать атласные башмаки с ног императрицы. Она, голубушка, пококетничала и позволила ему поцеловать ее ножку. Государь вошел и погрозил ему пальцем: „Пошел вон, Россет, тебя не будут более наряжать целый месяц“ и прибавил: „Он так молод, ему пятнадцать лет, он подражает Керубини“. Ося это услыхал, прибежал ко мне и сказал: „Ах, Сашенька, спаси меня, что я сделал, но государь сказал: „Он подражает Керубини“, расскажи, кто был Керубини?“ [3] Я рассказала. Он сказал: „Какой ужас, целый месяц не будут меня наряжать к ней!“ Михаил Павлович это узнал и посадил его под арест на Адмиралтейской площади. Я к нему ездила всякий день и возила ему обед, а солдатам раздавала сбитень. „Моя богиня,—[говорит Ося],—ездит мимо адмиралтейства, всегда мне кланяется и смеется, я просто с ума схожу, когда ее вижу“.

VI. Рассказы про институт. [1]

„Которой час?“

„Около четырех часов, можно еще болтать или, лучше, диктуйте про институт!“

„Меня по обычаю поместили в четвертушки будущего девятого выпуска. В дортуаре стояли высокие пюпитры вразброд, возле меня сидела Курень, очень милая и хорошенькая девочка, может быть, она была дочь Куреня одесского, который пропал без вести на войне. Пропажи без вести очень страшная вещь. Надеюсь, что ни вы, ни

я не пропадем без вести. Может вы для меня пропадете без вести, если не будете писать ко мне, и я к вам."—„Ну это уже совсем несбыточно".—„Всякое бывает, чем чорт не шутит".

Машеньку и Клеопатру Попандопуло я часто встречала в корридорах. Они были в большом классе, очень хорошо учились. Машенька получила второй шифр, а Клеопатра золотую медаль. Они очень грустили по Одессе. У нас дежурили пепиньерки-шведка Эрпинд, Розанова, прегадкая, задавала себе ужасный тон, потому что ее сестра была третья жена Николая Васильевича Зиновьева и Марья Ивановна Шлейн, une protegée de madame Архарова (она меня очень любила и баловала, ей присылали мои гостинцы, да и она от Архаровых привозила мне всякую всячину). Начали привозить детей всякого возраста и роста, когда набралось до ста пятидесяти, начались экзамены и сортировка. Меня поместили в первое отделение, и маленькие сидели на первых скамейках, а большие на задних. На нашей лавке ближе к окну старшая Боборыкина, потом Машенька Бартоломей, дочь хорошего доктора, женатого на польке, они жили на углу Фонтанки и Пантелеймоновской. Леонилка была красавица, но неряха, у нее передник был всегда грязный, как у стряпухи, и ее звали „Блинщица". Подле Бартоломей сидела Нагель, внучка madame Нагель, у которой некоторые девицы брали уроки музыки. Она была злая, косая и жадная, всегда захватывала лишнюю порцию, и ее звали „жид Косулевич", потом Сашенька Балугьянская, которую прозвали „Галкой", а меня „Черненькая".

На другую сторону улицы (улица это довольно широкое пространство, где ходили дамы, чтобы видеть, что делается во всех углах), так по ту сторону улицы сидела Стефани, которая так обрусела, что просила нас звать ее „Степкой", подле нее Киса Леонтьева, милая, красивая Наташа Кайданова, Тарасова и Катахрова. Катахрова была дочь генерала, ужасно жадная, и вечно ходила между лавок и просила: „Mesdames, дайте кусочек". На лавках сидели Лиза Кайданова, Ширковы, Бороздины, Исакова, Шторх и Крупетьева, которая ничему не училась, но хорошо пела. Она в своем пюпитре воспитывала мышей, а в саду

возилась с котятами. У ней было восемь на руках, и всем она давала имена, я помню, что одну пеструю она называла „литература“. На верхних скамьях сидели Эйлер,— белокурая красавица, Копьева—очень миленькая и чистенькая, рыжая, и Погожева—предурная, ее прозвали „Поганка“. С другой стороны Арсеньева, племянница фрейлины Екатерины Ивановны Арсеньевой. Ее брат Павел, честнейший человек, был одним из восьми кавалеров в. к. Николая и Михаила Павловичей. Я его видела в Москве у тетушки Цициановой, старик был прекрасной и почтенной наружности. В нижнем корридоре жили еще Mathilde de Meron, которая учила петь, и графиня Rosalie Chaillet.

В Смольном гораздо более верили чорту, чем у нас, и раз кто-то закричал: „Mesdames, чорт идет“, и все, даже белые, вскочили. У нас говорили, что по корридору ходили „понимашки“. Что вы смеетесь?“—„Не смотрите на меня своими черными глазами: они доводят меня до безумия“.— „По делом вам, ведь вы смеетесь над „понимашками“.

Это название выдумала Фаминцына, из седьмого выпуска, для духов, посещавших наши коридоры. Всегда заранее знали, когда они появятся, и говорили: „Mesdames, не ходите поздно по корридору, сегодня будут бегать „понимашки“. Крупенникова рассказывала, что она видела глаза „понимашек“, что они были зеленые и большие, как луна, „понимашки“ играли на полу и пристально на нее смотрели, и что раз, когда мы пошли ужинать, она видела их ноги мимо церкви, и что они за ней бежали по мертвецкой лестнице. Она закричала нам: „Mesdames, я видела только одни голые ноги „понимашек“. Мы все ринулись в столовую с криком, почти повалили классных дам.

„Вы были милые, невинные шалуньи и порядочные трусихи“.

„Я и теперь боюсь спать в темной комнате и проходить в корридорах.

Во дворце с Стефани всегда бегом проходили через Георгиевскую залу. Из восьмого выпуска не оставалось никого, кроме пепиньерок Потоцких, Pélagie и Delia, которых я конечно обожала. Delia была русская красавица с лукавенькими черными глазками. Pélagie, старшая, была очень смуглая, стройная, как пальма, очень близорукая и

всегда грустила. Они были дочери известного Жана Потоцкого, который писал страшные романы, „Les trois pendus“ *) я читала.

В последний год восьмого выпуска все первое отделение поставили на колени за то, что они читали: „Les petits émigrés“, **) самую невинную книгу. Они от нас скрывали, но мы им кричали в корридоре: „Какой стыд, последний год, а наказаны за непослушание, как маленькие дети“. Когда мы были в большом классе, к Кайдановым ездила старая незамужняя тетка, она им привозила очень жирные пирожки с говядиной и разные сласти. Один раз она им привезла роман в восьми томах, который назывался „Emma Courtenay, ou la chapelle d'Ayton“. Они его давали другим, Стефани и мне первой. Alexandrine Зубова никогда не вкушала запрещенного плода, и другие святоши: Арапова, Люба Хилкова тоже не читали. Роман читался по крайней мере шесть месяцев. Наконец, произошла катастрофа, на Эмму возводят страшную клевету, Auguste Horby дерется на дуэли, Эмма умирает с разбитым сердцем. Я прихожу в класс и нахожу Стефани в слезах. Она мне сообщает, что Огюст умер. Весь класс отвечает рыданиями, равнодушные говорят: „Какие дуры! Огюст никогда не существовал“.

Представьте себе, что митрополит московский сказал мне совершенно то же, когда я ему посоветовала прочитать „Шинель“ и „Смерть Акакия Акакиевича“: „Поберегите свои слезы, еще много придется вам их пролить о своих и чужих грехах“.

Мы решили, что нужно носить траур по обоим героям романа. При горловой боли заставляли надевать узкую тесьму от башмаков. Представьте себе, тридцать человек надели ее. Классная дама спросила, что значит, что почти у всех болит горло? Открылась правда. Начальница пришла сказать, что мы будем неделю без фартуков и что напишут императрице. Тетке Кайдановых запретили в течение месяца возить им пирожки.

В мое время праздновали двадцатипятилетний юбилей нашего института [2]. Императрица приехала после обеда

---

*) Трое повешенных.

**) Маленькие эмигранты.

с в. к. Михаилом Павловичем, пели какие-то куплеты и стихи. Вечером у нас был большой бал. Начальница, инспектриса, все дамы классные в синих платьях, это мундир их, сидели рядом, и некоторые учители.

Мы были в коленкоровых передниках и танцовали до десяти часов. Ужин состоял из тартин с горьким маслом и сыром, чаю с молоком и пирожков с вареньем.

„Но как же вас так дурно кормили, когда государыня обо всем заботилась?“

„Эконом и кухарка крали так искусно, что начальница не могла их поймать и уличить. Потом случилось большое несчастье с нашим бедным институтом, maman Breitkopf умерла. В три дня милой и умной начальницы не стало. В корридорах ходили на цыпочках, в классах говорили шопотом и молились о спасении. Когда она скончалась, нас повели проститься с ней. Ее милые дочери покрыли гроб цветами и сидели молча, обливаясь слезами, у ее изголовья. Папа Брейткопф умер прежде нее. M-lle Nagel, la comtesse Rosalie Chaillet, Mathilde Meron, m-lle Genthe, инспектриса большого класса— все горевали об этой потере. После ее похорон императрица вошла к нам, и нас рекомендовала новой начальнице Амалье Яковлевне Кремпин. Ее рекомендовала начальница Смольного, умная генеральша Адлерберг. Мы с первой минуты не взлюбили Кремпишку и не хотели звать ее maman, и между нами звали ее Крампуська. При ней мы перешли в большой класс, т. е. надели вместо коричневых платьев—зеленые. Инспектором нашего класса был Карл Феодорович Герман, он был заподозрен в либеральных мыслях, когда читал политическую экономию; но государыня сказала: „Он очень учен и его либеральные мысли не страшны маленьким девочкам“. Германа мы терпеть не могли. Он вздумал философствовать у нас. Например, говорил: „Mesdemoiselles, кто говорит? Лишь человек говорит“ и тут мы, как попугаи, повторяли его же слова. Императрица была в постоянной переписке с европейскими учеными и вводила в своих заведениях новые системы Песталоцци и Ланкастера. Тогда была мода на головные вычисления и нам дали Винберга, он заставлял нас в такт громко складывать, а потом вычитать, мы сделали из него шута, и его заменил косой Буссе, который

вдобавок шепелявил, и с ним урок проходил в насмешках и шутках. Я никогда не могла понять дроби, той мудрости мы учились у Слонецкого, который говорил вместо: „Скажите, пожалуйста, г-жи девицы“,—„Скажте, балста, г-жи двицы“. Я ровно ничего не делала по этой части, что и было причиной, что я не получила первый шифр. Плетнев преподавал новейшую историю, тоже российскую. Аббат Делош—физику, ботанику, вообще натуральную историю и маленький курс астрономии. Меня больше всего интересовал его урок и, когда были затруднения, он всегда говорил: „Ну-ка посмотрим“, указывая на меня. Стефани, которая ровно ничего не делала, всегда очень хорошо училась у Делоша. Я в совершенстве знала систему Линнея, великого шведского ботаника. Эта система основана на котиледонах и акотиледонах, имеется 21 класс. Мы делали с ним опыты, у нас была пневматическая машина, электрическая и лейденские банки. Мы объясняли, что такое вогнутые зеркала и выпуклые зеркала (это называется законами отражения) и фигуры, образуемые замерзанием, таблицы Терналя, Монгофльера и изобретения Гальвани, итальянского ученого. По астрономии всхождение и склонение светил. У Делоша я очень хорошо понимала, я делала вычисления, делала кубы и корни, когда нужно было объяснить две силы, которые открыл английский ученый: центростремительная сила и сила центробежная“.

„Вот вы какая ученая, Александра Осиповна, а я ничего этого не знаю“.

„Я вам советую, Киса, прочесть Бюффона и заняться физикой. В Париже вам укажут книги, но, кажется, пора готовиться к трапезе. Я посмотрю, как накрыт стол. Я вынула сольник, ложечек нет, но по крайней мере это чище, чем горки“.

VII. Великая княгиня Елена Павловна. Опять об институте. [1]

Николай Михайлович вернулся, приоделся, потом пришел Киселев и графиня. За обедом я ей сказала: „Вы знаете, дорогая графиня, что я больше не езжу в Михайловский дворец, так она [Елена Павловна] себя со мной

вела. Я была очень больна после вторых моих родов, но я выходила от времени до времени. Она приглашала меня к себе завтракать, жаловалась, что англичанка при маленькой Анне плохо за ней ходит и спрашивала, довольна ли я своей. Раз madame Гендерсон пришла мне сказать, что beau-frère Формон предлагает ей поступить к в. к. Елене Павловне, что жалованье будет гораздо выше, а так как у нее были три маленькие девочки, это для нее очень выгодно. Несмотря на крайнее затруднение, в которое это меня ставило, я ей сказала, что если ей подходит, то я ее прошу дать мне только время найти двух бонн для моих близнецов. Я ее предупредила, что маленькая в. к. очень больна, что доктора не надеялись сохранить ей жизнь, что мамаша очень скупа, и что я советую Формон просить содержание тысячу рублей ассигнациями, на что она согласилась. Вечером императрица была на празднике в Екатерининском институте. Государь подошел ко мне и сказал: „Я слышал, что в. к. Елена Павловна хочет отнять бонну у ваших детей. Если мы, которые можем гораздо больше платить, стали бы переманивать у вас слуг, это было бы непростительно. Вы не должны уступать". Я была в восторге от слов государя. Но вот меня подзывает императрица и говорит: „Черненькая, будьте добры, Hélène так беспокоится за свою дочь: одного ребенка она уже потеряла, уступите ей вашу бонну".—„Раз вы этого желаете, в. в., я это сделаю, но я ставлю условием, что в случае смерти [ребенка] она получит тысячу рублей асс. Она так скупа, что это будет для нее наказанием."—„Моя милая, про меня тоже говорят, что я скупа".—„Я знаю по опыту, что это клевета. Что касается до нее, то что она сделала из восемнадцати миллионов великого князя, она только и знает что путешествует, хотя совершенно здорова, хочет показать заграницей свой, так называемый, ум и свои познания. Ею руководит только самое мелкое тщеславие. Она выгнала шестьдесят инвалидов великого князя, которые оберегали его маленький арсенал, и теперь государь платит им и поместил их одних в Чесме, других в Павловске и в Мон-Мартре".—„Все это правда, моя милая".—„Эта женщина счастлива только тогда, когда она может кого-нибудь унизить; она решила, что должна забавлять государя, так как

императрица умеет якобы только танцовать сама и заставлять других танцовать. Она придумала костюмированный бал и присудила мне роль шутихи. Я должна была войти, приплясывая и созывая свою свиту. На репетиции в утреннем платье я никак не могла показать образчик своего уменья. Она послала ко мне великого князя, бедного великого князя, который умолял меня пойти ей навстречу. Я просила ей передать, чтобы она была спокойна, что в костюме и под румянами я справлюсь со своей ролью.—Между тем, я вызвала театрального костюмера с рисунками и смастерила себе костюм с зубцами,—желтыми и красными, и фригийской шапочкой; все это с бубенцами, белокурым париком и красными башмаками на каблуках. Войдя бегом, я стала говорить глупости о безумии, о той радости, которое оно доставляет, и позвала свою свиту: все белокурые в голубых туалетах, они исполнили танец под музыку Глюка. Когда я входила, императрица сказала: „Кто это, и что это? Боже, да это Черненькая". „Да, это я, в. в.".—Но посмотрите, что было дальше и вызвало лишь легкую усмешку. Поэт Крылов, Юсупов и длинный Панин в трико с венками роз на головах были ужасны, и я не думала, что мужчины могут позволить делать над собой такие бессмысленные глупости; я слышала, что граф Нессельрод был возмущен, что ему предложили принять в этом участие".—„Конечно". [2]

После обеда открыли окна, курили; мой муж волновался, и я ему предложила пойти выспаться в другой комнате, а он исчез на рулетку. Когда мы остались одни, я сказала графине, что великая княгиня дала большой бал в конце сезона. Несколько дам приезжали ко мне, рассказывали о своих туалетах и спрашивали, что я надену. „Но я не приглашена".—„Этого не может быть, это ошибка ездового".—„Это мне все равно, я не приглашена", но я сказала Annette Барятинской, ее смиренному другу, что я сыграю с ней шутку. Я посылаю записку великому князю и пишу, что я должна сообщить ему нечто очень важное. Он приезжает в самое утро большого бала.—„Ваше высочество, у вас дается большой бал, и я не имею приглашения". В смущении он говорит: „Моя милая madame Смирнова, вы знаете, что я не вмешиваюсь в эти дела. Приглашения зависят от великой княгини".—„Я знаю ваше высочество, но ведь это значит

дать понять всему городу, что наши отношения не таковы, как они должны были бы быть, и это также оскорбительно для меня, как и для вас. Я должна получить приглашение или же должна отказаться от удовольствия приглашать вас на маленькие вечера, которые вы любили, когда вы приезжали без эполет, чтобы покурить в теплом кружке, и также от вечеров, которые вам дает княгиня Вяземская". В течение дня я получила приглашение. Я поехала, прошла перед ней, не поклонившись, прямо подошла к императрице и все ей рассказала. Императрица меня одобрила. Она пришла и села около императрицы, очевидно, чтобы посмотреть, что я буду делать. Я не обратила на это никакого внимания; я уехала с бала, не простившись с ней, и с тех пор моей ноги не было в ее дворце. Я сказала мужу, чтобы он не смел расписываться за меня и что, если он это сделает, я вычеркну свое имя. У него страсть расписываться, я думаю, что если бы было сто великих княгинь, он всюду бы ездил. Я ездила в Михайловский дворец и видела, что моего имени он не записал".

„Ай да Александра Осиповна!".—„Моя милая, вы очень хорошо сделали".

После этого графиня ушла, мы пошли посмотреть на детей. На коленях, со сложенными ручками, как две маленькие голубицы, они повторяли молитву.

На другой день в двенадцать часов я диктовала об институте. Год перед нашим выпуском, у нас отстроилась квартира для священника, и к нам был назначен новый законоучитель, Василий Михайлович Наумов: он был из лучших учеников митрополита Филарета, когда он был ректором Петербургской духовной академии. Литургию мы знали наизусть, потому что пели на крылосах. Книгу молитвослов придворного священника мы знали наизусть (это ничто иное как выписки из „Книги Премудрости" Соломона и Екклезиаста), но надобно было выучить Филаретов катехизис, его толкования, кроме того, толкования на притчи и, вообще, евангельскую историю.

Наумов был молод и красив, светло-голубые глаза, черные, как смоль, волосы, и маленькая бородка. Он ходил в коричневой рясе, а на груди золотой крест на зеленой ленте. Некоторые девицы вздумали его обожать и ходили по

несколько раз в корридор просить его благословения. Он это заметил и строго запретил это излишнее излияние чувств. В первый раз он приготовил нас к серьезной исповеди и важному делу приобщения. Мы провели почти всю неделю в молчании, а после исповеди легли молча в постели. После обедни, как обыкновенно, приехала императрица и поздравляла нас с принятием св. таин, в тот же день мы пили чай с просфорой.

Можешь мне говорить „ты“ и называть меня по имени, но не обнимать меня. А теперь надо писать приглашения, потом я пойду за красным ситцем для занавесей; нужно убедиться, что потолок достаточно прочен для люстры из Конверсационзал и заказать освещение для всей залы“.

„Все это я сделаю с Михайлой, я знаю наверное, что мастерам будет безопасно. Когда выживали мышей, Михайла говорил, что там очень крепкие стропила“.—„Ну, пиши приглашения.

„Господину де-Бакур, французскому экс-посланнику в Америке, откуда он вернулся с больным желудком, и посажен на диету (курица с рисом). Господину барону Антонини, Неполитанскому экс-посланнику в Берлине. Господину и госпоже Зеа Бермудез, экс-посланнику в Испании. Господину Гранд Корригидору Мадрида. Господину Платонову с его „носом на меху“ и всем его мехом вообще“.

„Что вы тут пишете?“—[спросил Смирнов].—„Приглашения на бал“.—„Какой бал?“—„На наш, для Бетюны“.—„Стоит тратить деньги на такой вздор“.—„Я сделала счеты, все с угощением и музыкой будет стоить 500 фр.“—„Шутки! Во всяком случае, слуга покорный, я пойду ночевать к Герсдорфу“.—„Пятьсот фр., а сколько тысяч ты просадишь на рулетке?“—„Деньги мои, и я имею право их тратить, как хочу“.—„Что ты меня попрекаешь, что я бедна, ведь ты женился для положения в свете, а Пушкин мне говорил, что ты своими манерами и спором портишь мое положение“.

Пишите, Киса. „Господину барону Летцбок. Господину банкиру Майер. Княгине Лабановой с дочерьми princesses de Cuba“.—„Опять шалость и весьма неприличная, что за страсть?“—„Но это же не я, так говорит их кузина, графиня Воронцова-Дашкова. Вот она, так шалунья: она называет военного министра Гавнаховский и это во всеуслышание,

когда он у них обедает. Она переняла это слово у Марии З ... которая произнесла его перед посланницей, она заимствовала его у маркизы de Bellissin, которая знаменита своими глупостями и бриошами. Существуют два m-rs Nedaillons, которые до такой степени похожи друг на друга, что никогда не знаешь, к кому же обращаешься. В ее присутствии кто-то раз сказал: „Как похожи между собой эти два messieurs Nedaillons". Она говорит: „Да, особенно Исидор". Все разразились хохотом".—„Знаешь, что совсем не так глупо, один из них являлся для нее образцом".

„У тебя все в извинительном падеже. Его высочеству князю Эмиль Гессен-Дармштадскому. Его высочеству князю Георгию Гессенскому с его адъютантом. Кн. Лабановой с тем, чтобы она привезла сколько возможно кавалеров из Карлсруэ, барона Queler. Барона Герсдорф нужно?"—„Нет, раз твой муж хочет проводить вечер и ночь в этом логовище. Протеже Леонидас уже оставил свою карточку".—„Господину Дюваль, генеральному секретарю центральной комиссии разграничения Рейна между Францией и Германией.—Вот, кажется, все и вся. Пойдем, походим, а потом будем читать „Мертвые души", ты будешь все время смеяться".

На террасе услыхали крик. Забияка Оли расцарапала Адини в кровь, та бедняжка бросилась к Dickinson на шею. Эйландт ударила Оли, и я приказала ее поставить в угол, до моего прихода, а Адини купила игрушку у „Очень хорошенькой шляпы", где произошел скандал и куда сбежались княгиня Ливен и графиня Нессельрод, даже Los Rios. Когда мы пришли домой, услыхали крик в детской. Эйландт неосторожно оставила слишком горячий утюг на полу. Оли подбежала и села на него. Когда она нас увидала, закричала: „Киливов, бобо". Он приложил прованского масла и ваты, она успокоилась. Эйландт ее взяла на руки покачать, но она еще плакала, мы ей сделали другую перевязку, и она заснула. На другой день княгиня Ливен ей прислала eine Wester Puppe, которая их обеих восхитила. А Киселев вынул из кармана фарфоровую куклу и ванную. Графиня Нессельрод тоже пришла. Эти две женщины, на вид сухие и гордые, страстно любили детей. Княгиня покупала для бедных, грязных девчонок игрушки, пряники, одевала и обувала их.

VIII. Рассказы о салоне Карамзиных, о жизни во дворце, о встречах с Пушкиным. [1]

Когда мы помолились, он мне сказал: „Я дома еще прочитываю молитвы и не могу налюбоваться богатству славянского языка, я сравниваю его с греческим".

„Да, ведь перевод как евангелия, так и молитв подстрочный. Хомяков говорит, что духовные писатели—самые лучшие, как, например, Филарет и одесский епископ Иннокентий"

„Кто такой Хомяков?"

„Ах, боже, как ты отстал от всего русского. Алексей Степанович Хомяков, премилейший человек. Я с ним познакомилась у Карамзиных. Он делал кампанию 30-го года в Турции в качестве уланского офицера. Маленького роста, курчавый, весьма смуглый, глаза у него выражали какую-то невыразимую, но оскорбительную насмешку. Он не был кос, но то, что называют: один глаз на вас, а другой в Арзамас. Он болтает неумолкаемо. Он тоже религиозный поэт, у него есть прелестные стихи под названием „Галилейские рыбаки".—„А тебе он писал стихи?"—„Написал, но я их не помню, он тоже коверкал мое имя и начинает так: „От роз ее название", [2] далее не помню. Андрей Николаевич [Муравьев] написал тогда огромную и прескучную поэму под названием „Тивериада" и сделался предметом его насмешек. У княгини Зинаиды Волконской, которая вывезла гипсовые слепки, статуй из Рима, был тоже Бельведерский Аполлон—шедевр греческого искусства и, странное дело, я нахожу что его профиль напоминает профиль Муравьева. Раз на вечере у Волконской, Муравьев разбил его, и Пушкин его назвал „Бельведерский Митрофан". [3]

Тогда у Карамзиных вечером собирались то, что мы называем les jeunes gens distingués *). Distingués напоминает мне то, что доктор Мяновский говорит о в. к. Марии Николаевне: „Elle est fine et distinguée. Он смешон, сам того не замечая. Он слышал постоянно разговор о Бакуре у княгини Леониллы Витгенштейн и раз спрашивает, кто этот Бакуров, о котором так много говорят".—„Ну, принято. „Бакуров".

---

*) Избранные молодые люди

я так и помещу в приглашении, но кто были эти молодые люди?"—„Алексей Владимирович Веневитинов, Титов, очень скучный, особенно, когда он ставил свою шляпу под стул; Александр Иванович Кошелев—ужасный, с мерзкими руками, точно красные лягушки; князь Одоевский, Павел Александрович Муханов, с которым флиртовала Софи Карамзина и Н. Смирнов".—„Флёртовала—что это за выражение?"—„Невинное кокетство, по-английски называется flirtation—это запишите для памяти".—„А ты флёртовала со Смирновым?"—„Совсем нет, вот нашел с кем кокетничать. Что касается дам, всякий вечер там были три графини Тизенгаузен, племянницы Палена, m-me Карамзина очень сблизилась в Ревеле с их матерью. Они были очень красивы, но у них были слишком длинные ноги, и Жуковский сказал о них: „Они очень хороши, но жаль, что нижний этаж вверх просится".

Он разразился смехом. „Это прелестно, это так тонко сказано".

„Старшая вышла замуж за коменданта петербургского, толстого человека, очень белокурого и очень скучного, он небогат и когда великая княжна вышла замуж за герцога Лейхтенбергского, она была назначена при ней статс-дамой. Великая княгиня ее возненавидела, потому что она говорила: „Петсбург"—так говорят все из балтийских губерний. Вышла маленькая книга о дворянских родах. Самые старинные—Осиповы, Ольховы, а потом Смирновы, Дурновы, Хитровы, Мудровы. Народ был прост и при крестном имени давал клички, отчего и носили фамилию. Самые старинные же—Валуевы и Блудовы. Александр Тургенев встречал графа Блудова у madame Карамзиной[4]. Блудов—воплощенная доброта и совсем не злопамятный. Он протянул руку Тургеневу, который ему сказал: „Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату". Представьте себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала. M-me Карамзина покраснела от негодования и сказала Тургеневу: „Monsieur Тургенев, граф Блудов был близким другом моего мужа и я не позволю оскорблять его в моем доме. Больше не будет неприятных встреч, слуги будут предупреждены и, когда присутствует граф, то monsieur Тургенев не войдет и наоборот". Бедный Блудов

вышел со слезами на глазах. Тургенев сказал: „Переменить ему фамилию, а то просто гадко: от блуда происходит". Екатерина Андреевна ему сказала: „Ваши шутки совершенно неуместны в эту минуту".

„Так у вас шло веселие в гостиной Карамзиных?"— „Да, очень! Я бывала тогда только там, для этого не нужно было особого туалета. В дни, когда я не дежурила или не была случайно на званом вечере, я читала и засыпала на диване. В девять часов Марья Савельевна одевала меня в светло-зеленое мериносовое платье и тарлатановый кушак, прическа была гладкая, платье декольтированное с тюлевой отделкой, руки в перчатках. Я входила легким шагом. Там бывали избранные молодые люди и Тизенгаузены. Смеялись, болтали, очень было весело, я возвращалась в два часа ночи, а на следующий день я получала такую записку от князя Долгорукова, заведывавшего тогда придворной конюшней: „Mademoiselle, пожалейте лошадей и слуг. Если это будет продолжаться, я буду принужден отказать вам в экипаже". Я говорила ему: „Вы не смеете, я государю пожалуюсь".

„А я-то, медведем сидел, или у Пушкина [бывал] и видел, как он играет. Пушкин меня гладил по головке и говорил: „Ты паинька, в карты не играешь и любовниц не водишь". На этих вечерах был Мицкевич, большой приятель Пушкина[5]. Он и Соболевский тоже не играли. Однажды, очень поздно, мы втроем вышли, направляясь домой, подошли к недостроенному дому, и Мицкевич пропал. Мы его звали, ответа не было. Мы полагали, что он зашел за угол по надобности, и пошли домой. Я в Почтамскую, где жил в трех комнатах с Михайлой. На другой день Мицкевич нам рассказал, что рано утром пришли работники и его разбудили на самой опасной высоте дома. Они его спустили в кадке на веревке. С ним был припадок сомнамбулизма, и он не может себе растолковать, как он туда забрался".

„У нас в институте была тоже сомнамбула, она вставала и снимала папильотки у девиц, дама классная ее подстерегла, и ей подстилали мокрую простыню у кровати, что ее будило, и эти припадки исчезли".

„Мицкевич теперь в Париже, и мы можем его встретить у Софьи Станиславовны. У нее собирается вся польская эмиграция, и я у нее редко бываю"[6]. — „Жуковский

просил меня познакомиться с Николаем Ивановичем Тургеневым".

„Я у них тоже не могу быть, да и повода нет".

„Я очень хорошо знаю и часто вижу его брата Александра, он очень дружен с Жуковским. Однажды на вечере императрицы государь мне сказал: „Вы часто видаете Тургенева, это враг нашей фамилии". „В. в. неужели вы думаете, что если бы я была в этом убеждена и, если бы он когда-нибудь осмелился сказать слово против вас, я бы его принимала? Это прекрасный, но заурядный человек, он презабавный болтун. Однажды он говорил Жуковскому: „Я искал бога в природе, в храмах"...—„И все ты врешь—сказал Жуковский—никогда и нигде ты его не искал".

„Да,— сказал мне император,— Жуковский уговорился с ним ехать за границу, наставник моего сына едет с этим либералом". Я Жуковского предупредила, он пошел к императрице, которая всегда улаживает его промахи, и тем дело кончилось. Он страдал сильным геморроем и поехал в Швейцарию со своим другом, безруким Рейтерном, который прекрасно пишет левой рукой акварели. Он ему выхлопотал пенсию. Ах, Киска, я забыла тебе сказать то, что никому никогда не говорила: Жуковский хотел на мне жениться".—„И ты предпочла Смирнова?" — „Аттанде-с, аттанде-с, Смирнов тогда не показывался на нашем горизонте и преспокойно веселился во Флоренции. Жуковский вечно шутит. Я ходила вокруг озера и слышу поодаль голос: он был у Греческого мостика—и кричит мне: „Принцесса моего сердца, я сделан генералом, хотите ли быть моей генеральшей?"—„Сама генеральша, прежде вас, фрейлины—4-го класса". В этот день Плетнев приехал давать уроки великим князьям, и мы его пригласили к нам обедать. После обеда, он мне вдруг говорит: „Вы начинаете скучать во дворце, не пора ли вам выйти замуж?"—„За кого? Разве за камер-лакея, кроме уродов в роде флигель-адъютанта Элпидифора Антиоховича Зурова или Юрьевича, мы никого не видим".—„А Василий Андреевич? Он мне дал поручение с вами поговорить".—„Что вы, Петр Александрович, Жуковский тоже старая баба. Я его очень люблю, с ним весело, но мысль, что он может жениться, мне никогда не приходила

в голову. Да я не хочу выходить замуж, а что мне скучно, так я скучаю, недаром Пушкин говорит:

Что ж делать, бес,
Вся тварь земная скучает [7].

Потом уж я была замужем, по обыкновению сидела у лампы, пришел Жуковский и болтали до десяти часов; уходя, он мне сказал: „Вот видите, как мы приятно провели вечер, это могло быть всякий день, а вы не захотели". „Бедный Жуковский!"

„Не жалейте его, он женился на дочери Рейтерна и очень с ней счастлив, несмотря на то, что ей двадцать лет, а ему пятьдесят пять. Жаль только, что она страдает нервами; у меня есть его комические письма, я прочту их тебе. Ах ты, замухрышка!" Я провела рукой по его милому лицу".

„Однако, надобно продолжать диктовку об институте".

„Наконец, настал день выпуска, у нас были обед, молебен с коленопреклонением, в последний раз мы пили казенный чай с булкой, а в двенадцать часов послышался звонок, и вошла в рекреационную залу императрица. Мы все стояли в ряд, сперва шесть шифров золотыми буквами „М" с короной на белой муаровой ленте и красной по краям. Они очень красивы. Я вам покажу оба мои шифра".

„А кто скажет „вы", тот будет наказан. Я тебя поцелую в лоб".

„Подлец, а как ты смел коснуться моих губ?"

„Это не моя вина, таков наш уговор".—„Вот они шифры. Мы так смастерили, что Стефани получила вторую золотую; она до смерти боялась императрицы, которая часто приезжала в класс, спрашивала, кто лучше учится и ведет себя, и всегда кончала: „А маленькая Радзивилл?" Бедняжка смотрела на нас умоляющими глазами, и мы говорили ей: „Она очень старательна и лучше всего учится у Делоша". Затем шесть серебряных медалей, а потом поклоны".

„Что такое поклоны?"

„Подходили к императрице, делали глубокий реверанс. Девицы уже были все в городских платьях, за императрицей унтер-офицер Белокуров и Митин несли корзинку, в которой были евангелия в два столбца, издание Библейского общества, она собственноручно каждой дала евангелие и советовала читать всякий день одну главу, всю книгу по ряду.

Уезжая, она мне сказала: „Пусть маленькая Россети и Эйлер останутся в институте до нашего распоряжения“. Мы еще раз благодарили государыню. Когда она уехала, пошли прощания и слезы многих девиц, которые знали, что в бедных деревушках их ждет: их ждет—скука и разочарование“.

„Что такое Библейское общество?“

„Покойный государь не был религиозен, так как его учил мой дяденька Лагарп, но его знакомство с madame Крюденер в Париже в 1815 году внушало наклонность к протестантству. Когда он был в Англии, где его принимали с энтузиазмом, он просил Ливена познакомить его с квакерами [8]. Под предлогом осушения болот под Петербургом, он пригласил Daniel Whuler, Веннинга и Питта с женой поселиться в Петербурге. Питт и его жена жили во дворце, и я их еще там застала. Тогда многие увлекались крайним протестантизмом, как и сам государь, и во дворце жил больной Родион Александрович Кошелев, весьма умный и замечательный человек, как говорили. В Москве еще при Екатерине господствовал мартинизм [9]: Лопухин, знаменитый Репнин, который был в Польше, Кошелев, а в особенности Новиков и Тургенев, отец Александра, Николая и Сергея, тоже принадлежали к этой секте. Веннинг сделал много добра, он занялся тюрьмами, выучился по-русски, всегда был при ссылке преступников в Сибирь. Священник им читал XV главу евангелия от Луки о блудном сыне. Купцы и благодетельные люди посылали им на дорогу калачи, сайки и пироги. Несчастные шли закованные пешком в Сибирь и останавливались по этапам. Во всех станциях есть этапные избы с железными решетками, где они ночуют, а мужики обязаны их кормить. Наш добрый народ их называет несчастными“.

„Как это название верно“.

„Крестьяне им дают на дорогу хлеб, а кто копейку. Пушкин мне рассказывал, что под Нижним он встретил этапных [10]. С ними шла девушка не в оковах, у нас женщин не заковывают. Она была чудной красоты и укрывалась от солнца широким листом капусты. „А ты, красавица, за что?“— Она весело отвечала: „Убила незаконнорожденную дочь, пяти лет, и мать за то, что постоянно журила“.

Пушкин оцепенел от ужаса.

Знаешь ли, что Пушкин всегда тоскует весной. Плетнев сказал: „Ты все повторяешь: грустно, тоска, ничего не пишешь и не читаешь“. „Любезный друг,— отвечал он,—вот уж год, что я, кроме евангелия, ничего не читаю“.

„Я тебе советую всякое утро читать главу из евангелия, ты увидишь, как это серьезно“.[11]

„Очень буду благодарен, но диктуй“.

„Да, да, что, бишь, я сказала. Да, я оставалась недели три в институте, спала сколько хотела, звонка уже не боялась, нас осталось, кажется, двадцать, за которыми родители не успели приехать, между прочим, была Нагель и Крупетьева, которая пела и нас забавляла, я вышивала что-то по канве, а больше сидела с m-lle Walsch, читала с ней английскую историю Лингарда и чистила свою канарейку. Мы ходили в казенных платьях, но раз утром меня позвали к начальнице, сняли с меня мерку и сшили мне черное платье, черный чепчик, белые плерезы и черный вуаль: мы носили траур по Елизавете Алексеевне. Она скончалась в Белеве, куда вдовствующая государыня поспешила, но не застала ее в живых. Затем ее похоронили в Петропавловской крепости без всяких церемоний[12]. Стефани в день выпуска уже поехала во дворец, а нас представили государю и государыне в Зимнем дворце. Государь был еще бледен и худ, но я его еще видела прежде при нашем выпуске.

Комнаты еще не были готовы в Зимнем дворце, при том половину покойного государя, как в Зимнем, так и в Царском заперли. Мы жили в Аничковском дворце, в третьем этаже, конечно, фрейлины. Бывшая гувернантка M-me Вильсон называла нас чердачницами. Нам, т.-е. Эйлер и мне, дали три комнаты, она спала за перегородкой, а я по ту сторону перегородки, потом была гостиная, мы имели клавикорды и играли в четыре руки. Это были большей частью сонаты Гуммеля, Дюссек, его концерты, и она очень хорошо рисовала цветы, а я вышивала. Моя тетя Лорер дала мне книги, среди них d'Orly, не знаю чей и потом романы M-me Суза, Eugène de Rotelaine, переведенный, кажется, Жуковским.

Из моих окон я могла смотреть вниз в кабинет императрицы, она ела что-то из маленькой корзинки и сделала мне знак, чтобы я спустилась. Я бегом спустилась, и она мне сказала: „Ели ли вы когда-нибудь землянику вне сезона?“—„Никогда, в. в., в институте нам давали груши и чернику, когда привозили их на барках, с творогом, совершенно кислым“.

„Сядьте тут и расскажите мне, что вы делали в институте“. Она очень этим забавлялась, в эту минуту вошел государь и сказал: „Вот Веллингтон“[13]. Веллингтон прислан английским королем с приветствием от него. Он был очень смуглый, худой, глаза черные и дерзкие, волосы тоже, как смоль, черные. Он не женируясь проходил в двери прежде государя. Моден сказал: „C'est monsieur de vilain ton“ *. Он оставался три дня, а потом императорская фамилия, кроме имп. Марии Федоровны, поехала в Царское село. Эйлер и я мы ехали с девушками в четвероместной карете, трава чуть пробивалась по густой грязи, вороны каркали. Все было грустно, по дороге стояла сосна, я вспомнила стихи:

Уединенная сосна,
Товарищ угрюмый и печальный
Юности моей

„И я иногда повторял эти стихи и был как уединенная сосна в Петербурге и в Париже, но здесь нашел то, что искал и сказал: „Evrika“.

„Графиня Ростопчина дала кольцо Андрею Карамзину с этим словом[14].

В Царском мне и Эйлер дали комнаты внизу, у нас был камер-лакей, лакей, истопник и мужик. Эти мужики исправляют грязную работу. Истопник Широков мел комнаты, а потом курил придворным куреньем. Он так вонял ногами, что я ему раз сказала: „Широков, не курите, мы отворим окошко“. Он мне очень хладнокровно отвечал: „Я знаю, ваше превосходительство, что я всю карьеру потерял от моих ног. Я служил во внутренних покоях у государя. Он был очень доволен моей службой, но заметил мою беду и послал меня к доктору. Он велел мне ноги мыть водкой, я начал пить и теперь буду вечно истопником“.

*) Это человек дурного тона. Игра слов: Веллингтон (фам.) однозвучно с франц. словом—дурной тон.

Эта история приводила в восторг Пушкина, он постоянно спрашивал: „А где же Широков?“ Но Широкова отставили и послали на прачечный двор, там он может обкуривать прачек.

Мы еще не были фрейлины, но дежурили. Старшая была графиня Софья Моден. Наш кружок был самый маленький: Моден с дочерью, доктор шотландец Крейтон, Эйлер и я. Великая княжна Ольга Николаевна жила внизу с своей няней больной Форман.

Утром мы гуляли и катались с императрицей в дежурный день. Один раз я прыгала по замерзшим лужам, вдруг отворяется окно, и государь мне кричит: „Это мило, вот этак-то и простужаются. Пойдите, разуйтесь и обмойте ноги водкой“. Когда меня разула девушка, он вошел и сказал: „Я пришел посмотреть, послушалась ли ты меня, покажи-ка свою ногу. А, да у тебя очень хорошенькая ножка“. Я сгорела от стыда.

Мы обедали вдвоем. Один раз затесался к нам Арнольди, упрекал меня, что я ему не пишу, ел с большим аппетитом; мы с ним мало говорили, и я ему объявила, что нам не велено принимать к обеду. Скот! До замужества я его не видела“.

„Расскажи мне, как ты познакомилась с кузеном?“ „Потом, душенька, это так скучно.

Вечером Моден читал какой-то роман, вслух. Императрица вязала шнурок на рогатке. Добрый Крейтон засыпал и отправлялся к Сопикову и Храповицкому. Это у Гоголя в „Мертвых душах“, мы не дошли еще до этого. Вдруг слышался ровный и мерный шаг государя, он приходил бледный в сюртуке Измайловского полка без эполет. Императрица ему говорила: „Какой у тебя усталый вид...“— „Да, поработай с Алексеем Андреевичем—не шутка“. Он работал иногда до двух часов. Я видела, что поваренки ставили ужин. Они мне сказали, что он почти ничего не ел. В тот день, когда произведен был суд над обвиненными 14 числа, приехал старый князь Лопухин и прочел государю весь лист. Государь купал в канавке своего террьера и бросал ему платок. Камер-юнкер пришел ему сказать, что приехал князь Лопухин. Он сказал, что он направится в свой кабинет, а за ним Гусар [собака]. Я взяла платок и сдуру отдала его камердинеру[15].

Потом мы поехали говеть на страстной в Петербург. Имп. Мария Федоровна тоже говела. У нас в Аничкове служил протоиерей Музовский, который был законоучитель великой княгини Александры Федоровны, а духовник был старый протоиерей Криницкий.

„Скажи, пожалуйста, вы часто ссорились и бранились в институте?“—„Там не позволено было говорить дура, а говорили противная, а самое ужасное было, если скажут—не забудьте, что вы сделали пушку при учителе“.—„Неужели вы не знали настоящего названия этого грешка?“—„Вероятно знали, но так было принято. Не знаю, как это случилось, но бедная Шторх при Плетневе сделала пушку и так сконфузилась, что сказала: „Право, это не я“.—„Да я вас и не обвиняю, г-жа Шторх“. Мы все покраснели. „Mesdames, какой стыд“.

Плетнев нам читал „Онегина“, и когда он говорил „и панталоны, фрак, жилет“—все шопотом сказали. „Mesdames, какой, однако, Пушкин индеса“*. Ты знаешь, что государь только что воцарился, вызвал Пушкина в Москву и сказал ему, что он надеется, что он переменит свой образ мыслей, и взялся быть его цензором. Государь цензуровал „Графа Нулина“. У Пушкина сказано „урыльник“. Государь вычеркнул и написал—будильник. Это восхитило Пушкина. „Это замечание джентльмена. А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой“.

„Государь тоже цензуровал последние главы Онегина?“

„Все это не при мне писано. Я очень удивилась, когда раз вечером мне принесли пакет от государя, он хотел знать мое мнение о его заметках. Конечно, я была того же мнения и сохранила пакет [пять слов не разобр.]. В его почерке виден весь человек, т.-е. повелитель. А теперь довольно, я устала[16]“.

IX. Смирнов. Пушкин. Перовский.[1]

Сашка объявил, что господин Танке с супругой и дочерью желают засвидетельствовать свое почтение. „Проси“. Они вошли. Я встала и просила их сесть.

*) Indécent фр. слово—нескромный.

„Мы непременно хотели благодарить вас за указание Баден-Бадена: место очаровательно. Мы ходили в старый замок, эхо там удивительное, повторяет слово в слово стихи Сашеньки. Я первый раз в жизни слыхал эхо“.—„Да, оно точно удивительное. Позвольте вас познакомить с господином Киселевым, первым секретарем русского посольства в Париже“.—„Я, кажется, имел удовольствие вас видеть у старого замка и удивился памяти вашей дочери. Она почти всю оду „Бог“ Державина знает наизусть“.—„Очень приятно с вами познакомиться. Мы для единственной нашей дочери ничего не щадим и по нашим средствам доставляем ей воспитание. Теперь мы едем в Россию, как ни мило и приятно за границей, но душу тянет в родную землю. Наконец, настала пора устроить судьбу нашей дорогой Сашеньки, все, что наше, ей принадлежит. Мы ей уступим весь дом, и нам, старым людям, довольно двух комнат. Если господь продлит наши дни и благословит ее брак, моя старушка будет няньчить ее детей“.—„Ах, папенька, я не хочу с вами расставаться“.—„Мы не расстанемся, друг мой, но судьба девушек выходить замуж и основать новую семью“.

„Вы совершенно правы, и надеюсь, что найдете ей супруга по сердцу и достойного человека“.—„Конечно, но где же ваш супруг?“—„Он гуляет, я ему передам ваше желание его встретить“.

После этого они ушли. „Киса, что ты смеешься?“—„Смеюсь и удивляюсь, что ты умеешь говорить с людьми их языком“.—„Вот у Танковых своя душевная поэзия, они не видят, что их Сашенька дурна и смешна, они очень счастливы и в своей скромной доле, она будет счастливее меня. Константин Аксаков поехал в Киев, и на последней станции Бродвы он слышал песню, которую и записал. Девушка утешала своего возлюбленного, за которого не могла выйти замуж. Песня длинная, но конец прекрасный:

Чи моя недоля,
Чи твое несчастье.

„Скажи мне откровенно, вышла ли бы ты замуж за меня, бедняка?“

„Без колебаний, если бы я тебя знала, как знаю тебя теперь. Когда любишь друг друга, бедность не идет в расчет“.

„Веришь ли ты, в Петербурге у меня было всего четыре тысячи руб. Мой брат Павел обмундировал меня и Михайлу, подарил мне шубу и заплатил вперед за мою квартиру и также платил каждый год, но никогда он не соглашался давать мне деньги; он сказал мне: „Приучайся к лишениям, не делай долгов. Я начал, как ты, довольствовался жалованием и теперь живу по чину одним жалованьем".

„Я бы не была так бедна, фрейлинам дается двенадцать тысяч руб. асс. в приданое. Императрица дает подвенечное платье для первого дня; мое было кружевное на розовом чехле и розовая шляпа. Я бы истратила шесть тысяч на белье и на туалет. Павел Дмитриевич подарил бы тебе посуду и квартиру в пять комнат на Фурштадтской. Большой расход— роды, но, более чем вероятно, что я не имела бы слишком крупного ребенка. Мы нуждались бы год или два, но я бы не стала стесняться с хромоногим чортом, я бы все сказала государю, и мои братья получили бы Адамовку и проценты со своего капитала. Я бы попросила государя назначить тебя дипломатическим агентом в Одессе. Благодаря торговле, там есть консулы всех наций, и мы бы проводили наше время между Одессой и Адамовкой".—„И будем ездить на Янгакраки, потому что я расчитываю иметь детей от тебя, ты будешь моя женка, будешь делать, что хочешь, а я буду повторять: „Не хай так, не хай так, нехай Киса буде дурак".

„Ты любишь so ganz fertig,*)—а это не будёт, не будёт". —„Кто так говорит?"

„Ланжерон. Он рассеян и говорит громко, когда он один. Государь, будучи недоволен Витгенштейном, хотел поручить армию другому, но выбор еще не был сделан. Вечером Ланжерон прогуливался по палатке, и его адъютант Трегубов слышал, как он говорил: „Генерал-фельдмаршал всех российских войск граф Ланжерон. Однако, хорошо звучит, но не будёт, не будёт". На другой день был назначен Дибич. Государь узнал, что говорил Ланжерон и сказал ему: „Любезный Ланжерон, не будёшь, не будёшь. Дибич имеет старшинство. Я вас приглашаю приехать в

*) Так совершенно.

Петербург, мы будем иметь удовольствие часто видеться". В Одессе с ним бывали презабавные случаи рассеянности. Пушкин мне рассказывал, что раз [Ланжерон] давал большой обед русскому купечеству, и так как у него нет никакого порядка и он живет выше своих средств, то он говорил Пушкину: „Если государь не увеличит моего жалованья, то у меня не будет средств кормить котлетами этих каналий". В ответ на эти слова раздался громкий хохот"[2].—„Но я думал, что Пушкин был там только во времена Воронцова?"—„Он оставался недолго еще при Ланжероне[3]. Ты знаешь, что он сказал об Одессе: зимой грязища, а потом песочница. Его Воронцов не любил потому, что он был дружен с Раевским, который был слишком хорош с его женой. Он отправил Пушкина в Бессарабию, приказал ему сделать доклад об опустошениях саранчей—этих ужасных насекомых, которые в один час могут пожрать великолепные урожаи. Земля покрывается черной и вонючей коркой. Говорят, что в сущности это хорошее удобрение. Пушкин сделал свой доклад.

„Саранча сидела, сидела, все съела и улетела"[4].

„Какой плут, я этого не знал".

„Он называл графиню Воронцову Comtesse de „Бельветрило"[5]. Тогда в Одессе случился скандал, там жила генеральша Лехнер, рожденная Брюс, красивая шведка. Старик Сухтелен, наш посланник, очень любил хорошеньких девушек. Он женил своего адъютанта финляндца Лехнер на этой Брюс. Брунов в нее влюбился, а муж ее не любил шутить и сказал Брунову: „Я развожусь с женой, ты должен на ней жениться". Тот начал отнекиваться, но Лехнер показал ему пистолеты, что вовсе ему не понравилось: он хотел сделать карьеру[6]. Когда кончилась война в 1830 году, государь хотел послать безграмотного Алексея Федоровича Орлова в Андрианополь. Воронцов знал Орлова, предложил ему взять Брунова для редакции знаменитого договора".—„Это я все знаю наизусть по канцелярским архивам.

„Мне еще рассказывали Попандопуло анекдоты Ланжерона. Какая-то мадаме Tropoli приехала просить его помочь ей в процессе по имению под Балтой. Он очень любил свою моську, и начал в рассеянности гладить Tropoli по

подбородку и повторял: „Моськà, о, моськà!“—„Граф, я не моська, прошу вас обратить внимание на мое дело“.—Да, да, это уладится, о, моськà, о, моськà!“

Император Александр останавливался у него и спал в его рабочем кабинете, а тот имел обыкновение запирать его на ключ и ключ брать к себе. После обеда государь имел привычку ложиться на полчаса или более; он просыпается, хочет выйти. „Ni, ni, no, no“, звонка не было, безумный старик забыл о государе и спокойно прогуливался. Он, наконец, возвращается, отворяет двери и говорит:—„А что вы тут делаете, ваше величество?“ Конечно, это кончилось смехом. Он женился на дочери банкира Бриммер, очень красивой, но женщине безо всякого образования и воспитания. В. к. Михаил спросил его: „Откуда вы ее выудили?“.—„Где же, чорт возьми, можно выудить как не в Черном море“. Она ему отравляла жизнь в Петербурге и мешала ему в его отношениях. Всякий день он ко мне таскался узнавать, кто был на вечере, и заходил к фрейлинам Пущиной и Беклемишевой, двум петым дурам. У Пущиной была моська, на которую она была похожа. Это были приятельницы Ланжерона, он их усадит в свою наемную дребезжашку и говорит: „Жена будет счастлива с этими скучными женщинами, ей только не хватает лежанки“.

Madame Ланжерон терпеть не могла кн. Moustache Голицыну, потому что Ланжерон там часто бывал, а она ей не сделала визита. Кн. Мусташ никогда не выезжала, она играла в вист. Она занимала особенное положение. В день ее именин вся царская фамилия ездила к ней с поздравлением, и нам всем приказано было туда ездить. Великий князь Михаил говорил: „Она всегда повторяет: проклятые французы мне расстроили нервы“. „Она бежала из Парижа во время террора“.—„Да что ей сто лет?“—„Конечно! Вечером был бал и мерзейший ужин, взбитые сливки с ванилью, и мы говорили: „Мусташ брилась сегодня утром“.

„Который час? Скоро пять, пойдем руки мыть“.

Белобрысый [Смирнов] пришел и Киселев. Мы обедали втроем.

„Николай! Танке очень сожалели, что не смогли засвидетельствовать свое почтение“.—„Вот еще навязала мне

Танке и какую-то Бетюну".—„Не беспокойся, Танке уедут сегодня, и я отнесу твои и мои карточки Бетюне".—„А у меня нет с собой карточек".

„Это ничего. Я напишу на бумажке и прибавлю сожаления о том, что не застали ее дома".

Мы обедали втроем. „Черное, красное. Черное проигрывает, красное выигрывает".—„Не забудь, что ты обещал графине Нессельрод не ставить более ста франков".—„Она не понимает игры. Отчего сегодня перловый суп, а не щи?"—

„Нельзя же всякий день щи, зато будут пирожки с капустой".—„А мне подавай или котлету или битки".—„Ты на своих игорных вечерах надоел с своими котлетами. Ферзен жалуется, что твой ужин прегадкий, и все одно и то же. Стоит ли держать Rossollet?"—„А мне что за дело! Я очень жалею нашего старого русского повара, его суп с клецками, говядину с гарниром—это Сашенька выдумала, что надобно взять француза" „Но так принято в Петербурге. Когда живешь домом, надо суметь его поставить". После жаркого с салатом и компота он улегся и заснул. Мы с Кисой молчали. Он мне шопотом сказал: „Поцелуй меня".—„Ты с ума сошел: этого не будёт, не будёт".

Проснувшись, Николай Михайлович пробормотал что-то и номинай, как звали, до двенадцати часов. Мы еще рассматривали альбом. „Кто этот толстый генерал с шишкой на лбу?"—„Это—брат императрицы Марии Феодоровны, он заведует les ponts et chaussées *), а великий князь Михаил Павлович называет его mon oncle le grand pontife" **).—„А это кто?"—„А это великий князь в Мариенбаде в штатском платье".—„Расскажи мне, как ты познакомилась со Смирновым?"—„Тебе все нужно знать, это прескучно и совсем не интересно. Мать Долгорукова приехала с дочерью в Питер, чтобы там пристроить свою некрасивую дочь, и наняла, кажется, дом Копылова. Тогда было такое заведение, что без фрейлинства не было бала. Она как-то познакомилась с нашими чердаками, дала модный, пробный вечер. Тут я впервые узрела тоненького белокурого господина [3 слова не

---

*) Путями сообщения.

**) Дядя мой первосвященник. Игра словом pontife—от слова pont-мост.

разобр.] Это было весной, и он вертелся в вальсе, как юла, и беспрестанно ко мне подлетал pour un tour de valse *). Я танцовала с Рудольфом Кампенгаузеном, которого знала в детстве. Его отец командовал какими-то казаками в Одессе. Я ему сказала: „Кто это?“—„Это monsieur Смирнов. Он только что приехал из Флоренции. Он—дипломат“. Когда он опять подошел, Радлер ему сказал: „M-lle Rossety устала, и я отказался от своей очереди с ней танцовать“ [7]. Потом я его потеряла из виду и забыла о его существовании. Зимой я была нездорова. Арендт сказал, что у меня печень действует на нервы и советовал мне ехать в Ревель и купаться в море. Карамзиных я уж хорошо знала, [они жили против Владимирской церкви. Что ты вздыхаешь, и это не в первый раз?“.

„Ничего. Я тебе уж сказал, что мне суждено вздыхать очень часто и, пожалуйста, не спрашивай“.

„Я у них обедала, после обеда пришел Фирс Голицын, которого мы прозвали „дергалка“. У него сильный тик в шее. 14 числа по календарю Фирс, и его взяли в этот день, полагая, что он принадлежал к числу декабристов.—Где ты был?“—„В Петербурге, но ничего не видел, но продолжай“.

„Пришел Пушкин, которого я прежде видела у Elise Хитровой на маленьком вечере. Тогда Фикельмон женился на младшей дочери Dolly, т. е. просто Дарье [и Хитрова] давала большие вечера. Elise гнусила, всегда была очень decolletée, чесала свои черные волосы под гребень и делала вечерние визиты в белом платье, тюлевом шарфе, белых лайковых перчатках, коротеньких, чтобы показать красивые, очень белые руки, и носила на руке часы на георгиевской ленте: „Это часы моего отца, маршала Кутузова“. Утром она была в черном, а вечером в белом, в знак траура по Хитрову, второму мужу, которого она обожала, а первого, графа Тизенгаузена, она совсем не любила. Она очень любила Пушкина, и он ее. Она премилейшая персона [8]. Ваш Пушкин после бала написал стихи:

---

*) На тур вальса.

Нынче Лиза en gala
У австрийского посла
Не попрежнему мила,
Но попрежнему гола.

Она вовсе не оскорбилась. К ней ходил тоже Филипп Филиппович Вигель, который вечно всех ругал, а особенно Пушкина, потому что Пушкин говорил, что рифма к Вигель портной Бригель, и что Вигель чорт знает что. А Соболевский еще лучше его характеризовал:

„Ах Филипп Филиппыч Вигель!
Как жалка судьба твоя:
По-немецки ты—швейнигель,
А по-русски ты—свинья

„Так мой приятель Сергей Александрович посвящал стихи?"—„Как же, у меня их имеется коллекция, он и мне писал стихи:

Не за черные очи,
Не за пышные плечи,
А за умные речи
Обожаю я вас [9].

Да, где бишь я остановилась? Да, Пушкин вынул тетрадь в лист и начал читать свою лучшую поэму, „Полтаву". Он читал так плохо и вяло, что много красот я только после оценила. Так прекрасно описание украинской ночи, любовь молодой красавицы, дочери Кочубея, к старому Мазепе, от которого ее отец погибает на плахе. Одним словом, это chef d'oeuvre. У меня нет с собой сочинений Пушкина, ты найдешь их в нашем доме. Он хотел, чтобы я высказала ему свое мнение, и я сказала, что это прекрасно. Вечером я узнала, что madame Карамзина на лето собирается в Ревель, я просила ее взять меня с собой, разумеется, она тотчас же согласилась. Мне дали две тысячи руб и четырехместную карету. Мы поехали на почтовых. Дорога очень хорошая, началась Лифляндия, станция [слово не разобр.] и, наконец, Ревель, мы прямо подъехали на дачу Клеманса, так называемый „Сахарный завод". Утром Екатерина Андреевна ходила гулять к развалинам Brigitten-Kloster или по полям к деревне барона Делинсгаузена. Старший сын Андрюша страдал глазами, и Сонюшка, и я

мы ему читали „L'histoire des Croisades“ *), но вдруг его мать мне запретила к нему ходить. Бедный мальчик влюбился в меня и доктор Винклер сказал, что это вредно для его здоровья, я, конечно, ничего не понимала. У них был гувернер француз Тибо, который занимался с Александром. Меньшой Володька был прескверный мальчишка, меня просила Екатерина Андреевна гулять с ним и сестрой его Лизой, премилой и кроткой девочкой, он всячески старался ее обидеть словом или делом. Раз нам встретился в уединенном месте прегадкий человек, небритый, в халате и босой и просил милостыню. Я его спросила, он отвечал: „Я—бродяга“. Я испугалась, схватила Лизаньку за руку и побежала домой. Вяземский просил меня ему написать, я написала, что в Ревеле мне приятно, но что есть бродяга, которого я боюсь. С тех пор Вяземский все шутил на этот счет. Жуковский говорит, что русских шутка только тем и хороша, что повторяется.

Общество было очень приятнсе. Всякий вечер бывала Марья Христофоровна Шевич, сестра кн. Ливен, с дочерью Alexandrine, предурной собой, молчаливой, но она была остра и насмешница, бывал адмирал Сенявин, который меня очень полюбил и называл „милая особка“.

„Принимаю название „милая особка“.

„Был всякий вечер граф Евграф Комаровский, у которого была страсть рассуждать по всякому поводу, и Alexandrine Schewitch его называла „le comte Commentaire“. Вдруг явился мой троюродный брат Евгений Штерич и с ним Николай Михайлович. Старуха Шевич предобрая, любит оказывать свою протекцию всем. Она их представила Екатерине Андреевне и всякий день Commentaire предлагал играть в вопросы и ответы. Я терпеть не могу jeux d'esprit. Я не умею отвечать кстати“.

„Это невозможно при вашем живом и пикантном уме“. —„А между тем, это, действительно, так. Я всегда делаю и говорю все некстати.

Но возратимся к Александрине Шевич. Ее спросили, какую прогулку вы предпочитаете: на лошади или со спутником. Она ответила: „Это зависит от животного, с которым

*) История крестовых походов.

ее совершаешь". Графиня Виельгорская играла однажды в эти игры в Петергофе у императрицы. Ее спросили, сколько солдат в армии государя? Она ответила: „Столько же, сколько волос в бороде у султана".

Как доказательство, что я ничего не умею делать кстати, приведу пример. Жуковский, Перовский и я, мы всегда ужинали за маленьким столом, принесли сливы.

Перовский сказал:

„Charmante brune,

Accepte cette prune". *)

Я спросила Жуковского: „А мне что сказать?" Он ответил:

„Charmant homme

Accepte cette pomme". **)

„Вот чем мы пробавлялись от скуки" [10].

„А что еще было сказано некстати?"

„Вот еще пример, который мне стыдно рассказывать теперь, когда я понимаю неприличие того, что я тогда выпалила. Говорили о горах в Швейцарии, и я сказала: „Никто не всходил на Mont-Rose. Я не знаю, как мне пришло в голову сказать, что я вулкан под ледяным покровом и, торопясь, клянусь не понимая, что говорю, я сказала: „Я, как Mont-Rose, на которую никто не всходил". Тут раздался безумный смех, я глупо спросила, отчего все рассмеялись? Madame Карамзина погрозила Пушкину пальцем. Три Тизенгаузен были там и, как я, не понимали, конечно, в чем дело".

„Но это жестоко со стороны Пушкина смеяться над наивностью девушки. Вы покраснели, рассказывая мне это, я так люблю ваше очаровательное целомудрие. Какой я дурак был! Жил медведем в этом гадком Питере, я бы вас там встретил и не оскотинился бы в Париже".

„Вот и вы, мой милейший, все делаете не кстати, как я".

„Да что уж про меня говорить, я просто дрянь, хуже Платонова. А Смирнов часто там бывал?"

„Всякий день, там он сделал предложение, мне так было тяжело решиться, что я просила Екатерину Андреевну

*) Прелестная брюнетка, возьми эту сливу.

**) Прелестный мужчина, возьми это яблоко.

передать ему, чтобы он просто спросил: „Да или нет“. Он спросил: да? Я долго молчала, обретаясь в страхе и конфузе, и по несчастью сказала „да“, а в сердце было „нет“. Пушкин мне сказал: „Какую глупость вы делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положения в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь“. —„К чорту, Пушкин, положение в свете. Сердце хочет любить, а любить совершенно некого“.

Я уже и тогда предчувствовала, что встречу вас [Киселев] и узнаю, что значит полюбить нежно, как я вас люблю. Это—только дружба. Что же будет, когда я полюблю пламенной любовью. Я уйду с моим любимым в глубь Сибири, я брошу ради него своих детей“. Тут я расплакалась.

„О чем вы плачете, дорогое дитя! Если бы я был этим счастливцем, я не потребовал бы от вас никакой жертвы, не требовал бы даже, чтобы вы мне принадлежали. Не плачьте, душенька, не забегай горю навстречу“. И он утер мне слезы своим платком и поцеловал платок: „Говорите о другом“.

„Когда Смирнов на следующий день уехал в Москву, что бы устроить свои дела, уехал, даже не поцеловав мне руки, Перовский проезжал в дрожках и даже не посмотрел на мои окошки, а Пушкин сказал: „То так, то пятак, то гривенька, а что, если бы он теперь предложил свою руку с золотым наперстком?“ [11] „Сейчас положила бы свою и на коленях бы его благодарила“.

„Неужели вы действительно отказали бы Смирнову?“

„Конечно, Перовский был красив, храбр, добр, у него были две тысячи душ, он был бы великодушным покровителем моих братьев“.—„Я предпочитаю вашего мужа, это конкурент не такой опасный, как Перовский, которого вы рисуете такими заманчивыми чертами“.

„Перовский был безумно влюблен в графиню Софию Бобринскую. Он был в Берлине с государем, когда Жуковский объявил ему роковую весть о ее [замужестве]. Он был так потрясен, что прострелил себе палец на правой руке, потом он говорил, что несчастье случилось на охоте. Он сам рассказывал мне это в Риме“.

„Признайтесь мне во всем относительно Перовского“.

„Мне не в чем признаваться. Он приходил ко мне ежедневно, или я встречалась с ним где-нибудь случайно. Часто мы уходили в окрестности Рима, он прекрасный ботаник, он рвал цветы, их рассматривал. Я вспоминаю, как однажды мы были в храме бога [слово не разобр.], и я ему сказала: „Василий Алексеевич, как птицы поют!“—„Вот хорошо, вы так давно в Италии и не знаете, что в ней нет птиц, это кузнечики шумят“. В этом храме была некогда церковь Quo vadis. Потом мы пошли в Fontaine d'Egérie, дети плескались в воде, они всегда сопровождали нас. Перовский любит детей так же, как вы. Раз мы ехали в Тиволи. Я не помню подробностей, я сидела с Перовским в карете, дети ехали в другом экипаже, а Гоголь следовал за нами в коляске. Вдруг я почувствовала опасность“.

„Как узнают опасность?“

„Воцарилось молчание, и возник опасный магнетизм. Я предложила ему пройтись. Он воспротивился и попробовал обнять меня. Я наградила его пощечиной. Я вышла из экипажа, потом он покорился, и мы приехали в Frascatti добрыми друзьями. Вот моя история с Перовским“ [12].

„Ах, я могу вздохнуть свободно,—сказал Киселев,—ведь я ревнив. Я ревную вас к прошлому, а ваш муж, ревновал ли он?“—„Нет, он не знал Перовского, и никогда я ничего ему не рассказывала. Когда Перовскому сообщили о замужестве Софи Бобринской—его спросили, а кто ее выдал замуж? „Мужики,—ответил Перовский,—восемь тысяч душ“. А я себя продала за шесть тысяч душ для братьев“.

X. В Берлине в 1832 году. Воспоминания о придворной жизни. [1]

Свадьба была грустная: у него посаженной матерью была его старая тетка Любовь Ивановна Безобразова и граф Толстой, женатый на ее дочери. У меня князь Петр Михайлович Волконский и гр. Нессельрод. Братья мои были шаферами. Я тотчас сделалась беременна, меня рвало целый день беспощадно. Я ела всякую дрянь: щи, кашу гречневую и редьку с конопляным маслом, и готовила детское приданое. После родов нас послали в Берлин, и доктора советовали для укрепления ехать в Пирмонт, где железные

сильные воды. Мы поехали зимой в четвероместной карете на полозьях. Н[иколай] М[ихайлович], его сестра, горбатая, но очень милая, добрая и приятная. Он храпел, а я с ней играла в пикет. Мы остановились в Берлине. Императрица мне дала письмо к королеве и ее тетке, княгине Радзивилл Она была двоюродной сестрой короля. Радзивилл тотчас меня поместил в живые картины, кажется, цыганкой. Я часто обедала у короля и была на его маленьких балах. Все было очень просто. В мою бытность умирала Elise, единственная дочь их. В нее был страстно влюблен принц Вильгельм, но король не хотел слышать об этом. Старший сын его был бездетен, и не было надежды на наследство. Принца послали в Россию, потому что он более других сестер любил нашу милую Александру Федоровну, а потом его женили на Веймарской принцессе Августе, меньшой сестре принцессы Каролины. Мы жили № 50 Unter den Linden, и всякий день у нас обедали Озеровы. Röschen за столом лобызала Озерова и говорила:

Lieber Mann!
Sei nicht böse
Mit deiner Rose *)

В Берлине я писала Вяземскому, что наше путешествие в цивилизованные страны равносильно походу в пустыне: мы нашли вместо помещения бани, как у наших крестьян, а вместо пищи холодный картофель с солью. Он мне ответил: „Ай да Александра Денисовна! Точь в точь в папеньку Дениса Васильевича Фонвизина“. Он [Фонвизин] путешествовал во Франции и очень дельно критиковал нравственность и французские обычаи. Он был в Монпелье при открытии штатов, когда голосовали вопрос о назначении содержания для короля, он вернулся в Россию и напечатал свое путешествие. Он остановился у одной старушки и написал: „Старушка предобрая, но личико презлостное“.

„Как это смешно! И ты будешь старушка предобрая, а личико тоже будет презлостное“.—„Не хай так, не хай так. А теперь довольно, мы сегодня трапезуем у графини Нессельрод, и пора готовиться к обеду“.

---

*) Дорогой муж, не сердись на свою Розу.

[Далее в тетради следуют пьесы, посвященные Александре Осиповне].

Воспоминание издали.
В веселой резвости мила
В тоске задумчивой милее.
. . . . . .
Нет, вы не знаете ее,
Вы, кто на балах с ней встречались,
Кто ей безмолвно поклонялись,
Все удивление свое
В дань принося уму живому,
Непринужденной простоте,
И своенравной красоте,
И глазок взору огневому.
Вы, кто слыхали, кто делили
Ее беседу; кто забыли
Забот и дел своих житье,
Внимая ей в гостиных светских,
Кто суетно ее любил,
Кто в ней лишь внешний блеск ценил,
Кто первый пыл мечтаний детских
Ей без сознанья посвятил.
Нет—те ее не понимали,
Те искры нежности живой
И чувств высоких луч святой
В ее душе не угадали.
И вы, степенные друзья,
Вы, тесный круг ее избранный,
Вы, разум в ней боготворя,
Любя в ней волю мыслей странных,
Вы мните знать ее вполне,
Вы мните—в скромной глубине
Ее души необъясненной
Для вас нет тайны сокровенной.
Но вам являлась ли она,
Раздумья тайного полна,
В тоске тревожной и смятенной,
Когда в разуверенья час
Она клянет тщету земную
Обманы сердца, жизнь пустую.
Когда с прелестных черных глаз
Слеза жемчужная струится,
Когда мечта ее стремится в мир лучший,
В мир ее родной,
Где обретет она покой?
Ее я помню в дни такие.
Как хороша она была!
Как дружба к ней меня влекла,
Как сердца взрывы роковые
Я сердцем чутким стерегла!
Нет! Не улыбки к ней пристали,
Но вздох возвышенной печали.
Нет! Не на торжищах людских
И не в нарядах дорогих
Она сама собой бывает...
Кто хочет знать всю цену ей,
Тот изучай страданье в ней,
Когда душа ее страдает.

Графиня Ростопчина. Село Анна, апрель, 1839 г.

Другая предо мной дорога,
В походный дом сажуся я,
Как жаль привычного порога,
Как жаль свою покинуть Русь!
Страшна не даль и не тревога.
Тоски немецкой не боюсь.
Дышать бы здешней мне прохладой
И уноситься по Неве
Иль там, где блещущей громадой
Кружится все, кружиться-б мне...
Нет, нет, с баронной феодальной
Я сяду чинно и печально
Прослушать сказку о былом.
Ко мне дойдут, как песнь былая,
Где русских гуслей слышен звон,
Как чудеса у нас творили
Царь Берендей и князь Гвидон.

Плетнев, 26 декабря, 1832 г.

„Хорошенькая ли она? Не знаю, так как трудно анализировать это шаловливое личико, полное ума, взгляд которого—острота, улыбка—замечание. Миловидная и изящная, грациозная и пикантная. Улыбаясь, ею восторгаются, улыбаясь, подпадают ее очарованию. Ее ум все как бы

шутит, но в высшей степени наблюдателен. Она все видит, и каждое ее замечание носит характер легкой эпиграммы, основанной на глубине созерцания. В ее манере есть что-то трогательное, хотя иногда замечается в них известная nonchalance *). Она слишком восприимчива, чувствительна и потому иногда неровна, но и этот легкий недостаток придает ей больше прелести, так как интересно узнать то, что на время омрачило это хорошенькое чело. У нее своеобразный такт и замечательно анализирующий ум. Можно сказать, что воображение ее—своего рода калейдоскоп, так как из самых легких отрывков она умеет составить блестящее, увлекательное целое. Бывают минуты, когда ее живое умненькое личико так и сияет. Она вкладывает ум во все, что делает, даже в самые банальные занятия. Поэтому даже когда она оттеняет вышивку, то уже по выбору красок можно заключить о ее прелестном вкусе, о ее воображении без скачков в сторону. Посмотрите, как она шьет; эти ровные, симметрические стежки указывают на ее любовь к порядку и правильности. Красивая мать двух прелестных близнецов, как слепков с прекрасного образца. Угадайте!....."

Julie Stroganoff. Franzensbad. 2 avril 1835.

На музу и меня напали вы врасплох.
Ни сердце, ни мой ум, еще насмóрком сжатый,
Не приготовлены в прощальный час утраты
Поднесть вам грустный стих и задушевный вздох.
Не знаю, что сказать, не знаю, нè умею
Мысль наскоро одеть, убрать и расцветить,
Дать образ таинству, которым тихо зрею...
И чувство в мирный стих живьем заколотить
В экспромтах никогда я не был парень ловкий,
Влюблялся иногда экспромтом—спора нет.
(И, кажется, вы в том дать можете ответ).
Но пел всегда моих красавиц с подготовкой,
Мне грустно, больно мне, мне душно на груди
И сердце налилось слезами, будто чаша,
При мысли той, что завтра вы—не наша,
Что долгая нас ждет разлука впереди.
Вот, если эту скорбь, глубокую, живую,
Хотите вы назвать поэзией: будь так.
Примите вы ее, как сердца дань немую
И преданных вам чувств простой и верный знак.

Полночь, января 17-ое, 1833 г. Вяземский.

*) Беспечность.

„Дать образ таинству, которым тихо зрею“, это так хорошо выражает мое чувство, не таю ли я в глубине души то, что вы не позволяете выражать“, [сказал Киселев].

„И совсем не нужно выражать, это не первые стихи Вяземского. В Павловске в 1830 году, когда моя императрица уехала в Одессу, она меня поручила государыне Марии Федоровне, мне дали стихи Вяземского, я помню только один стих: „И голос слаще торкватовых октав“.—Я не знала его и не знаю, где он слышал мой голос, а помню, что едва проснувшись, я восхищалась пеньем иволги, просыпалась ровно в восемь часов, отворяла окно, потом мылась с ног до головы холодной водой, сама чесалась, и гадкая раскольница Прасковья Михайловна меня одевала. Тогда жила в дворце Лунина, княжна Репнина со своей гувернанткой m-me Wilson, она вышла замуж за Кушелева-Безбородко, и Ярцева всегда в старом черном салопе. Мы ее терпеть не могли. Она была дочь конюшенного офицера и задавала тон. Тогда явился господин Миклашевский, он привез французские моды. Из него великий князь Константин Павлович сделал шута и советовал ему ехать в Петербург. Фирс Голицын садился на лодку с косой в руках и пел: „Le temps fait passer l'amour“ *), а потом Миклашевский с крыльями садился у руля, и Голицын пел „L'amour fait passer le temps“ **). Эти фарсы делались рано утром. Когда моя государыня поехала в Одессу, я была поручена императрице Марии Федоровне и с ней была, как старшая Софья Гавриловна Моден и Урусова, эту „цацу“ привезли с коронации из Москвы.“

„Нет это не по порядку, скажи что-нибудь о своей государыне“.

„На страстной неделе государыня мне прислала желтый репсовый хвост, серебром вышитый, и палевое платье, шитое серебром, мне выдали жалованье вперед, я купила белые атласные башмаки, перчатки и пунцовую розу, я хотела и не знала, как приладить пунцовую розу. Наконец, была готова и со страхом отправилась в большую залу, уже наполненную дамами трех первых классов. Там нашла

---

*) Время изгоняет любовь.

**) С любовью весело проводят время.

Стефани и села возле нее. Et pour Euler et pour moi c'était une contenance *), подошла к несчастным грузинским царевнам, которых видала у Цициановых. Они были в своем костюме и очень нарумяненные. С ними никто не говорил, и над ними очень глупо смеялись. Они очень обрадовались и мне сказали: „А что князь и княгиня, как поживают?" Тут был царевич Мариани, у них сохранились библейские имена, одна из царевен была Саломея.

Тут я увидела в первый раз фрейлину Жеребцову, невесту Алексея Федоровича Орлова. Она очень гордо на всех смотрела, глаза как плошки, и совсем нехороша. Перед Стефани стоял высокий старый генерал Костецкий, он был очень храбрый, влюбился в Стефани и через ее девушку дал ей знать, что у него есть имение под Конотопом в Киевской губернии, и мы его прозвали Конотопским, и в. к. Михаил Павлович его звал Конотопским.

Наконец, дверь отворилась, скороходы курили амбру. Потом пошли камер-гоффурьеры, en culottes couturées et bas de soie et l'épée au côté, **) потом младшие камер-юнкеры попарно в форме et l'épeé au côté.

И ты будешь так же одет, когда ты будешь в Петербурге и тебя сделают камергером".

„Да я совсем не хочу ехать, если ты останешься в Париже".—„Хочешь, не хочешь, а это будет, а Павла Дмитриевича сделают графом, уже об этом давно поговаривают, и вот почему. Когда он так хорошо кончил дела [слово не разобр.], султан предложил ему титул бея, который он, конечно, не принял. Он сказал государю, что привез отчет и прибавил: „Позвольте лучше вам передать его содержание, вам скучно будет его читать".—„Нет, подай мне отчет, я читаю губернаторские отчеты и знаю, что в них часто ложь, ты всегда брату говорил правду". Через несколько дней государь ему сказал: „Я с удовольствием читаю твой отчет. Я вижу, что ты там кое-что сделал для несчастных крестьян".—„Государь, я сделал, что мог. С одной стороны бояр надобно было по головке гладить, а с другой их

---

*) И для Эйлер и для меня это было подходящее общество.

**) Штаны с позументом, шелковые чулки и шпага на боку.

подтягивать".—„Конечно, пора и нам заняться нашими крестьянами, пора подумать, что им крепость в тягость. Я то и дело слышу, что помещика высекли, где задушили или застрелили. Поручаю тебе заняться этим делом. Не торопись и возьми в редакторы, кого ты знаешь подельнее. Я тебя назначаю министром государственных имуществ". „Что вы об этом скажете, милостивый государь?"—„Скажу, что вы меня радуете, vielgeliebte Buhle!"—„Вот как, это рифма к der König in Thule:

Es war ein König in Thule
Gar treu bis ans Grab seiner Buhle, *)

а это ты не будёшь."

„Чем обижать меня, изволь продолжать о выходе в церковь".

„Государь вел под руку государыню, она была в синем бархатном платье, шитом золотом. На голове диадема, с яхонтами на шее, и серьги—тоже яхонтовые; ничто так не выражает ее походку, как то, что Пушкин говорит о дочери Кочубея:

Как тополь киевских высот
Она стройна. Ее движенья,
Как лебедя пустынных вод,
Напоминают плавный ход.

Царская пара кланялась, а как моя царица кланялась—просто чудо. За ними шла вдовствующая императрица с великим князем Михаилом Павловичем, его супруга в торжественные дни не любила являться, потому что ходила прескверно на своих каблуках, и потом все разошлись.

Есть белая зала, в которой назначено собираться в известные дни званым персонам обоего пола. Один раз в этой зале никого не было, потому что не было для них назначения. Шутник Мятлев был там один. Государь его спросил: „А ты что здесь делаешь?"—„Ваше величество, я знатная персона обоего пола". Государь рассмеялся и сказал ему: „Иди за нами!"

---

*) В Фуле жил король, он до самой своей смерти был верен своей возлюбленной. Цитата неточна.

Вот я вспомнила описание украинской ночи:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.

„Я не знаю, что такое Белая Церковь.“—„Белая Церковь принадлежит теперь графине Браницкой, она тоже племянница Потемкина, клялась ему, что никогда не перейдет в римскую церковь, а дети ее по мужу крещены.“—„Как талант Пушкина созрел, я выше этих стихов ничего не знаю“.—„Однако, пора собираться к обеду“.

XI. Киселев о себе. [1]

У гр. Нессельрод обедала Клеопатра, Н. А. Муханов и мы. Я ей сказала, что когда я была в Венгрии, там была великая княжна Мария Николаевна. Я у нее часто бывала, и она меня спросила: „Моя милая, вы любите tante Hélène?“ *).—„Я ее терпеть не могу“.—„Бедная maman, вы знаете, как она всегда добра к ней, мне пишет: „В последний раз в Аничковом я села рядом с Hélène, которая не хотела танцовать. Она стала зевать; когда я встала, с большим оживлением она вступила в разговор с Catiche Салтыковой. Я знаю что я глупа, но знаю, что менее глупа, чем Catiche“. Бедная maman, она так смиренна“.—„Но, ваше высочество, императрица в тысячу раз умней ее и образованней, но она не умеет этого показать, тогда как эта мерзавка заставляет себе читать вслух, когда готовится принимать какого-нибудь умного человека, но я вас уверяю, что она мало кого обманывает, неблагодарное существо“.

Тут Киселев вдруг сказал графине, что я ему диктую свои мемуары, чтобы заполнить послеобеденные часы, и что по вечерам мы читаем русских авторов.

„Моя милая, как бы я хотела прочесть эти мемуары, я уверена, что они должны быть очень интересны“.

---

*) Тетю Елену [в. к. Елену Павловну].

„А Киселев с своей стороны никогда ничего мне не рассказывает о самом себе, я думаю, что в его жизни есть маленькие тайны".—„Это правда, любезный друг, я знаю, что мои родители были знакомы с вашими, но никогда вы ничего мне не рассказали о них, ну-ка, соберите свои воспоминания".

„Мои воспоминания печальны. Моя мать никогда не могла утешиться после смерти моего старшего брата Александра, который был убит в шестом году, во время войны с турками. Он был очень выдающийся человек и, благодаря своим военным талантам, стал бы фельдмаршалом. Мать не утешилась после его смерти. Брак моего брата Сергея ей не нравился, это удалило его от семьи. Мой брат Павел, как вы знаете, проделал все походы, и вся привязанность моей матери сосредоточилась на мне. После заключения мира Павел вернулся в Москву и сказал мне, что так как у меня нет состояния, я должен сделать карьеру, что в наше время—нужно учиться. Судьба сделала из него солдата. С пятнадцати лет он был в ополчении в Бородине с князем Петром Вяземским. Они вместе учились, но мало что делали, уже позднее он сам пополнил свое образование. Я очень хорошо знал по-латыни. Он сказал, чтобы я изучил греческий. Он нашел очень хорошего учителя с греческого подворья и сказал мне: „В восемнадцать лет ты поедешь в Дерпт для изучения классических наук, это лучший университет". Я поехал туда с Языковым, который имел рекомендательные письма к профессору Мойеру. Остальное вам известно".

Я была очень взволнована этим рассказом.

Мой муж сказал: „Мой отец умер на Кавказе, в доме был пожар, у отца был железный ящик, где лежали его деньги. Он был прибит к полу, в волнении он его отодрал от пола. Это усилие стоило ему жизни, а когда я открыл ящик, он был пуст,—его любовница madame Штодель украла находившиеся там двадцать тысяч франков".

Муханов мне сказал: „Никакого такту и нет, отец умер, а он говорит о его любовнице". Я покраснела и сказала: „m-me Штодель никогда не была любовницей. Авдотья Ивановна мне сказала, что это выдумки Михаила Ивановича, дворецкого", и я сделала ему знак.

„К счастью, мой кузен Николай Иванович Воейков, адъютант Ермолова, дал мне взаймы денег на похороны и дал мне возможность вернуться".—„Любезный Смирнов, я очень сожалею, что ваш отец подал вам дурной пример иметь любовницу в своем доме и, надеюсь, что вы не последуете его примеру".—„Конечно, нет, нравы были совсем другие".

Он отправился на рулетку, и я осталась со своим милым компаньоном. Гуляя, я ему сказала: „Знаете ли вы, что в Берлине его любовницей была mademoiselle Hagen, прелестная актриса. Они ее делили со старым пашой Рибопьером, которого слуги во дворце всего называют любопёр, и государь не называет его иначе, как любопёр".—„А вы были к этому равнодушны?"—„Я была рада, потому что у меня, по крайней мере, был покой, впрочем, Шольц запретил эти глупости во время моей беременности, он требует, чтобы после родов я имела отдыха по крайней мере два года".—„Неужели Смирнов не знал, что когда цель достигнута, то грех спать со своей женой, воспитание ребенка начинается в утробе матери?"—„Один священник мне говорил то же самое, он говорит, что нравы так дурны, потому что не соблюдается это правило. Но вы откуда это знаете?"—„Доктор Галль, френолог—доктор посольства. Он меня очень любит, и у меня с ним длинные философские беседы, он—христианский философ, как мой друг Los-Rios".—„Изучали ли вы Гегеля? Московские славяне очень много им занимаются".—„Я слушал курсы философии и филологии в Дерпте, но я держался [слово не разобр.] и честного Шеллинга. Дерпт был для меня великой школой, там я начал понимать музыку. У Мойера я в первый раз слышал прелестные романсы Вейнрауха".—„Я их знаю, их всего шесть, но это жемчужины. Жуковский их очень любит, в особенности „Land meiner seligsten Gefühle" *) и „Стремление на восток". А я люблю: „У бедных пастырей в селенье".— „Я их люблю все. Мой вкус к живописи развился тоже у Мойера, у него были пейзажи Фридриха, их нельзя сравнить с пейзажами Рюисдаля которые я потом видел в Эрмитаже, но в них царствует какая-то тихая грусть".—„У Жуковского

*) Страна святых чувств.

есть картина Фридриха: „Еврейское кладбище“,—действительно, выражается грусть, но там недостает божественного креста, который нас мирит со смертью. Расскажи мне, как ты уехал из Дерпта?“

„Я с грустью покинул это пристанище, расстался с лучшим своим другом Языковым. [2] Я был первым, которому он прочитал свои ранние произведения. Он направился в Москву, а я и мой верный Михайло поехали в Петербург. Я никого там не знал. Благодаря скупости моего брата, я жил, как в пустыне. Благодаря Языкову, познакомился с Пушкиным. Мой брат рекомендовал меня графу Нессельрод, который всегда был чрезвычайно добр ко мне. Грибоедов был другом нашего дома, он хотел увезти меня с собой в Персию, но граф Нессельрод велел ему взять Мальцева и сказал ему: „Я берегу маленького Киселева для большого посольства в Риме или Париже, он в совершенстве знает французский язык. У него есть такт, у него приятный характер, и он всюду сумеет приобрести друзей“.

XII. Маскированный бал во дворце.—Пушкин в 1830 году в Царском [1].

„Киса, в Петербурге есть комический поэт, Иван Мятлев, который говорит, что из английского комфорта в России осталась одна камфорка. Он почти каждый день присылает мне комические стихотворения.

Государь очень любил маскированные балы, за ним всегда следом шел Орлов, шеф жандармов, и предупреждал масок не подавать прошений. Раз мне пришла в голову мысль попробовать заинтриговать публику. Я заказала себе розовый домино, но мне не удалось говорить о любви и чувствах с мущинами, к которым я подходила. Видя, что у государя скучающий вид, я решила заинтриговать его. Я подошла к Орлову, сказала ему, кто я, и что я хочу позабавить государя.

„Вот, очень любезная маска, государь, только плохо говорит по-французски“.

„Вотер мажесте, пермете vous raconter mes малёр. Мон пер иль ете юн капитан де л‘арме де Кавказ, ма мер вдова

авек боку des enfants“ *)—„Да ты уж лучше говори по-русски и, судя по твоему домино, ты не без грации“. —„Се Мадам Тумански после бал, qui m'a donné cette домино et m'a dit: il faut парлер en français. Sans cela on croira que vous êtes mauvais жанр, **) а что такое это, не знаю: у нас в Саратове не разбирают“.—„Так вы из Саратова сюда приехали?“—„Ma мер elle disait toujour: „Ах, боже мой,—elle ne sait pas le français,—как мне воспитать детей?“ Alors un monsieur a dit: „Але а Петербург et priez l'empereur, il est si bon“. ***)

Вот мы поехали на долгих и остановились dans le Саратовский трактир. Et toute suite madame Туманski est arrivée et je suis vous prier de mettre les frères dans le corps de cadets et ma soeur dans le Патриотический институт. ****) Mon frère est au Caucase aussi dans le regiment Апшеронский пехотный полк. Vous savez avant était Суворовский пехотный полк et avant Фанагорийский“ *****). —„Так ты все это знаешь?“—„Comment donc, le городничий de Усмань Боголюбский a raconté tout cela. Alors votre majesté, ce que je dois présenter la supplique. Je vu les мужики dans la rue se mettaient à genoux avec la бумага sur la тет“ ******).—„Нет, тебе надобно подать просьбу через Орлова. Хочешь ли я тебя представлю нашим молодым дамам?“—„Ах, же ву en prie“*******)—„Voilà la comtesse Завадовская“.—„Ах, comme elle est бель, comme elle est бель, а сет мусье avec le nez крючком, ce son mari?“—„Non, c'est Mr [слово не разоб.], son

---

*) В. в., разрешите рассказать вам о моих несчастьях. Отец мой был капитаном Кавказской армии. Мать моя, вдова, имеет много детей.

**) Которая мне дала это домино и сказала: надо говорить по-французски. Иначе подумают, что вы...

***) Мать моя говорила всегда... она не знает французского языка... Тогда один господин сказал: „Поезжайте в Петербург и попросите государя; он так добр.

****) Вслед за тем приехала madam Туманская, и я прошу вас поместить братьев в кадетский корпус, а сестру в...

*****) Брат мой был на Кавказе. Знаете ранее это был...,—а еще ранее...

******) Как же.... рассказывал все это. Итак, в. в, как мне подать вам просьбу? Я видела, что мужики на улице становились на колени с бумагой на голове.

*******) Пожалуйста.

mari est un très belhomme. Et cette dame—c'est la comtesse Borch" *)—„Ах, ель не па jolie, mais madame Toumansky, son ami, m'a dit qu'elle a beaucoup d'esprit el très bonne".——„C'est vrai, elle s'occupe des salles d'azyl". **)—„Ну, уж это я не знаю, что такое".—„Cette petite dame, qui est entourée d'homme, c'est la femme qui a le plus de succès. C'est la comtesse Woronzoff. Elle a beaucoup d'esprit, elle danse d'une manière très gracieuse".—„E сет мусье par derrière avec la голубая лента? C'est son mari? E сет мусье en [слово не разобр.] jolie figure?"—„C'est Jean Tolstoy, qui est secretaire d'ambassade en Italié". „Ах, боже мой, что скажут в Саратове, что я затесалась в такое общество; все графы и итальянский посланник".

J'en avais assez. ***) Я вырвалась из рук государя, который очень смеялся, и сказала Орлову: „Пожалуйста, не говорите, кто я".

На другой день вечером государь спросил меня, езжу ли я на маскарадные балы. „Никогда,—я не понимаю, как можно говорить о любви и чувствах человеку, которого видишь в первый раз в жизни, кроме того, неприятно изменять свой голос и говорить „ты".—„Вы правы, это меня забавляло в течение нескольких вечеров, теперь я реже езжу, но вчера меня очень заняла маска в розовом домино, приехавшая из Саратова. Она настаивала на том, чтобы говорить по-французски; она должна была представить прошение о помещении братьев в кадетский корпус, а сестры в Патриотический институт, но я ничего не получал, и Орлов не знает, кто она такая".

„Государь, вы недогадливы, ведь это была я. [2] [На полях].—К этому случаю Мятлев m'a dit: „J'ai été hier

---

*) Вот графиня... Ах, как она красива, как она красива. А этот господин, у которого нос крючком, ее муж? Нет, это monsieur... Ее муж очень красив. А эта дама графиня Борх.

**) Ах, она не красива, но madame Туманская, ее друг, рассказывала мне, что она очень умна и добра. Это верно, она занимается приютами.

***) Эта дама маленького роста, которая окружена кавалерами, пользуется большим успехом. Это графиня Воронцова. Она очень умна и очень грациозно танцует. А тот господин позади с..... Это ее муж? А этот красивый господин? Это Толстой, секретарь посольства в Италии... Мне было достаточно.

dans le mascarade. Там был домино роз, в который влюбилась вся Европа, но были также des dames, comme"*) иль не фо па.

Я заметила, что вам скучно, в первый раз в жизни попробовала интриговать, оказалось не удачными, мне пришла мысль вас развлечь".

„Да откуда ты знаешь Апшеронский полк и даже его историю?"

„Старший брат мой теперь на Кавказе, в этом полку. А в Ревеле я знала капитана Яковлева который отличился, кажется, под Остроленкой при переходе по мосту". [3]

„Да, несчастливый"—и государь тяжко вздохнул.

Эта польская кампания, сначала такая неудачная, стоила государю много вздохов и слез".—„Слез государю?" —„Да, слез, когда он читал поименный список убитых гвардейских офицеров, которых знал пажами или кадетами. И как он был трогателен, когда выехал на встречу Суворова, которого Паскевич послал курьером, когда Суворов, увидя его, закричал: „Варшава взята, все кончено благополучно" Государь вышел из коляски, стал на колени и молился. Потом отвез Суворова в Китайский домик, где ожидала его беременная жена, а затем уже в Александровский дворец. Радостная весть разнеслась в несколько минут. Мы сидели за столом и побежали в Александровский. Пушкин жил в доме Китаева, я сказала его человеку, что Варшава взята. В кабинете императрицы государь разбирал письма и раздавал их по рукам, обратился ко мне и сказал:

„Михаил очень доволен твоим братом-артиллеристом", и дал мне записочку Оси на клочке бумаги. Штурм продолжался три дня. Аркадя был в большой опасности, остался один с фейерверкером при пушке, лошади и люди все убиты. Мимо него пронесся гусарский полк и врезался в город.

Это положило конец делу. „Прощай, любезный друг. Сашенька, до скорого свидания, наконец. Где Клима? Карленьку целуй, я завидую ему".

---

*) Сказал: Я был вчера в маскараде...

Пушкин прислал мне свои стихи и карандашом написал:

„От вас узнал я плен Варшавы,
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

Когда придумаю четвертый стих, пришлю его вам“,— но четвертый стих никогда не нашелся.

„Вот как судьба вас с детства сближала с тем, что у нас было лучшего или замечательного в России. Скажите открыто, стихи их льстили вам, или вы остались равнодушны?“

„Ничуть не льстили, поэтам нужен идеал, и они, не знаю почему, нашли его во мне. Лучшего не было под рукой. У меня есть альбом, который в день моего рожденья мне подарила Сонюшка Карамзина, а Пушкин пришел и сказал, что я должна писать свои мемуары и, шутка, писать их в роде Сен-Симона, который вам, конечно, известен“.—„Да, я его читал с удовольствием“.

„Этот альбом навел Пушкина на мысль написать стихи, которые мне создали репутацию злого существа. Я не знаю, известны ли вам сказки Пушкина? Он их писал в доме Китаева, придворного камер-фурьера. [4] Я приезжала к одиннадцати часам, когда не дежурила, и поднималась вместе с его женой в его кабинет У него было ужасно жарко. Он любил жару. Всякое утро он брал холодную ванну и тотчас одевался, кроме галстука. Кудрявые волосы еще были мокры, он писал свои сказки, перемарывал так, что трудно будет разобрать его помарки. Возле него стояла банка варенья зеленого кружевника и стакан самой холодной воды от „Лебедя“, это лучшая вода, в Царском. Когда мы входили, он тотчас начинал читать а мы делали свои замечания. Раз я ему сказала: „Нет, Пушкин, этот стих нехорош. Вот, например, стих, так стих:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Так и видно, что он идет, подбоченившись“. Он разразился смехом и сказал: „Я всегда полагал, что женщины— лучшие критики“.

„Я лишь раз был в Царском Селе и ничего не видел. Я был слишком беден, чтобы позволить себе прогулку в экипаже, и я пришел туда пешком с Пушкиным, который такой же прекрасный „Capitaine d'infanterie“ как и я. Я не знаю, читали ли вы когда-нибудь „Les historiettes galantes de Tallemant des Réaux?“ [5]—„Конечно. Они мне доставили много удовольствия, особенно „Ответы M-r Cosmus“, и я знаю историю „Capitaine d'infanterie“. Ее то и дал мне прочесть Пушкин, так же как сочинения Ривароля, Шамфора и „Сказки“ Вольтера“.

„[Так вот] я совершал продолжительную прогулку с Пушкиным вокруг озера [6]. А потом мы прошли около тех комнат в первом этаже, где вы жили. Пушкин мне сказал: „Здесь я проводил самые приятные вечера у „фрейлинки Россет“, как ее звали придворные лакеи. Сперва я с женой катались в парных дрожках, которые называли ботиками. Я сидел на перекладных и пел им песню, божусь тебе, не моего сочинения.

Царь наш немец русский...
Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Школы все казармы..
Судьи все жандармы.
А Закревский, баба,
Управляет в Або,
А другая баба
Начальником штаба [7].

И эти стихи не мои:

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

„Сумасшедшие, разве такая махина, как Россия, может жить без самодержавия“.

„А как вы удачно выражаетесь по-русски и хорошо владеете русским языком, откуда это вам далось?“ — „Нас в институте наказывали за то, что не говорим по-французски. Делай, что хочешь, а от отечественного языка не отучишь. Мысль ложится сама, без спроса. Плетнев рассказывал нам какой-нибудь исторический факт, и тут при нем же мы должны были писать. Он говорил, что мой слог лучше [других], потому что очень простой“.

„Скажите мне, пожалуйста, написан ли с вас хороший портрет?“

„Есть акварель Соколова, когда я была невестой, а потом в Берлине мой муж заказал мой портрет некоему Телен, которым он не очень доволен. Он говорит, что он очень прилизан“.—„Если он здесь, велите его выложить“.—„Завтра. Там есть еще вещи, которые я хочу посмотреть, сочинения Гоголя, его письма и несколько туалетов“.—„Вы, вероятно, имели безумный успех в Берлине, по сравнению с этими приторными немецкими красавицами?“—„Во-первых, я уже раньше провела несколько месяцев в Берлине, после моих первых родов, и у меня были рекомендательные письма от императрицы к королю и к ее тетке, принцессе Радзивилл, так что я знала всех“.—„А кто за вами ухаживал?“—„Никто и все“.—„Недурно“.—„Но это верно, и доказывает, что никто серьезно не ухаживал. Был один молодой человек, граф Гильом Пурталес, очень красивый малый, но неумный. Не знаю, что с ним сделалось! Как-то раз на маскированном балу у герцога Карла Мекленбург-Штрелиц он носил за мной мантилью, я ему сказала: „Граф Пурталес, дайте мне мой боа“.—„Ищите его сами, сказал он с сердцем, я не ваш лакей“.—„Тем лучше, и я запрещаю вам беспокоить меня по утрам, я предпочитаю читать про ссору Менцеля с Вольфом“.—„Вам не придется беспокоиться и запрещать [принимать меня], я уже давно собираюсь предоставить вам свободу развивать свой ум“.—„Какой невежа!“.—„Я так ему и сказала, но его старший брат Альберт еще более дерзок. Представьте себе: как-то я была в костюме китаянки в балете, называвшемся „Волшебная лампа“. Этот костюм мне подходил, так как я уже была беременна. Альберт играл роль моего мужа, он даже не попросил, чтобы его мне представили“.—„Этот костюм вам, вероятно, очень шел?“

„Я думаю, так как мне все это говорили, это было еще до ссоры с Гильомом. Меня несли в паланкине все большие ростом: Фицлебен, фон Роде, Пурталес и Каниц, первого драгунского полка, друг моих детей. Так как в окрестностях прусской столицы очень мало прогулок, я ездила в Шарлоттенбург. У Каница была обезьяна, которая очень забавляла девочек, они меня умоляли им купить

обезьяну, я им купила деревянную, и это их любимая игрушка. Мой костюм вызвал зависть среди берлинских дам, потому что он мне стоил сто талеров, я сама смастерила прическу зонтиком, а куафер очень хорошо подобрал волосы.

Со мной случилась смешная вещь в Берлине. Как-то утром лакей докладывает: „Господин Танке с супругой и дочерью".—„Скажи, что я их не знаю". Он возвращается и говорит: „Они приехали на несколько времени, были у Ивана Петровича Озерова и получили приглашение на бал к посланнику".—„Проси". Представьте себе мой ужас: три каррикатуры: папаша рыжий, с огромным крестом на шее и с утра в белом галстуке. Мамаша в каком-то полинялом шелковом платье, с ним под руку, а дочь, уродина, завитая à l'enfant, декольте и мелкий жемчуг вокруг шеи, платье темнолиловое, короткое, и панталончики с прошивками и кружевами, белые лайковые перчатки во всю руку.

„Имею честь вам представить нашу единственную дочь, для ее воспитания мы ничего не щадили, она знает русскую словесность в совершенстве, играет на фортепиано и прекрасно танцует; теперь пришло время ее выдавать замуж, и мы даем вечера в собственном доме на Васильевском острове".

Я вспомнила, что граф Сологуб любит второстепенное общество. Он мне сказал, что вечера [слово не разобр.] приводят его в восторг; лампы текут, разносят яблочки и арбузы, за ужином рыба заливная и подленький винегрет". —„Что такое подленький винегрет?"—„Это остатки холодной говядины, телятины внутри, а снаружи горкой соленые огурцы, свекла рядами составляет целую пирамиду.

Вспомнив про Сологуба, я сказала Танке: „Мне кажется, что у нас общий знакомый есть: граф Александр Иванович Сологуб".—„Какже-с, мы имели честь быть в знакомстве с этим почтенным мужем, он с Сашенькой всегда танцует мазурку, и это с совершенным Паскевич-манером".—„Извините, мне надобно итти со двора".—„До свиданья на бале у посланника. Позвольте только спросить вас, где бы нам можно приятно провести лето?"—„Советую вам нигде не заживаться, поезжайте на различные воды: Мариенбад, Карлсбад, где всегда найдете русских и, наконец, в Баден-Баден, где я провожу лето. Так что я буду иметь удовольствие

увидеть Танков, особенно Сашеньку, которая меня интересует.“—„И как она смела носить то же имя, что вы“.

„Ах, батюшка, Миколай Митрич! Календарь святых для всех доступен. Подождите, что дальше будет.

Вечером я отправилась к Рибопьеру и—о, ужас,—вижу всю троицу Танков в том же костюме. Рибопьер подлетел ко мне и говорит: „Как это Озеров мог мне навязать этих каррикатур, что я с ними буду делать!“,—но внимание его было отвлечено тем, что какой-то русский офицер сошел с ума, вошел в церковь, надел ризы и служил обедню. От него с трудом избавились. Я, между тем, просила кого-то вальсировать с Сашенькой, но тут уж был совершенный репримaнд, как говорил Гоголь. Она на цыпочках выделывала такие штуки и не в такт, что кавалер должен был ее оставить, не кончив круга.

На этом бале, в каком-то кадриле танцовала madame Kanitz, рожденная Шлиппенбах, сестра Röschen Oseroff. Утром я шла с детьми и встретила барона Застров, он мне сказал, что принц Карл ехал в Петербург. На спуске у Таурогена его удивила быстрота, с которой он въехал на мост над глубоким оврагом; за ним ехал его адъютант, Каниц; он обернулся, видел фонари, а потом все исчезли. Его поразило страшное безмолвие. Он вышел из коляски, спустился в овраг, звал и никого не дозвался, кучер, форейтор и камердинер лежали в обмороке, а Каниц был убит сундуком, который упал на него. Принц не решился дальше ехать и возвратился с этим грустным известием. Озерова поехала к сестре объявить о несчастье. Она еще спала, костюм и весь гардероб не были прибраны. Вы можете себе представить положение молодой вдовы? Они были очень счастливы. Через несколько дней открыли его духовное завещание. Он все, что имел, оставил жене и вместе с завещанием был пакет, на котором было написано: „Распечатать после моей смерти, предсказание M-me Ленорман в Париже в 1815 году. „Вы умрете во время поездки на север, вместе с принцем“.

Тютчев мне говорил, что покойный император тоже посетил M-me Lenormant, она держала огромные карты и сказала ему: „Вы умрете вдали от вашей столицы; после вас наступит продолжительное и мирное царствование,

конец которого будет беспокоен". Потом она смешала карты и сказала": „Теперь я вижу лишь пламя и огонь". „Очень странно, но мы пока будем наслаждаться царством нашего государя и бог один знает, доживем ли мы до другого, я, по крайней мере, этого не желаю".

На другой день открыли сундук, в котором нашли мои портреты. Киселев выкладывал вещи. Тут был альбом с портретом императора Александра и в нем портреты красным и черным карандашем Соколова.

„А, здравствуйте, князь Дмитрий Евсеевич! Боже, какое сходство с матушкой и та же прическа!"—„Это старшая дочь дедушки, хотите я вам его подарю".—„А это кто?"—„Это Вера Ивановна, а эта курносая—Марья Ивановна Лорер, тетя Маса, с которой я все хотела ехать в Плибуг, а это дядя Александр Иванович".—„Какое тонкое и аристократическое лицо".—„Вот несколько строк старинного почерка Дубницкого и стихи Ильи Ивановича Капниста, крестик, сложенный из красной и серебряной бумаги на память о моей горничной Марье Савельевне".—„Как это трогательно!"—„Бедная женщина умерла от рака. Уезжая в Италию, я ее поручила графу Михаилу Виельгорскому, который ее поместил в Мариинский госпиталь. Ей давали морфию, сколько она хотела, чтобы заглушить ужасное страдание. Она ждала меня, говоря: „Хоть раз мне мою голубушку Александру Осиповну увидать". Когда я вернулась в Петербург, моя первая мысль была поехать в больницу, но она уже умерла. Бог сжалился над ее ужасными страданиями, сильнейшими из существующих. Вот сочинения Гоголя, письма, китайский костюм и молитвенник".—„Видно, что вы часто по нем молились, есть слова почти вымаранные и, как будто, следы слез. У меня даже нет молитвенника, я с Михайлой молюсь: „Отче наш", „богородицу" и „верую", по желанию матушки".—„Я с радостью подарю вам свой молитвенник, утренние молитвы я все знаю наизусть, а вечером вы мне прочтете молитвы, и я вам их прочитаю".

„Не знаю, как вас благодарить, а особенно за обещание со мной молиться. А с Николаем Михайловичем вы молитесь?".

„Он очень набожен, но с утра в ажитации, так что его поймать нельзя".

„Да, странный он человек, вечно волнуется и ссорится, и при добром и благородном сердце в канцелярии нажил себе врагов. Попадись ему поляк, или немец, он им не дает покоя, сколько раз оскорблял Гильфердинга и Кудрявцева, самых честных и благородных наших сослуживцев".—„Киса, признаюсь, что я не люблю Поля Медема, вашего друга. Он обращается с моим мужем, как с дураком. Однако, вы знаете, что он очень умен, хотя и не блестит в салонах".—„Но дело в том, что они оба вспыльчивы. В канцелярии не раз ссорились, и всегда я брал на себя обязанность устранить опасность дуэли".

„А вот и альбом со стихами Пушкина.

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И, как дитя, была добра.
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

18 марта 1832 г.

Из этого заключили, что я писала свои воспоминания. Между тем, ранее того, что я вам диктовала, я никогда не написала ни строчки".—„И, как дитя, была добра"—в этом вся ваша прелесть. Вы как будто и не подозреваете своей красоты, своего ума, обаяния вашего голоса, вы им так владеете, когда говорите".—„А вот еще стихи Вяземского, Плетнева, Лермонтова".—„Я не знал имени этого нового поэта".

„Софи Карамзина мне раз сказала, что Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике, в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся наверх, открыл альбом и написал эти стихи:

Без вас хочу сказать вам много,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что делать, речью неискусной
Занять вас мне не дано.

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.
В простосердечии невежды
Короче знать вас я хотел,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял..... [8]

„Это правда. Вы иногда смотрите так строго. Можно подумать, что ваш ум отягощен мрачными мыслями“.—„Это правда, у меня idées fixes, хотя и непостоянные, но все же они существуют! Мои нервы очень ослабели после моих вторых родов. Иван Озеров имел неосторожность мне сказать, что пока дети у кормилицы, его преследовали тревога и страх причинить им вред. Меня этот рассказ так поразил, что эти страшные мысли ко мне привились, и только здесь, в Бадене, они меня более не тревожат“.—„Отчего именно здесь, в Бадене?“—„Мы с вами день болтаем, вы меня заставляете вам рассказывать, и клин клином вышибает“.

XIII. Глава исторических отступлений. [1]

Я пишу без всякого порядка, а вы там уже разберете что, когда надобно печатать для соблюдения хронологии. Теперь здесь вышла „Переписка Екатерины с Гриммом“. Пора сказать несколько слов об этой вредной женщине. В чем состояло ее величие? Что такое величие при таких страшных преступлениях? Брат мой Клементий был послан разыскивать в архивах все, что ему покажется довольно интересным для передачи в архив министерства двора или иностранных дел. В местечке Александров, на Кинбурнской косе, он нашел экземпляр первого манифеста Екатерины по вступлении на престол: в нем сказано, что, по просьбе Петра, она берет на себя бремя правления. Манифест брат передал, куда следует. Это бремя несла Екатерина, кокетствуя умом с энциклопедистами, упиваясь похвалами, которые расточал перед ней безбожный Вольтер, Даламбер и Дидерот. Ее переписка с Гриммом здесь напечатана, и нельзя подивиться отсутствию чувства, хотя она беспрестанно говорит о своих внуках Александре и Константине. „Monsieur Alexandre пишет письма, когда я занимаюсь государственными делами“.

Она, как Людовик XIV, могла сказать „Государство — это я“. Северная Семирамида вполне олицетворяла эту фразу. Все знают, как она ходила пешком к Троице. Это была комедия, а ее знаменитое путешествие на юг России была тоже комедия и случай пококетничать с австрийским императором Иосифом II. Она знала, что издерживаются страшные деньги на содержание двора, видела собственными глазами, что придворные лакеи наполняли корзины всякой провизией и говорила: „Надо, чтобы и бедняки наслаждались жизнью“. Она знала, что губернатор Волков грабит свою губернию и говорила: „Он умный человек, а у каждого существуют недостатки“. У нее был один сын, она его ненавидела, позволяла камер-пажу передразнивать его, и сама хохотала во все горло. Проходя мимо, бедный князь сам был свидетелем, как его мать с придворными смеялась над родным детищем. Сердце его было доброе, он смиренно покорялся и никогда не жаловался на бездушную мать. Когда ей пустили кровь, она выпустила фразу: „Это последняя капля немецкой крови“. Этой фразой могли восхищаться только немцы и дураки.

Екатерина вздумала дать права своему дворянству, и затеяны были дворянские выборы. Это дело было недурное, но когда нашелся человек поумнее ее, помещик Коробьин, который сказал, что первым шагом должно быть уничтожение крепостного права, Екатерина тотчас закрыла выборы. Она ограбила церковь, и церковные земли раздала своим собственным фаворитам [2]. Когда графиня Анна Алексеевна [Орлова-Чесменская] поднесла митрополиту Филарету в светлый праздник миллион на поправку церкви, его поздравил с подарком граф Комаровский. Филарет при ней сказал: „Анна ничего не дала. Она только возвратила церкви то, что ей принадлежало“. Графиня упала к нему в ноги со слезами. Церковные крестьяне были самые счастливые. Они всем владели и платили оброку десять рублей асс. (Андрей Николаевич Муравьев прекрасно описал гр. Анну, сравнивая ее с римскими мелониями). Бартенев так влюблен в Екатерину, у него ведь сумбур в башке.

Она основала Смольный Институт для воспитания дочерей дворянства [3]. Первой начальницей была француженка madame Лафон. Воспитание было очень светское, о

религии мало заботились. Ее брат, которого звали просто Ангальтом, был гораздо выше [ее] в нравственном отношении. Она ему поручила воспитание шляхетного Кадетского корпуса, основанного императрицей Елизаветой Петровной. Те люди, которые оттуда вышли, были люди полезные и достойные. В 1849 году я встретила на пароходе француза князя de Broglio с сыном. Он со мной заговорил самым чистым русским языком. Когда я удивилась, он мне сказал, что он воспитывался при Ангальте в Кадетском корпусе и сына выучил говорить по-русски. Он с восторгом говорил о воспитании при Ангальте. Екатерине была присуща в высшей степени ambition, не знаю слова, чтобы выразить слово амбиция и тщеславие. Вольтер внушал ей мысль занять Царьград, потому что она не имела никакой особой симпатии к Греции, наградила титулом Чесменского Алексея Орлова, лучшего из Орловых, не она, а он положил начало инвалидному дому в Чесме. Она дала Орлову еще другое поручение. Ее тревожила знаменитая авантюрка, известная под именем княжны Таракановой. Полагали, что эта Тараканова была побочная дочь Елизаветы Петровны, но это непростительная клевета. Елизавета была женщина нравственная, у нее был один грешок, она, полюбив Кириллу Разумовского, вышла замуж за него. Разумовский был честный хохол, он в присутствии графа Воронцова и третьего лица разорвал и сжег документ, свидетельствующий о его браке с императрицей Елизаветой Петровной. Это мне граф Блудов рассказывал при Тютчеве и Кутузове.

Разумовский был оригинал. Проводил день у жены, а вечером часов в одиннадцать возвращался домой. Его лакей заснул, и когда проснулся, увидел, что шубу графа украли. Он боялся камердинера и сказал графу: „Не говорите ему про шубу“. Когда камердинер его спросил: „А где же шуба?“—„Про то Грицко знае“. Он спросил Грицко: „А где же шуба?“—„Про то граф знае“. Дело так и не объяснилось. Это мне рассказывал Николай Иванович Лорер. Он мне рассказывал также, что когда наши войска вступили в Париж, император отдал приказ, чтобы шли в полной парадной форме, и чтобы батареи, фургоны вошли прежде и обошли бульвары и лучшие улицы. Он шел в Avenue des Champs Elysées и видит толпу, подходит и с

удивлением видит, что хохлы преспокойно курят люльку, возы стоят возле вилл. „З виткиля вы?“—„З Златоноши, ваше благородие“.—„Да як же ви пришли сюда?“—„Сказали —возите возы за армией и пришли до Берлина. Это уж в Неметчине, тут сказали: „Идьте домой, а тут вплоть до местечка Парижа, вот и пришли. Да что волы, дивуются французы“. Покрытые дегтем, они французам казались, как будто не люди, а чучелы. Тут хохлы разошлись говорить с земляком и ему сказали: „А вы, ваше благородие, з виткиля?“—„З Грамоклее в Херсонской губернии“.—„Старуху Лореровочку мы знаем: возьми мыло и шествуй в Одессу. Вона нам хлеба и дынь, и гарбузов посылала, а горилочки, говорила, не маю“.

Напишите в Одессу княгине Марии Александровне Гагариной, дочери Александра Скарлатовича. У нее преинтересные мемуары графини Эделинг, сестры Александра Скарлатовича. Вы увидите, что происходило на Венском Конгрессе, какую роль играл граф Капо д'Истриа, как сложилась мысль о возрождении Греции, его действия в Париже и спасение Франции от раздробления. Эти мемуары пора напечатать вполне. Толстый обжора и неблагодарный старик Людовик XVIII так забылся, что всегда шел прежде нашего государя к официальным обедам. Пушкин спросил раз старого солдата, что он делал в Париже. „А мы, говорит, старого дизвитского*) посадили на престол. Ведь где беспорядок, всегда уж наш царь все приводит в порядок“. Это напоминает разговор дьякона с капитаном Мятлева. „Где царская фамилия?“ спрашивает дьякон у капитана. „В Константинополь едет царь“.—„Неужто турки взбунтовались?“—„Нет, нет, а только их пристращать“.

Возвращаюсь к Екатерине. Она женила очень рано в. к. Павла Петровича на принцессе Гессен-Дармштадской. Она была красавица и очень умна. В. к. ее страстно любил, но она, как мне говорил граф Александр Иванович Рибопьер, гулливого десятка, спаивала крепким опиумом мужа и бесчестила ложе с Андреем Кирилловичем Разумовским. Екатерина это узнала и послала Разумовского послом в Неаполь. Она не разродилась, в. к. очень удивился, что ее

*) От французского слова dix-huit (Людовик XVIII).

не похоронили в крепости, Екатерина тут сжалилась над ним и сказала, что врачи полагают, что родился урод, а потому ее нельзя похоронить в крепости. Ее тело было поставлено в имении графа Бугсгевдена „Schlabad“ и спит под сводами. Спустя год, привезли пятнадцатилетнюю девочку, принцессу Würtemberg. Ее портрет во весь рост находится в Эрмитаже. Личико умное и приятное и темно-голубые выразительные глаза, но ничто не обещало необыкновенной красоты. Здесь, у графа de Monbrison, находится ее портрет en miniature, писанный в Париже, вероятно, знаменитым Petitot. Она этот портрет подарила своей детской подруге, с которой осталась навсегда дружна и переписывалась, графине Оберкирх, которую великий князь называл „Цукербукер“.

Оберкирх была тетка Мальвера, а ему достался этот портрет. Это такая прелесть. Ее красота могла сравниться только с красотой ее друга, Марии Антуанетты. Когда великий князь женился, отношения его с матерью еще охладели. Она взяла двух великих князей и им велела жить в Гатчине. Они жили очень скромно, над ними смеялись. „Les gatchinines“ *) сделалось насмешкой. Екатерина великую княгиню называла „La fermière allemande“.**) Они не имели воли ни в чем. Когда старшей великой княжне исполнилось восемь лет, Екатерина написала рижскому генерал-губернатору графу Броуну: „Дорогой Броун, пришлите мне хорошую гувернантку для моих внучек“. Только что Броун получил эту записку, ему пришли сказать, что баронесса фон-Ливен желает его видеть. Вошла высокого роста, красивая дама, осанка ее была важная и твердая. Он ее посадил и спросил, что она желает?

„Во-первых, Exellenz ***), прикажите уплатить жиду, который меня привез из Херсонской губернии, где муж мой умер. Я продала все, что имела, и села в скверную фуру с тремя сыновьями и двумя дочерями. Все деньги я истратила, но так как я приехала просить вас как можно скорее доставить мне мою пенсию, то прошу вас оказать мне свою протекцию. Я хочу завести маленький пансион для

*) Гатчинцы.

**) Немецкая фермерша.

***) Ваше превосходительство.

воспитания моих дочерей, а сыновья будут учиться в гимназии. Я найму учителя русского языка, потому что мы русские подданные, а со временем найму и французского учителя, так как в России все говорят по-французски". С жидом расплатились, и Броун предложил баронессе жить у него до приискания квартиры. Он удивился твердости, необыкновенному уму и на третий день сообщил ей, что нашел для нее приличное место. Она вскочила и всплеснула руками, когда он ей сказал, что она будет гувернанткой великих княжен. „Боже мой, да я не могу. Я не говорю по-французски".—„Это и не нужно, у великих княжен будут учители. Дело идет о хорошем солидном нравственном воспитании, вот, что требуется от гувернантки". Баронессу и ее детей одели, нашли служанку, которую я еще знала, купили карету и повезли баронессу Ливен, рожденную Поссе (она была курляндская уроженка, из числа древних мещанских фамилий, которых не гнушались гордые бароны наших остзейских провинций). Она ехала на шестерке с чином генеральши и с запиской Броуна прямо в Царское Село. Екатерина была в Софии. После смерти Ланского она часто туда ездила, потому что он там похоронен. Екатерина была милостива, тотчас оценила приезжую, пригласила ее обедать и убедилась, что лучшего выбора нельзя было сделать. Сыновей баронессы определили в Кадетский корпус, тогда Пажеский корпус не был особым заведением. Ангальт из кадетов выбирал лучших в пажи. Они жили в особом доме по поступлении их в пажи. А дочерей пустили с баронессой в Гатчину. Она произвела самое приятное впечатление на великого князя и великую княгиню, сделалась доверенным лицом и другом и оказала им величайшие услуги. Она одна умела постоянно сглаживать спор между обоими дворами. Ее дочери оставались у великих княжен (эту историю мне рассказывал Александр Федорович Барятинский, он и теперь еще нашим консулом в Лондоне. От него я узнала очень интересные вещи. Он человек умный, образованный, не знаю зачем его не назначили давно уже посланником куда-нибудь).

Екатерина требовала, чтобы в табельные дни великий князь и великая княгиня присутствовали при выходах, и маленьких великих княжен учили делать реверанс. В

именины великой княжны Марии Павловны и ее матери был выход, и Марье Павловне, которой было семь лет, приказали подходить ко всем министрам. За ней шла генеральша Ливен. Бедняжка долго стояла перед графом Паниным и, наконец, сказала ему: „Любите ли вы розовую помаду?“—„Нет, mademoiselle, я люблю бергамотовую“. —„А у меня много розовой помады, и так как сегодня мои именины, то меня ею напомадили“.

Две старшие дочери великой княгини были необыкновенной красоты, стройные, как пальмы, и когда Александре Павловне исполнилось семнадцать лет, Екатерина вызвала наследника шведского престола в надежде, что он женится на ней. Все знают, что этот брак не состоялся, потому что принц, обещавший, что великой княгине будет церковь, вдруг отказался от своих слов. Когда Густав должен был бежать, в отомщение за обиду бабки и сестры император поддержал Бернадота. И с вступлением новой династии Швеция лишилась поддержки Франции и сделалась совершенно безопасна для России.

Но возвращаюсь к великому князю и великой княгине. Екатерина послала их путешествовать. Они ехали под именем Comte и Comtesse du Nord.*) [5] С ними были фрейлины Екатерина Ивановна Нелидова и Наталья Семеновна Борщова, воспитанницы Смольного монастыря. Не знаю имена кавалеров, их провожавших. В Вене их приняли со всевозможными аттенциями, и тут они просватали Александру Павловну за эрцгерцога палатина Венгерского с условием, что великая княжна сохранит свою религию. Построена была церковь, но говорят, что под тем или другим предлогом бедную великую княжну отдаляли, как можно чаще, от исполнения ее духовных обязанностей. Вскоре получили известие, что красавица в полном цвете лет скончалась. В Германии прошла молва, что какой-то венгерский граф, ее камергер, чтобы избавить юную несчастную жертву фанатизма, предложил ей ехать в Германию, где она и скончалась, но это чистая сказка. Воспитанная в самых строгих правилах, великая княгиня безропотно переносила страдания нравственные, пока ей позволяли физические силы.

*) Граф и графиня Северные.

Из Вены Comte и Comtesse du Nord поехали в Париж (года не помню), где имели большой успех. Великая княгиня пленяла красотой и грацией, великий князь своим остроумием и ласковым обхождением. Это пребывание было уже перед революцией. Везде прорывалось своеволие, печатали вредные книги, а что хуже—гравировали самые ужасные и нескромные предметы, между прочим, Ромм. [Слово не разобр.] Великий князь купил эти гравюры, запер их в сундук и собственной рукой написал: „Никто не должен открывать этого сундука". Этот сундук за печатью императора находился в Гатчине, и покойный государь решил его открыть. Он при мне сказал императрице: „У меня волосы дыбом встали на голове, когда я увидал, что это за гравюры". Не знаю, где этот сундук. Великая княгиня подружилась с Марией Антуанеттой и была с ней в постоянной переписке. Говорят, что великая княгиня Александра Иосифовна нашла тысячу писем несчастной и совершенно невинной королевы, и что их напечатают. Воспитанная в Вене, где думали только о веселии и жили беззаботно, она в Париже не соблюдала строгого этикета.

Она любила танцовать и танцовала кадрили с красавцем Dillon, а вальс со шведом, красавцем Ферзеном. Михаил Юрьевич Виельгорский мне рассказывал, что однажды после лишнего тура вальса, она, засмеявшись, взяла руку Ферзена и сказала: „Посмотрите, как бьется мое сердце". Людовик XVI, стоявший рядом, сказал ей: „Madame, вам и так бы поверили". Ее восторженностью воспользовался мерзавец кардинал де-Роган, история с „Ожерельем королевы" всем известна. В Париже была женщина, известная под именем Ла-Мотт. Она была похожа на королеву, и ей досталось это знаменитое ожерелье. Эта Ла-Мотт умерла в Одессе. Она очень дорожила какой-то шкатулкой. После ее смерти открыли шкатулку и нашли только ножницы. Как и почему она очутилась в Одессе, неизвестно.

Из Парижа путешественники приехали в Берлин, и там устроился брак великой княгини Елены Павловны с герцогом Павлом Мекленбург-Шверинским. И этот брак был столько же счастлив, сколько несчастлив брак венгерской палатины. Великий князь был в восторге от прусского короля,

и король ценил великого князя. Когда они вернулись, Екатерина приняла их очень хорошо и объявила, что пора выдать замуж великую княжну Марию Павловну. В 1804 году выписали герцога Саксен-Веймарского. Он был дурен, глуп и обжора, но добродетельная Мария Павловна его любила и была счастлива. Она нашла еще старика Гете и кружок людей умных и приятных. У нее было две дочери: принцесса Мария (старшая), которая вышла за принца Карла-Прусского, и Августа, жена ныне царствующего германского императора Вильгельма, и сын. В Петербурге проживали иностранные принцы, Леопольд Саксен-Кобургский, брат Анны Федоровны, жены великого князя Константина Павловича, принц Павел Вюртембергский и принц Ольденбургский. Они состояли в русской службе. Брат великой княгини Марии Федоровны был начальником путей сообщения. Он был человек замечательного ума и ученый. Великий князь Михаил Павлович его называл: „Mon oncle le grand pontife“, а в обществе его звали „Шишка“, потому что у него под правым глазом была большая шишка. Он жил скромно, одним жалованьем, и занимал несколько комнат в Шепелевском дворце.

В 1810 году получили неожиданное известие, которое взволновало весь двор. Наполеон просил руки великой княжны Екатерины Павловны. Рибопьер мне рассказывал, что утром за завтраком великая княжна с приближенными шутила и смеялась над принцем Ольденбургским, который не скрывал своих чувств (между нами будь сказано—у него был постоянный понос). Вечером у вдовствующей императрицы Марии Федоровны было большое собрание: не было ни Екатерины Павловны, ни принца Ольденбургского. Дверь отворилась, и дежурный камергер громко объявил: „Ее императорское величество с нареченным женихом принцем Ольденбургским“. [6] Наполеону написали, что его предложение пришло после помолвки. Но за это мы поплатились войной 1812 года. Наполеоны—парвеню. Они никогда не прощают тем, которые не смотрят на них, как на представителей великих и старинных династий“. Вышли записки Ремюза, каким мелочным подлецом оказывается великий полководец. Он был лишь великим полководцем и жонглером.

В 1796 году 12 июля родился великий князь Николай,[7] а за год перед этим великая княжна Анна Павловна. По вступлении на престол родился порфирородный великий князь Михаил, а после него великая княжна Ольга, которая жила только неделю. Державин написал стихи на ее смерть, сравнил ее с розовым лепестком.[8] Они напоминают стихи Малерба:

Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses
L'espace d'un matin *).

При царских детях были дамы, которых называли полковницами. Они давали доктору отчет о здоровье ребенка, заставляли его молиться и были неотлучны от него. Полковницей великого князя Николая была полковница Адлерберг и ее помощницей полковница Тауберт. Вот откуда та привязанность, которой пользовались и пользуются Адлерберги. С младенческих лет великий князь Николай привязался к Владимиру Федоровичу, и он вполне заслуживает доверие, которым очень доволен.

В записках генерала Рапп[9] вы найдете самое точное повествование о страшной ночи, когда совершилось ужасное преступление. Нет сомнения, что несчастный Павел был подвержен припадкам сумасшествия. Но кого же он сделал несчастным? Он ссылал в Москву, в дальние губернии. При нем не было рекрутского набора, нового налога, не было войны. Россия была покойна. [На полях] Пушкин мне рассказывал, что в шесть часов не было ни одной бутылки шампанского. Совершив такое гнусное дело, все ликовали.

Я раз говорила князю Дмитрию Александровичу Хилкову, что император Павел навел страх на всю Россию. „Скажите—на Петербург. Страх божий начало премудрости". После страшной распущенности царствования Екатерины нужна была строгая рука. Он разогнал толпу и оставил при себе Куракина, который вполне заслуживал его доверие. Павел был человек религиозный и нравственный. Павел получил столовый фарфоровый сервиз от прусского короля. Никогда не был так весел, как в этот вечер, одиннадцатого марта, шутил с Нарышкиным, разговаривали о Наполеоне и его войнах. Он сказал великое слово:

*) Роза, она прожила столько, сколько живут розы—одно утро.

„Мне кажется, что государи не имеют права проливать кровь своих подданных. Надо ввести „божьи суды“ старых времен и биться один на один в открытом поле“. Павел был рыцарем в полном смысле этого слова. Кстати или некстати в Петербург приехал из деревни старик Скарятин и был на бале у графа Фикельмона. Жуковский подошел к нему и начал расспрашивать все подробности убийства. „Как же вы покончили, наконец?“ Он просто отвечал,очень хладнокровно: „Я дал свой шарф, и его задушили“. Это тоже рассказывал мне Пушкин [10].

XIV. Жуковский.—Встреча со школьным учителем. [1]

„Пушкин-любитель непристойного“.—„К несчастью, я это знаю и никогда не мог себе объяснить эту антитезу перехода от непристойного к возвышенному, так же как я не понимаю, как вы и Жуковский можете говорить о грязных вещах. А вы еще смеетесь?“—„Еще бы, когда я вспоминаю историю Жан-Поля Рихтера, которую он рассказывал, говоря: „Ведь это историческое происшествие“. А вот этот рассказ. Великий герцог Кобург-Готский пригласил Жан-Поля провести у него несколько дней и написал ему собственноручное, очень милостивое письмо. После обильного обеда, не найдя никакой посуды и тщетно проискав ее во всех углах корридоров, в которых он мог бы облегчить себя от своей тяжести, он вынул письмо великого герцога, использовал его, выбросил за окно и преспокойно заснул. На другой день великий герцог пригласил его к утреннему завтраку на террасу, показывал ему цветники и статуи. „Самая красивая—Венера, которую я приобрел в Риме“, и дальше—„Вы будете в восхищении“.—Но, о, ужас! Подходят к Венере,—у нее на голове письмо герцога, и желтые потоки текут по лицу богини. Герцог приходит в ярость против своих слуг, но подпись: „Господину Жан-Полю Рихтеру“ успокаивает его. Вы представляете себе смущение бедного Жан-Поля. Читали ли вы его столь скучные рапсодии?“ [2]—„Я пробовал, но я никогда не мог понять его „Изола Белла“.—„Жуковский говорил мне, что дом Рихтера полон канареек, может быть, ему канарейки диктовали?“—„А вам, канареечка, кто

диктует?“—„Вы не знаете: это первый секретарь русского посольства в Париже и зовут его Николай Дмитриевич Киселев“.—„Ага, я его мало знаю и особенно удивляюсь, что он вам диктует. Происшествие с Жан-Полем имеет свои достоинства, потому что доказывает, какие комфорты в этой хваленой Германии“.

„Плетнев всегда ему говорил: „Знаем, знаем, вы мне рассказывали тысячу раз эту гадость“. Мадам Карамзина заставила его выйти из-за стола за этот анекдот. Так как он родился в сочельник (Sylvesterabend), то раз на новый год был обед в его честь. Аркадий, разумеется, присутствовал на этом банкете, Полетика, Вяземский и [слово не раз.] со своими сестрами, „кузиночки“, как звали сестер. Жуковского просто на просто выслали в гостиную и посылали ему туда кушанье, но пирожного и шампанского не дали. Этот большой младенец серьезно рассердился, прочитав наставление m-me Карамзиной, он уехал. Полетика тоже упрекал madame Карамзину. Обеды этого гостеприимного дома были очень просты. Когда сыновья выросли, Андрей раз сказал, что красное вино [слово не раз.], мать ему отвечала: „Этим вином довольствовался ваш отец, который у государя пил лучшие вина, но во всем себе отказывал, лишал себя всего для того, чтобы я имела на что купить полотна и сшить вам рубашки“. Она поступила так же, как моя бабушка, и не дала Карамзину пудинга, который он очень любил, и, кто знает, не упрекает ли она себя за то огорчение которое этим ему причинила. Но Андрей Николаевич как-то разбогател, выиграл в карты и принес этот сюрприз в Катеринин день. Софья Николаевна-от первой жены Карамзина, Протасовой. Вот откуда связь Жуковского с ними. У них Лука, еще протасовский крепостной, очень смешной. Он мне говорил, что после смерти жены Карамзин был так беден, что летом нанимал маленький домик в Марьиной роще. „Мы, говорит, Сонечку посадим на коврик, покормим ее кашкой; она у нас и прыгает, такая веселенькая. Мы писали тогда „Марфу Посадницу“, да „Лизу-рассадницу“, „Бедная Лиза“, помните „Остров Баргольм“? Теперь над этим смеются, но я нахожу, что и „Письма путешественника“ полны наивной и трогательной прелести, не правда ли?“—„Я совершенно согласен с вами, Языков и я читали их в Дерпте, так как

с ним была целая русская библиотека. Я, кажется, первый читал чудесные стихотворения Языкова. У него была „в душе душа“, как-то выразился Гоголь, и у вас „душа в душе“, оттого вы моя душенька“.—„Киселев, и у вас „душа в душе“. Вот почему я вас так люблю, даже более Гоголя и других, я вас иначе люблю“.

„За это можно падам до-ног*). Можно, милая Иосифовна?“

„Вы знаете, что до своей женитьбы, лет двадцать, может быть, Карамзин был до безумия влюблен в красивую вдову Обрезкову и писал ей страстные стихи, когда она вышла замуж за князя Степана Хилкова. Я видела ее уже пожилой. Высокая, полная, она величественно, как королева, прохаживалась по аллеям Царского. Я помню только несколько строчек:

Еще твой жаркий страстный поцелуй
Горел на моих устах,
Когда другому уже...

„Бедный Карамзин, я бы сошел с ума, если бы мои чудные парижские глаза сыграли со мной такую шутку. Скажите мне, писали ли вы когда нибудь стихи?“—„Никогда, разве только такие, как имп. Екатерина.

„Il fait le plus beau temps du monde
Pour se promener sur la terre et sur l'onde“ **).

„Это, конечно, по-моему самые лучшие стихи в мире“.

„Еще бы, это примиряет меня с Екатериной. Потом она велела сделать надпись на могиле своей собачки:

Ci-gît madame Anderson
Qui appartenait au docteur Rodgerson ***).

Но есть что-то величавое в этой простой надписи над воротами Софьина: „Орловым от беды избавлена Москва“ и еще: „Петру первому-Екатерина вторая“. В этой простоте есть что-то возвышенное. Это она украсила Царское чудной колоннадой Камерона—это совершенно античный мост. Ей мы обязаны духовой музыкой, множеством картин голландских мастеров, кажется, или Мальмберг, или Лорд

*) Упасть к ногам (польск.).

**) Погода очень хороша: можно гулять и по суше и по воде.

***) Здесь лежит мадам Андерсон, которая принадлежала доктору Роджерсону.

Смит Эленс уговорил ее купить галлерею Горас Вальполя. Не будь она императрицей, она, наверно, была бы автором романов, гораздо более значительных, чем романы Каролины Пихлер, Августа Лафонтена и Коцебу. Знаете ли вы всю эту бурду на розовой воде, настоящая немецкая кухня?"

„Нет, я счастливо избежал всего этого и [слово не разобр.] Bibliotek, которая вам нравилась в Васильевке. Я знал только Шиллера, Гете, Грильпарцера и, благодаря вам, буду знать Генриха Гейне. Не знаю, что выше: наша ли поэзия, или немецкая и английская? Наша также высока, но не так богата, и трагиков у нас совсем нет".—„Это правда, я думаю, что в целом мире нет подобного Шекспиру и Гете в „Фаусте" и других его трагедиях. Не надобно забыть Лессинга".

„Конечно, хотя я только видел, как Каратыгин кувыркается, когда Эмилия Галотти выпила яд".

„Но я видела раз в Висбадене, как давали „Эгмонта". Знаменитая Зибах играла роль Клерхен. Из Швальбаха мы ездили в Висбаден через великолепный ольховый лес. Вблизи от Швальбаха есть живописное местечко Adolphseck. Я встретила там школьного учителя, худого и изнеможенного, который рассказал мне свою печальную историю. Управляющий богатого герцога Нассауского давал ему триста фр. в год на квартиру, одежду и стол. Скотина-герцог, кроме великолепных погребов, полных огромными бочками, таких же огромных, как знаменитый „Heidelbergerfass"*), получал миллион от продажи сельтерской воды. Учитель же пил скверный кофий, а за обедом брандахлыст и кусок отвратительной колбасы, а перед сном стакан молока; он целый день курил, так как курение заглушает аппетит, что правда. Я ему подарила большой ящик табака, и так как к обеду нас было пятеро—с нами была madame Waud,—мы ее называли Каролиной Пихлер за ее сантиментальность,—бедный школьный учитель сказал мне: [1 строчка не разобр.] „В Висбадене дают „Эгмонта". Если бы у меня был билет, я бы отправился туда пешком". Я ему ответила: „У меня ложа, вы поедете со мной? В пять часов мы встретимся на еврейском кладбище". Мы подождали четверть часа, бедный учитель

*) Гейдельбергская винная бочка.

не появился, и мы покатили в Висбаден. Хорошим днем для бедного учителя было воскресенье, когда крестьяне хорошо едят, его приглашали вместе с пастухом, который пас бесплатно стадо овец. Вот тебе и справедливость и гуманность!" —„Как мне нравится, что ваше сердце всегда умеет найти того, кого надо утешить!"—„Это вовсе не моя собственная заслуга; ведь бог меня щедро одарил, я таровата, как Дмитрий Евсеевич, который посадил свое семейство на пищу св. Антония. Я не стану разоряться по принципу, а у нас в семье было, что мое—то твое, а что твое—то не мое".

„А это прекрасно, и прекрасно сказано, но как вам понравился Эгмонт?"—„Ужасно, ужасно. Зибах была особенно хороша, когда пела „Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein" *) с таким детским чувством и искренностью, что вся публика вздрогнула. Когда она говорила: „Иди, Бракенбург, домой, знаешь ли ты мою родину", балконы потряслись под тяжестью зрителей этих «побасенок», как говорил Гоголь. Потом она выходит, когда она уже приняла яд. Звуки Бетховенской музыки отпевали предсмертные часы Эгмонта. На сцене Эгмонт восклицает: „Schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins, von dir soll ich scheiden" **). Потом, вы помните, Клерхен, т.е. Зибах выходит гением свободы (это по желанию самого Гете), и мы среди оглушительных рукоплесканий сели в свою коляску. Ночь была лунная, дивная, в лесу ни шороха, кучер, полусонный, нам рассказывал, что серны вывелись во время революции 30 г.".—„Глупцы, что им было нужно? Надо жить и жить давать другим".—„И рассказал, что тут творилось.

Однако, Киселев! Эгмонт, луна, школьный учитель—все это не достаточные поводы для того, чтобы вы так близко ко мне подходили и обнимали меня".

„Тысячу раз прошу меня простить, madame, это чтение так глубоко меня растрогало, Мойер с своей женой очень хорошо читал „Эгмонта" и обнимал рукой Катеньку. Я вне себя от восхищения и я забылся, прошу тысячу раз,

---

*) „Радость и горе в живом упоеньи,
Думы и сердце в вечном волненьи"...

**) Прекрасная и радостная привычка бытия, и от тебя я должен отказаться.

простите меня! И, кстати, знаете ли вы эти стихи, кажется, Шиллера—„О Сильвии“, я их вспомню и вам прочту. Вы портрет этой Сильвии, которую он описывает“.—„А пока, хотите, чтобы я продолжала чтение?“

„Нет! так как я иду брать ванну, а затем приготовлю вашу“.

„Я кончила свои семь ванн, Гейденрейх приехала, и Агриппина Мансурова сказала, что будет за мной ухаживать“.

„Какое счастье, их уход для меня драгоценный залог благополучного исхода“.

Агриппина пришла вечером, и мы говорили о Берлине, принце Карле, герцоге Павле Мекленбургском, Антонини.

„Антонини здесь, у него ногти уже не желтые, он окончил свое лечение грязями в Франценсбаде“. Потом говорили о Пурталесах.

„Они в Швейцарии—Альберт и Гильом. Рибопьеры насилу согласились на свадьбу Аглаи с Зенденом. Они бедны, говорят, но счастливы, как я и Александр“.

„Богатство не приносит счастия, дорогая Агриппина“.

„Моя бедная Александрин, я знаю, что вы несчастливы“.

Она смотрела на Киселева, которого я ей представила. Она мне сказала, что Розочка Озерова поехала в Россию чтобы познакомиться с своим beau père *). Петр Иванович покинул двор великого князя Михаила, вследствие неудовольствий великой княгини. Государь назначил им Дмитрия Васильевича Васильчикова, которого вы знаете и madame Апраксину, как статс-даму. Гордость этой старушки, такой почтенной, укротила великую княгиню, а особенно слова государя, который сказал своей belle soeur **): „Ну, уж если Дмитрий Васильевич не понравится, выбирайте себе сами, как хотите. Мне надоели ваши вечные капризы и домашние дрязги; виноваты вы, а не брат Михаил“.

Уходя, Агриппина сказала Киселеву: „Я очень рада, что приехала, будьте покойны, я за ней буду хорошо ухаживать, ее муж не умеет ходить за больными; он слишком

---

*) Тесть.

**) Свояченица.

беспокойный". А потом она мне сказала „in petto *)" одну вещь: „Дорогая моя, он в вас больше влюблен, чем Каниц и Гильом Пурталес".

На другой день, ранее обыкновенного, он постучал у дверей моей спальни. „Что вам нужно Киселев?"—„Выйдите, ради бога, мне нужно вам сказать очень важную вещь".

„Сейчас я оканчиваю свой туалет", и вышла с распущенными волосами. „Боже, что за волосы! Но я могу вам сказать, что вы страшно неосторожны. Я остановился на мосту, как всегда, и видел, как вы умывались, занавес не была спущена; с своей стороны я не жалуюсь, так как я видел самое прекрасное на свете—девственную грудь".—„Без подробностей, пожалуйста, Киселев".

„Уверены ли вы, что никто другой не проходил? Вы знаете, могут сказать, что вы это сделали нарочно, чтобы завлечь меня, ведь утверждают, что я в вас влюблен. Умоляю вас, будьте осторожней. Но где же ваш муж?"—„Я не знаю, я не видела его сегодня утром. Я не думаю, чтобы кто-нибудь прошел сегодня утром. Может быть, старик Беверлей? Вероятно Лиза была неосмотрительна. Отныне я сама буду спускать шторы. Благодарствуйте".—„До свидания, скоро увидимся".

Я сгорала от стыда, стоя на пороге в белом пеньюаре. Лизе досталось, но так как вообще целомудрие не есть отличительная черта нашего народа, то Лиза спокойно ответила: „Экая беда!"

„Ты—мерзавка, ты жалуешься, что тебя Орест бьет, а я нахожу, что он тебя недовольно бил, ведь я знаю, что ты с Сашкой делаешь гадости, пошла вон и позови сюда Мисси".

„Ваша Миська будто лучше меня. Она всякое утро бежит невесть куда".—„Врешь, дура, Миська не такая свинья, как ты, она каждое утро ходит купаться с моего позволения. Пошла, и принеси ящик с бриллиантами и все, что я брала из сундука".

Когда Киселев пришел, он мне сказал: „Вот вам „Сильвия", я все припомнил и продиктую вам ее. Я это вспомнил

---

*) Наедине.

после того, как видел сегодня утром восхитительное зрелище. Почему вы краснеете, ведь вы же знаете, что я ваш самый верный друг? А ваш муж видит вас, когда вы делаете свой туалет?"—„Если он случайно войдет, он выходит, это самый приличный человек на свете; он иногда рассказывает вещи, которые бы он не должен был рассказывать при мне, вот и все".

„Я очень этому рад и за него и за [вас]. Я всегда был очень хорошего о нем мнения и, если в канцелярии у нас были товарищи, которые его превосходили по уму, за ним оставалось действительное превосходство по благородству чувств и loyauté! Мы с ним сошлись уже потому, что были два москвича, и отцы наши были знакомы: его отец и мой играли в картишки вместе".

„Э, да я тут вижу сокровище".—„Но что вы скажете о „Сильвии"?—„Это прелестно, и музыка Шуберта, я постараюсь достать ее и буду пищать этот романс".

XV. Баденское общество.[1]

Вошли Клеопатра и Аника; открыли ящик с бриллиантами. „Ахи" Аники смешны: „Моя дорогая, у вас нет бирюзы, у меня есть чудная, это моя последняя страсть. Этот свинья Икскуль хочет, чтобы я их продала во Франкфурте, потому что он все проиграл на рулетке; и зачем он не утонул, когда мы возвращались из Сицилии?"—„Как, вы чуть не утонули в Средиземном море?"—„Экипажи, багаж, все [сказуемое пропущено], к счастью, погиб только один бедный матрос, почему это не был свинья Икскуль, я не знаю. Я выбежала последняя в рубашке, без чулок, босая. Свинья Икскуль первый бросился в самую большую лодку, к счастью, он взял девочку, которую я усыновила в Сицилии. Матрос, который вытащил меня, говорил мне: „Торопитесь, синьора". Он нес мой ящик с драгоценностями, а у меня не было гроша, чтобы дать ему на чай. Мы так и приехали в Ливорно на пассажирской [слово не разобр.], пришел греческий консул, так как русские никогда не находят защиты в своих консульствах или посольствах. Я не понимаю, за что оплачивают этих негодяев".—„Баронесса, я протестую против этого обвинения".

„Аника, вы знаете, или скорей вы не знаете, что я тоже чуть не погибла между Неаполем и Чевита-Веккиа. Маленькие лодки танцовали уже в гавани в Неаполе, вы помните, что мальчишки плясали салтареллу, Перовский, приехавший нас проводить, сказал мне: „Берегитесь, я знаю Средиземное море, оно коварно“. Я ехала на маленьком пароходике, капитан Арно при выходе из порта [3 слова не разобраны). Экипажи привязывали все крепче и крепче, я с Оли сидела в дормезе. M-lle Overbeck была одна в другой карете. Софи и Надин с няней были в кабинах внизу. Графиня, Фриц Пурталес с Анненькой, своей приемной дочерью и с полковником Штейгером были в кабине на палубе. Наша ореховая скорлупа от носа до кормы вся погружалась в пенящиеся волны. Вода вливалась в наш экипаж. Оли, которая спала, от времени до времени просыпалась и говорила мне: „Мама, мне холодно“. К счастью, было шерстяное одеяло, но она все просила еще что-нибудь; я кончила тем, что сняла свою фланелевую юбку и завернула ее, как могла. Я была нездорова, вы понимаете, как. Страх вызвал у меня настоящее кровотечение; постоянно приходил лакей, который менял полоскательную чашку m-lle Overbeck и говорил: „Madame, опасность усиливается, если ветер не переменится, нас выбросит на берег, и тогда мы утонем“.—„А как спасают пассажиров?“—„Их привязывают к доске. Сначала веревкой привязывают к доске, начинают с детей. Вы можете судить, что я перечувствовала, представляя своих маленьких детей ввергнутыми в такую опасность, и не было никого, кто бы мог их успокоить. Мне казалось, что я уже слышу крики отчаяния этих несчастных существ. Я захотела пойти посмотреть, что делают Соня и Надя с няней. С трудом я добралась вниз с Штейгером и лакеем. Я застала Софи крепко заснувшей и обнявшей своими коротенькими ручонками полоскательную чашку, полную апельсин. Надя играла с маленькой девочкой англичанкой, которая дюжинами поглощала апельсины; мать ее была почти в обмороке, только говорила ей: „Дитя, будь осторожна“. Поднимаясь кверху, лакей мне сказал: „Будьте покойны, ветер, кажется, переменился, идет проливной дождь. Скажу вам, что я видел как погибли „Поллукс“, „Саламандра“ и третий пароход, имени которого я не могу припомнить. В виду Марселя я три дня

не мог ни пить, ни есть, ни спать, а все же жив". Действительно, мы вошли с молитвами в очень опасный порт в Чивита-Веккиа, в виду houle, это—„мертвая зыбь" по-русски".

Вошла Агриппина Мансурова с Зиной, которая пошла к детям.—„Киселев,—сказала Клеопатра,—куда вы исчезли? У madame Смирновой глаза полны слез".

„Клеопатра, вы мне надоедаете глупыми шутками, пойдите к вашему Hector"—сказал Киселев.

„Этот негодяй уехал повидаться со своей кузиной, madame [слово не разоб.]. Это сентиментальная блондинка, а не крот, как вы и я".

„Madame Смирнова не крот, это вы крот, когда у вас нет ваших [слово не разобрано]".—„А ваша Дельваль?"

Киселев покраснел до корня волос и сказал: „Умоляю вас, княгиня!"—„Ага, испугался, дрянь".—„Кто такое Дельваль?"—„Дрянная маленькая [слово не разобр.]—настоящий крот, благодаря ему, потому что у нее двое детей".

Киселев все время повторял:—„Помилосердствуйте, Клеопатра!"

„Ведь вот же я вам говорила, что у вас есть любовница, а вы не хотели признаться".

Тут уж он молчал и сказал: „Так возмутительно слышать, как вы говорите об этих неприличных вещах. Давайте лучше сделаем инвентарий ящика". Мы стали считать украшения. Бриллианты белые, серьги великолепные и ривьера звездой. Мы примерили ее на моих черных волосах. „Очень красиво,—сказал Киселев,—а также серьги, вы никогда их не носите, я не думал, что ваши уши проткнуты".

„Как же, мне их проткнули в детстве; сначала каждое утро их протыкают иглой, очень тонкой, и более грубой ниткой. Маменька немного замачивала ухо и затем дергала ниткой в ту и другую сторону. Когда нитка сгнила, герцог Ришелье подарил мне тоненькие золотые серьги: маленький змей, кусающий свой хвост, а потом их уже сменили сережки с сапфирчиком. Я сама себе представлялась королевой, и мне надевали с сапфирчиком только по воскресеньям. Новые башмаки и серьги—это счастье для детей".

„Вот они, наконец,—сказал Киселев,—они лежат особняком и написано: драгоценная память мамы и герцога.

Мадам Мансурова, не правда ли трогательна эта память сердца?"

„Но, дорогой мосье Киселев, когда сердце на месте, как же не быть памяти сердца!"—„Агриппина, когда приезжает ваш муж?"

„Он сюда не приедет, он на маневрах в Калише".—Затем мы опять заговорили о Берлине, о господине [слово не разобрано], о свадьбе старика Ancillon с m-me de [слово не разоб.], происходившей у графини Редерн, о Радзивиллах, о князьях [слово не разоб.], о Георгине Берг, она вышла замуж за Вилькинса. Агриппина увидела китайский костюм и сказала: „Вы были хороши во всех своих костюмах, но китайский костюм окончательно увлек сердце Гильома Пурталеса, когда он нес паланкин с Мюнстером, Каницом и толстым Редерном".

Киселев громко захохотал:

„Право до слез смеюсь, когда об этих немцах говорю".

Агриппина сочла своим долгом вступиться за пруссаков, которых я тоже очень люблю. Один только Киселев ненавидел все немецкое.

„Вам надо было ее видеть в китайском костюме. Чтобы доставить удовольствие доброму королю, два раза повторили шествие".—„Madame должна обещать мне при свидетелях, что она наденет его на костюмированный бал в Париже. Я не посещаю развратный и легкомысленный свет этого города, но я поеду на этот бал, чтобы любоваться вами".

После ухода Клеопатры и Аники, раскладывая мои вещи, Агриппина сказала мне: „Дорогая, я удивлена, что вы видаетесь с такими женщинами, как княгиня Трубецкая и особенно ее кузина".

„Дорогая madame Мансурова, Клеопатра прежде всего ваша кузина, она была очень несчастна, она боготворила своего мужа; у нее был прелестный сын, который умер пятнадцати лет. Вот вы совсем взволнованы".—„Ведь Зине пять лет, и ни я, ни Александр, мы не переживем этого несчастия". Киселев сказал: „Я думаю, что самое большое несчастье, которое может случиться—это смерть маленького существа, которое, умирая, не может ничего сказать, а только смотрит на вас, как бы прося у вас защиты".—„Есть у вас дети, monsieur Киселев?"

„Нет, madame, я не женат, хотя княгиня Трубецкая и обвиняет меня в том, что у меня есть любовница и двое детей. Но у меня нет ни любовницы, ни детей. Она хочет погубить меня в глазах света".—„Но какие разговоры для благовоспитанных людей! Мы в Берлине о таких вещах не говорили".

„Да, я представляю себе лицо фрау фон [слово не разобр.] и графини Ностиц. Кстати, что стало с Вальдкирхом?"—„Он в Мюнхене и в Берлин не возвращается".

„Как он нас забавлял своим приплюснутым носом. Кажется, он дрался на дуэли, потому что не хотел петь „Gaudeamus igitur". Киселев сказал: „Странно, до какой степени Дерптский университет—копия немецких университетов. Мы пели „Gaudeamus igitur". Агриппина сказала: „Поздравляю вас с тем, что вы учились в университете. Я вижу, какую это приносит пользу по тем молодым людям, которых нам поручают в Берлине; моя милая, я вам рекомендую маленького Попова, Киреевского и Джунковского". После этого она ушла.

„Киска, я очень люблю Агриппину, но я дышу только когда мы одни, мой ангел!

Но сегодня вечером бал, не забудьте притти в восемь часов, мы будем одни на короткое время.[2] Приходите в сюртуке".—„Я не могу иначе, так как не взял с собой своего фрака".—„Как жаль, что уехали Танке, их будет недоставать для полной картины. Возьмите Гоголя, я отметила вам бал у губернатора, а на балу мы будем давать прозвища".

Вечером дом осветили a giorno*) и начали являться [гости]. Первая, конечно, Леонидас с M-r Duval в белых панталонах, а жирная Леонидас в розовеньком платьице, очень коротком, а жирные ноги выплывали на очень узких bronze dorée**) башмаках. Клеопатра набеленная, нарумяненная и насурмленная в белом парижском платье с красным пером на голове. Аника в желтом креповом платье с голубым пером и вся обвешанная знаменитой бирюзой. Тамошние принцессы, а за ними Sama, Sarajaga, и красивый Гёлер, приехавшие из Карлсруэ, наш банкир Мейер без

*) Великолепно.

**) Бронзовые позолоченые.

супруги, но с своим комми Povarin, оба евреи. Madame Heidenreich, вся в желтом, покрытая желтыми веснушками. Принц Эмилий в сюртуке и белом галстуке, за ним вошел его брат или двоюродный брат принц Георгий Гессен-Дармштадтский с оливковым адъютантом, баденским франтом, которого фамилию не помню. Барон Энте—ужасный мерзавец, камергер баденской принцессы Стефани. Платонов стоял в углу. Графиня Нессельрод смотрела у окошка с Агриппиной Мансуровой и Мухановым: они помирали со смеху. Музыка была подлейшая. Последним явился Киселев, также в белом галстуке. Я сидела на диване, возле меня Zea Bermudez в [слово не разобр.] в муаровом платье, башмаки того же цвета, и ножищи ее не доходили до пола. У нее лицо было, как дуля, уже вверху, чем внизу, по обеим сторонам черные сосульки и марабу на голове. Zea в долгополом гороховом сюртуке. Le grand corrégidor, *) весь в черном с синей булавкой, стал возле Платонова, и оба разили меня из своей засады ядовитыми стрелами купидона. Киселев подошел и сказал: „Вы радуете меня тем, что сидите около Zea, но какое странное на вас платье". —„Оно было очень в моде в Берлине, это фру-фру."—„Это безобразно".—„Я хорошо причесана, по крайней мере, так как меня причесывал Дандорф, мой куафер из Берлина, и хорошо вымыта, так как мыл меня Томский, ласковый купальщик из Берлина, в Доротеенштрассе".

XVI. Обед у графини Нессельрод. [1]

Мы все обедали у графини Нессельрод, мой муж и я, Киселев, Клеопатра, Николай Муханов. Подсмеивались над бедным Кисом и его скромностью, над тем, что он никогда не говорит, где проводит свои утра и особенно вечера. Он был очень смущен, но мой муж вывел его из затруднительного положения, сказав: „По утрам он болтает с моей женой и по вечерам тоже. Я его просил об этом, как старого друга и товарища".—„Да, я с тобой пировал на детских сходках в Москве".—„Он ограждает мою жену от преследований болвана Платонова, который вздумал объясняться ей в любви".

*) Главный судья в Испании.

Муханов хотел, кажется, сказать: „Мужья все таковы“. Я сделала умоляющий жест. К счастью, графиня прервалаего, сказав: „Полюбуйтесь скрытностью моего мужа. У него с семнадцати лет был альбом знаменитых каррикатур St-Priest, и он только мне показал его, прося держать это в тайне: „Так-как,—сказал он,—некоторые из этих лиц еще живы“.—„Смирнов был знаком с St-Priest во Флоренции“.—„Расскажите, мой дорогой, о вашей дуэли с этим знаменитым бреттером, обладавшим столькими талантами“.—„Мне было двадцать лет, мы вместе посещали свет и были большими друзьями. Однажды мы держали пари о лошади, я пари выиграл, это задело самолюбие St-Priest до такой степени, что он пытался повредить мне в глазах одной очень красивой женщины, в которую я был до безумия влюблен. Моя жена видела ее портрет, правда, очень плохой. Ее звали Miss Forbs“.—„Мой муж всегда был неравнодушен к хорошеньким женщинам“. Киселев посмотрел на меня с благодарностью за то, что я не назвала мужа по имени. Я по-русски говорила „муж“ или „Николай Михайлович“. „Nicolas“ уже и тогда я называла только моего любимого. „Постепенно разгорячившись от спора, St-Priest размахнулся рукой, чтобы дать мне пощечину, я отвел его руку и сказал: „Вы можете мне ее подать, потому что мы будем драться. Я знаю, что вы знаменитый стрелок. Если вы меня убьете, мне будет жаль: в двадцать лет жизнью дорожат. Если же я вас убью, я застрелюсь, и бог меня простит, ибо что может быть ужаснéй, как убить человека, да еще друга.“ Вся Флоренция была в волнении. Burgeret, которые меня очень любили, и Демидовы прилагали все усилия к примирению. Я тотчас же пошел и все рассказал Сверчкову. Ужасаясь жестокой необходимости, он сказал мне, что дуэль неизбежна. Я никогда не забуду его доброты. Он заставил меня написать завещание и вместе с madame Сверчковой благословил меня со слезами. Я стоял на коленях. У каждого было два секунданта, стрелять должны были в пятнадцати шагах. Мы дрались в восемь часов утра. Были приготовлены две кареты и доктор. В моей карете сидели: monsieur Сверчков и наш настоятель Иринарх, а в карете St-Priest—католический священник и Альбини, гувернер Мишеля и Федора Голицыных. Мы выстрелили

одновременно, и, к счастью, дали промах, хотя целились. По требованию секундантов должен был быть только один выстрел. После этого мой начальник отправил меня в Петербург, снабдив меня письмом к вам и рекомендациями, которых я не заслуживал".

„Смирнов,—сказал Киселев,—как я рад, что ты не ударил лицом в грязь и готовился молитвой на такое страшное дело".—„Да еще бы, у меня ноги тряслись, и St-Priest признался, что у него ушла душа в пятки. Тогда-то я и познакомился с mademoiselle Rosseti. Никто в то время не знал ее происхождения. Говорили даже, что ее отец авантюрист французский или итальянский".—„Любезный муж, я читала ваше глупое письмо, кажется, к хорошенькой и злой Голицыной: „Мое имя прикроет неизвестность ее происхождения". Иосиф и Клементий, которые очень пекутся о всякой земной суете, рылись во всех исторических книгах и разыскали, что матерью кардинала Флери была Огюстина де Россет, что перед революцией в Гренобле был епископом граф Огюст де Россет, что фамилия Россет владела имениями в Дофине, а другая ветвь в Руссильоне, на границе с Швейцарией. Моего деда звали Иваном, это был человек большой набожности и широкого образования, у него была большая библиотека с гербом: три розы на серебряном поле щита. Я узнаю еще что-нибудь через Ивана Гагарина, если он еще в Мюнхене, он много раскапывает". Графиня Нессельрод сказала: „Но Иван Гагарин хочет сделаться иезуитом".—„Тем лучше, дорогая графиня, он еще лучше сумеет разыскать происхождение Россет. Говорят, что в Дофине есть развалины замка, который называется замком Россет".—„Дорогая моя, представьте себе, ведь я никогда не знала, что вы такого знатного происхождения, а государь, знал ли он это?"—„Да, но он думает, что я происхожу от валахов, где тоже есть Россети. В Херсоне есть могила одного графа Россети".[2]—„Расскажите мне, мой дорогой, маленький попугай! [сказала гр. Нессельрод]. Нужно вам сказать, Киселев что когда она [Смирнова] приезжает из дворца, она мне рассказывает все, что говорил государь, так как она знает, что я храню тайны, как могила". — „Да, сказал Киселев, madame Смирнова имеет талант рассказывать с мельчайшими подробностями, которые, однако, не вредят общим чертам

рассказа".—„Дорогая графиня, представьте себе, что маленький Кис заставляет меня болтать, никогда не говоря мне ни одного слова о себе, потому что он боится дойти до признания о своих любовницах".—„Любезный Киселев, это не мешает вам иметь хорошенькую любовницу француженку, очень кокетливую, они все такие!" — „О, madame знает, что у меня есть прекрасные глаза в Париже. Она также благоразумна и строга, как madame. Она несчастна, я ее утешаю, а madame Смирнова очень счастлива". — „Киселев, я вам скажу, как ее зовут. Клеопатра мне назвала ее".— „Я вас прошу, madame, прекратить этот разговор, графине совсем не нужно знать ее имя".

Было семь часов, мой муж ушел, когда графиня сказала: „Любезный Киселев, я знаю имя этой парижской особы, это она",—и она показала пальцем на меня. Я смутилась. Мы оба покраснели до корня волос и молчали. Наконец, я набралась храбрости и призналась графине, что питаю к нему нежную дружбу и уверена в его чувстве. „Мой дорогой друг, я уверена, что это остановится на границе любви. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы бояться огорчений от неисполнения вами своих обязанностей по отношению к Смирнову".

После этого мы вновь заговорили о графе Нессельрод. Я сказала графине, что ее муж не знает, как я его уважаю и к нему привязана. „Он любит весь свет, любит свою лошадь, любит музыку, птиц, цветы, хороший обед с добрыми друзьями. Он самый преданный слуга государя и России, он большой финансист, экономист, словом, это редкое соединение больших качеств. Ясность его души всегда заставляет меня вспоминать греческое стихотворение, называемое „Кузнечик". Я знала его наизусть, но для большей уверенности Киселев разыщет мне копию, которая должна у меня быть". Он [Киселев] вернулся бегом и запыхавшись. Графиня сказала ему: „Поберегите свое сердце, любезный, так начинаются болезни сердца".—„Я здоров, как бык, а будущее не в наших руках".—„Ну вот я, наконец, нашла перевод Гнедича, дорогая графиня, это русский писатель, который перевел тоже Илиаду. Это называется „Кузнечик", т. е. „Grillon".

„Кузнечик“ (из Анакреона)

О счастливец, о кузнечик,
На деревьях, на высоких
Каплею росы напьешься,
И, как царь, ты распеваешь.
Все твое, на что ни взглянешь,
Что в полях цветет широких,
Что в лесах растет зеленых.
Друг смиренный земледельцев,
Ты ничем их не обидишь;
Ты приятен человекам,
Лета сладостный предвестник;
Музам чистым ты любезен,
Ты любезен Аполлону:
Дар его—твой звонкий голос.
Ты и старости не знаешь,
О мудрец, всегда поющий,
Сын, жилец земли невинный,
Безболезненный, бескровный,
Ты почти богам подобен.

Киселев переводил ей некоторые фразы, так как она плохо говорит по-русски. Она просила его переписать ей эти стихи. „Мои племянницы и Нессельрод прочтут их, а вы для меня сделайте перевод. Мне так совестно, что я так плохо говорю на своем родном языке. Что вы хотите, в мое время была мода учиться всему по-французски. Моя кузина Гагарина, урожденная Бобринская, совсем не знает по-русски. Но, дорогая, мне время итти спать, и вам обоим тоже“.

Как всегда, он вел меня под руку, и я опиралась на него всей своей тяжестью. Ночь была темная, небо звездное, такая глубокая тишина, что мы слышали только звук своих шагов. Я прервала молчание, сказав: „Это почти одесская ночь: так хорошо. Вы, наверное, помните описание украинской ночи в „Полтаве“ Пушкина.“—„Да, конечно! Знаете дорогая, любимая, о чем я думал?“—„Вероятно о вещах, которые никогда не сбудутся, но мечты утешают и помогают“. —„Душенька, вы заметили, что графиня сказала: „И вам обоим тоже“. Я думаю, она знает, что я вас боготворю, и что у вас ко мне большая, большая дружба“.—„Большая, вы хотите сказать, слишком. Я бы очень хотела отнять ее. Но это невозможно“.

Он остановился и поцеловал мою руку. „Если бы вы знали, как я вам благодарен за эти слова; мне всегда недостает их. У меня жадность к счастью, к малейшему доказательству дружбы. Мое сердце как бы раскрылось, когда я вас увидел в первый раз, за прозаической работой шитья, столь поэтической в ваших маленьких ручках; и с тех пор это бедное сердце, наконец, наполнилось, так наполнилось, что переполнилось и вырывается в словах: простите меня“.— „А парижские очи, что они говорят?“ — „Это вы, вы одна парижские очи, я не смел вам говорить и пошел этим скользким путем, чтобы открыть вам свою любовь, признайтесь что вы догадались, что это вы?“ — „И да и нет, но вы в самом деле, милый плут. Сядем на эту скамейку, Николай, погода так хороша, что грех итти домой“. Чтобы я могла прислониться, он пропустил руку за мою спину. „Так хорошо, потому что спинка начинает побаливать. Мужья такие свиньи, они делают нам ребенка и думают, что этим все сказано. Мой поступает так же, как все другие“.—„Боже скоро полночь, и вот Смирнов возвращается“.

Подойдя к скамейке около нашего дома, он [Смирнов] сказал: „Что вы тут делаете? Уж сыро, а ты, братец, и не подумал принести жене мантилью. Ты простудишься, пойдем домой, прощай Киселев!“—„Прощайте, madame, и доброй ночи“. Разумеется он ему закричал: „Представь, я проиграл на красной шесть раз....“ Я легла в отчаянии, что не могла прочесть молитву св. Василия.

XVII. „Парижские очи“. Сперанский, Лермонтов. [1]

На другое утро, после ванны Киселев мне сказал: „С трудом я произнес несколько слов, которые запомнил из этой прекрасной молитвы. Я говорил себе: она, мой обожаемый ангел, произносила их за меня. Вы видели, как я ловко выдернул руку“.—„Да, у нас уже есть привычка к этому с парижскими очами. Как ее зовут, эту женщину, которую я ненавижу?“—„Вы ревнуете ее? Это делает меня счастливым. Вы узнаете ее имя весной до вашего отъезда из Бадена“.—„Я знаю ее имя, но ни за что не назову ее. Оно начинается с К и потом Д. Ага, вы краснеете, попался Киска. Мышка в когтях кошки-Машки“. — „Знаете

ли вы, что Михайла прочел молитву и примирился с вами. Он вас ненавидел и говорил: „Барин, голубчик, не ходите к Смирновой. От мужа, да липнет к вам.—Ну, теперь я вижу что она барыня хорошая и читает вам молитву". Надо дать ему „Городничего" *). Он читает по складам, но так как ему нечего делать, надо ему непременно дать что-нибудь почитать, надо приобщить этого старого слугу к нашей жизни".

С этого дня Михайла начал приходить беседовать со мной. Как у всех старых русских слуг, у него была с нами почтительная фамильярность. Только у русских слуг и еще у итальянских бывают такие отношения с господами. Во Франции они существовали до революции 1789 года, потому что madame Монэ говорила мне, что по воскресениям старая экономка обедала с господами, что она была фамильярна и почтительна. В Англии со слугами того и другого пола и с бедными гувернантками обращаются, как с неграми. Хорошо питаются, хорошо помещены, им больше ничего не нужно. С ним никогда не разговаривают, за редкими исключениями. Фельдмаршал Барятинский мне говорил, что он был в гостях у лорда Уестер, брата герцога Beaufort, и шутил со старым итальянцем, а Уестер упрекнул его, сказав, что в Англии со слугами никогда не разговаривают. „А вот —говорила мне m-me Монэ—я разговариваю со служанкой, как с другом. Она читает мне вслух, это мой лучший друг".

„Но вы никогда не были в Англии?"—„Нет, но я непременно поеду. Княгиня Ливен еще на-днях предложила мне дать письма к своим друзьям. Если эта глупая „красная" княгиня Голицына проникла всюду, то я отказываюсь под предлогом, что мой муж совсем не знает по-английски. А мне просто совестно, как он ест, вы понимаете, что и не обожая своего благоверного, можно все-таки краснеть за него. Кстати, Николай, я должна иногда называть его „Николаем". Он мне сделал замечание, что я его называю только муж, или Николай Михайлович. Вы согласны, не правда ли?"—„Конечно".—„Киса, какие гигантские шаги я делаю по пути лжи, лицемерия и фальши. Увы, увы, куда пошла честность честного человека, какой меня считал Жуковский".—„Да и моя-то с парижскими глазами. Послушайте,

*) „Ревизор" Гоголя.

совершенно серьезно; у меня есть черные очи в Париже, такие же прекрасные, как ваши, они даже красивей, хотя и меньше. Но это ни К, ни Д. Это молодая герцогиня из Faubourg Saint-Germain.—„По поводу этого bancal*) Долгоруков, каналья, но очень умный и остроумный сказал, что Париж имеет Faubourg Saint-Germain'a Женева Faubourg Saint-Cretin **). Все швейцарцы глупы и скучны. Теперь мы будем читать, и я не велю принимать никого за исключением княгини Ливен и графини Нессельрод. Приехала Изабелла Гагарина и сказала мне, что скоро приедет ваша belle soeur. Я предвкушаю большое удовольствие от разговора с ней о вас и о Павле".—„Что касается Голицыной, которая покрыла себя стыдом в Париже благодаря своей глупости и невежеству, то она на эту зиму не возвращается, и вы можете взять ее дом (21, Rue de Mont Blanc, chaussée d'Antin). Это в глубине двора, с маленьким садиком. Вы сможете сажать и поливать ваши цветы, вы в двух шагах от Rue Remparts, и я каждый раз там прохожу, идя в клуб".—„Ах Кисенька, какое счастье, я буду вас видеть каждый день, и мы будем друг другу сообщать все, что мы делаем. Вы будете также давать отчет о политике, я ненавижу газеты особенно Débats. Когда Полетика видел меня с этой газетой, он говорил: „Дорогая Александра Осиповна, не читайте эту великую болтовню".—„Он совершенно прав, Полетика. Я обязан от начала до конца читать эти глупости. Это моя специальная обязанность, а часто я должен итти в залу глупостей, чтобы дать верный отчет Медему, так как Пален говорит, что он не хочет ничего делать".—„Еще бы! в некотором роде и он, так сказать, „кровь проливал за отечество", как говорит капитан Копейкин у Гоголя, в „Мертвых Душах". Пален один из самых славных генералов. Говорят, что он был великолепен во время кавалерийской атаки, всегда невозмутимый. Одни глаза его горели. Заметили ли вы, как он нюхает табак: прежде чем открыть табакерку, он слегка ударяет по ней. Держу пари, что он так же делал на войне в разгаре кавалерийской атаки".—„Как вы это все подмечаете? Вы право удивительны!"—„Да ведь я же очень

*) Хромоногий.

**) Сенжерменское предместье в Париже (аристократическая часть города). В Женеве: предместье кретинов. Игра слов.

часто видела всех этих людей. На представлениях подходили к императрице по чинам. Первый Мириани-царевич бочком, за ним граф Мордвинов, потом генерал Дризен, премилое лицо; у него ногу оторвало до бедра. Потом шли члены Государственного Совета. Меня интересовал всегда граф Сперанский, потому что Плетнев передавал мне со слов штатс-секретаря Молчанова многие эпизоды жизни Сперанского, историю его ссылки сперва в Симбирск, где он встретил Аркадия Васильевича Столыпина. У него была единственная дочь Елизавета от англичанки, по фамилии кажется Stood. Он сам воспитывал свою Лизу после преждевременной смерти жены. Это его сблизило со всей английской колонией, пастором Luo, у которого были три красивые дочери, и с другими жителями Английской улицы и Галерной. Его переписка с Лизой самая нежная и постоянная. Он ее поручил гувернантке. Помните, мой милый друг, что перо самый верный друг для любящих сердец. Дайте мне руку, Киселев, поклянитесь, что вы будете мне всегда писать, хоть раз в месяц, пожалуй раз в три месяца, чтобы я знала, что вы живы и здоровы, я тогда буду знать, как молиться за вас".—„Можете ли вы сомневаться в моем сердце, писать вам будет лучшая радость в свете".—„Тогда вам нужно будет откинуть русскую лень.

Сперанский—сын священникав Нижегородской губернии, Арзамасского уезда, следовательно, крепкого здоровья, как все дети нашего духовенства, потому что у них брак соблюдается во всей чистоте. Он был сложен, как статуя греческого резца, был неподвижен, лоб его великолепный, глаза светло-голубые, как у голубоокой Афины, богини мудрости. Он и есть мудрец, но христианский мудрец".—„Как вы описали Сперанского, это рука мастера! Ваш школьник Николенька узнает мало-по-малу всю жизнь в России и даже пользуется вашими историческими сведениями. Ведь в университете выбирают один или два курса. Тут исчерпывают науку до дна. То, что училось в гимназии, забывается, но, конечно, после ученики опять приобретают утраченное. Но по выходе из университета, канцелярия и пустая петербургская жизнь и еще пустейшая жизнь в Париже совершенно меня обуяли ленью и лишили интереса ко всему".—„Прочтите: „Abfall der Niederlanden von der

spanischen Regierung“ *), кажется, Шиллера. Тут вы многое узнаете. Я ее читала в Царском Селе с профессором немецкого языка. Он вздумал в меня влюбиться, притом как-то странно говорил в нос и плевал и харкал. Я его отослала, а на другой год Алеша Коновницын мне сказал, что он так изуродован, что должен носить маску, но продолжал давать уроки. Представьте, что у него есть дети, но они все здоровы“.—„Выпишу из Франкфурта „Abfall der Niederlanden“ и пущу такую пыль в глаза, удивлю Медема и Гревилля. Они станут прыгать, как козлы“.—„И понесешь, батенька, такую ахинею, что хоть святых вон выноси! Арнольди, когда мы спрашивали отчет о наших деньгах, которые он украл, всегда говорил: „Что ты порешь ахинею“. Раз он Осе нагрубил и замахнулся на него. Ося схватил стул и сказал ему: „Тише, тише, генерал, за такую обиду дерутся на дуэли, но гвардейский офицер не дерется с безвестным генералом. Мы тебя упечем под суд. Сашеньке это легко, сам великий князь ей предложил тебя отдать под суд. Но она отвечала, что это невозможно, чтобы мы отдали под суд мужа нашей несчастной матери. Мы знаем все твои гадости, как девок стригли из-за твоего мерзкого волокитства. Ты обобрал нас и своих детей для твоей Соньки, которую прижил с своей любовницей Софьей Карловной. Ты хвастал Леве, что ты оглоблей убил станционного смотрителя. Мы все, братья, согласились более тебя никогда не видеть, Смирнов по доброте своей принимает тебя, а Сашеньке это горькая редька. Мы тебя не отдадим [под суд], а Воронцов уже подал бумагу. Ты взял из Херсонского суда сто пятьдесят тысяч, а их было триста тысяч. Ты свинья, скотина и изверг“. Он прибежал ко мне бледный после этого милого разговора и сказал мне: „Я думал, что лопну от злости. Жалею, что не хватил его в голову стулом за пинки, которые он давал Карленьке“.

„У меня волосы дыбом стоят, и я весь в поту от этого рассказа. Посмотрите“. Я провела рукой по его лицу. Он дрожал, и лицо было влажное. „И вы все это терпели, и ваши бедные братья тоже!“—„Но мы так ко всему этому привыкли, что только смеялись. У Ольги в Царском был

*) «Отпадение Нидерландов от испанской короны».

портрет этой негодяйки, а Клементий говорил: „Не знаю почему вы насмехаетесь над этим портретом. Она такая, важная, точно lady Blessington“.—„Но вернемся, дорогое дитя, к Сперанскому“.

Его дочь вышла замуж за сенатора Фролова-Багреева, племянника Кочубея, Виктора Павловича, потому что есть еще сенаторы Аркадий Иванович и двое других, совсем настоящие хохлы, только и знаются с хохлами, отличные и умные люди и, когда шло дело об акцизе на соль, они так сильно говорили, что чуть не лишились сенаторства“.—„Какие же теперь хохлы в Петербурге?“—„Братья Туманские, Кушелев-Безбородко, Макаровы, Григорий Галаган, граф Гудович, Василий Туманский, очень милый поэт. Он написал стихи на птичку, лучше Пушкинских:

Я растворил окошко
Воздушной пленницы моей,
Она запела улетая
В синеве небес
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.[2]

„Как это прелестно! Это как бы сердце, которое никогда не любило, которое вырывается из своей клетки, чтобы молиться и повторять: люблю, люблю, буду всегда любить и еще более в вечности. Как я вас люблю и буду любить до последнего своего вздоха и еще более у подножья престола всевышнего. Не правда ли, мой добрый и прекрасный ангел?“—„Конечно, мой прекрасный и добрый ангел, моя привязанность будет вечной, мне даже нравится мысль, что она изменит свой характер и что на склоне моих лет она вновь разгорится в скорбном экстазе“.—„Будьте тысячу раз благословенны, но я не хочу, чтобы вы умерли без меня. Мы умрем в одну и ту же минуту с самым чистым братским поцелуем, и, как Франческа и Паоло, вознесемся к небу“.[3] —„Да, да, мой дорогой Николай! Так мы бы хотели умереть, но у меня ужасное предчувствие, что я вас переживу, по крайней мере на десять лет, и что ваше сердце теперь такое правдивое, такое нежное будет принадлежать другой, вероятно более красивой, с душой более достойной, и что у нее волосы будут золотые, как колосья“.

„Никогда, никогда, клянусь вам. Предположим, что у нее будут волосы золотые, как колосья, ибо брюнеты большей частью любят блондинок и наоборот. Я могу жениться на блондинке, но я всегда буду любить брюнетку, которую зовут восхитительной madame Смирновой. Когда я поеду в Петербург после нашего отъезда из Бадена, я закажу себе образ св. царицы Александры с Георгием победоносцем и буду молиться у этого образа за вас, мою возлюбленную Александру".

„Кис, по поводу молитвы. Я должна прочитать одну молитву Лермонтова. Он ухаживал за вдовой Щербатова, урожденной Лутковской. [4] Она доброе существо, но глупая, некультурная и не очень красивая. Она очень любила свою сестру Поликсену, которая была замужем за адъютантом великого князя Михаила. Она развелась с ним, потому что Грессер согрешил, женившись: он не должен был жениться. Поликсена вышла замуж за пруссака и поехала с своим мужем в Бреславль. Мария чувствовала себя очень несчастной у Серафимы Ивановны, которая ненавидела Лермонтова и хотела непременно, чтобы на ней женился Иван Сергеевич [Мальцев]. Этот же (последний) смотрел на нее только с точки зрения денег, так как она должна была получить наследство после своего дяди Попова".

„Но продолжайте о стихах Лермонтова".

„Вот стихи Лермонтова. Машенька велела ему молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал ей эти стихи:

В минуту жизни трудную
Стеснится ли в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов святых
И дышит непонятная
Святая прелесть в них.
С души, как бремя, скатится
И так душе легко, легко. [5]

Музыка бедного Устинова".

„Это восхитительно, это божественно, дорогой ангел! Перепишите ее для меня, я буду ее повторять, потому что у меня тоска, когда я думаю о ваших родах, или когда вы

менее любезны со мной".—„Я вам их перепишу, а можете ли вы себе представить, что Лермонтов написал той же самой Марии отвратительные стихи:

Приятная княгиня,
Страшусь я ваших уз:
У вас лицо как дыня
А . . . . . как арбуз.

„Какая гадость! Надеюсь, что княгиня не знала их?"—„Наоборот, весь город повторял их".

„Вы говорили, что Грессер не мог жениться, но почему же?"

„Вы можете это знать лучше меня, не могу же я ставить точки на „и". Наша церковь признает развод только в этом единственном случае, или же в случае слишком скандальной жизни, и тогда дети отходят или к матери, или к отцу; так и было с детьми графини Кушелевой-Безбородко. Она унаследовала от отца страсть к вину; Безбородко был известен своими дурным нравами. Она прозябает где-то около Смольного. В другом случае развели m-lle Киндякову с Лобановым, дядей наших Кюба. Его сестра madame Полторацкая заметила, что она бледнеет и худеет со дня на день, она стала ее расспрашивать и узнала подробности. Этот евнух подвергал ее ужасным пыткам с сальными свечами. Свинья-отец не согласился на Александра Пашкова, которого она любила, потому что захотел титула для дочери. Он затеял процесс. Три священника, три светских свидетеля и отец. Господина раздели, и кто-то сказал: „Что я вижу!" а другой сказал: „А я так ничего не вижу". Александр Пашков сейчас же на ней женился. Я ее хорошо знаю, это кроткое и доброе существо, но болезненная. У нее двое детей, сын и дочь, которую она воспитывает без гувернантки. Сына воспитывает Wurflein, гувернер Дурново. Достаточно вам точек на „и"?"

„Да! Но неужели не дают развода при несходстве характеров?"

„Никогда, только в случаях безнравственности; император Николай велел развести mademoiselle Дудину с мужем, имени его я не помню. Что касается несходства характеров—„терпи казак, атаманом будешь".

„Значит, вы могли бы развестись с своим мужем, если бы вы могли доказать, что он вам изменяет и не подходит по характеру“.

„Конечно, но я никогда этого не сделаю, он очень добрый, очень великодушен, а что касается измен“...

XVIII. Флирт с Киселевым. [1]

Часто, возвращаясь домой, я заставала княгиню Ливен и Киселева в детской на полу. Они играли с детьми и всякий день приносили игрушки. Раз княгиня принесла им фонтанчик, и их приводило в восторг, когда дети говорили: „Киселев, вода бежит“. Он няньчил Адиночку, а княгиня Оли. Графиня Нессельрод тоже их баловала и перед отъездом Киселева просила его прислать ей красивый чайный сервиз хорошего севрского фарфора, поднос и все, что следует. Он выбрал белый с позолотой и незабудками. У них уже был крошечный самовар, и они очень серьезно приглашали княгиню Ливен пить чай, купили у Гауфа сухарей, расставили чашки на полу, и мы все сели на пол, я одна на стуле. „Я люблю ту серьезность, с которой дети все делают“.—„Да и особенно Адини, будто королева, восседающая на пиру“.

Кто бы мог подумать, что княгиня Ливен, бывшая посланница, сухая, бездушная княгиня, так могла любить своих и чужих детей? На улице, встречая девченок, она им покупала лакомства и игрушки. „Хорошенькая шляпа“ сделала карьеру, разбогатела и приобрела вывеску. Что касается графини Нессельрод, она была полна души и сердца. Ее никто не понимал; увидят в моих записках, какое сокровище была эта, повидимому, grande dame. Как она любила Киселева и говорила ему всегда при мне: „Киселев, вы изо всей канцелярии любимое дитя Нессельрода и мое, Смирнов только мое, так как Нессельрод не считает его таким способным“.—„Граф не прав, Смирнов нисколько не менее меня способен, он в совершенстве говорит по-французски“. У графини Нессельрод был веселый, детский смех—лучший знак доброго сердца и высокой души. Княгиня Ливен только улыбалась. Она в Петербурге потеряла двух сыновей—одного четырнадцати лет, другого

на двенадцатом году. Они были не от мужа, а от единственного ее любовника, герцога Сутерланд. Ему было двадцать пять лет, а ей было тридцать один.

После своего завтрака он пришел ко мне. Я продолжала чтение, лежа на диване. „Но, Киса, я должна приподняться, дайте мне руку! Нет, лучше пропустите руку... Так! благодарю вас!“ Он вспыхнул и строго посмотрел на меня.

„Боже, как вы любите играть с огнем“.—„Глупости! Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда он приходил сидеть со мной с Шамфором, Риваролем или Вольтером. У меня тогда была убийственная тоска после родов“.—„Как? Вы запятнали свое воображение Вольтером?“—„Я только раз читала Кандида, но не говорила, как доктор Панглос, что „все к лучшему в этом лучшем из миров“. Вольтер для меня просто скучен“.—„Вот это хорошо, я очень рад, что вы так правильно судите об этом „кощунственном шуте“, как называет его Жозеф де-Местр“.—„Когда вы успеваете читать в Париже?“

„Мне нечего делать, кроме двух часов работы в день. В три я иду гулять, захожу в клуб на час времени, возвращаюсь домой в пять часов. До обеда я читаю, в одиннадцать ложусь спать“.—„Киселев, признайтесь, что у вас есть любовница, у которой вы проводите свои вечера?“—„Как вам не стыдно говорить с мужчиной о таких вещах. Я знаю, что вы говорили с Фифи о его любовнице, и что он вам рассказал подробности, слушая которые вы должны были бы краснеть. Ему досталось от меня за это“.—Но в Петербурге все знают, кто кого содержит. И никто такими пустяками не стесняется. Вы разыгрываете святого. Я уверена, что вы содержите гризетку (он покраснел) или актрису (он вспыхнул). Ага, это актриса! Вы мне ее покажете в Париже“.—„Madame! Прекратите этот разговор, недостойный благовоспитанного человека. Я уйду, если это будет продолжаться, и больше никогда не вернусь“.

„Слушайте же, я вам дам когда-нибудь дневник моей матери, который еще у Арнольди. Он озаглавлен „Поход Надежды Ивановны Арнольди в 1818 г.“. Она подробно описывает весь поход. Я помню только в общих чертах события этого похода Александра Великого в Бактрию“.

„Я восхищаюсь, как это вы так сразу вспоминаете первые уроки истории и как забавно применяете это к своему [слово пропущено]“.

„Знаете ли Кис, что я записываю каждый вечер нашу болтовню, и я буду делать с вами, как я это делала с [оторвано]. Я вам буду по вечерам давать свои записки“.

„Умоляю вас, вы делаете меня таким счастливым [оторвано] ночью, во время бессоницы“.

„Нисколько, во первых никогда не нужно [оторвано] это так же вредно для глаз, как [оторвано]. Если кровь вас волнует, примите аконит или пульсатиллу шестого деления, три или четыре капли. Если это чистая бессонница без причин, тогда коерса, но в таком случае нужно отказаться от кофия. Если бессонница вызвана волнениями, о которых не говорят, то белладону, но ее никогда—без совета врача. Это очень сильное средство. Слышите, умоляю вас, никогда не принимайте ее без доктора“.

„Благодарю, доктор медицины, богословия и психологии, но прежде всего доктор добра, изящества, целомудрия и дружбы. Позвольте мне поцеловать ножку моего боготворимого доктора. Позволяете?“

XIX. Баденская идиллия.[1]

Мы писали, сидя очень близко друг от друга. Его щека касалась моей. Я вдыхала его чистое и сладостное дыхание. Среди этих шалостей мы оба были красные, смущенные и, чтобы разогнать наше смущение, я ему сказала: „Киселев, как от вас пахнет луком, который нам подавали с картофелем“.—„Madame, вы безжалостны. Почему вы всегда обливаете меня ледяной водой? Я не в Грефенберге. Повидимому, Вяземский писал вам больше стихов, чем другие?“

„Да, это великий мастер английского флёрта. Флёрт значит кокетство или, лучше сказать, это значит: речи о любви, а мы сделали из этого слова глагол „флертим“. —„А вы флертуете со мной?“

„Я боюсь, что ничего другого я и не делаю“.—„Я и за это благодарен до нельзя“.

„Вяземский находил мой голос очень увлекательным и прислал мне в Павловск стихи:

И голос ее
Слаще Торкватовых октав

больше ничего не помню, и потом другие, которые так начинаются:

Не для меня, так для кого же
И платье красное при черной бахроме.

Вот история этого платья. Императрица подарила мне с барского плеча мериносовое платье, самое тончайшее, цвета saumon, с атласной отделкой. Так как всегда нужно было иметь тридцать шесть тысяч платьев, то Марья Савельевна постоянно придумывала что-нибудь новое. Она дала перекрасить платье из saumon в ярко-красное и отделала корсаж черной бахрамой. Она окончила свое произведение за минуту перед тем, как я спустилась вниз, чтобы ожидать императрицу. Я была в шубе, и она не видела моего туалета. Для гулянья при дворе, так как был траур, мне сделали манто из шерстяной материи, флером подбитой. Увидев это, ее величество сказала мне: „Пойдите к Клюгель и скажите ей, чтобы вам и Беленькой сделали приличные шубы“. Клюгель, которая очень любила меня, а также и Александрину, соорудила нам светло-лиловые шубы с красивыми горностаевыми воротниками и такими же капюшонами. Лисий мех она велела положить на шелковую флорентиновую подкладку, так как рыжая лиса— гадость, которую носят мелкие торговки из Гостиного двора. Таким образом в экипаже было очень красиво. Императрица была в шубе из чернобурой лисицы, покрытой белым атласом и отделанной белым горностаем, а фрейлины в светло-лиловом. Зрелище было грандиозное, когда мы катались по Невскому, и вся офицерия останавливалась сделать фронт. Она кланялась с разбором, а мы за ней сидели так, что наши поклонники нас не видели. Когда я явилась в царской avant-loge, сделалась в публике „вастиквас“.—„Что это такое „вастиквас?“—„Подождите, дурачек, у вас нет терпения на серебряный грош! И царь пришел в „вастиквас“. Так как фрейлинский стул был ниже царских кресел, то государь приказал дать мне высокое кресло, но мои ножки болтались, и он приказал сделать

табуретку, прежде я лежала подбородком на подушке ложи, точно как будто в ванне. Вяземский написал эти стихи, я их дала Катрин Мещерской, и они затерялись".—„Вяземский, вероятно, не очень был польщен этой небрежностью?"

„Какое это имело для меня значение? Я пренебрегала еще многими стихами. Был некий Фомин, который писал каждый год стихотворение по случаю новогоднего торжества. Он приносил мне эти стихи, говоря: „Вам, сударыня, первой". Я ему давала тридцать пять рублей; он обходил город, и это давало ему возможность существовать. „Несча: стный! Голь на выдумки хитра!" Вяземский говорил „Одного не достает, чтобы князь Шаликов вам написал дифирамбу".—„Бедный князь Шаликов! Я не знаю ни от кого, ни почему ему достался этот титул. Он был так беден и так небрежно одет, что ходил играть в дурачки с будочником, столько же для развлечения, сколько для того, чтобы погреться".—„Я знаю будочника Синего мосту, он мне стихов не пишет, но разговор его самый приятный. Будочники все знают".

„Румянцев давал балы каждое воскресенье, отвратительная Ярцева всегда там бывала. Она повалилась на пол прямо на спину, ее кавалер к счастью рядом, она притворилась бездыханной, никто не поверил ее обмороку, никто ей не помог, мужчины ее подняли, а я громче других кричала: „Притворщица!" Эта негодница поссорила меня со Стефани, она уверила ее, что этот дрянной Лагрене за ней ухаживал, и что я распространяю слух, будто Стефани неверна [мужу]. Бедная Стефани этому поверила, она уехала из Петербурга, не простившись со мной. Все это делалось Ярцевой, дочерью конюха, из страха, как бы этот дурак Суворов не влюбился в меня. Я сказала все императрице, которой, наконец, открылись глаза. Она нас созвала, горько упрекала нас, и это в присутствии Апраксина. Я сказала: „Теперь, madame, вы верите, наконец, тому, что я вам говорила об этой скверной нашей товарке, которую мы все ненавидим. Вот и на нашей улице праздник".

„Как прекрасно, что императрица входит так во все подробности вашей жизни".

„Еще бы она не входила во все подробности нашей жизни, нас, детей, которые ничего не знали о мирских

делах. После Эрмитажа у нее всегда бывал ужин. Как-то мы должны были танцовать у нее и в. к. Михаил тоже. Жуковский никогда не бывал на этих вечерах. Однажды он наивно спросил меня: „Как вы думаете, должен ли я обидеться или нет, потому что Юрьевича всегда зовут?“—„Конечно нет, вы не сумеете сердиться и вам гораздо веселее в Царском, у меня, с Пушкиным“.—„Да, милая, я очень рад, что меня не зовут“.

„В этот вечер в Эрмитаже случилось происшествие. Внезапно умер граф Морков около государя. Старик Корсаков, его современник, упал в обморок, из страха отменили представление, за которым в этот вечер должен был следовать ужин в Эрмитаже. Вечер должен был быть длинный. Я помню, что на мне было белое платье, отделанное розовыми лентами и перьями и тоже розовый боа“.—„Такой этакий розовый бутончик!“—„Именно, но вас туда не пускали. Кроме шуток, на этих спектаклях было только самое отборное общество, только министры, несколько сенаторов и придворные чины. Катрин, которая еще не была замужем, и Софи [Карамзины] всегда присутствовали. Софи сказала мне: „Милая Сашенька, я хочу провести вечер у вас с Жуковским“.—„Софи, я очень рада, потому что на этих вечерах так скучно, что можно проглотить язык“. Великий князь подошел к нам, и я ему сказала: „Ваше высочество, приходите ко мне чай пить, на вечерах такая скука, что мочи нет“.—„Как же это сделать? Императрица меня звала“.—„А вот как... Мы ее проводим до Арабской, а оттуда по Салтыковской лестнице проберемся в наш корридор, а вы выйдете“. Мы провели время в беседах очень весело. Марья Савельевна подала нам чай, смеялись над Жуковским и великим князем, обсуждали политику и ровно в двенадцать разошлись.

На другой день я была дежурная. В экипаже императрица молчала и имела недовольный вид. Я ей сказала: „Ваше величество больны или дурно настроены?“—„Это вы приводите меня в дурное настроение. Где вы провели вечер с Михаилом, Жуковским и Софи Карамзиной?“—„Но как ваше величество узнали это?“—„Через журнал швейцара“. „Правда, я забыла, что швейцар все записывает“. [2]

„Но ты [говоришь], что во дворце ты смела принимать только в. к. Михаила Павловича и Жуковского?“

„И тетушку Лорер. К ней приходил Мальцев. Она очень желала этого брака, потому что он был богат, и говорила мне: „Он будет помогать твоим братьям“. Я сказала ей: „Евгений Штерич сказал мне, что он скуп, и у него такие масляные глаза, такие противные. Впрочем, он уезжает с Грибоедовым к персам“.—„Знаешь ли ты, что Грибоедов меня очень любил и просил меня у Нессельрод, но граф дал ему Мальцева и сказал: „Я берегу своего маленького Киселева для большого посольства, для Парижа. Он в совершенстве владеет французским языком, у него есть тонкость, одним словом, находчивость, все те таланты, которые сделают из него со временем выдающегося дипломата“. Я бросилась к нему на шею и сказала ему: „Мой ангел, ты мог быть убит“.—„Неизбежно! Я бы не прятался так подло, как Мальцев, я бы дал себя изрубить, как Грибоедов, во-первых, потому, что я его любил и еще потому, что это значило умереть на посту, как часовой. Но возвращаясь к моей несчастной звезде, которая не допустила, чтобы я вас встретил, вы, моя прекрасная и добрая звезда, как бы ты перенесла бедность?“.

„Мой дорогой друг, только бедность и одиночество сердца делают нас нищими. Во-первых, я бы не была так бедна. Фрейлинам дают двенадцать тысяч фр., я бы истратила на приданое и свои тряпки шесть тысяч фр., а остальное на то, чтобы обставить нашу маленькую квартирку. Я обошлась бы без горничной, я могу сама себе услужить, и я бы руководила кухаркой при помощи поваренной книги: я бы тебя угостила хорошим супом. Что касается вина, которое вы пьете, вы бы получили одну бутылку лафита на три дня. Я же ничего не пью, кроме чистой воды. Возвращаясь из канцелярии, вы бы нашли наш маленький рай хорошо проветренным, цветы на столе и три скромных блюда чисто приготовленных и поданных как раз в пору. Я бы не курила ужасных пахитосок, которые вы ненавидите—одним расходом меньше. Я расчитала, что трачу на пахитоски двести фр. в год, все это украдено у бедных. Карета только на рождество и на пасху в том случае, если бы я была беременна. Самым большим расходом были бы беременности и детское приданое, я бы его сшила, как и сделала для своих близнецов. Я бы тоже имела

близнецов?“ — „Объяснил ли тебе Галль, почему родятся близнецы?“

„Да, но это объяснение не для ваших ушей. Итак, ни я не была бы так бедна, ни ты тоже. Государь придумал же место для Каменского, когда он женился на Наташе Бороздиной. У них было двадцать тысяч фр. в год, и они очень хорошо жили в Лондоне, но мы бы избегали больших столиц“.

„А моя карьера? Я бы радовался тому, как тебя фетируют и тому, что ты наконец стала бы посланницей“.

„Киса, что такое все это суетное ничтожество, по сравнению с удовлетворением сердца, ума и вкусов. Не отказываясь от благодеяний государя и императрицы, мы бы поехали в Адамовку, в крошечный домик, который там построил папа. Дорогая Адамовка! Я помню все мельчайшие подробности. Мы бы выкупили ее у этого грязного Арнольди, Павел дал бы нам денег взаймы. Представь себе, мой любимый, мы были бы одни, всегда удовлетворяли бы друг друга, ибо любовь не истощалась бы в тщетных стремлениях. Увы, увы, ваша скромность, ваша несчастливая звезда помешали этому счастью. „Лови, лови часы любви“. В молодости только на мгновение улыбается счастье“.—„Будем утешаться, дорогой ангел, и строить воздушные замки“. Он целовал мой лоб, глаза, руки, ноги, плакал от счастья и говорил мне: „Какую картину супружеской жизни вы изображаете, можно умереть от счастья! Какой ты ангел, что так меня любишь. Полное вечное уединение в Адамовке, где погребены и в то же время так живы в твоем обожаемом сердце воспоминания о твоих родителях! Давай же, моя любимая, строить воздушные замки. У нас будет фортепиано и вся твоя любимая музыка, любимые картины. Я снова примусь за рисование. Я научусь изображать синее небо Одессы, под которым ты родилась. Пока я рисую, ты будешь играть на фортепиано, начиная с сонат Плейеля до Бетховена; мы не будем, никогда не будем разлучаться. Когда я поеду в Одессу, мы поедем через Янгакраки, если будет тряско; вы и не почувствуете, потому что я подниму вас на руки, мой сладкий друг, моя обожаемая женушка. Мы вместе посмотрим на памятник герцога, помолимся в университетской церкви, мы будем покупать твои любимые

апельсины из Яффы и Трапезунда. Одесса, граница античной и поэтической Греции! Мы купим Грамаклею у дяди Николая, и будем видаться с соседями, за исключением Кашперовых и Бредихиных. Мы поедем молиться Андрею первозванному. Я закажу икону этого святого, который тебя пугал в детстве и который мог бы пугать наших детей. Наши дети! Боже, какое счастье! Я люблю троих твоих, потому что это твоя плоть и твоя кровь. Какова же любовь к тем, которые будут ваша кровь и моя, зачатые в чистом и целомудренном объятии. Это будут ангелы".

„Какая прелестная картина, мой дорогой муж, как хорошо вы продолжаете то, что я начала. Но это не будёт, не будёт, как говорил мой бедный Ланжерон".

„А я говорю—будет. Так говорит ваш Киса".

XX. Встреча через много лет[1].

Я велела узнать, где живет русский уполномоченный делами. Мне сказали „Hôtel Bristol, Place Vendôme". Это меня удивило: я знала, что он очень бережлив. Было десять часов. Я спросила у консьержа: „Где живет monsieur Киселев?"—„В первом этаже № 20, с княгиней Долгоруковой; m-r и княгиня спят в одной кровати".—„Как,—но ведь они не женаты?"—„Они в связи уже два года, у него есть от нее сын и еще двое хорошеньких девочек—близнецов".—„Вы не знаете, что у вас живет проститутка и преступная женщина, она была в связи с маркизом де-Сад".—„Мадам, это нас не касается, она оплачивает все расходы очень аккуратно".

Я поднялась на лестницу и позвонила. Камердинер в белом галстуке спросил: „Что вам угодно, сударыня?"—„Я хочу видеть русского уполномоченного".—Monsieur одевается".—„Это меня удивляет, он вставал очень рано. Пустите меня в гостиную".—„Но гостиная находится по ту сторону их спальни".—„В таком случае отоприте мне канцелярию".—„Вот она, рядом с уборной monsieur". Я ждала добрых четверть часа, потом постучала в дверь.—„Киселев, идите сюда, мне надоело так долго ждать—целых четверть часа".—„Я в халате"—„Какие глупости!

В халате можно так же хорошо разговаривать, как и в сюртуке".

Он взошел и поспешно закрыл за собой дверь.—„Что вы хотите, Александрин?"—„Не Александрин, monsieur!" —„А почему?"—„Потому что вы негодяй. Вы клялись в Бадене, что в 1845 г. адресуете ваше письмо, куда бы ни пришлось, и что всюду оно меня найдет; ваш брат живет в нашем доме. Но что с вами? Вы худы, ваши губы сини и от вас пахнет мускусом. Но не в этом теперь дело. Мне нужна квартира и сегодня же к вечеру, так как у меня две дырки в антресолях Hôtel de la Terrasse".—„Почему вы мне не написали?"—„Я пишу только тем, кто сам мне оказывает эту честь, а, повидимому, чернила ваши высыхают, когда дело касается того, чтобы писать мне. Как вы вежливы, monsieur Киселев, вы видите, что я стою и не предлагаете мне стул. Вот, что приобретается в школе французской [слово не разобрано] и проституции".—„[Слово не разобрано] m-me, вы не знаете, на что она способна".—„Что из того, я—не мокрая курица", и я направилась к двери. „Подождите, я думаю, что квартира Giny может вам подойти, она уехала из нее, потому что потеряла там троих детей от скарлатины".—„Благодарю вас, я не желаю терять троих детей от этой ужасной болезни, я уже потеряла одну в Париже, благодаря вам".—„Увы, да! Я никогда не мог утешиться после смерти Адини".—„Мне кажется, вы совершенно утешены детьми проститутки, повидимому, monsieur, вы сошли до роли любовника, находящегося на содержании".—„Madame, это слишком, вы не имеете права меня оскорблять. Я плачу за свою комнату, уборную, канцелярию и три комнаты моего секретаря Балабина".—„Да вы и его научили хорошему. Он был чист, как новорожденный младенец, вы передали ему совет вашего друга, маркиза Барбавано,—и вы знаете, каковы роковые последствия этого милого общения".—„Это не моя вина". —„Как, а кто же его развратил? Я знаю, почему вы не писали ни вашему брату, ни моему мужу, он жалеет вас за то, что вы возитесь с этой проституткой. Может быть есть квартира в вашем отеле?"—„О нет, нет, есть только одна квартира в третьем этаже".—„Может быть, есть в Hôtel d'Anlgeterre в антресоли?"—„Она занята m-me

Нарышкиной, урожденной Кнорринг".—„В Hôtel du Rhin?"—„Тоже, взята Гудовичами".—„Тогда я пойду к Lise Барановой и попрошу ее мужа найти мне что-нибудь, мне было бы приятно жить по соседству с вами, как в Бадене".—„И мне тоже, но я очень занят".—„Да, конечно, когда проводишь ночи в разгуле, приходится нагонять время днем, вставая в десять часов. Вы мне отвратительны своим дурным запахом, от которого меня тошнит".—„Я в отчаянии, но я два года никак не мог проделать свое лечение в Виши, а их действие недостаточно здесь. Вы можете спокойно нанять квартиру Giny, ковры переменили мебель выколотили, окна постоянно открыты, чехлы на мебели новые, есть хорошенький садик, который выходит в Champs Élysées, ваши дети могут им пользоваться".—„Ну пускай будет квартира Giny. Кто вам про нее сказал?"—„Madame Bouncoal".—„Я ее знаю она дочь Lady Galevay, я знаю тоже Bouncoal по Бадену".—„Хотите, чтобы я вам дал моего камердинера?"—„Это тот Михайла?"—„Нет, я потерял Михайлу в 1844 г.".—„Я вас видела в Бадене, и вы мне ничего не сказали, вы поехали повидаться с моим братом Клементием, что доставило мне такое же удовольствие, как и ему; повидимому, воспоминания стерлись, вот к чему приводит распутная жизнь, все развращается, прощай чувство и разум. Мне не нужен ваш камердинер, это слуга вашей любовницы".—„Он служит нам обоим".—„Какая прекрасная супружеская жизнь. Это должно нравиться вашей покойной матери и Михайле!" Его глаза наполнились слезами. „Как вы жестоки, madame!"—„А вы не жестоки с вашими пороками? Да, у вас есть основания плакать, но где ваш платок?"—„Его нет со мной".—„На-те, берите мой".—„Благодарю вас, я его принимаю, как талисман".—„Ах, мой бедный Николай, как мне вас жаль".—„Я приеду посмотреть, как вы устроились".—„Хорошо".

Я сошла вниз и спросила у консьержа, нет ли квартиры в Hôtel Bristol налево от той, где живут княгиня и русский уполномоченный делами. „Есть, совершенно такая же и лучше меблированная".—„А цена?"—„Шесть тысяч фр.".—„Это немного дорого, но два месяца я буду в состоянии оплатить".—„Madame, вам ее уступят за пять тысяч фр.".—„М-г Киселев и княгиня так много платят, что вам

можно будет уступить".—„Я вам дам ответ завтра сама или через m-г Киселева".

На другой день он пришел.—„Ну, madame, довольны ли вы тем, как устроились?"—„Очень довольна. M-elle Кан и девушка помещаются направо, гостиная немного мала для фортепиано, но все равно. Я собираюсь очень много играть с Листом".—„Я всегда терпеть не мог этого человека, потому что он вам нравился".—„Как вы смеете меня оскорблять? Зачем вы мне сказали неправду, совершенно ненужную? Мне консьерж сказал, что есть квартира такая же, как ваша, я бы ее взяла, мы были бы соседями, вы могли бы ночевать у меня, дети так малы, что они ничего бы не заметили, мы бы тайно повенчались, а возвратившись в Петербург, я бы все сказала государю. Я получила бы развод, и мой муж женился бы на своей любовнице, или Петровской. Ах, Боже мой, сколько времени я потеряла!"—„Вы сказали это Клеопатре и будете говорить до последнего своего вздоха?"—„Что касается мерзавки, я бы отослала ее в Петербург с хорошей рекомендацией и ее поместили бы на всю жизнь в сумасшедший дом. [Три слова не разобр.]".

„Умоляю вас, перемените квартиру!"—„Нет, это невозможно, денежный вопрос не задержал бы меня, но воздух лучше для детей. Какая Надя смешная, когда она играет точно старушонка".—„На кого она похожа: ни на вас, ни на отца, ведь она родилась во время связи с Карамзиным"[?]—„Вы бы могли воздержаться и не говорить со мной об этом животном,—благодаря вашим сентиментальным фразам у меня два раза была скверная болезнь, бедная Надя золотушная и ноги у нее кривые". Он знал, что я никогда не выходила раньше двенадцати за исключением воскресенья. Через две недели, вижу появляется. „Кузен, зачем вы здесь?"—„Я пришел просить вас, madame, не ехать на демократический банкет, где Лист вам оставил место".—„Почему?"—„Потому что я обязан буду дать об этом отчет своему правительству. Распоряжения очень строги".—„Кто вам сказал, что я еду на демократический банкет?"—„Русские шпионы, вам не безызвестно, что всякое посольство имеет шпионов".—„И вы велите за мной шпионить?"—„Нет, шпионы делают это сами по себе".—„Ну, так я скажу Louis, который силен, как настоящий швейцарец, чтобы он выгнал

их и вас тоже и посадил в сумасшедший дом вашу возлюбленную".—„Она такая возлюбленная, что я бы хотел ее убить".—„И вы бы очень хорошо сделали, так как здесь в Париже ее ожидает гильотина. Я не поеду на банкет, но поеду в церковь Saint Denis. Сабатье знает историю Франции наизусть, а я знаю только историю короля Дагобера".

Но я возращаюсь к своему рассказу, т. е. к Киселеву. Когда я ему сказала, что я не хочу выйти за него замуж, он мне сказал: „M-me Смирнова, вы очень жестоки, вы не имеете права выйти замуж за кого бы то ни было, кроме меня. Ваш муж обручил нас два раза. Предположим, что у вас нет детей, (не дай бог, чтобы это случилось)—вы тогда стали бы моей подругой до конца моих дней?"—„Хорошо, но я очень сомневаюсь в вашей верности, ваша близость с развращенным существом вас слишком деморализовала. Вы вздыхаете, потому что покинули меня подлым образом в Риме".

На Пасху он принес красивый букет роз, белой сирени, ландышей и пахучих фиалок. „Вот, monsieur, что для меня ваш букет.—Труденька, выбросьте это в уборную". Он вышел бледный от гнева, он не видел, что я сделала знак. На другой день он вернулся. Я ему сказала: „Вы видите, ваш букет уже завял, поднесите его вашей драгоценной любовнице. Консьерж сказал мне, что у вас трое детей от нее, две девочки-близнецы и один мальчик, который совершенно ваш портрет; где эти дети?"—„Мальчик прелестен, похож на меня, только красивее. Если бог сохранит мне его, он будет также красив, как мой брат Павел. Я вам покажу его в Риме. Он поручен Каролине Дельваль, которую я выдал замуж за порядочного человека, часовщика и золотых дел мастера; этот мальчик очень развит, он говорит в полтора года".—„Какой № дома Каролины?"—„№ 7, в Montmorency".

Я поехала с детьми в Montmorency в № 7. Лес в Montmorency прелестен, это был сезон вишен. Я позвонила, мне открыла служанка, чисто одетая.—„Madame Caroline Delwalle?"—„Мадам хочет сказать M-me Barbet?"—„Да! Доложите, madame Смирнова, друг мосье Киселева".

Очень чистая лестница вела в первый этаж. Женщина, еще молодая, некрасивая, сидела за шитьем с молодой

девушкой, пожилой человек, на вид порядочный, сидел за ювелирной работой, старушка в очках читала, в углу был хорошенький черноволосый мальчик. Поклонившись, я сказала: „Друзья мои, извините, что я приехала без предупреждения, я хотела видеть ребенка, которого я усыновляю". Я пожала ей руку. Простая и честная семейная жизнь должна была успокоительно действовать на сердце бедного Николая. Каролина сказала мне, что он проводил здесь в уединении каждый пост, неделю в годовщину смерти своей матери, и назвала мне таинственное для нас число 25 января 1841 г. Я захотела видеть ребенка. Каролина сказала мне: „У него очень легкий сон, если его разбудить, он потом плачет целый день, как его отец".—„Как его назвали?"—„Дмитрием".—„Была ли здесь мегера?"—„Два раза, под тем предлогом, что она хочет видеть ребенка".—„Вы знаете, однажды я ей нарочно устроила скандал, я хотела посадить monsieur Киселева в свою карету, она изо всей силы тянула в свою, он дал ей пощечину, что вызвало смех у публики."—„Madame, ничто не производит впечатления на эту бесстыдную женщину".—„Будьте покойны, мои друзья, я поеду на три недели лечится в Шлангенбад, через два месяца я вернусь в Петербург, я все расскажу государю, эту тварь посадят на три или четыре года в тюрьму или в сумасшедший дом. Государь очень высокого мнения о monsieur Киселеве и дорожит им, чтобы он сохранил свое здоровье. Где ваши дети, madame Barbet?"—„Один учит свою роль в театре „Водевиль", а другой художник, в Лувре. М-г Киселев обещал мне жениться на мне pro forma в 1848 г., он это сделал, и дети наши узаконены с согласия графа, его брата."—„Почему он с вами не жил перед вашей свадьбой?"—„Потому что ни он, ни я не хотели никогда принимать необходимых мер, так как это большой грех".—„Конечно, лучше было бы увеличить число ваших детей, ведь у него же была дочь от глупой княгини Трубецкой."—„Одним словом, madame, бог захотел, чтобы это было иначе".—„М-г Киселев такой совершенный, что ему нужно это ужасное испытание".—„Знаете ли вы, дорогая madame, что он мне сказал, что после меня он вас любит больше всех. Конечно, madame, то чувство, которое у него ко мне, не может итти в сравнении с тем, которое он испытывает к вам. Он вас

обожает. Хотите посмотреть две маленькие комнаты, куда он уединяется?“—Я вошла и залилась слезами, чистенькая кровать с белым пикейным одеялом, над ней икона, которой императрица благословила меня перед моим злосчастным браком, напротив портрет Михайлы, очень похожий и очень хорошо написанный маслом, портреты моих близнецов и мой портрет в детстве, написанный моим отцом, он все это скопировал втайне от меня и заплатил за все это из своих несчастных грошей. Я села на его кровать, благословила ее, обливала слезами его подушки; в гостиной окна с деревянной решеткой, выкрашенной в зеленую краску, дикий виноград и клематит*) в цветах, его письменный стол, заваленный деловыми бумагами. Балабин приходил с ним работать, они любили друг друга, как два брата, и делали добро при своих маленьких средствах. Над его письменным столом два моих портрета, портрет в бархатном платье и винтергальтеровский, на цоколях красивые вазы для цветов; Каролина сказала мне: „Они всегда свежи, как то чувство, которое он к вам питает, он сам их приводит в порядок и меняет им воду, когда бывает здесь, в его отсутствие это делаю я“; большой ящик из кипарисового дерева, на котором было написано: „Драгоценные воспоминания о той, которую я люблю больше всего на свете“. Слезы текли у меня ручьями. Белые деревянные полки, окаймленные красной кожей с маленькими оловянными гвоздями, все русские авторы, отцы церкви, проповеди Филарета, Иннокентия, Путятина, библия на трех языках, одна по-гречески, полная заметок, труды кардинала Флери, моего прапрадеда который впал в немилость папского престола. Я положила на его стол серебряный порт-бонер и завядший букет и написала: „От лучшего друга—лучшему другу: Николаю Киселеву—А. Смирнова. Букет завял, как ваше бедное сердце“. Мальчик поразительно на него похож, теже черные глаза, белокурые кудри (у него до семи лет были белокурые волосы). На шее у него был маленький зеленый крест, который я Николаю подарила в Париже. Я сказала Каролине: „Он не имеет права его отдавать“. Я хотела снять его, он на меня бросил сердитый взгляд и сказал: „Папа дал“. Крест был на том же

*) Ломонос—вьющееся растение из семейства лютиковых.

шелковом шнурочке, который я оторвала от своего башмака и отдала ему за два дня до его отъезда из Парижа. На возвратном пути я купила маленький золотой крестик и сказала Каролине, чтобы она ему надела его во время сна и сказала бы: „Папа новый дал“. Дети тоже были в восторге, они поели вишен, и Каролина прислала им сладких пирожков и чая через гувернанток и нянь. Я часто ездила в Montmorency, мальчик привык ко мне и играл с детьми, я брала его на руки и говорила ему: „Я—твоя мама, у тебя есть другая мама, ты ее видел?“—„Нет, папа сказал, что она злая и его оголчает“.—„А меня ты любишь?“—„Очень, очень, очень“, и он обнимал своими маленькими рученками мою шею. Он умер пяти лет. Когда я вновь увидела его отца в Риме, он мне сказал; „Я собирался вам его показать в Риме, но он умер в Париже пяти лет; он был так трогателен на смертном одре. Он мне говорил: „Молись за меня богу, папа, я был капризный и непослушный мальчик“.—„Нет, душенька, успокойся, ты будешь у бога ангелом, ты за меня молись богу, чтобы он мне простил мои грехи“. Он умер от скарлатины, он немного страдал, потому что у него был бред, я его держал в руках до последнего вздоха. Я плакал целую неделю и никогда не позабуду это прелестное личико. У меня есть его портрет, я вам покажу его. Я похоронил его на Père Lachaise, там же, где положена Adini. Они там свидятся и будут молиться за меня“.—„А мерзавка что?“—„Она и не знала ничего об нем, своих скверных белобрысых девченок отдала на воспитание кормилице, никогда об них не спрашивала: и я не знаю, живы ли они или умерли, они меня вовсе не интересовали. Я должен сделать тебе еще одно признание. Эта мегера до такой степени возбудила мою чувственность, что я был еще в связи с Нарышкиной, рожденной Кнорринг. Вот, как это случилось. Ее паспорт не был в порядке, она мне прислала своего русского лакея. Он долго на меня смотрел и сказал мне: „Батюшка, Николай Дмитриевич, как вы изменились, вас маленького знал, семи лет. Вы были белокуры, а теперь совсем смуглы. Наши господа с вашими часто видались, даже всякий день, да еще со Смирновыми“. Я ему сказал: „Приходи через два или три дня; что барыня спешит ехать?“—„Нет, только они очень любят порядок. А

где же ваш Михайло, я с ним был очень дружен?“—„Умер, братец, я и теперь горюю по нем, у меня француз, ужасный мерзавец, я писал Павлу Дмитриевичу, чтобы он доставил мне русского камердинера, и вот два года, и все не добился до русского“.—„Да, новые люди совсем перебаловались, наша барыня держит при себе только старых людей“.—„Хочешь я тебе отдам Louis?“—„Нет, нет, ты ведь в таком же, положении, как и все“.—„Нет, у меня в Петербурге Григорий ламповщик, который приводит в восторг Жуковского, потому что он пиликает на скрипке и играет на ворганке, знаешь, маленькая железная штучка, которую вставляют между зубами“.—„Один из моих слуг доставляет мне наслаждение своим ворганчиком. Я был так счастлив, что могу поговорить о своей матери, что поехал к ней [Нарышкиной] на другой день с визитом. Она еще довольно красивая женщина, несколько полная. Она говорила со мной о моих родителях, напомнила мне, что мы вместе играли, и пригласила меня к себе на другой день обедать; за обедом была только ее дочь, хорошенькая девушка пятнадцати лет [Зинаида] и ее гувернантка, очень чопорная швейцарка, которая следила за каждым движением своей воспитанницы, все ели, как ты, никогда ножем, а моя свинья даже говядину ела руками.

Погоди, я тебе скажу, как началась эта связь. Я ее [Нарышкину] спросил: „Есть ли у вас знакомые?“ Она мне сказала, что не интересуется ими, что единственный человек, с которым она желала познакомиться—это madame Смирнова, выдающаяся женщина, друг Пушкина, Гоголя и Жуковского, которую так жестоко оклеветали, но которую наш дорогой государь сумел вновь поставить на пьедестал, ею заслуженный. Ты представляешь себе, что этими словами она завоевала мое сердце. Я ей сказал, до какой степени люблю тебя и уважаю, она мне сказала: „Я думала, что вы никогда не полюбите так, как вы ее любите“. Я ей рассказал всю нашу историю, она меня спросила, где я обедаю, я сказал: „Всегда в ресторане, французы слишком скупы, чтобы приглашать к себе (скаредный и поганый народ)“.—„Приходите каждый день ко мне обедать, мой человек готовит мне щи, борщ, кулебяки, так как я нахожу французскую кухню слишком пресной. Зинаида привыкнет немного

говорить по-русски и услышит разговор о более возвышенных предметах. Я день провожу с ней, сопровождаю ее на прогулках, присутствую на всех ее уроках. Она единственный ребенок от мужа, которого я обожала. Он был достоин моей любви. Зинаида имеет способности к рисованию, но у нее нет вкуса к музыке, тем не менее я заставляю ее разучивать гаммы и не хочу, чтобы что-либо было упущено в воспитании этого существа, столь прекрасного и тонкого". „Ты должен был бы жениться на Зинаиде, когда ей исполнилось восемнадцать лет. Она не была счастлива с Борькой; когда у нее родился сын, он ей сказал: теперь довольно, моя милая, я хочу, чтобы мой сын был миллионером, я слишком стар, чтобы у вас был еще ребенок, вы можете взять любовника, я вам даю двадцать пять тыс. на ваш туалет; если у вас будут дети, содержите их на эти деньги."—„Нет, мой ангел, я никогда не женюсь ни на ком другом, кроме тебя".— „Николай, я предчувствую, что ты мне причинишь смертельное горе в Риме, и мы расстанемся врагами на всю жизнь. Ты может быть перестанешь меня любить, я же никогда не перестану любить тебя больше всего на свете и думать о тебе". Он сидел на полу, прислонив голову к моим коленам, я гладила его волосы. Он мне сказал: „Если бы ты знала, как устала моя бедная голова!" Я поцеловала его в лоб. „Ах, этот чистый поцелуй смывает всю мою скверну, как я тебе благодарен за него! Случалось, что я проводил время почти наедине с ней [Нарышкиной] с пяти часов до одиннадцати. Она прекрасно играет на фортепиано (не по-французски), а только очень хорошую музыку. Раз вечером она была смущена, мы молчали, я ей сказал: „Мы молчим, мой милый друг, потому что мы можем сказать друг другу только одно слово: мы любим друг друга, не правда ли?" — „Да, дорогой Николай, — сказала она, покраснев,—я никогда не говорила „ты" никому другому, кроме моего мужа".—„Ну так, моя дорогая Catherine, не будучи любовником madame Смирновой, я ей передам сцену нашего объяснения",—и дал ей поцеловать свой зеленый крестик. Она была очень взволнована, встала и пошла, чтобы раздеться. Я скользнул в чистую кровать, подушки были отделаны русскими кружевами. Она мне сказала: „Да простит мне господь! Он видит, что вы мой первый и единственный

любовник". Я выполнил свои обязанности. Она вышла чтобы умыться, принесла мне губку и полотенце. Мне казалось, что я в раю. Утром, только что проснувшись, она мне предложила помолиться вместе, но я ей сказал, что обещал тебе никогда ни с кем, кроме тебя, не молиться. Я наскоро оделся и прошел через служебную заднюю лестницу, чтобы избежать встреч. Она меня просила переехать в Hôtel d'Angleterre и хотела платить за мой утренний чай, на что я не мог согласиться".—„Я тебе подарила серебряный порт-бонер, я просила Каролину передать его тебе после моего отъезда. Это узенький ободок, без фермура, и ты должен мне обещать носить его всегда, не снимая. Вместо того, чтобы тебе платили, подари ей этот порт-бонер, ценностью в две тысячи франков, два ряда маленьких бриллиантов, это красиво и с большим вкусом". Я отрезала кончик моей ленты от шляпы. Я положила две тысячи франков в конверт и написала: „M-r Barbet, сделайте порт-бонер такой, как и тот серебряный, который я подарила m-r Киселеву, и постарайтесь окончить его через недельку". Я написала записку m-me [не разобрано] и просила ее передать Barbet через верного человека пакет в две тысячи фр., которые я была ему должна.

III. ВОСПОМИНАНИЯ о Н. В. ГОГОЛЕ.

Н. В. Гоголь [1]

Париж 25/13 сентября 1877 г.

Каким образом, где именно и в какое время я познакомилась с Николаем Вас[ильевичем] Гоголем, совершенно не помню. Это должно показаться странным, потому что встреча с замечательным человеком обыкновенно нам памятна; у меня же память прекрасная. Когда я однажды спросила Гоголя: „Где мы с вами познакомились?“ он отвечал: „Неужели вы не помните? вот прекрасно! так я же вам не скажу. Это значит, что мы были всегда знакомы“. Сколько раз я пробовала выспросить его о нашем знакомстве. Он всегда отвечал: „Не скажу, мы всегда были знакомы“. В 1837 г. я проводила зиму в Париже: Rue du Mont Blanc, 21, на дворе, т. е. entre cour et jardin *), но Гоголь называл этот hôtel трущобой. Он приехал с лицейским товарищем Данилевским, был у меня раза три, и я уже обходилась с ним дружески, но как [с] человеком, которого ни в грош не ставят. Опять странность, потому что я читала с восторгом „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Они так живо переносили меня в нашу великолепную Малороссию. Оставив восьми лет этот чудный край, я с необыкновенным удовольствием прислушивалась ко всему, что его напоминало, а „Вечера на хуторе“ так ею и дышат. С ним в это время я обыкновенно заводила разговор о высоком камыше, о бурьяне, белых журавлях с красным носиком, которые при захождении солнца прилетают на хаты, крытые в старновку, о том, как гонит плечистый Яким с чубом лошадей в поле, и какая пыль поднимается их копытами. Потом заводилась

*) Между двором и садом.

речь о галушках, варениках, пампушках, коржиках, вспоминали хохлацкое пение:

„Грицко, не ходи на вечерницы,
Там увси дивки чаровницы"

или

„На бережку у стрелочка".....
„Цвыли лози при дорози"...

Или любимая его песня:

„Ходы козак по улицы в свитлой белой котулицы"...

Он, вообще, не был говорлив и более любил слушать мою болтовню. Вообще, он был охотник заглянуть в чужую душу. Я полагаю, что это был секрет, который создал его бессмертные типы в „Мертвых душах". В каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа. О Париже мало было речи, он уже тогда не любил его. Он, однако, посещал театры с Данилевским, потому что рассказывал мне, как входят в оперу à la queue *) и как торгуют правом на хвост, со свойственной ему способностью замечать то, что другим не кажется ни замечательным, ни смешным. Раз говорили о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что на этот счет всего хуже в Португалии, и еще хуже в Испании, и советовал мне туда не соваться с моими привычками. „Вы как это знаете, Николай Вас[ильевич]?" спросила я его. „Да я там был, пробрался из Испании, где также очень гадко в трактирах. Все едят с прогорклым прованским маслом. Раз слуга подал мне котлетку, совсем холодную. Я попросил его подогреть ее. Он преспокойно пощупал рукой и сказал, что она должна быть так. Чтобы не спорить, я спросил шоколаду, который оказался очень хорошим, и ушел".—„Неправда, Николай Васильевич, вы там не были, там все дерутся, [слово не разобр.], все в смуте, и все, которые оттуда приезжают, много рассказывают, а вы ровно ничего". На все это он очень хладнокровно отвечал: „Вы привыкли, чтобы вам все рассказывали и занимали публику, чтобы с первого раза человек все выложил, что знает, что пережил, даже то, что у него на душе". Я осталась при своем, что он не был в Испании, и у нас осталось это русской шуткой (Жуковский говорил, что русская шутка только тем и хороша, что повторяется).

*) По очереди.

В Испании он точно был и, кажется, там познакомился с Боткиным. Он оставался недолго, ни климат, ни природа, ни картины не могли произвести особенного впечатления. Испанская школа для него так же, как и болонская, как в отношении красок, так и рисунка, была противна. Он называл Болонскую школу пекарской [sic!]. Понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Рафаэля, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Его приводил в восторг сжатый строгий рисунок Рафаэля, он не любил Перуджино из Ранционгли. Один Джон Bellini нравился своей бессмертной наивностью. Но все это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краски ничего, а все в выражении и чувстве. Вообще, у него была некоторая сдержка в оценке произведений художника. Надобно было, чтобы все струны его души признали вещь за прекрасную, чтобы он ее признал гармоническою. „Стройность, гармония во всем, вот что прекрасно“, говорил он. Лето того же 1837 г. я провела в Бадене, и Ник[олай] Вас[ильевич] приехал. Он не лечился, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались всякое утро. Он ходил или, вернее, бродил по лугу зигзагами. Часто он был так задумчив, что я не могла дозваться его, и не хотел гулять со мной, прибирая самые нелепые причины. Он был во всю жизнь мастер на нелепые причины.

В июле месяце он неожиданно предложил собраться вечерком и объявил, что пишет роман под названием „Мертвые души“. Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, Валериан Платонов собрались на нашу дачу. День простоял знойный, мы уселись, и Гоголь вынул из кармана тетрадку в четвертку и начал первую главу своей бессмертной поэмы. Между тем, гром гремел, разразилась одна из самих сильных гроз, какую я запомню. Дождь лил ливнем, с гор потекли потоки. Смиренная Мур, по которой куры ходили по суху, бесилась и рвалась из берегов. Мы были в восторге. Однако, Гоголь не кончил второй главы и просил Карамзина довести его до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин сказал, что Ник[олай] Вас[ильевич] боялся итти один, что на Грабене большие собаки, и он их боится, и не взял своей палки. На Грабене же не оказалось собак, а просто гроза

действовала на его слабые нервы. На другой день я его просила прочитать дальше, но он решительно отказал и даже просил не просить. Мы уехали осенью [в] Баден-Баден, и Гоголь с другими русскими провожали нас до Карлсруэ, где Гоголь ночевал с моим мужем и был болен желудком и бессоницей. О первой и страшной болезни он не любил говорить. Его спас приезд Боткина, который усадил его полумертвого в дилижанс и в [слово не разобрано] он после двух месяцев выпил чашку бульона. Ехали день и ночь, и в Венеции Гоголь был почти здоров, сидел на Пиацетте и грелся итальянским солнцем, не палящим, но ласкающим.

В 1838 году я была в России, потеряла Гоголя из виду и не переписывалась с ним. В 1841 году он явился ко мне в весьма хорошем расположении духа, но о „Мертвых душах“ не было и помину. Я узнала, что он был в коротких сношениях с Виельгорским. Они часто собирались, там объедались, и Жуковский называл это „макаронными утехами“. Ник[олай] Вас[ильевич] готовил макароны, как у Лепри в Риме: „Масло и пармезан, вот что нужно“. В этом же году я получила от него опять длинное письмо, все исполненное слез, почти вопля, в котором жалуется на московскую цензуру. К письму была приложена просьба в форме письма к государю, в которой он напоминал, что он материально оказал ему протекцию на „Ревизора“ и велел дирекции заплатить ему четыре тысячи асс. [2]. Я решилась посоветываться с Михаилом Юрьевичем Виельгорским, он горячо принялся за дело и все устроил с помощью князя Дундукова, который был товарищем министра просвещения, графа Уварова. Ни мое письмо, ни письмо Гоголя к государю не нашлись, они или остались у Виельгорского, или были отосланы автору. „Мертвые души“ вышли в свет tel quel* без глупых поправок и вычеркивания цензоров. Весной 1842 года Гоголь приехал в Петербург и остановился у Плетнева. Приходил довольно часто и уже совсем на дружеской ноге. Он тогда сблизился с моим братом Аркадием, изъявил желание прочесть нам отрывки уже отпечатанных „Мертвых душ“. У Вяземского он читал разговор двух дам. Никто так не читал, как Гоголь, и свои, и чужие произве-

* Полностью.

дения. Мы смеялись неумолкаемо. В нем был залог великого актера. Мы смеялись, не подозревая, что смех вызван у него плачем души любящей и скорбящей, которая выбрала орудием своим смех. А отчего душа так или иначе выражает свое чувство, известно одному богу. Высокий христианин в душе Гоголь чувствовал, что образец наш—Христос спаситель даже не улыбнулся, а плакал и вздыхал, потому легко представить, что произошло в его душе, когда он увидел, что Чичиков, Манилов, Собакевич и Ноздрев возбуждают лишь смех или отвращение. „Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит", задумал он уже тогда. Перед ним уже летали образы почище, поидеальнее. Уленька, Чагранова, Никита, генерал-губернатор, помещик Вороново-Дряново, Платонов, который влюбился в портрет петерб[ургской] львицы, Чаграновой. Все это в первую пору своей авторской жизни он почувствовал, но до страдальчества оно дошло позже, когда создалась его школа, т. е. реалистическая литература. Его жалобы и стоны вырвались из груди в его „Переписке с друзьями". Эту переписку никто не понял. Она подняла гвалт на всю Русь, потому что Гоголь не был открыт, никто не знает, ни сам он, что „перегорело в этой душе", оно известно только богу.

В июле месяце я оставалась в Пет[ербурге], и Гоголь предложил мне прочесть новую его комедию „Женитьба" [3]. После обеда Вяземский, Плетнев, Аркадий, Тютчев—мы сидели в гостиной, и он начал читать в рукописи. Смех был постоянный: Подколесин, сваха, капитан Жевакин, Яичница—все, начиная с фамилий, возбуждало смех. Швейцару приказано было не принимать. Он пропустил князя Михаила Алекс[андровича] Голицына, как короткого знакомого. Тот вошел. К счастию, Гоголь не обратил внимания, [продолжал] читать и после чтения пошел в кабинет мужа, крепко уснул на диване и проснулся в испуге, потому что у мужа собрались играть в ералаш и преферанс. Он зашел ко мне и сказал: „Там занимаются делом до восьми часов утра, но там ангел-хранитель в синем мундире под сладким лицом генерала Дубельта, следовательно, до драки не дойдет". Голицын не находил слов, чтобы благодарить меня за приятные минуты, которые он провел у меня: „Я читал с восторгом „Мертвые души" и всегда желал видеть их

автора. Подобных минут я не проводил в этом пошлом Петер[бурге]".

Осенью [1842 г.] я поехала с братом Аркадием в Италию и остановилась во Флоренции. Неожиданно получила письмо от Гоголя, который писал: „Точно ли вы во Флоренции? Приезжайте скорее в Рим, вы увидите, как будете самой себе благодарны". В генваре брат мой опередил меня в Рим для приискания квартиры. Мы потянулись в собственных экипажах с веттурино. Переночевавши в Romiglione, мы были празднично расположены, погода была великолепная, солнечная и tiède *). Я опустила все окна, выглядывая [то] в одно окно, то в другое. Наконец, мы поровнялись с гробницей Нерона, vetturino **) мне крикнул: „ Вот св. Петр справа".

На одну минуту появился купол св. Петра в сизом тумане. Я начала помышлять о квартире, о помещении детей и еде. Начинало вечереть, мы проехали по знаменитому Ponto Мальво и въехали после пятидневного похода через Porto del Popolo. У чиновника заплатили по десяти франков в догану и потянулись на Корсо, где еще тянулись тяжелые кареты и коляски римских принчипе и маркизов. В догане мне передали письмо брата, который извещал, что надобно ехать на форо Трояно в palazetto Валентини. Первый этаж был освещен. На лестницу выбежал Ник[олай] Вас[ильевич] с протянутыми руками и лицом, исполненным радости. „Все готово,—сказал он,—обед вас ожидает. Квартиру эту я нашел, воздух будет хорош. Corso под рукой, а что всего лучше, вы близки от Колизея, форо Боарио". Немного поговоривши, он отправился домой с обещанием притти на другой день. В самом деле он пришел, спросил бумажку и карандаш и начал писать: „Куда следует понаведываться А. О., и с чего начать". Были во многих местах и кончали Петром. Он взял бумажку с собой и написал: „Петром осталась А. О. довольна". Таким образом он нас возил целую неделю и направлял всегда так, что все кончалось Петром. „Это так следует. На Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него комодом". При входе в Петра Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта

*) Мягкая.

**) Проводник.

метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду приказано было требовать церемонный фрак из уважения к апостолам, папе и Микель-Анджело [4]. Когда мы осмотрели Рим en gros *), он стал реже являться ко мне.

У нас был комический слуга Александр, который утром рано находил необходимым сообщать мне все приключения его утра. „Я встретил синьора Гоголя, думаю, что он придет“ или говорил, что встретил „il generalo“ Перовского. Перовского кучера лакеи и в лавках купцы все знали „il signor generalo“ **). Он подъехал к таможне и встретил кн. Зинаиду Волконскую. В Неаполе их высадили в догане. К[нягиня] Волконская дала таможенным чиновникам несколько байок***), а Перовский десять франков. Вдруг он видит, что таможенный люд строится в шеренгу и думал, что они обиделись. Напротив, они с уважением поклонились и сказали: „Генерал, администрация доганы благодарит вас за щедрое приношение в то время, как скупая княгиня дал всего несколько байок“. Перовский провел однажды целый год в Неаполе. С восхищением рассказывал мне о Сорренто, Пестуме и Капри. Я и без того хотела туда ехать.

Мы выехали рано весной на Понтийские болота, в которых купаются великолепные буйволы и кормятся желтыми цветами четимеры. Другая дорога [слово не раз.] идет на Альбино и параллельна с болотами. Мы завтракали в Террачино, некогда притоне brigante****), потом остановились в Mala di Gealta, в одном из прелестнейших уголков света. В Капуе встретили [слово не разоб.] и остановились в гостинице на Chiaja. Итальянцы делали Corso, и два часа были так скучны, что меня тоска одолела. Меня остановила меньшая дочь моя Надя, как ни старалась я ее будить, она крепко заснула и в Неаполе спала без просыпу. Перовский мне сказал, что она заразилась понтийской лихорадкой, и побежал за аллопатом доктором Романья. Он меня успокоил, и через три дня она была совсем здорова, и мы поехали в Сорренто и остановились в прекрасной гости-

---

*) В общем.

**) Генералом.

***) Мелких монет.

****) Разбойников.

нице на берегу моря. Против нас стоял остров Капри, который обливали синие волны моря. С восхождением солнца я уже сидела у растворенного окна. Женщины чудной красоты в живописных костюмах несли на голове огромные кувшины или амфоры, полные воды. В Пестум я не попала и вернулась на Кайо. Из Неаполя я поехала на крошечном пароходе французской кампании. Уже в порте лодка сильно качалась, мальчишки пели и плясали салтареллу. Днем поднялся сильный ветер, кареты привязывали постоянно. Ночью разразилась буря, которая заливала пароход. Капитан Armand и рулевой были привязаны, по пароходу рыскал камердинер с лоханками и стаканами, подходил к каюте, где я лежала с Олей, которую беспрестанно покрывала. Она спала крепким сном, Соня и Надя лежали с няней внизу в каюте. Соня заснула над лоханкой, а няня говорила: „Охота вам была запрудить море русскими телами“, призывала всех святых, приговаривая: „Кто по морю не плавал, еще богу не молился“. По лестнице меня вел полковник папских войск Загор. Он сопровождал мою знакомую, графиню Пурталес. Кибнер меня успокаивал странным образом. „Я видел гибель „Паллады“ у Марселя и все же остался невредим“.—„А каким образом спасают попавших в кораблекрушение?“.—„Их привязывают к доскам, а потом, друзья мои, делайте, что хотите, добывайте себе пищу или умирайте с голода на скалах“. К утру ветер стал утихать, и мы вошли с трудом в миниатюрный порт Чивита-Веккиа. Нас бросили в лодки и, наконец, мы ступили на благословенную твердую землю. M-lle Овербек уже рвало кровью. Я послала за доктором и на другой день долго хлопотала об лошадях, чтобы засветло приехать в Рим. В Остии, описанной так прекрасно Плинием меньшим, мы обедали. От древнего великолепия остался кругленький пруд, в котором гармонично квакали лягушки. Я, как Анна Ив[ановна] царица, люблю квакание этих зеленых зверей. Известно, что она развела их в любимом своем загородном доме и по вечерам садилась с Бироном, чтобы вдвоем наслаждаться этим концертом. Начинало вечереть, где-то на пригорке лошади стали: ни тпру, ни ну. Кучер мне сказал: „Нечего делать, я отпрягу ваших лошадей, и кучер останется с вами“.—„Вот, те-на!“ Няня, моя девушка и Надя, мы сидели час. Вдруг

является кавалер в круглой шляпе, плаще и подъезжает к нам шагом. Словом, страшный briganti. Я уже готовилась сказать ему: „Возьмите все, лишь пощадите нас“, но он учтиво поклонился и сказал; „Не бойтесь“. К полночи мы были у Porto del Borgo vicina al Vaticano. Тут осмотрели пантакраты и велели ехать в догану. Там оставили наши экипажи на дворе, и эти бестии продержали нас более часа, несмотря на то, что содрали по две скуди с экипажа. Наконец, мы приехали на Piazza del Popolo в два часа ночи и подъехали в гостиницу M-me Milici, где нас ожидал чай и жареная курица. После улеглись с намерением встать рано утром, чтобы засветло ехать во Флоренцию.

Дорога между Римом и Флоренцией была не безопасна, и курьер предложил мне взять двух провожатых с заряженными ружьями и пистолетами. Утром он объявил, что распорядился насчет жандармов, но что нам нельзя достать лошадей до часу, потому что граф Браницкий едет в девяти экипажах, и все в четыре лошади. Нечего было делать, мы поехали проститься с „Петром“ и с Дашковыми, которые еще запоздали в Риме. В час мы тронулись и приехали поздно в Радикафали. Это перевал в Тоскану, где кончаются опасности. Радикафальская станция на самой вершине гор, оттуда вид на юг и на север прекрасный, но пустынный и угрюмый. Дети проголодались, но тут ничего не могли достать. Дети заснули, и в час мы были в Сиене в узкой улице и темной гостинице. Спросили обедать и сели за стол. Оля по один конец стола, Соня против меня и M-lle Overbeck завязывала ее салфетку. Я ей сказала: „Заприте двери“. Она вернулась, и лицо ее изменилось. После скверного обеда all'uso di Francia *), прилаживания итальянских слуг к подлейшему [французскому] обеду, мы поспешили в соборную церковь академии, украшенную историческими картинами, [слово не разобр.] смотрели, как юноши играли в [слово не разоб.] и пришли домой в три часа. Нянька Нади меня встретила с тревожным лицом и сказала, что ребенок играл с мячиком, ударил себя в глаз, что она мыла глаз, но Надя все повторяла: „Не могу открыть глазок“. Я приказала курьеру заказать лошадей в

*) По французскому обычаю.

восемь часов, если она не откроет глаз, позвать доктора и пошла в свою спальню. Моя девушка предложила мне лечь на одну из высоких итальянских кроватей, а я легла на свою походную, зажгла свечу и читала евангелие, как вдруг что-то мелькнуло передо мной. Я думала, что это обман зрения или бабочка, а может быть, летучая мышь, которая забралась под занавески, и взглянула на зеркало и там увидела, как [будто] двигающуюся тень. Вскочила с кровати, пошла в детскую комнату и просила M-lle Овербек перенести мою кровать в их комнату. Заснула очень крепко. Доктор уже осмотрел глаз, сказал, что она тронула нерв своих век, и что я могу спокойно ехать в Ливорно. На половине дороге M-lle Овербек сказала мне: „Я нашла способ открыть глаз". Подали холодной воды, старшие сестры вымыли лицо и руки, а Наде сказали, что ей не велел доктор мыться холодной водой. Тут пошли капризы, даже колотушки. Ей долго отказывали, но, наконец, позволили, и она с радостью объявила: „И я открыла зазок". Ровно в три часа приехали в Ливорно, где детей занимали колодники, которые летом работали в порте в желтых и красных куртках с страшными словами на спине homicida, paricida*) и проч. Перовский пришел, и тогда я спросила M-lle Овербек, что нам явилось в Сиене. „Я видела почти прозрачную фигуру, которая склоняла голову на правую сторону", а M-lle Овербек сказала: „А я встретила его глаза. Они были впалы и горели каким-то дьявольическим взором, полным насмешки". Конечно, Перовский смеялся и говорил, что это бабьи сказки. Детям мы ничего не сказали. В Бадене приехала невестка M-lle Овербек, и мы говорили о Сиенском случае. Оля вбежала, мы замолчали, а она сказала: „Я знаю, о чем вы говорите: о том, что вы видели в Сиене". Значит, ребенок понимал, видя наше беспокойство.

Мы совершили тогда самое странное путешествие. Перовский советовал не делать крюков в Италии, а ехать просто по протоптанным дорогам, где можно не умереть с голода без лошадей. Я хотела du pittoresque **) и поехала на Buchetto, где местоположение восхитительно. Мы ехали шагом, впрягая иногда волов. Эти два четвероногие не ссорились с

*) Убийца, отцеубийца.

**) Живописного.

лошадьми и дружно шли на гору и с горы. В Buchetto не нашлось трех яиц, и нам сказали, что в лесу есть bruchiataio*). Мы сели под деревом и ели сырые каштаны. Наконец, на одной станции добыли кусок сыру и хлеб, поделились и приехали в Пиаченцу, где женщины носят странную прическу, заплетают косу в девять плеток, ставят их короной и прикалывают длинными серебряными булавками. Они чешутся по субботам; легко себе представить, что гнездится в их черных волосах. Тут тоже запаслись сыром и хлебом и к вечеру приехали в Парму, где знаменитый Корреджио писал своих ангелов. После Рафаэля, это все de la petite bière**), замечателен только его белый колорит. В Парме доживала свой век герцогиня Пармская, которая была гораздо счастливее со своим вторым мужем, графом Нейпперг, чем с великим страдальцем острова св. Елены. Она каталась в коляске с огромным зеленым веером, как и прочие дамы. Это единственный город, где господствует веер. Потом мы поехали в Германию, по Springen, как легчайший переезд. Дорога была опасна и вместе безопасна от gravia. Она была построена Наполеоном. Под горой мы ночевали. Всего один дом с двумя рамами и натопленный зелеными изразцовыми печами. А потом мало-по-малу горы уступили место холмам, покрытым прекрасным лесом.

В Бадене мы поселились в знакомом доме старухи Дургольц, взяли кухарку. Одним словом, зажили домком. Я поехала к Жуковским в Эмс, разминулась с Гоголем, и он приехал в Баден. Он из Герстенберга туда приехал, не заезжая к Жуковскому. Он писал мне: „Каша без масла не лезет в горло, но Баден без вас просто невозможен. Я нахожу одно утешение. Надежда Николаевна вышла ко мне вся завитая. Мы бросились друг к другу в объятия, крепко поцеловались, но она вспомнила, что не все совершила, и, взяв мою руку, сказала: „Николай Вас[ильевич], поцелуйте вучку!“ [5] Она была прелестный ребенок, все говорила, как попугай, после старших сестер. В Риме она восхищала Перовского. Повторяла всем, как Перовский меня любит и Август [слуга] тоже. Перовский говорил: „Она всех умнее.

---

*) Продавец жареных каштанов.

**) Все это пустяки.

Вы все ездите смотреть развалины, колонны и ворота всяких римских подлецов. Она даже из окна любуется Троянской колонной по-своему и считает кошек". Она не могла произносить „кошки" и говорила „тоски". За обедом ей подали шпинат с гвоздичным орехом, она при Перовском сказала: „Надежда Станни, я не могу кушать станат с плехами и помпот тоже с плехами". Она в Риме начала у Гоголя просить „вучку". Он закрывал ее какой-нибудь книжкой, она сердилась: „Я не хочу читать, а пожалуйте вучку".—„Зачем вы меня принимаете за священника?" Кончалось это все брыканьем ее кривых ног, слезами, и нянька ее уносила из гостиной. Один раз она меня очень рассмешила, сказав мне: „Мама, помнишь, как ты очень обижала нас между Римом и Флоренцией?" Я рассмеялась. Она рассердилась и сказала: „Тебе смешно, а ведь это очень больно". Она любила рассказывать всякий вздор очень серьезно своей няне. Когда мы ехали из Фонтенебло в Париже, она мне сказала: „Хочешь, я тебе расскажу про нови короля?" Я ей отвечала: „Ну, нет, я тебе расскажу про этого короля".

Никто не знал Рим так хорошо, как Гоголь. Не было итальянского историка или хроники, которую он не прочел. Все, что относится до исторического развития, искусства, даже современности итальянской, все было ему известно, как-то особенно оживал для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение. Он ее нежно любил. В ней его душе легче виделась Россия, в которой описывал грустных героев первого тома, и отечество озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он [мог] глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. Изредка тревожили его старые знакомые: нервы, но в свою бытность я постоянно видела его бодрым и оживленным. И точно, в Риме есть что-то примиряющее человека с человечеством. Слава языческого мира погребена там великолепно, на ее развалинах воздвигся Рим христианский, который сначала облекся в лица грустных и молчаливых отшельников катакомб, но впоследствии веков заразился гордостью своих предков и начал спогребаться с древним Римом. Развалина материальная, развалина духовная—вот что был Рим в 40-х годах, но

над ним все то же голубое небо, то же яркое солнце, та же синяя ночь с миллионами звезд, тот же благорастворенный воздух, не тревожный, как в Неаполе, а, напротив, успокаивающий и убаюкивающий. Истинная красота природы не примиряет ли нас с человечеством? Останемся благодарны провидению, которое позволяет каждому принести плод во время свое, и, гуляя по развалинам, убеждаемся без скорби и горести, что народы, царства, как и всякая личность, преходящи. Рим всегда казался каким-то всемирным музеумом, в котором каждый камень гласит об историческом, назидательном событии, но уже не имеет никакого значения в настоящем, и вот почему в Риме не грустно, а отрадно. Николаю Васильевичу Рим, как художнику, говорил особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывках о Риме. St. Beuve встретил его на пароходе, когда после смерти Иосифа Виельгорского, они ехали в Марсель навстречу бедной матери. St. Beuve говорил, что ни один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений. Особенно поразили его знания Гоголя о транстиверианах. Едва ли сами жители города знают, что транстивериане никогда не сливались с ними, что у них свой язык patois *). Заметив, что Гоголь так хорошо знал то, что относилось к языческой древности, я его мучила, чтобы узнать побольше. Он мне советовал читать Тацита. Я все его спрашивала, что такое история; карты, планы, Nybby, Canina, Peronezi лежали на нашем столе, все беспрестанно перечитывалось. Мне хотелось перенестись в эту историческую даль. Что таилось в Нероне? И я часто к нему приставала.

Однажды, гуляя в Колизее, я ему сказала: «А как вы думаете, где сидел Нерон? Вы должны это знать, и как он сюда являлся: пеший или в колеснице или на носилках?“ Гоголь рассердился и сказал. „Да вы зачем пристаете ко мне с этим подлецом? Вы, кажется, воображаете, что я жил в то время, воображаете, что я хорошо знаю историю,— совсем нет. Историю еще не писали так, чтобы живо обрисовался народ или личности. Вот один Муратори понял, как описать народ, у одного него слышится связь, весь быт его народа,

*) Просторечие.

его связь с землею, на которой он живет". Потом он продолжал разговор об истории и советовал читать Cantu „Историю республики" и прибавил: „Histoire universelle" *) Боссюэта превосходна написана, только с духовной стороны в ней не видна свобода человека, которому создатель предоставил действовать хорошо или дурно. Он был ревностный католик. Guizot не хорошо написал „Histoire des révolutions", то слишком феодально, а то с революционной точки зрения. Надобно бы найти середину и написать ярче, рельефнее. Я всегда думал написать географию. В этой предполагаемой географии можно было бы видеть, как писать историю. Но об этом после, друг мой, я заврался по привычке передавать вам все мои бредни. Между прочим, я скажу вам, что мерзавец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с натуры". Но нечасто и недолго он говорил. Обыкновенно шел один поодаль от нас, поднимал камушки, срывал травки или размахивал руками, попадал на кусты, деревья, ложился навзничь и говорил: „Забудем все, посмотрите на это небо!" и долго задумчиво, но как-то вяло глазел на голубой свод, безоблачный и ласкающий.

Одним утром он явился в праздничном костюме, с праздничным лицом. „Я хочу сделать вам сюрприз, мы сегодня пойдем в купол „Петра". У него была серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, точно малина со сливками. Мы рассмеялись. „Что вы смеетесь? Ведь на пасху, рождество я всегда так хожу и пью после постов кофий с густыми сливками. Это так следует". Я ему сказала: „А перчатки?"—„Перчатки,—отвечал он,—я прежде им верил и покупал их на Пиацци [слово не разобр.], но давно разочаровался на этот счет и с ними простился". Ну, мы дошли, наконец, до самого купола, где читали надписи. Видели, что Лазарь Якимович Лазарев удостоил бессмертный купол своим посещением, прочли надпись государя Николая Павловича: „Я здесь молился о дорогой России", и вернулись очень усталые домой. Гоголь сказал нам, что карниз „Петра" так широк, что четвероместная карета

*) Всеобщая история.

могла свободно ехать по нем. „Вообразите, какую штуку мы ухитрились с Жуковским, обошли весь карниз. Теперь у меня пот выступает, когда я вспомню наше пешее хождение, вот какой подлец я сделался. Аркадий Осипович, не угодно ли вам пройтись?“.—„Нет, я пробовал на Александровской колонне и закаялся навеки“. Мы посетили San Clemento, где он нас поставил в углу, велел закрыть глаза и потом сказал: „Посмотрите“. Перед нами предстала знаменитая статуя Моисея, Микель Анджело. Борода почти до ног и рога на голове. Точно он прожил века и глядел в нескончаемую будущность. Потом видела Scala sancta, народ набожно то склонялся, то поднимался, и перед нами таинственная личность этого избранника божия, создателя закона, до малейших подробностей указывающих человеку чисто-на-чисто как нравственные, так и материальные признаки, который за непослушание лишился радости перейти через Иордан и видеть землю обетования. В Лаперанде мы осмотрели гробницы римских принцев. Сколько нехристианской гордости в эпитафиях! С паперти по правую сторону возвышается скромная церковь San Giovanni in Ierusalemo, перед ней пространное зеленое поле, по левую Petro nelle Catone. Ходили на Monte и осмотрели погорелые остатки этой древней и великолепной церкви. J. Robert написал сцену этого бедствия: два монаха с выражением ужаса проходили среди падающих камней и бревен. На Monte под рукой [слово не разоб.] составляют настоящую гору битых посуд, [строчка не разобр.] Патрициев сжигали, но их пепел хранился в колумбариях с надписью каждого. Эти колумбарии и теперь посещаются любопытными. Мы были в одном из них и видели урны, в которых сохранялись эти бренные останки. Даже под носом без стыда унесли урну и лампадки. Мы посетили Santo Onufrio, где похоронен Тассо, но кипариса уже не стало. Гоголь говорил, что вид оттуда с террасы прекрасный, и были ясно видны пять таких деревьев. Это только détail *), но для художника все идет в дело. Ездили часто в Villa Madama, где прелестная „Галатея“ Рафаэля и история Психеи. Villa строена по плану Рафаэля. И он, подобно Микель Анджело, соединил все искусства. Купидоны „Галатеи“ точно живые летают над широкой

*) Частность.

бездной, кто со стрелой, кто с луком. Гоголь говорил: „Этот итальянец так даровит, что ему все удается". В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной страшного суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. „Тут история тайн души,—говорил Гоголь. Всякий из нас раз сто на день то подлец, то ангел". После поездок мы заходили в San Augustino и восхищались ангелами Рафаэля и рядом с церковью покупали макароны, масло и пармезан. Гоголь сам варил макароны, но это у Лепри всего пять минут берет, и это блюдо съедалось с удовольствием. В Риме трудно было достать хорошее мясо. [Шесть слов не разобр,]. Австрийский посол дал мне обед, и графиня [слово не разоб.] мне сказала: „Он очень потратился для вас; у нас будет жареная телятина и салат". Мне кажется, что было лучше, чем теперешнее довольствие. Мы с ним, Перовским и Ханыковым были в Тиволи, любовались кипарисами Трояновых времен, остатками храмов с каскадами, которые падали в маленькое озеро, на котором плавали белые цветы, и cicerone *) мне сказал: „Это цветы del Papa" **). В Риме все или del папы, или all'uso di Francia. Одно, кажется, варенье у Spielman'а называется dolce del Papa ***). Вел. кн. Мария Николаевна с герцогом Лейхтенбергским жили у нашего посланника Потемкина. Он был женат на англичанке. Она была красивая, статная, как заводский конь, но неимела ни малейшего понятия об общежитии, беспрестанно шокировала в[еликую] к[нягиню,] а нас, русских, ни в грош не ставила. Но мы, помимо ее, знакомились и делали себе положение в свете. Тогда была княгиня Белосельская в Риме и задавала ужасный тон. В[еликая] к[нягиня] ее никогда не звала на вечера. Мои дети всякий день играли со старшей ее дочерью, потому что Марусю еще носили на руках. Адина не была хороша, но была преострый и милый ребенок. Она умерла в Петербурге на четвертом году. Вечером мы играли у великой княгини в вист и преферанс: герцог, Матвей Юрьевич Виельгорский и я. Всякий вечер проводил

*) Проводник.

**) Папы.

***) Сладкое папы.

там герцог Фридрих Саксен-Руссенгальский. Он был свеж и хорош.

Гоголь оставил Рим с Языковым, прежде меня. Из Неаполя я поехала, как выше сказано, в Баден-Баден, это первое отечество русских в Германии. Гоголь очутился там и писал мне комическое письмо вышеприведенное. Там была тогда великая княгиня Елена Павловна, великий князь, Свистуновы, Толстая с мужем, Васенька Шереметев, красавец M-r Lu с графиней Гауфельд, которую я знала в Берлине, но по причине ее скандальной жизни ее уже никто не принимал. Николай Киселев жил рядом с нами в rez-de chaussée *), над ним Платонов, напротив них Клеопатра Трубецкая с графом Беарном, которого мы звали „бубновым валетом". В картах он называется Hector de Bearn, comte de Galiard. Он имел право на этот титул и носил его в самом деле. Гоголь вздумал читать мне Илиаду, которая мне страшно надоедала, что он и сообщил Жуковскому. Последний в записочке из Эмса написал мне: „Правда ли, что вы даже на Илиаду топочете ногами?" Гоголь обедал у меня и говорил: „ Я ходил в „Hôtel d'Angleterre", где лучший стол, но мне надоели немцы, которые с грациями поедают всякую жвачку [слово не разбор.]". Великая княгиня Елена Павловна вздумала выдать свою старшую дочь Марью Михайловну за будущего герцога Баденского. Отказано было Брауншвейгскому и другим. Все представлялись ей. Я спросила Николая Васильевича: „Когда же вы подколете ваш сюртук и пойдете к ней?"—„Нет, пусть прежде представится Балинский, а потом уже я, и какая у него аристократическая фамилия". Балинский был мой курьер, родом из Курляндии. Однажды, в два часа пришли меня звать к обеду к ней. Я наскоро оделась и поехала в несносной дилижансе на дачу Герца, где она жила. В гостиной я заметила тревогу в ее штабе, и бедная княгиня Львова мне объявила, что герцогиня баденская будет обедать, а мне места нет. „А где, сударыня, прикажете мне искать обед? У меня уже все отобедали". Тут пришел великий князь, я ему сказала: „Прошу объявить великой княгине, что я остаюсь за обедом вашей супруги, которая только и знает, как бы русских топтать грязью", и преспокойно осталась в приемной. Дверь отвори-

*) В нижнем этаже.

лась, и она вошла с герцогиней. У Аленки лицо покривилось, а герцогиня, протянув мне руку, сказала: „Нехорошо забывать своих друзей“, посадила меня возле себя, лицо великой княгини прояснилось, она уже видела меня своей помощницей и свахой. Эта свадьба не состоялась. Красивый юноша, вкусивший слишком рано развратной венской жизни, окончил жизнь размягчением мозга. Его приезд праздновался с торжеством. В Бадене выстроили ворота, украшенные зеленью и красным миткалем, и везде надпись: свобода в конституции.

Герцог уже жил особняком от жены. Он дал праздник великой княгине, и мы были приглашены. Там была одна фрейлина герцогини в коротеньком черном платье, толстые ляжки ее так и вертелись с толстым камергером, а волосы, причесанные à l'enfant*) разлетались во все стороны. Вдруг замолчала музыка, и все рассмеялись, потому что толстый камергер и его дама нашли нужным довертеться до своего места без музыки. Первый камердинер подошел с подносом, на котором стоял одинокий бокал, и пошел неспешным шагом к великой княгине. Герцог и Гугорт, видимо, были в восхищении от своей выдумки. Это все происходило в Егергаузе. Лев Нарышкин мне сказал: „Дураки, хвастаются, что это все им принадлежит; у меня на Волге гораздо более земли, но она лежит даром. Рубль с десятины, все-таки пятьдесят тысяч десятин дают пятьдесят тысяч рублей“. Думали уважить великого князя и запретили Мицкевичу ехать в Баден, что рассердило великого князя. Он мне сказал: „Что мне за нужда, что Мицкевич будет в Бадене, не съест же он меня!“ Гоголь к нему поехал в Карлсруэ. Вернувшись, он мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Петербурге с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии. Он приехал в Баден, где нашел Алекс[андра] Ив[ановича] Тургенева. Этот смехотвор чуть ли не утонул в Муре и выкупал мой чай, присланный Жучком: „Примите его от Гоголя в знак дружбы и уважения вашего быка, бычка, Васеньки Жуковского“

Гоголь меня все расспрашивал о русских и знакомых мне французах. Иногда ходил в Hôtel d' Angleterre обедать

*) По-детски.

и потом таскался на террасе и в рулетке. Со свойственной способностью все замечать, он узнал княгиню Бетюну. „Ну, сказал он мне, я узнал из вашего описания княгиню Бетюн, и это просто Бетютище. Она спрашивала каждого блюда два раза и выпила до суха две бутылки кислого рейнского". С террасы он принес целый короб новостей: кто прячется за кустами, кто жмурится без зазрения совести, кто проиграл, кто выиграл. „Гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы, исключая вас, князя и княгини Мещерской". Тогда случился Веревкинский скандал, который кончился страшным репримандом. Баденская офицерия порицала герцогиню за ее связь с жидом Герцом. Веревкин заступился, замахнулся на Герца, даже на Зама и условились драться на дуэли из пистолетов. Весь Баден смутился точно как от нравственного землетрясения. Дуэль происходила в Рамтоне на шпагах. Увы, оба дуэлиста лишились жизни. Веревкин наповал, а офицер баденский мучился три дня и умер, как христианин[6]. Монго Столыпин, друг бедного Веревкина, был секундантом и привез его тело в крытой коляске. Все бродили по аллеям и видели этот крытый экипаж, все гостиницы условились не принимать это несчастное тело. Более всех кричал и размахивал руками граф Гурьев. Выписали священника из Штутгардта, его похоронили по обряду нашей церкви. Мы все, кроме Гурьева, присутствовали при этих похоронах. Оплакивали эту кончину и завалили эту бедную, теперь забытую, могилу цветами. По несчастью Александр Трубецкой много тут сплетничал, все могло устроиться. Он вызвал пощечину Веревкина, и после этого дуэль сделалась необходимой. Великого князя это происшествие очень огорчило, и он уехал в Киссинген с Ильей Андреевичем Долгоруким и полковником Философовым. Толстой его опередил для заготовления приличного помещения. В Киссингене он получил письмо от Гендрикова, который сообщал, что милая жена Пашенька умерла [7]. Я тотчас ему написала, зная, что смерть была самым большим огорчением для его любящего сердца. Он отвечал, что ожидал моего сочувствия и был уверен, что, зная Пашу, я оценила его потерю. Великая княгиня не могла терпеть меня, потому что догадывалась, что он поверял мне тайны своего сердца.

Гоголь уехал во Франкфурт. В Кобленце с ним был странный случай. Вечером он выставил сапоги, потому что рано утром пароход выходил в шесть часов. Проснувшись, Гоголь слышит, что все кричат: „Это вы сделали“,—решается высунуть свой длинный нос. Тут все немцы хором закричали: „Он, он это сделал“. Вот, что случилось. Один господин сунул ногу в сапог, но ужас, до половины был полон золотой размазней, он закричал. Один за другим все любопытные высунули свои носы, и он всех огулом обвинял в неожиданной катастрофе. На пароходе вместо дружеских отношений все друг на друга косились.

Мы в своих экипажах отправились в Ниццу и поселились на зиму у Croix de marbre, в доме Masclet. Масклет давно жил в России, и русские охотно у него останавливались. Виельгорские жили в доме Paradis, и Гоголь у них жил.[8] Утром он всегда гулял с Михаилом Михайловичем и Анной Михайловной, обедал то у них, то у меня. „На счет дессерта вы не беспокойтесь,—говорил он,—я распоряжусь“, и приносил фрукты в сахаре. Кухарка кричала во все горло: „M-r Gogo, M-r Gogo, des radis et de la salade des Perès français“ *). После обеда Николай Васильевич вытаскивал тетрадку и читал отрывки из отцов церкви. [1 строка не разобр.].

Он написал мне девять псалмов, и я должна была ему повторять урок так безошибочно, чтобы не запинаться. „Нет, нет дурно,—говорил он иногда,—вас следует наказать в угол“. Эти псалмы писаны хорошим почерком, и я их берегу с его письмами, как сокровища. Он нам читал в Ницце у старухи графини Сологуб „Тараса Бульбу“.

Не раз вздыхал он о бедной Софье Мих[айловне] и говорил: „Ничто не может быть ужаснее, как когда чувство встречается с черствым бесчувствием“. Сцены между Софьей Михайловной и старой графиней были самые комические. Она ей выговаривала, что у нее денег нет и она еще должна за эту шляпку продавщице мод. „Экая беда“—отвечала графиня.

Владимир Александрович [Сологуб] то и дело, что таскался в Меран волочиться за Duchesse d'Istrie, которая была

*) Редиска и французский салат.

еще очень хороша и весьма свободного обращения. Бедная Софья Михайловна все терпела молча, читала библию и занималась детьми. Раз она мне сказала: „Говорят, что любовь слепа. Она—снисходительна и все прощает, все видя и обо всем догадываясь“ [9].

Из Ниццы все потащились на север, я говела в Париже, Гоголь в Дармштадте. Мы съехались во Франкфурте [10]. Он жил в Саксенгаузене у Жуковского, а я в Hôtel de Russie, на Цейле. Несчастный сумасшедший Викулин в Hôtel de Rome, Жуковский посещал Викулина всякий день, платил в гостинице и приставил к нему человека. Викулин пил, чтобы заглушить приступы своей болезни и тем еще более раздражал свои нервы. После визита в Hôtel de Rome, Жуковский приходил ко мне и рассказывал все старые, мне известные, анекдоты. В особенности любил происшествие Jean Paul Richter у герцога Кобургского. „Знаем, знаем“, говорили мы. Гоголь грозил ему пальцем и говорил: „А что скажет Елизавета Евграфовна, когда я скажу, какие гадости вы рассказываете?“ Жену Жуковского приводило в негодование, когда он врал этот вздор.

Я разбирала свои вещи и нашла, что мой portefeuille, саро d'ôpera*) английского магазина был слишком велик и, купив себе новый, маленький, у жида на Цейле, предложила Гоголю получить мой в наследство. „Вы пишете, а в нем помещается две дести бумаги, чернильница, перья, маленький туалетный прибор и место для ваших капиталов“.—„Ну, все-таки посмотрим этот пресловутый portefeuille“. Рассмотрев с большим вниманием, он мне сказал: „ Да это просто подлец, куда мне с ним возиться“. Я сказала: „Ну, так я кельнеру его подарю, а он его продаст этому же жиду, а тот впихнет русскому в тридорога“.—„Ну, нет! кельнеру грешно дарить товар английского искусства, а вы лучше подарите его в верные руки и дайте Жуковскому: он охотник на всякую дрянь“. Я так и сделала, и Жуковский унес его с благодарностью. Гоголь говорил мне: „У меня чемодан набит, и я даже намереваюсь вам сделать подарок“. Тут пошли догадки. Я спросила: „Не лампа ли?“—„Вот еще что! Стану я таскать с собою лампу. Нет, мой сюрприз будет почище“,—

*) Портфель, образцовое произведение.

и принес мне единственную акварель Иванова. Сцена из римской жизни. Купец показывает невесте и ее матери запястье и коралловые украшения. Плотный купец в долгополом гороховом сюртуке, сзади даже отгадывается выражение его лица. Невеста опустила руки и смотрит смиренно, транстиверианин длинного роста, он выглядит глуповато, он в ботфортах с накинутым черным плащем. Писано широкой кистью и [слово не разобр.]. Кажется, он не накладывал краски для эффекту. Я подарила эту акварель в. к. Марии Николаевне, она очень обрадовалась и сказала: „Это будет мой подарок Саше. У государя есть альбом с произведениями лучших акварелистов, но эта всех лучше и ему, главное, будет приятно, что это русская акварель". Я очень рада, что так распорядилась. У меня могла ее украсть моя дочь Ольга Николаевна: она все забирает, бережет, после не отдает. У нее ведь альбом со стихами Пушкина, Вяземского, Плетнева, графини Ростопчиной и Лермонтова. [11] Меня в Калуге очень рассердил священник Петр Степанович, уроженец владимирский, который мне сказал: „Вас в Калуге боятся, потому что Лермонтов вам писал: „но, молча, вы глядите строго" и т. д.

Из Франкфурта Гоголь поехал в Москву, а за ним и я поехала в Питер, и началась наша переписка. Летом я жила в городе, потому что у детей была скарлатина. Петр Петрович [Смирнов] приехал погостить у нас и все разговаривал с своим камердинером Павлом, которого он звал Панькой. Человек был честный и прекрасный и умер скоропостижно, что огорчило старика несказанно. Он отвез его тело в Москву, похоронил его у самой церкви в Картунове и отпустил его семейство на волю, дал им землю, деньги, чтобы завестись домиком, и подарил им две коровы и лошадь. Они были сторожами церкви и гробницы любимого старшего сына. Чтобы развлечь дядю, мы приглашали Вяземского, Виельгорских и Баско обедать. У нас жила немка мамзель Кайзер, настоящая ворона с раскрытым ртом. Баско уселся возле нее, и она сделалась жертвой его шуток. Подали апельсины, она уже начала чистить свой, как он очутился на люстре. После обеда мы повели его в детскую, где он делал ventriloque*): в нем то сыпался сор,

*) Чревовещание.

то валились камни. Петр Петрович—большое дитя, и дети очень забавлялись. Баско в самом деле был самый искусный штукарь. Театр был всегда полон, когда он делал представления, они были разнообразны и всегда новы. Наш курьер Портиччи знал, как он это все творит. Баско взял его в Одессе и с ним доехал в Петербург. Прежде Баско при имп. Павле был в Петропавловской крепости, раз он остановил все часы во дворце. Часовщик как ни вертелся, не мог их завести [три слова не разобр.].

В 1815 году был ventriloque. Имп. Александр Павлович позвал его, и после обеда он делал разные штуки, командовал войску голосом императора. Государь имел привычку отдыхать час в своей спальне. Рядом с спальней была столовая. Волконский приказал Тарабукину оставить уборку и ушел к себе. Но государь услыхал страшный шум, встал и удивился, что никого нет, а шум продолжается. Тогда вышел из передней штукарь и сказал ему женским голосом. Императору хотелось видеть все и всех в Париже, и [он] посетил известную гадальщицу Lenormand. Она раскладывала карты pro forma*), но говорила в сомнамбулическом сне, который вызывала теплой ванной. Она ему сказала, что конец его царства будет очень грустный, что он умрет на юге России, что новое царство его брата начнется спутанно, что его царствование будет длинное. Смешала карты и сказала: „Теперь я вижу пламя, огонь и кровь в день его смерти“. [Одна строчка не разобр.].

У государя был карандаш, подаренный ему Лафатером. Этот карандаш был в красном футляре, государь никогда им не писал. Лафатер занимался какой-то философской тезой и все не мог вывести заключения, когда к нему вошел почтенный старец, дал ему карандаш и сказал: „Вот тебе сентенция: она в евангелии от Иоанна“. Не знаю, где этот карандаш. Это мне рассказывал Михаил Юрьевич Виельгорский. Удивительный человек был этот милый граф. Его библиотека была наполнена разных книг и разных документов, он прочитал всю эту литературу в двадцать тысяч томов, был масон петербургской ложи с другом своим Сергеем Степановичем Ланским. Император был генералом

*) Для виду.

du grand Orient *). Правила этих лож совершенно схожи с иерусалимскими. Виельгорский мне говорил: „Очень хорошо сделали, что их закрыли. Это прекрасное средство держать масонов в повиновении, но это палка о двух концах“. Гоголю было равно ненавистны Ленорманы и масоны.

Зимой 40-го года Гоголь провел месяц или два в петербурге. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном. Разговор был оживленный, раз говорили о щедрости к нищим. Крылов утверждал, что подаяние не есть знак сострадания, а просто дело эгоизма. Жуковский противоречил. „Нет, брат, ты что ни говори, а я остаюсь на своем. Помню, как я раз так из лености не мог есть в английском клубе даже поросенка под хреном“. Императрица всегда желала познакомиться с Иваном Андреевичем, и Жуковский повел его в полной форме библиотекаря имп. Библиотеки в белых штанах и шелковых чулках. Они вошли в приемную. Дежурный камер-динер уже доложил об них, как вдруг Крылов с ужасом сказал, что он пустил в штаны. Белые шелковые чулки окрасились желтыми ручьями. Жуковский повел его на черный дворик для окончания несвоевременной [слово не разобр.]. „Ты, брат, вчера за ужином верно нажрался всякой дряни“. Он повел его в свою квартиру в Шепелевский дворец, там его вымыли, кое-как одели и повезли его домой. Плетнев мне рассказывал, что Крылов всегда в грязном халате лежал на диване, а над ним висела картина, которая покосилась, и он всегда рассчитывал, когда она на него упадет. Весьма немногие знают, что Крылов страстно любил музыку, сам играл в квартетах Гайдна, Моцарта и Бетховена, но особенно любил квартеты Беккарини. Он играл на первой скрипке. Тогда давали концерты в Певческой школе [12]. В первом ряду сидели—граф Нессельрод, который от восторга все поправлял свои очки и мигал соседу князю Иллариону Васильевичу Васильчикову, потом сидел генерал Шуберт, искусный скрипач и математик. Все математики любят музыку. Это весьма естественно, потому что музыка есть созвучие

*) Ложи великого востока.

цифр. Во втором ряду сидела я и Карл Брюллов. Когда раз пели великолепный „Тебе бога хвалим“, который кончается троекратным повторением „Аминь“, Брюллов встал и сказал мне: „Посмотрите, ажно пот выступил на лбу“. Вот какая тайная связь между искусствами! Когда четыре брата Миллеры приехали в Петербург, восхищению не было конца. Они дали восемь концертов в Певческой капелле, играли самые трудные концерты Бетховена. Никогда не били такт, а только смотрели друг на друга и всегда играли в tempo *). Казалось, что был один колоссальный смычек. После обедни в большой церкви в Зимнем дворце, где пели певчие, начиналось пение. Я ездила на эти концерты. Это был праздник наших ушей. Илларион Васильевич Васильчиков говорил: „Важные, чудесные квартеты Бетховена, а я все-таки более люблю скромные квартеты старичка Беккарини. Помнишь, Иван Андреевич [13], как мы с тобой играли их до поздней ночи?“ Гоголь очень любил, но только духовную музыку и ходил к певчим. Певчих набирают со времени Разумовского в Украине с восьмилетнего возраста, голоса этих маленьких трогательны, и в два года они уже готовы петь Бортнянского и Сарти. Придворным хором дирижировал Львов, после него его сын, который сочинил [слово не разобр.] и прочие канты, самые негодные, он сторговался с синодом, велел их разучивать по всей России, что дало ему десять тысяч дохода. Митрополит Филарет горячо жаловался, что испортили наше церковное пение. Теперь это пение под управлением Бахметьева совсем испортилось, и охотники ездят к графу Шереметеву. [Одна строчка не разобр.].

Шереметев ничего не щадит для церкви. Князь Одоевский говорил тоже, что Глинки „Господи, помилуй“ всегда кончается accord parfait,**) как будто обедня кончилась. Это повторение accord parfait очень томительно. Одоевский открыл ключ к древней церковной музыке и ввел ее в домашней церкви графини Протасовой. Я была на этой обедне, которая прекрасна. В соборе Успенья в Москве поют киевским постепенным [sic] напевом. У ранней обедни священники и дьяконы выходят в середину церкви, становятся перед

*) В такт.

**) Заключительным аккордом.

амвоном, у каждого клочок бумаги, на котором крюки. Особенно хороша „херувимская“. Я сообщила это государю, который хотел непременно побывать у Успенья. Я лечилась холодной водой и всякое утро с Каролиной Ив[ановной] ходила в церковь, согревшись скорым шагом после закутывания в мокрые простыни, и становилась у гробницы святителя Ионы.

Но вернемся à nos moutons *), т. е. к Гоголю. Он жил у Жуковского во Франкфурте, был болен и тяготился расходами, которые ему причинял [14]. Жуковскому он был нужен, потому что отлично знал греческий язык, помогал ему в „Илиаде“. Вас[илий] Андр[еевич] просил меня сказать великий княгиня Марии Николаевне, чтобы она передала его просьбу государю. Она родила преждевременно, позабыла мою просьбу и сказала: „Скажите сами государю“. На вечере я сказала государыне, что собираюсь просить государя, она мне отвечала: „Он приходит сюда, чтобы отдохнуть. Вы знаете, он не любит, когда с ним говорят о делах. Если он будет в добром настроении, я вам сделаю знак и вы сможете передать свою просьбу“. Он пришел в хорошем расположении и сказал: „Газета „Des Débats“ печатает глупости. Следовательно, я поступил правильно“. Я ему сообщила поручение Жуковского, он отвечал: „Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть „Тарантас“. Я заметила, что „Тарантас“,—сочинение Сологуба, а „Мертвые души“—большой роман. „Ну, так я его прочту, потому что позабыл „Ревизора“ и „Разъезд“.

В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: „Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы—русский меценат?“ Я отвечала: „С тех пор, как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов“. За словами я не лазила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: „Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия“. За ужином Орлов

*) К прежнему разговору.

заговаривал со мной, но тщетно. Мы остались с ним навсегда в разладе [15]. Я послала за Плетневым, мы сочинили письмо к Уварову и запросили шесть тысяч рублей ассигнациями. Плетнев говорил, что всегда дают половину, у нас уж такой обычай. Между тем мы отписали Гоголю и требовали, что[бы], отложивши лень, он послал Уварову благодарственную писулю, когда получит желаемую пенсию. Я после узнала, что он писал и государю. Получивши тысячу серебром, т. е. три тысячи пятьсот руб., он поехал в Иерусалим [16]. Что он чувствовал у гробницы спасителя, осталось тайной для всех. Знаю, что он мне не советовал ехать в Палестину, потому что комфортов совсем нет.

Он поселился у графа Александра Петровича Толстого в доме Татищева на Никитской [17]. Под весну я была очень больна и лечилась у Иноземцова холодной водой. Гоголь мне советовал бросить это лечение: „Мы с Аркадием Осиповичем поплатились за это лечение". Он мне писал из Грефенберга [18]: „Хорошо ли вы знаете, как Аркадий Осипович лечится в Грефенберге? В пять часов утра его будят, тотчас обливают холодной, как только можно [водой], завертывают его в мокрые простыни и приказывают ему потеть. Но он не слушается, тираны доктора его раскутывают, когда он совсем посинеет и кричит благим матом, после чего его сажают бригадиршей в холодную воду, и он с отмороженной бригадиршей бежит в рубашке и кальсонах к себе. Дамы, все с отмороженными же бригадиршами, гуляют в лесу в длинных мантилиях, так что приличия соблюдаются строго. Из леса все бегут домой, где поедают множество булок и запивают синим снятым молоком. Сливки идут доктору в кофий, или сбиваются в масло. Обед самый гадкий, суп, разварная корова и черносливный компот. Насладившись два месяца такой жизнью, мы простились с гидротерапией навеки. Говорят, что Юлий Кесарь никогда бы не покорил Галлию, если бы не купался в холодной воде. Новые лечения очень стары. За них принимаются, когда испорченность нравов доводит до нервных болезней. Заключение: Ал[ександра] Осип[овна] Смирнова никогда не должна лечить свои нервы холодной водой. Это заключение вы должны написать на лбу, как в дарохранительнице".

Граф Алекс[андр] Петр[ович] был у меня в гостинице „Дрезден", как вошел Хомяков. Они разговорились о политике, религии и об освобождении крестьян. Когда граф уехал, Хомяков мне сказал: „Я вам обязан этим приглашением; до свиданья в пять часов у Толстых". Гоголь пришел ко мне утром и был очень встревожен. „Что с вами Ник[олай] Вас[ильевич]?"—„Надежда Ник[олаевна] Шереметева умерла [19], вы знаете, как мы с ней и с Фонвизиным жили душа в душу? Последние два года на нее нашло искушение: она боялась смерти. Сегодня она приехала, как всегда, на своих дрожках и спросила, дома ли я. Поехала куда-то, опять заехала в дом Татищева, не нашла меня и сказала людям: „Скажите Николаю Вас[ильевичу], что я приехала с ним проститься",—поехала домой и душу отдала богу, который отвратил перед смертью страдания. Ее смерть оставляет большой пробел в моей жизни".

У Толстого был прекрасный русский стол, обедали мы с братом Клементием, Хомяков, Гоголь и хозяин. Хомяков болтал без умолку, был в ударе и смешил нас всех, перебрасываясь с Клементием Ос[иповичем] самыми неожиданными выходками. После обеда подали чай и кофий, который графиня сама разливала и потом уснула. День был жаркий. Граф и Хомяков все говорили об освобождении крестьян, а Гоголь, Лева и Клима ходили со мной по колоннаде и все жаловались на нестерпимую жару. Клима сказал: „Совсем это не жара, а потому что говорят все об одном, спросите Леву, как душно в губернском правлении, все это от того, что все пишут об одном". Клима был тогда в раздраженном положении, впрочем, как и всегда. Он шел с Левой по Кузнецкому мосту в контору дилижансов. Лева ему заметил, что у него поношенный сюртук. „Это ничего,—сказал Клима,—в дилижансе он покажется новым и модным, ведь там ездит всякая дрянь, а в Петерб[урге] я проберусь домой и закажу новое платье, пущусь в свет, буду играть в карты с рябчиком Голицыным".—„А на какие деньги?" спросил Лева.—„На Смирновские, у него все можно взять. Бьюсь об заклад, что с его письменного стола унесу храм Пестума, статую гладиатора, и он не заметит, лишь оставить ему десть бумаги, чернила и перья. Ведь он готовится в губернаторы, а известно, что эти дураки только и делают, что пишут,

пишут всякие материи. Лева, ты читал годовые отчеты губернаторов, такая чепуха, что бог прости, а бедный государь по ночам их читает и карандашом делает отметки. Я никогда не буду губернатором, какой чорт меня принудит сидеть в губернском правлении [слово не разобр.] с Григорьевым и прочей дрянью. Гораздо лучше остаться на веки майором. Этот чин, как и бригадирский, совсем не ценится на Руси. Этот пробел следует пополнить и занять у немцев какое-нибудь длинное слово".

Клима поселился с Николаем Скалоном и Аркадей. К ним часто ходил князь Иван Гагарин, и в городе толковали о неурядице в доме Пушкина [20]. Гагарин вышел от них в смущении и сказал: „Гаже анонимных писем ничего не может быть". Он уже получил свое, написанное незнакомым почерком. Вслед за ним братья, Скалон, Карамзины, Вяземский, Жуковский, Виельгорский, даже государь получили эти злополучные письма [21]. Кого подозревать? Все единогласно обвиняли банкаля Долгорукова, он один способен на подобную гадость [22]. Его последняя пакостная история с почтенным стариком Левенштерном закрыла ему вход во все дома. Оказалось, что они были точно написаны им, и этот мерзавец обвинял князя Ивана Гагарина. Уверяли даже, что он от этого сделался иезуитом. После несчастной дуэли с французским авантюристом Дантесом, последовала страдальческая смерть Пушкина. Государь, один государь показал истинное горе и участие. При его постеле дежурили постоянно Жуковский, Вяземский, Скалон и мои братья. Даже Ося приехая из Стрельны. Они несли его гроб в Конюшенную церковь [23]. Похороны посетили все послы иностранных дворов. Граф Фикельмон дал первый толчок этому движению. Народу было большое множество. Гоголь неутешно оплакивал эту смерть. Россия чувствовала, что замолкла ее лира. Громовое известие дошло до меня в ложе Китти Тюфякиной на первом представлении „Гугенот". Николай Киселев мне сообщил, он был очень дружен с Пушкиным и был, видимо, огорчен [24]. „Наши немцы одни совершенно не принимают никакого участия в русском горе". Но он ошибся. Когда Медем был послан министром при австрийском императоре, княгиня Меттерних позвала его обедать и сказала, что будет Геккерен, друг Дантеса. Медем отвечал: „Madame,

выбирайте между Голландией и Россией", никогда не встречал Геккерена и называл его мерзавцем. „Он не должен жить: он нарушил законы природы. Голландия должна стыдиться, что у нее такой посланник". Этот подлец жил и умер в совершенном одиночестве в Голландии. Он был сродни со всей аристократией, но ни одна душа не почтила погребальную процессию даже Дантес не поехал к своему папеньке, и его похоронили, как собаку [25].

Зимой мужа моего назначили губернатором в Калугу [26]. Он вывез всю нашу мебель, закупил много посуды, люстры и аплике на сто человек и отправился в Калугу. Я переехала на квартиру Карамзина на зимние месяцы, получила от Гоголя письмо, в котором он просит не смущаться предстоящей новой жизнью. „Вы можете сделать много добра, в моих советах не будет недостатка, замечайте со вниманием все. [Семь слов не разобр.]. Утешайте себя возможностью делать плодотворное добро". Приезд мой в Калугу был новой эрой в моей жизни. Я никогда не была в русской губернии. Сама природа была другая. Из Москвы все время едешь в гору по лесным дачам и болотам. Детей с m-lle Овербек послали вперед, они ночевали у помещика Чирикова, где их приняли с почетом. Я выехала с братом Львом Арнольди. Он один был в двуместной карете, и повар Сильвио сидел сзади под канатом и смотрел с удивлением на шоколадную размазню, которая называлась большая дорога. Я ехала сзади в четвероместном рыдване с княжной Цициановой, моей девушкой Ленхен и с Аннушкой, фактотумом княжны. Мы ночевали у уездного предводителя, которого не посадили, а заставили стоять у притолки, не представляя, что он не только персона, но даже особа. Мы поехали в монастырь к обедне, но опоздали, помолились и получили благословение служившего отца Антония. Он нам показывал ядра, сложенные в груду за стенами, все стены были испещрены ядрами французской артиллерии, которая была разбита в прах. Я вспомнила стихи Мятлева:

Хотите ли вы знать,
Как m-r Наполеон выгнал вон,
И как встретили мы друга
Comme за la ville *) de Калуга...

*) Как за городом.

Предводитель предложил ехать вперед и прокладывать мне дорогу, потому что Афанасьевы луга не безопасны. Княжна смеялась и говорила: „Ну, честное слово, он хочет получить на чай“. К вечеру мы дотащились до полдороги и ночевали на сене и подушках. Лева развалился в дормезе, а Ольга в передней. Утром рано поехали, в два часа въехали по Московской улице в столичный город Калужского воеводства, в котором в полном значении этого слова воевал Смирнов. Калуга до приезда Екатерины была воеводством, последний воевода был Телепнев.

Екатерина устроила генерал-губернаторство, назначила Кречетникова и создала новую эпархию. Первым епископом был Евлампий, болезненный, прямой человек и очень святой жизни. Его замечательный портрет украшает гостиную преосвященного Николая, теперешнего епископа. Волоса черные, как смоль, лицо строгое, совершенно монашеское. Старичек Никитич, который всегда служил на больших банкетах, мне рассказывал любопытные вещи о тогдашней жизни. М[итрополит] Платон спросил у Евлампия, что он думает о христа-ради юродивом Лаврентии, по нем служат панихиды и молебны, и делаются чудеса. „А как вы думаете, не пора ли его вынуть из под спуда?“—„Не знаю, как вам угодно“. „—Мы было думали, что явление его мощей привлечет богомольцев и оживит торговлю, но лучше повременить, неравно Лаврентий законфузится, в этих делах лучше все предоставить мудрости божией“. Лаврентий и до сих пор под спудом, но его образ висит в каждом калужском доме. Мы потащились по Московской улице, когда нас встретила карета Ник[олая] Мих[айловича], лежащая на боку, и лакей Алексей был погружен в рассуждение о случившемся репримянде. Мы подъехали к губернаторскому дому, красивой наружности. Дети выбежали ко мне навстречу, и Владимир Яков[левич] Ханыков приглашен был к обеду. Я села за клавикорды, и княжна мне сказала: „Понимаю, это уж с горя“. К обеду был приглашен мой провожатый, исправник. Я тотчас по приезде спросила Ник[олая] Мих[айловича]: „Я полагаю, что довольно, если я заплачу ему пятьдесят руб.“. Он так и ахнул: „Ведь это дворянин и служит бесплатно по выбору всего уездного дворянства“. На другой день Ник[олай] Мих[айлович] посвятил меня в компликацию

служебной иерархии, я не подозревала, что огромная Россия поддерживается такими тузами, как председателями гражданской, уголовной, казенной палат, что есть такое судилище, как губернское правление, что есть совестный судья, пробирмейстер, врачебная управа, которая отличается во время рекрутского набора и набивает себе карманы. Мелкопоместные дворяне тоже украшают своим присутствием город Калугу и селятся на Московской улице. Эта улица составляет род Faubourg St. Germain *). На следующий день мне дали лист и послали делать визиты по иерархическому порядку. Первый визит, конечно, был к архиерею, преосвященному Николаю. Я подъехала с матушкой, которая не выходила. Мне казалось, что везде меня подвозили к заднему крыльцу. Эти визиты нагнали на меня скуку и тоску. Я все это описала Гоголю, и он остался очень доволен моими сведениями.

Весной он выехал из Москвы с Левой и Климой. Последний на одной станции потерял тарантас, который пропал без вести. А Гоголь и Лева остановились в Малом Ярославце [27] менять лошадей. Городничий спросил брата: „Кто этот господин, ваш попутчик?“—„Это Гоголь“.—„Как Гоголь, тот самый, который написал „Ревизора“?—„Да“.—„Ну, так, пожалуйста, представьте меня ему“. Мы уже перебрались в загородный дом и назначили помещение Гоголю в домике, где жил Нелединский. Он был очень доволен устройством комнаты и говорил: „Вид прекрасный, под ногами прозрачная речка, а затем этот великолепный бор“. Ему служил Афанасий, который тотчас потрафил свою должность. Гоголь вставал в пять часов, пил кофий в восемь, запивал его холодной водой. Это служило для него лекарством. К нам он являлся в два часа. В воскресенье он пил кофий с нами и приходил в полном параде, в светло-желтых нанковых панталонах, светло-голубом жилете с золотыми пуговками и в темном синем фраке с большими золотыми пуговицами и в белой пуховой шляпе. Он купил эту шляпу в рядах, куда сопровождал его Лева, старую шляпу он оставил в лавке. Все рядовые один за другим пробовали эту шляпу, нашли, что его голова была более

*) Аристократическое предместье Парижа.

других, потому что он писал такие умные книги, и решили поставить ее под стеклянным колпаком на верхней полке счастливца, у которого великий писатель купил шляпу. Я, чаю, она и теперь стоит на этом месте. Из рядов они пошли в книжную лавку, где нашли тридцать томов, в том числе и его сочинения, в мусака переплете. Наш переплетчик все переплетал очень дурно в этот цвет. Если он приходил, люди докладывали, что пришел „мусака“. Гоголь, где бы ни был в России и за границей, заходил в книжную лавку и перелистывал каталог. „Это, говорил он, самый верный пробный камень умственного развития города. Где в Германии две и три тысячи книг, в России в губернских городах тридцать или много сто книг“. В Москве он всякий день ходил к Ферапонтову на Никольской. Там он встречал коротенького и плотного человека, по выбору книг и по произношению он догадался, что перед ним Михаил Семе[нович] Щепкин, ударил его по плечу и сказал: „Гей чи живы, чи здоровы, уси родичи гарбузовы“. [28]. Это оригинальное знакомство кончилось дружбой самой тесной. Я часто ездила с ним в Лаврентьевскую рощу, он вытаскивал тетрадку и записывал виды. Скромный архиерейский дом осеняла Лаврентьевская роща, и в самом деле пейзаж был великолепный. „So rueful and calm“ *). Перед моим отъездом он мне дал записку, кого отыскать в Москве. Я познакомилась через Александра Ив[ановича] Тургенева с Екатериной Ал. Свербеевой,. Хомякова я и прежде знала, и он писал ко мне стихи: „От роз ее название“ и etc, etc. С Константином Аксаковым произошла комическая сцена. Он пришел в десять часов утра в зипуне на красную кумачевую рубашку, подпоясанный пестрым кушаком, с ермолкой в руке. Перекрестился, и я тотчас ему сказала: „Что это за костюм?“ Обиженным тоном он ответил: „Сударыня, вы в костюме, а я хожу в русском платье“. Вечером мы были собраны у Хомякова, Шевырев, Погодин, Аксаковы и князь Дмитрий Хилков. Разговор был литературный, решили, что лучшие прозаисты духовные писатели, хорошо знакомые со славянским языком; перешли к поэтам, все сошлись, что выше, вдохновеннее Пушкин, но князь Хилков сказал, что

---

*) Так грустен и спокоен.

не всегда. Аксаков вскочил, вспылил и цитировал несколько пьес, все невпопад. Когда он прочел „Пророк“ и его „Ответ митрополиту Филарету“, Хомяков сказал: „Вот это так поэзия. Кто же, по вашему, поэт?“.—„Царь Давид и все пророки, особенно Исайя“.—„Так после этого с вами нельзя спорить“.—„Да я вас и не просил“, отвечал очень хладнокровно князь Дмитрий. Все расхохотались, а Аксаков уселся и что-то бормотал про себя.

В конце лета Гоголь предложил нам собраться в два часа у меня [29]. Граф Алексей Толстой сослан был в Калугу с сенатором Давыдовым для ревизии нашей губернии. Он [Гоголь] читал нам первую главу второго тома „Мертвых душ“, всякий день в два часа. Тентетников, Вороново-Дряново, Костанжогло, Петух, какой-то помещик, у которого было все на министерскую ногу, причем он убивал драгоценное время для посева, жнитвы и косьбы и все писал об агрикультуре. Чичиков уже ездил с Платоновым, который от нечего делать присоединился к этому труженику и вовсе не понимал, что значила покупка мертвых душ. Наконец, приезд в деревню Чаграновых, где Платонов влюбился в портрет во весь рост этой петербургской львицы. Обед управляющего из студентов с высшими подробностями. Стол был покрыт: хрусталь, серебро, фарфор саксонский. Бедный студент запил и тут высказал то, что тайно подрывало его энергию и жизнь. Сцена так была трагически жива, что дух занимало [30]. Все были в восторге. Когда он читал главу о Костанжогло, я ему сказала: „Дайте хоть кошелек жене его, пусть она шали вяжет“ [31]. „А,—сказал он,—вы заметили, что он обо всем заботится, но о главном не заботится“. Гоголь уехал в Москву, где через Ивана Вас[ильевича] Киреевского узнал, что в Оптиной пустыне, в скиту, живет знаменитый отшельник и молчальник. Он к нему неоднократно ездил, его [так] измучил своей нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать [32]. Мне осталось неизвестным, каких советов он просил у него. В то же время у графа Толстого он познакомился с ржевским священником Матвеем Александровичем и был с ним в частой переписке [33]. Матвей Алек[сандрович] был точно замечательный человек. Кротость и смирение его были ни с чем несравнимы. Он ездил в Петербург, где живал

у Татьяны Борисовны Потемкиной; на все философски-религиозные разговоры он отвечал только одной коротенькой фразой: „Как я рад, что бог всего выше“. С Гоголем они молились всегда на коленях и часто прибегали к исповеди и причастию. После долгого мясоеда, настала страстная неделя. Нащокин и Щепкин позвали Гоголя на блины в пятницу в трактир Бубнова. Когда они за ним пришли, он наотрез отказался. Щепкин начал кощунствовать. Он его взял за ушко: „Ты когда-нибудь будешь за эти слова раскаиваться, смотри, чтобы не было поздно“. После этого настали предсмертные [sic]. Матвей Александрович приехал из Ржева, и с ним он соборовался в присутствии Толстых. Граф и графиня, и Нащокин плакали навзрыд, потом стал исповедываться и в последний раз вкусил хлеба жизни вечной в земле преходящей. Призваны были доктора: Овер, Иноземцев. Ежеминутно знакомые и незнакомые приходили за известиями. Всем известны последние слова этой кроткой души; „Оставьте меня, мне хорошо“ и его рисунок, который никто не понимает. Он скончался через три дня тихо и сжег главы второго тома [34].

Согласно с его желанием, Толстые хотели сделать скромные похороны, но весь университет поднялся и требовал настоятельно, чтобы его отпели в университетской церкви, оттуда студенты несли его на руках в Данилов монастырь. За гробом тянулись попарно его друзья в слезах и похоронили его на монастырском кладбище при огромном стечении народа. [35] Погодин выбрал надпись из пророчества Исайи: „Горьким смехом моим посмеюся“. Я посетила эту могилу. На черной плите золотыми буквами гравирована надпись и далее год его смерти. С ним рядом лежит Хомяков, Языков и молодой Валуев, юноша двадцати двух лет уже успевший оставить потомству замечательные слова в журнале „Беседа.“ Еще до масленой Гоголь мне написал твердой рукой записку. Я была больна. Он писал: „Не смущайтесь, вы воскреснете от болезни, повторяйте слова вашего друга майора Филонова, который, как вы мне сказали, повторял неустанно: „Христос воскресе, христос воскресе.“ Прощайте, добрый друг, Христос с вами и ныне, и присно, и во-веки веков да будет“. Графиня Толстая вместо письма написала мне: „Смерть оставила нас сиротами,

одно утешение повторять слова Ефрема Сирина". У меня это письмо сохранилось, но теперь оно не под рукой у меня, я его найду и сообщу вам. Переписка с ним вся в порядке и сохранности, из нее сделал выписки Кулиш с моего соизволения, а напечатал, не спросясь меня. На Гоголя имел большое влияние протоиерей Павловский, почтенный и добрейший священник, когда Гоголь жил у Репниных в Одессе. Плетнев сообщил Жуковскому эту неожиданную горесть. Выписываю его письмо мало известное, и вероятно, почти всеми забытое. Вот оно. „Баден. 17/5 марта 1852 года. Любезнейший Петр Александрович, какою вестью вы меня оглушили, и как она для меня была неожиданна. Весьма недавно я получил письмо от Гоголя и собирался ему отвечать и хотел дать ему отчет в моей теперешней стихотворной работе, т.е. хотел поговорить с ним подробней о моем „Жиде," которого содержание ему было известно, который пришелся бы ему особенно по сердцу и, занимаясь которым, я особенно думал о Гоголе... и вот уже его нет. Я жалею о нем несказанно особенно для себя. Я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении. Теперь мой литературный мир ограничивается четырьмя лицами: двумя мужского пола и двумя женского: к первой половине принадлежите вы и Вяземский, к последней—старушка Елагина и Зонтаг. Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь! Жалею об нем еще для его начатых и недоконченных работ. Для нашей литературы—он потеря незаменимая. Но жалеть ли о нем для него? Его болезненная жизнь была и нравственным мучением. Настоящее его призвание было монашеское. Я уверен, что ежели бы он не начал свои „Мертвые души", которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступил в эту атмосферу, в которой душа его дышала бы свободно и легко. Его творчество по особенному свойству его гения, в котором глубокая механхолия соединилась с резкой иронией, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорило его с самим собой. По крайней мере, так это мне кажется из тех обстоятельств, предшествовавших его смерти, которые вы мне сообщили.

Гоголь, стоящий четыре дня на коленях, окруженный образами, говорящий тем, которые о нем заботились: „Оставьте меня, мне хорошо“,—как это трогательно! Нет, не вижу суеверия.. Это набожность человека, который с покорностью держится установлений православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу в последние минуты, я не знаю, но он молился, чтобы успокоить себя, как молились многие святые отцы нашей церкви и, конечно, в эти минуты ему было хорошо, как он сам говорил. Путь, которым он вышел из жизни, был самый успокоительный и утешительный для души его. „Оставьте меня, мне хорошо.“ Так никому по себе неизвестно, что хорошо другому по свойству, и эта молитва на коленях четыре дня уже есть нечто вселяющее глубокое благоговение, так бы он умер, если бы, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье. Где он жил в последнее время в Москве? Верно ли, что у графа? Если так, то бумаги в добрых руках, и ничто не пропадет. Надобно нам, его друзьям позаботиться об издании его сочинений полном, красивом, по подписке в пользу его семейства: у него мать и две сестры живы. Если публиковать по подписке, то она может быть богатая. Позаботимся об этом. Если я был бы в России, то бы дело разом закипело. Между тем от себя напишу Толстому. А вас прошу сообщить как можно более подробностей о его последних минутах. Ваш Жуковский.“

Маркевич мне говорил, что во время похорон с трудом он пробирался в толпе, полиция была вся на ногах, жандармы с озабоченными лицами рыскали во все стороны, как будто в ожидании народного восстания. Он нарочно спросил у жандарма: „Кого хоронят?“ а тот громовым голосом отвечал: „Генерала Гоголя“. Это уже чисто русская оценка заслуг отечеству.

Тургенев в Петербурге напечатал самую нелепую статейку,[36] чтобы почтить человека, которого он уважал и любил, зная его лично. Государю эту статью представили, как манифест партии „пиджаков и общинного начала“, его засадили прямо в съезжую. Алексей Толстой посредством ныне царствующего государя добился до его избавления от двух недельного страдания слышать, как секла благородная российская полиция

пьяных мужиков и баб, забывая, что и она причастна тому же греху. Ему велено было жить в Орловской деревне и не писать. В этом уединении он написал свои лучшие повести: „Гамлет Щигровского уезда“, исполненную трагического интереса „Муму“ и „Постоялый двор“, которые через два или три года были напечатаны. Его chef d'oeuvre „Бежин луг“, где так живо чувство русской природы. Раз в Спасском я сидела по вечерам у окна в светлую ночь и подслушивала то, что французы называют bruit de silence *), видела подпасков, стерегущих лошадей. Тургенев был у Гоголя в Москве, тот принял его радушно, протянул руку, как товарищу, и сказал ему: „У вас есть талант, не забывайте же: талант есть дар божий и приносит десять талантов за то, что создатель вам дал даром. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное—не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть скорее создастся повесть в вашей голове и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно марал свою поэзию, его рукописей теперь никто не поймет, так они перемараны“[37]. Николай В[асильевич] сердился, когда ему говорили, что „Бежин луг“ и „La petite Fadette“**) схожи. Он вообще не любил Georges-Санда. Когда мы были в Тиволи, Ханыков вечером читал вслух „Lettres d'un voyageur“, Гоголь, видимо, расстроенный ушел. На другой день я его спросила, зачем он ушел. Он отвечал: „А вы разве любите, когда играют фальшиво на скрипке? У этой женщины нет искры правды, даже нет чутья истины. Она может только нравиться французам“. В 1848 году печатался роман Достоевского „Макар Девушкин“, который огорчил покойника. „А у него есть большой талант, жаль, что его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыносимое чувство безотрадной грусти“. Скончался Гоголь, литература облеклась в траур.

Почтенный наш священник Попов писал мне из Лондона: „Странная судьба наших поэтов-философов и философов-поэтов, они как будто не уживаются на нашей земле и отлетают на крыльях голубиных в лучшую страну.

---

*) Звуки тишины.

**) Маленькая Фадетта.

С Пушкиным мы лишились великого поэта, с Гоголем— великого писателя".

Теперь следует вас просить некоторые вставки. В бытность свою в Калуге, он [Гоголь] читал с восторгом Палласса, восхищался его познаниями в геологии и ботанике. „С ним я точно проехался по России от Питера до Крыма. Потом возьмусь за Галлена."—Вторая вставка. Когда он приехал с Максимовым в Калугу, от Москвы до Калуги они останавливали тарантас и собирали цветы и завалили экипаж ими. В Калуге остались три дня, сушили травы и наклеили их-как следует. Они останавливались по дороге ночевать только в монастырях до Киева, где Максимович уже был професором. В Киеве Николай Васильевич говел, оставался недолго и поехал на лето в Васильевку, где с нетерпением ожидали его мать и сестра. Он сеял и сажал деревья и кусты и выучил сестер, как это делать. Привез им как руководителя книгу Храповицкого о „Сельском хозяйстве", которую считал истинным сокровищем[38].

А теперь, прощайте. Иди же моя рукопись на суд публики и назидай новое поколение, уклонившееся с прямой дороги. Слава бессмертного христианина, точно как смерть первых христиан—мучеников, не должна пропадать даром. Теперь вопрос, где печатать эту меморию и как назвать ее. Я думаю, что, как ни пакостен Бартенев, надобно поддержать его „Архив" ради того, что он первый собрал много историко-анекдотических сокровищ. Выручка в пользу славянской братии. Это будет моя первая лепта. [Одна строчка не разобр.]. Мои мемуары пишутся, я уж добралась во дворец. Иезуит Гагарин мне советовал писать, как попало, без систематического порядка, главный недостаток, что я [путаю] числа и года важных моментов для критики русской. Итак, почитайте „Записки" новейшей девицы Дуровой.

„С богом во Францию", вскричал Joinville.
С ним и я повторяю: „С богом в Россию".

Париж 2 октября 1877 г.

Третья вставка: Гоголь часто вспоминал свое детство в Васильевке. Описывал хаты с палисадниками, перед которыми росли деревья, украшенные богатыми черными

сливами и черешнями. Он особенно был счастлив в самые жаркие июльские дни. Пяти лет он лежал на густой траве, заложив руки под голову и задрав ноги. „Солнце палило. Тишина была как-то торжественна, я будто слышал стук времени, уходящего в вечность. Кошка жалобно мяукала, мне стало нудно (по-малороссийски нудно, что по-русски грустно), я встал и [слово не разобр.] распорядился взять ее за хвост и спустить ее в колодезь, что подле речки. Начали искать бедную кошку, я признался, что ее утопил, начал раскаиваться и упрекал себя, что лишил божью тварь наслаждений этой жизни". Это делал он в пять лет. Какая глубина чувства[39]. Их домашним доктором был Трохимовский. Он, по-своему, лечил давно до Грефенберга холодной водой, вся процедура происходила у реки на солнце, не было ни завертывания в мокрые простыни, ни душа, раздражающих спинной мозг. Лекарства его составлялись из трав, которые росли в его околотке.

„Бог, говорил доктор, так щедр и милосерден, что дает человеку на его потребу и в свое время, что ему нужно на пищу и на его здоровье".

У Гоголя точно была тетка и двоюродный брат, который бил мух хлопушками. Ссора Ивана Ивановича с соседом тоже взята с натуры. Вот, кажется, все пробелы. Нет, таки еще не кончено! Когда дело шло о воспоминаниях малороссийских, у него было все картинно. Вот как [четыре слова не разобр.] он рассказывал захождение солнца: „Солнце при закате, плечистый хохол с чепруном на макушке летит во весь опор без следа на лошади, за ним бежит хромоногий пес, оглядываясь назад, как будто боясь, чтобы не отстал от кобылы жеребенок. Журавли их провожают и на розовом небе летят в чинном порядке и кажутся красивыми платочками". (Вы помните, что в „Тарасе Бульбе" он не забыл эту деталь). Весь рассказ еще живее и картиннее. Не вычеркивайте побочных подробностей о других. Мне кажется, что вводные лица, как в комедии, пополняют общее впечатление и не надо, чтобы записки были монотонны.

Еще вот что. Гоголь давал своим героям имена все вздорные и бессмысленные, как в наших водевилях. Он всегда читал в „Инвалиде" статью о приезжающих и отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в

„Инвалиде“, когда они писали памятки. У них уже была напр. довольно длинная рацея:

Михаил Михайловича Сперанского
и почт-директора Ермолаиского,
Апраксина Степана,
большого болвана,
И князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра.

Они давно искали рифм для Юсупова.
Мятлев вбежал рано утром с восторгом: „Нашел, нашел“:

Князя Бориса Юсупова
И полковника Арапупова.

И[мператор] Николай Павлович велел переменить неприличные фамилии.

Между прочим Заас выдал свою дочь за рижского гарнизонного офицера Ранцева. Он говорил, что его фамилия древнее, и потому Ранцев должен присоединить фамилию Заас-Ранцев. Этот Ранцев был выходец из земли Мекленбургской [три слова не разобр.]. Он поставил на вид, что он пришел в Россию с Петром III и его фамилия знатнее. Все смеялись. Но государь, не размышляя, просто велел Ранцеву зваться Ранцев-Заас. Свекор поморщился, но должен был покориться воле своего императора. Гоголь восхищался этим рассказом и говорил: „Я так постараюсь поднести это публике, известить их, что „Инвалид“ в фельетоне заключает интересные сведения. Мы в Калуге с Левой ежедневно читали эту интересную газету и вычитали раз, что прапорщик Штанов приехал из Москвы в Калугу, через три дня узнали, что он поехал в Орел. Из Орла он объехал наш город и поехал прямо в Москву. Из Москвы в дилижансе в столичный город Санкт-Петербург. Так было напечатано слово в слово в фельетоне „Инвалида“. Оттуда прямо в Москву, а из Москвы в Калугу, а из Калуги в Орел. Мы расчитали, что прапорщик Штанов провел на большой дороге отпускные двадцать один день. А зачем он делал эти крюки, это неизвестно и осталось государственной тайной“. Это заключение принадлежит Николаю Васильевичу и делает честь его прозорливости. Штанову-то следует рыскать по России.

Примечания к „Автобиографии“ А. О. Смирновой.

Архив А. О. Смирновой находится в Рукописном Отделении Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве (№№ 4612/1—63).

Все собрание А. О. Смирновой может быть разделено на несколько групп. Основную из них составляет автобиография, к которой Смирнова возвращалась неоднократно. Она сама наметила в ней два основных раздела: повествование о детстве и юности и баденский роман с Н. Д. Киселевым. Первый ряд тетрадей (№ 21, 25, 34, 41, 46, 48, 49, 51) гораздо малочисленнее последующего, но гораздо более отделан А. О. Смирновой. Так тетрадь № 25 представляет из себя как бы сводку всех рассказов Смирновой о начальном периоде ее жизни. Группа баденских тетрадей (роман с Киселевым) имеет огромное количество вариантов (тетради №№ 1—9 включительно, 18, 21, 28, 31, 36, 43, 47, 58). Все эти тетради очень близко подходят друг к другу по содержанию и имеют в большинстве случаев один и тот же эпиграф: «О, память сердца...» Нельзя не указать, что Смирнова выработала себе в повествовании определенный трафарет, некоторые loci communes, благодаря чему ее повествование приобретает большую устойчивость. Одни и те же части его с небольшими вариантами повторяются в большом количестве тетрадей. Использовав в основном вышеназванные группы тетрадей, редактор оставил в стороне лишь тетради №№ 50 «Скандальная история вел. кн. Елены Павловны» и тетрадь № 39, заключающую в себе «Воспоминания о митрополите Филарете». Все остальные тетради представляют из себя литературные труды Смирновой: разрозненные выписки из исторических книг и трудов по искусствоведению, переводы с немецкого и французского языка, наброски воспоминаний, греческие упражнения. Хронологическое разделение тетрадей Смирновой по почерку дает возможность считать наиболее ранними тетради №№ 10, 11, 51, 47 и 21-ую, где находится первый набросок автобиографии Смирновой. Все тетради, касающиеся баденского эпизода, написаны приблизительно одним и тем же почерком. С годами почерк Смирновой становится все более и более неразборчивым: мельчают буквы, выпадают целые слоги. Очень характерна в этом отношении

тетрадь № 48, которая была в руках Ольги Николаевны Смирновой, но которую она, повидимому, даже не рискнула прочесть из-за палеографических трудностей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава I.

«Родословная А. О. Смирновой, рожд. Россет» *).

1. Заглавия в тетради не имеется. Материал взят из тетради № 4612/25, нумерация которой начинается со страницы 31. «Родословная Александры Осиповны Смирновой, рожденной Россет», но в гораздо менее полном и связном виде, имеется в тетради 4612/5.

2. В тетради 4612/5 сказано: «Отец мой был вольтерианец. Однажды он начал богохульствовать перед матерью, та дала ему пощечину. Не желая выносить такой обиды, он тотчас ушел из дома, взяв с собою один дорожный мешок».

3. Отец А. О. вступил мичманом 29 марта 1788 г. (Формулярный список в прилож. к «Запискам А. О. Смирновой», «Федерация», М. 1929, стр. 406).

4. Николай Семенович Мордвинов (1754—1845), был действительно человеком просвещенным, проповедником освобождения крестьян. Рылеев посвятил ему оду «Гражданское мужество», Боратынский—несколько строк в одном из посланий к Гнедичу, Плетнев—«Долг гражданина», в 1825 г. Пушкин—послание, оставшееся неоконченным.

5. В вышеуказанном формулярном списке О. И. Россета сказано: «Августа 12-го (1788) взят был штаба князя Потемкина Таврического флигель-адъютантом и определен в бомбардирский катер № 3 командиром». В том же формуляре указывается, между прочим, что Россет «во владении крепостных душ не имеет».

6. В действительности О. И. Россет получил за Очаков орден св. Владимира 4-ой ст., Георгием же был награжден за штурм при Измаиле.

7. Герц. Арм. Эм. Ришелье не в 1808, а в 1803 году был назначен губернатором Одессы. (Leon de Crousaz Crétet. — «Le duc de Richehlieu en Russie et en France».)

8. Маркиз Габриель Кастельно прибыл в Россию в царствование Павла I, в 1820 г. выпустил «Essai sur l'histoire ancienne et moderne de la Nouvelle Russie».

9. Смирнова неверно указывает возраст отца, Осипу Ив. Россет (род. 1760 г. ум. в Одессе 11-го декабря 1813 г.) не могло быть 55 лет. (См. «Формулярный список», напеч. в «Записках Смирновой», «Федерация» М. 1929 г., стр. 406).

---

*) В виду того, что текст «Автобиографии» написан то по-русски, то по-французски (лишь «Воспоминания о Гоголе» написаны сплошь по-русски), не представилось возможным всякий раз оговаривать перевод.

Глава II.

«Бабушка Ек. Евс. Лорер».

1. Материал взят из тетради 4612/25.

2. О деятельности И. И. Лорера известно, что, будучи советником Вознесенского губернского правления, он составил подробное описание Одессы в 1799 году по поручению ген. Бердяева.

3. Тот же эпизод А. О. рассказывала Я. П. Полонскому, с той только неточностью в его записи, что дело шло не о матери Смирновой, а об ее бабушке. «Рассказы Смирновой в записи Полонского». («Голос Минувшего» 1917 г., №№ 11—12, стр. 168).

4. «Старосветские помещики» Гоголя.

Глава III.

«Ранние воспоминания».

1. Материал взят из тетради 4612/25.

2. Клементий Ос. Россет (1811—1866), Иосиф Ос. Россет, Аркадий Ос. Россет (1811—1881), последний из Россет—Александр-Карл.

3. Мария-Каролина, королева Неаполитанская; Смирнова в «Дневнике» записала, что она «царствовала и распутствовала». («Записки Смирновой», «Федерация», М. 1929, стр. 292).

Глава IV.

«Смерть отца».

1. Материал взят из тетради 4612/25.

5. Leon de Crousaz Crétet в своей книге «Le duc de Richelieu en Russie et en France» (Paris 1897) упоминает про Россет, что он посадил в Одессе первое дерево—тополь (стр. 60) и указывает, что во время чумы он вместе с герцогом и аббатом Николем обходил город (стр. 114).

3. Было ли у Россет в действительности такое состояние—трудно сказать. Из достоверных источников известно лишь, что Россету принадлежала типография. „Частные и театральные объявления печатались в единственной типографии, принадлежавшей коллежскому советнику Россету. По смерти Россета вдова его предложила купить ее дюку для города. Типография была куплена за 4 тысячи рублей». («История Одессы». Записки Одесского Об-ва Ист. и Древн. т. III, стр. 392). В связи с этим возможно и неверно то, что Смирнова говорит о своем имущественном положении.

Глава V.

«На хуторе».

1. Материал взят из тетради 4612/21 стр. 2 об.—8 об.
2. Ришелье оставил Одессу 26 сентября 1814 г.

Глава VI.

«Le diable boiteux».

1. Материал взят из тетради 4612/25, стр. 46-47 об.
2. У Смирновой были очень тяжелые отношения с отчимом, проходящие, как красная нить, сквозь всю автобиографию. Возможно, что этот факт воспрепятствовал до некоторой степени ее дочери печатать полностью записи.

Глава VII.

«У бабушки в Грамаклее».

1. Материал взят из тетради 4612/25, стр. 41-52.
2. V-ая глава «Евгения Онегина», строфа XXV:

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.

А в авторском примечании Пушкин прибавляет: «Пародия известных стихов Ломоносова:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою... и пр.».

Интересно, между прочим, что, отрицая в себе дар стихотворного запоминания, Смирнова никогда не умела точно процитировать ни одного стиха.

3. «Мертвые души» Гоголя.

Глава VIII.

«Лореры».

1. Материал взят из тетради 4612/25, стр. 52-55 об.

Глава IX.

«Журнал походу Надежды Ивановны Лорер».

1. Материал взят из тетради 4612/25, со стр. 55 об., а самый «Журнал походу» в отрывках из тетр. 4612/10 стр. 1—4 об. 27 об. 10 об. 16—17 об. 21 об.—25 и 31—32 об.,

Малороссиянизмы, а именно начертания «у» в место «в», исправлены. Тетрадь ярко обнаруживает ограниченные интересы полковой дамы средней руки, весьма искренно любившей «своего» Ивана Карловича, что вызывало негодования А. О.

2. Чрезвычайно интересно отношение семьи Арнольди к крепостным.

3. Этот эпизод характерен все для того же взаимоотношения крепостных слуг и господ.

Глава X.

«Усмань».

1. Материал взят из тетради 4612/25 стр. 15 об.—21 об.

2. Смотр был в 1817 году.

3. Об этой же черте полковника Арнольди, правда—в несколько позднейшее время, рассказывает в своих «Воспоминаниях» А. М. Фадеев, саратовский губернатор, познакомившийся с Арнольди в 40-х г.г.

«Немало—пишет он—причинил мне хлопот некий проживавший в то время в Саратове Арнольди, командовавший шестью батареями конной артиллерии, расположенными в Саратовской губернии. Храбрый генерал, потерявший ногу в последней турецкой войне и потому ходивший на деревяшке, но по характеру настоящий русский Вандом. Вероятно, в силу какой-нибудь логики, ему одному понятной, он составил себе такую уверенность, что все, что ему понравится у кого бы то ни было, он непременно должен прибрать к своим рукам. Он старался, по возможности, действовать неуклонно, сообразуясь с этим странным правилом, часто для других весьма неудобным, и в подходящих случаях не щадил ни приятелей, ни подчиненных, завладевая лугами и пастбищами обывателей, где квартировала его артиллерия, безо всякой пощады и даже необходимости, как бы из какой-то алчности, которая простиралась до того, что он употреблял средства для приобретения желаемого иногда не совсем благовидные...

Летом мы жили за городом, жена моя, любительница цветов, получила от Панчулидзева, пензенского губернатора, прекрасную коллекцию оранжерейных растений, которые поместила на балконе и в палисаднике перед балконом, выходившем на большую площадь или скорее поле, отделявшее дачу от города. На этом поле генерал Арнольди производил летом смотры своей артиллерии и иногда заезжал к нам в гости. Он обратил внимание на цветы, рассматривал их, хвалил и намекнул жене, что желал бы некоторые из них приобрести. Она ему подарила часть из означенных им цветов, но не все, потому что сама ими дорожила. Спустя затем дня два, утром, оказалось, что балкон и палисадник пусты, цветы в ночь исчезли бесследно. Нас это очень неприятно удивило, и тем более, что у крыльца

дома, правда с боковой стороны, стоял на карауле часовой уверявший, что ничего не видел и не слыхал, а чтобы стянуть такое количество растений, из коих иные в тяжелых кадках и горшках, перетащить их через высокий палисадник и увезти— требовалось немалое число людей и едва ли не целый обоз повозок. Заинтересованный этим случаем вдвойне, как обкраденный хозяин дома и как губернатор, я прибег к полицейским мерам, и в тот же день открылось, что наши цветы похищены по распоряжению генерала Арнольди, пославшего с этой целью ночью несколько подвод с соответственным числом своих артиллеристов и преподавшего им полную инструкцию для произведения этого маневра со всем искусством военной хитрости. Все цветы были перевезены в квартиру генерала, где и находились полностию. После такого открытия, конечно, нам оставалось только пожалеть о потере наших цветов и покориться этой участи, что мы и сделали». («Русский Архив» 1891 г., № 5, стр. 30—31).

Глава XI.

«У ген. Недоброва».

1. Материал взят из тетради 4612/25, стр. 21 об.—24 об.

2. В биографии Боратынского этот эпизод рассказывается иначе: «Боратынский вместе с товарищем своим Ханыковым 22 февраля 1816 г. были у камергера Приклонского по знакомству их с сыном его, пажем Приклонским, и вынули у него из бюро черепаховую в золотой оправе табакерку и 500 руб. ассигнациями». (М. Л. Гофман. Боратынский. Биографический очерк. Полн. собр. соч. Е. А. Боратынского, т. I. Изд. Разряда Изящн. слов. Имп. Акад. Наук, Спб. 1914. стр. XXXVIII).

3. Смирнова снова неточна. Только 8 февраля 1819 г. Боратынский поступил на службу лейб-гвардии в Егерский полк рядовым, в 20-м году он уехал в Финляндию и жил в Кюмене. В Гельсингфорс Боратынский попал в 1824 году. К этому году относится послание к А. К. Шернваль. Боратынский был в это время уже сложившимся поэтом. («Разуверение»—в 1821 г., в 1823—«Две доли» и т. д.).

4. Смирнова цитирует вновь неверно следующее стихотворение:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари.
Всех румяным появленьем
Оживи и озари.
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой, и порой
Мыслит с тихою тоской,
Для кого она выводит
Солнце счастья за собой.

(Ibidem, 68)

Глава XII.

«Переезд в Петербург».

1. Материал взят из тетради 4612/25 стр. 24 об.—30 об.

Глава XIII.

«В Екатеринском институте».

1. Материал взят из тетради 4612|10 со стр. 43 об.—46.
2. Материал взят из тетради 4612/34 стр. 54 об.—56 об.

Глава XIV.

«Учители и подруги».

1. Материал взят из тетради 4612/34 стр. 57 об.—88 об.

Глава XV.

«Приезд Каталани».

1. Материал взят из тетради 4612/34 стр. 88 об.—89 об.
2. Каталани была в С. Петербурге в 1820 г.
3. Речь идет о вел. кн. Елене Павловне, рожденной принцессе Вюртембергской, вышедшей замуж за Михаила Павловича в 1823 г.
4. Эпизод с приездом Каталани переработан О. Н. Смирновой, которая, изменив стиль матери, подчеркивала расположение царской фамилии к Россет. (А. О. Смирнова «Записки». Изд. «Северн. Вестника М. 1897», стр. 108—114).

Глава XVI.

«Наводнение 1824 г. 14 декабря 1825 г.—Выпуск из института».

1. Материал взят из тетради 4612/34 стр. 53 об.—54.
2. Рассказ о 14 декабря извлечен из тетради 4612/34 стр. 75 об.; далее использован материал до стр. 79 об.
3. Стихи принадлежат не Плетневу, а Жуковскому.
4. Новая тетрадь 4612/48. стр. 4 об.

Глава XVII.

«Во дворце».

1. Глава взята из тетради 4612/48, имеющей надпись рукой О. Н. Смирновой «68-ая книга, в ней много интересного про Михаила Павловича» и про Capad'Istra. Тетрадь написана необычайно мелким почерком, с трудом поддается расшифровке.

В ней имеются многочисленные пропуски, которые по техническим соображениям не указываются в тексте.

2. Вставлено редактором из тетради 4612/34 стр. 78 об.—79 об.

3. Материал взят из тетради 4612/48 стр. 5 об.

4. «А. О. Смирнова в беседе с нами вспоминала, что на Николае Павловиче во время следствия над декабристами лица не было»—писал П. И. Бартенев.(«Русск. Архив», 1903 г., № 7, стр. 438).

5. «Закушу» т. е. что-нибудь съем. По правилам священники должны служить обедню натощак. Образ Потемкина, фаворита Екатерины, человека в высшей степени властолюбивого и развратного, идеализирован у Смирновой.

6. Смирнова неточна. Ланской умер вовсе не убившись, а от горловой болезни в ночь на 25 июля 1784 г. М. б. перепутал и гоф-фурьер. «Ровно за год до кончины он упал с английской лошади и расшиб себе грудь, так что шесть недель лежал в постели и харкал кровью». (Письмо Екатерины к Гримму от 16 августа и 20 сентября 1784 года).

7. Эпизод любви Александра Матв. Мамонова и княжны Дарьи Федоровны Щербатовой почти в тех же чертах обрисован и А. И. Рибопьером. Возможно, что он и сообщил его Смирновой. («Русск. Арх.». 1877 г., № 4, стр. 466). Смирнова путает Мамонова отца с сыном, действительно, окончившим жизнь сумасшествием.

8. Печатая «Записки гр. А. И. Рибопьера», А. А. Васильчиков указывал, что его отцом был французский парикмахер, Пьер Рибо, приглянувшийся фрейлине Бибиковой. Отца А. И. звали Иваном, он был не француз, а швейцарец». («Русск. Арх.». 1877 г., № 4, стр. 463).

9. Тот же эпизод рассказывает Титов. «Из записной книжки дипломата» («Русск. Арх.». 1895 г., № 1).

10. В 1836 г. 26 августа, во время поездки Николая, по дороге из Пензы в Тамбов, около Чембара, его коляска опрокинулась, и сам он получил перелом ключицы.

11. 18 апреля 1826 г.

12. Карл Прусский приехал в С. Петербург 7 июня 1826 г. («С. Пчела», 1826 г. № 70).

13. Отъезд в Москву произошел 16 июня 1826 года.

14. «Сентиментальный роман Михаила Павловича, рассказанный Смирновой в доказательство сердечной нежности великого князя, нисколько, конечно, таковой не доказывает. Очень часто грубые и даже жестокие натуры бывают склонны к сентиментальной любви», совершенно справедливо писал М. А. Цявловский. («Голос Минувшего» 1917, № 11—12, стр. 165—167).

15. Двор уехал из С.-Петербурга 16 июня 1826 г., приехали в Москву 21-го июля, на шестые сутки, смотр 30-го июля, коронование 22-го августа, смотр гвардии 3-го сентября, 16-го

сентября—обед в Грановитой Палате, вернулись 6-го октября 1826 года.

16. Из повествования А. О. Смирновой следует, что она не была на коронации в Москве. Н. С. Голицын указывает, однако, на ее присутствие. (Кн. Н. С. Голицын. «Записки», «Русск.-Стар». 1881 г., № 1, стр. 39).

Глава XVIII.

«Фрейлины Стефани Радзивилл и Александрина Россет».

1. Материал взят из той же тетради 4612/48.

2. Елена Павловна родила Елизавету 16-го августа 1827-го года. Следовательно, рассказываемое относится к 1827-му году.

3. «Радзивиллы одна из самых старых, знаменитых и богатых польских фамилий», значится в Готском альманахе на 1835 г. Фердинанд Сайн-Витгенштейн умер в 1827 г., следовательно все эпизоды относятся к этому времени.

4. К какому времени относится знакомство Смирновой с Пушкиным—неясно. Думаем, как и В. В. Вересаев («Пушкин в жизни» вып. II, стр. 127), что к январю 1829 года. Во всяком случае Смирнова бесспорно путает хронологию, так как фрейлиной она была сделана 14 октября 1826 года («Journal de S. Pétersbourg», 1826 г., № 129).

5. Маркиз Гертфорд, чрезвычайный английский посол, приехал 27 июня 1827 года. («С. Пчела», 1827 г., № 81).

6. «Полтава» была окончена 16 октября 1828 года, но вслед за тем Пушкин 20 октября уехал в «Малинники» Вульфов, откуда вернулся в С.-Петербург лишь 18 января 1829 года. Это вновь подтверждает, что Россет и Пушкин познакомились в это время.

7. Смирнова путает хронологию. Если речь идет о 1828 г., то Андрею Карамзину должно быть 14 лет, Александру 13, Владимиру 9, а Елизавете—7 лет.

8. Алексей Александрович, а не Алексей Николаевич назван ошибочно Зубов.

9. Смирнова путает, Мердер стал воспитателем 6-летнего Александра Николаевича в 1824 году.

10. Стефани Радзивилл вышла замуж в апреле 1828 г.

Глава XIX.

«В свете. Встреча с Пушкиным. А. А. Эйлер».

1. Материал взят из тетради 4012/14 стр. 40—45 об.

2. По всей вероятности Смирнова вновь путает хронологию, и встреча эта относится к 1829 г. Об ней она рассказывала, между прочим, П. И. Бартеневу. См. «Неизданные отрывки из «Записок А. О. Смирновой», напеч. Вл. Каллашем (Сб. «Ветвь» М. 1917 г., стр. 303—304).

3. Этот отрывок о Цицианове вставлен из 4612/3 стр. 34 об.—35.

Про Цицианова ходила масса анекдотов. Так, «будучи очень щедрым и гостеприимным человеком, весь прожился и на старости лет содержала его прислуга. Он преспокойно уверял своих собеседников, что в Грузии очень выгодно иметь суконную фабрику, так как нет надобности красить пряжу: овцы родятся разноцветные и при захождении солнца стада этих цветных овец представляют собой прелестную картину. Когда племянники просили у него денег купить дождевые зонтики, он советовал им следовать его примеру: «В моей молодости, говорил он, зонтик был мне только лишнею обузою, и я умел пробираться между каплями дождя так прекрасно, что никогда не промокал». («Русск. Арх.» 1889 г., № 5, стр. 86).

4. О скупости Ив. Серг. Мальцова, известного владельца Мальцовских заводов, говорит кн. А. В. Мещерский в своих «Воспоминаниях» («Русск. Арх». 1900 г., № 6, стр. 256).

Глава XX.

«При дворе Марии Федоровны».

1. Материал взят из тетради 4612/48 стр. 45 об.—54.

2. «Междоусобная война» передается в очень отрывочном виде в виду многих пропусков и многочисленных неразобранных мест. Небезынтересно, что в эпоху Екатерины II-ой сбором и продажей свечных огарков занимались не слуги, а придворные. Так гр. С. И. Эльмпт за счет собранных и проданных ей за 12 лет огарков купила себе к свадьбе серебряный сервиз. (Головкин Ф. «Двор и царствование Павла I.» 1912 г., стр. 81).

3. Екатерину Николаевну Кочетову называли Кашет. О ней подробности сообщает А. С. Гангеблов («Русск. Арх.», 1886 г., № 9, стр. 198).

4. Тот же эпизод Смирнова в подробностях передавала Я. П. Полонскому. («Рассказы Смирновой в записи Я. П. Полонского», Голос Минувшего, 1917 г., №№ 11—12, стр. 157).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Глава I.

«О милый гость, святое прежде».

1. Материал взят из тетради 4612/4 стр. 1—19.

2. Смирнова уехала из России после своих вторых родов в июне 1835 года, в весьма печальном настроении. Ей все представлялось в мрачном свете. Она беспрестанно боялась сойти с ума. Дальнейшее повествование касается событий 35—36 гг., а между тем, явственно, что Смирнова часто путает хронологию, вставляя события, значительно позднейшие, 40-х годов, когда она вновь встречалась с Киселевым.

3. Смирнова неправильно указывает, что сын Киселевых умер по дороге в Бухарест, куда София Станиславовна ехала к мужу. «В конце января 1824 г., П. Д. выехал из Тульчина с женой и прибыл в Москву 4 февраля, 7-го числа он получил известие из Тульчина. что сын его, Владимир, умер». (Заблоцкий—Десятовский. «Гр. П. Д. Киселев и его время», С.П.Б. 1882 г., т. I, стр. 193).

4. Н. Д. Киселев родился 24 апреля 1802 года, следовательно, ему в 1836 году 34 года, а не 37 лет, Смирнова же родилась в 1809 году, ей в действительности 27 лет.

5. Цитата взята из стихотворения Батюшкова «Мой гений». Приведена неточно.

О память сердца, ты сильней....
Рассудка памяти печальной.
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней!

Последней строчки у Батюшкова нет.

6. Первые роды Смирновой произошли в октябре 1832 года. О беспокойстве друзей ее говорят письма П. А. Вяземского А. И. Тургеневу и Жуковскому, а также П. А. Плетнева.

Глава II.

1. Материал взят из тетради 4612/7, стр. 3—9.

2. Подробную характеристику Платонова Смирнова дает в своих «Записках» («Федерация», М. 1929, стр. 194.) и далее в «Автобиографии».

3. Цитирует H. Heine «Harzreise» и опять неверно.

Следует: «Die Herren waren aesthätisch. Die Damen mit zartem Gefühl. Интересно, что в тетради 4612/63 Смирнова приводит следующую выдержку из Гейне: «Чаша курится передо мною, но где же ложка, чтобы черпать из нее? И что мне до того, что на пиршествах пьют тончайшее вино из золотых кубков за мое здоровье, когда среди их ликований я лишен радостей жизни и едва могу освежать уста мои перловой водой» и прибавляет: «Федор Иванович Тютчев видел его в этом положении».

4. Стихотворение относится к 1830 г. 2-ая строфа читается в сочинениях Пушкина: «Черноокая Россети в самовластной красоте»...

Глава III.

«Рассказы о детстве».

1. Материал взят из тетради 4612/4 стр. 31—34 об.

2. Чрезвычайно характерно, что Смирнова сама чувствует, что совершила анахронизм, так, следовательно, путаются в ее сознании 36 и 48 годы.

3. Цитирует неточно: «А, московская ворона, откуда тебя принесло?» Буфетчика зовут не Лаврентий Михайлович, а Лаврентий Павлович.

4. Со слов «кокетничала с Григорием Волконским...» начинается тетрадь 4612/28, являющаяся продолжением тетр. 4.

Глава IV.

«На прогулке.»

1. Материал взят из тетради 4612/28 стр. 7—14.

2. Разговор с Киселевым Николай I имел в 1834 году. Николай был крайне доволен, что нашел себе такого помощника, как Киселев, который при управлении им Дунайских княжеств занимался регулированием положения крестьян на владельческих землях.

Идеализация Николая I и преувеличение его роли особенно явно выступает в этой главе. Впрочем, надо отдать справедливость Смирновой, что Николай собирал материалы по крестьянскому делу, задумывал вести «процесс» против рабства, но не встречал сочувствия у братьев Константина и Михаила. Его работа ограничилась учреждением девяти секретных комитетов и убеждением, что он «никогда не решится даровать свобод крепостным людям», что время это очень далеко. (Семевский, В. И. «Крестьянский вопрос в России» т. II, стр. 529).

3. Ив. Соколов, врач («Воспоминания о государе Николае Павловиче», «Русск. Арх.» 1886 г., № 2, стр. 211) рассказывает тот же эпизод, ходивший, как слух, в С.-Петербурге.

Глава V.

Поездка в замок «Фаворит»

1. Материал взят из тетради 4612/28, со стр., 14—16 об.

2. Конечно, не «Илья Муромец 40 лет на дубе сидел», а «сиднем» сидел Соловей-разбойник.

3. Cherubin—действующее лицо из «Женитьбы Фигаро» Бомарше.

Глава VI.

«Рассказы про институт».

1. Материал взят из тетради 4612/11, стр. 1—3.

2. Екатерининский институт основан в 1796 году, юбилей праздновался в 1821.

Глава VII.

«Великая княгиня Елена Павловна. Опять об институте».

1. Материал взят из тетради 4612/11 стр. 3—9.

2. Отношения Смирновой и Елены Павловны, женщины необычайно умной, игравшей в 50-ые годы политическую роль, т. к. ее салон был центром сторонников эмансипации (Н. Милютин, Черкасский, Кавелин) — очень сложны, здесь имело место соперничество двух талантливых женщин. Не следует точно также упускать из виду и наличие каких-то отношений Смирновой к вел. кн. Михаилу Павловичу. Недаром их счел нужным опровергать П. А. Вяземский. («Старина и Новизна» кн. 8, стр. 39).

Глава VIII.

«Рассказы о салоне Карамзиных, о жизни во дворце, о встречах с Пушкиным».

1. Материал взят из тетради 4612/11 стр. 10-22.

2. Хомяков посвятил Смирновой стихотворение:

О дева-роза, для чего
Мне грудь волнуешь ты
Порывной бурею страстей
Желанья и мечты.

3. М. Д. Бутурлин уверяет, что Пушкина при факте ломки гипсового Аполлона Муравьевым не было. («Русск. Арх». 1897 г., № 6, стр. 206).

4. «У Е. А. Карамзиной мы видали часто Блудова, Жуковского, П. А. Муханова и других, а из женщин особенно очаровывала нас и простотой и умом девица Россет, вышедшая впоследствии замуж за Н. М. Смирнова», пишет А. И. Кошелев. («Русск. Арх». 1879 г., т. III, стр. 266).

5. Мицкевич был в С.-Петербурге в декабре 1827 г., феврале 1828 г., там его и мог видеть Н. Д. Киселев, уехавший в июле 1828 г. за границу. Пушкин напутствовал его четверостишием:

Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
Но север забывать грешно.
Так слушай, поспешай карлсбадские пить воды,
Чтоб вместе с нами снова пить вино.

6. Мицкевич жил в Париже с 1832 по 1839 год, а затем с 1840 по 1844 был профессором «Collège de France».

7. Цитата взята из «Сцены из Фауста», Пушкина:

Фауст: Мне скучно, бес.
Мефистофель: Что делать, Фауст.
Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает:
Вся тварь разумная скучает.

8. Александр I познакомился с квакерами в 1814 году во время пребывания в Лондоне. Квакеры, религиозная секта, основанная в Англии в XVII ст. Г. Фоксом.

9. Мартинисты—мистическая секта, основанная в 18 ст. Мартинесом Паскалисом, члены ее считали себя визионерами.

10. Пушкин уехал в Нижний-Новгород 29 августа 1833 г., приехал в него 2 сентября того же года.

11. Это настроение Пушкина относится, повидимому, к 30-м годам.

12. Елизавета Алексеевна похоронена 21 июня 1826 года.

13. Веллингтон приехал 19 февраля 1826 г. («С. Пчела» 1826 г., № 22).

14. У гр. Ростопчиной и Андр. Ник. Карамзина был длительный роман.

15. Этот эпизод с платком Смирнова сообщила Пушкину, так же как и эпизоды о работе Николая I с Аракчеевым, но рассказала более полно, чем записала сама. У Пушкина значится: «Государь не любит Аракчеева. Это изверг, говорил он в 1825 г. aprés avoir travaillé avec lui et rentrant chez l'imperatrice dans le plus grand désordre de toilette» (Дневник Пушкина под ред. Б. Л. Модзалевского, ГИЗ 1923 г., стр. 9). Чрезвычайно интересно, что в этой записи от 8 марта 1834 г. Пушкин указывает: «Вчера был у См[ирновой] ц. н. анекдоты». Все издатели (в том числе и Б. Л. Модзалевский) читают: «цициановские анекдоты», что совершенно неверно. Содержание анекдотов касается царского рода и неприлично по тому времени. Мне кажется, что читать следует: цензурой непропущенные анекдоты, т. к. содержание цициановских анекдотов совершенно другое. Содержание публикуемой „Авто биографии», Смирновой позволяет заключить, что большинство рассказов, записанных Пушкиным, рассказывала ему как раз А. О.

16. Второй вариант того же эпизода находится в тетради 4612/31 «Как, государь цензурит Пушкина?»—«Непременно, и всегда мне посылал, что прошло через его цензуру, прошу вас верить, monsieur. У меня хранится конверт, который содержит десятую песнь «Онегина», и потом раз он мне сам передал «Графа Нулина». Там же сказано: в спальне стоял урыльник. Государь поставил: будильник. Это очень развеселило Пушкина. Он мне сказал: «Видно, что это джентльмен поставил будильник; где же нашей братии, сволочи, заводить будильники. Я у себя поставил для урыльника горшок из-под каши и велел его беречь, как [слово не разобрано]».

В архиве Аксаковых имеется пакет, на котором рукой А. О. написано, что Николай передал ей главу Онегина со своими замечаниями и хотел знать ее мнение относительно этих заметок. М. А. Цявловский в «Заметках о Пушкине» (Пушкин и его современники вып., XXXVIII—XXXIX, стр. 222—224) полагает, что дело шло о VII песне Онегина. Что касается

до «Графа Нулина», то в «Записках А. О. Смирновой», Ольга Николаевна пишет, что государь присылал А. О. процензурованные стихи Пушкина, а именно «Графа Нулина». «На этой рукописи государь исправил один стих, поставив слово будильник вместо другого: звуки, рифма, число слов оставлены те же. Пушкин был в восторге». Рукопись «Нового Тарквиния» (Неизданный Пушкин, Собр. А. Ф. Онегина, стр. 52) не имеет, между прочим, того слова, о котором говорит Смирнова (вариант: «светильник», «гасильник», «будильник»). Возможно, однако, что существовала какая-нубудь промежуточная редакция, известная А. О. Смирновой.

Глава IX.

«Смирнов. Пушкин. Перовский».

1. Материал взят из тетради 4612/11, стр. 22—32.

2. О рассеянности Ланжерона имеется огромное количество анекдотов. (См. напр. в «Записках» гр. М. Д. Бутурлина, «Русск. Арх.» 1897 г., № 5. «Воспоминания» А. М. Фадеева, «Русск. Арх.» 1891 г., № 3, стр. 392) «Ланжерон олицетворял собою настоящего chevalier loyal времен Генриха IV: храбрый генерал, добрый, правдивый человек, но рассеянный, большой балагур и вовсе не администратор. В 1818 г. в Одессе государь останавливался в генерал-губернаторском доме. Ланжерон, выходя из кабинета, запер его на ключ, позабыв, что в то время хозяином кабинета был государь, а не он».

3. Пушкин приехал в Одессу 4 июля 1823 года.

4. В командировку Пушкин уехал 22 мая 1824 г., вернулся 31 мая 1824 года.

5. «Comtesse de «Бельветрило» от цитировавшегося ею стихотв. «Не белеют ли ветрила»—рассказ А. О. Россет («Русск. Арх». 1912 г., II, 159).

6. А. И. Рибопьер в «Записках» пишет: «Бар. Брунов начал ухаживать за г-жей Лехнер, когда я возвратился в Одессу, раздраженный муж вызвал счастливого своего соперника на поединок. Поединок был отложен, речь шла о разводе» («Русск. Арх». 1877 г., т. II).

7. «Есть некто молодой человек, служащий у нас в коллегии, Николай Михайлович Смирнов», писал Булгаков брату 11 мая 1828 года. «Он недавно вышел из опеки, богат, был во Флоренции с сыном приятеля моего, графа Девиера. Этот Девиер, увидя один раз Катеньку в моем кабинете, начал хвалить ее красоту, прибавляя: «вот бы ей жених Смирнов: молод, порядочен, добр и богат». Я засмеялся и отвечал, что она слишком молода... Этот Смирнов едет сюда, но не хочет оставить Петербург, не быв введен в твой дом и не познакомясь с тобой. Здесь все меня атакуют и просят о письмах для него. Вчера должен я был снабдить родственницу его

княжну Волконскую, что за Наумовым Алекс. Ал., о чем тебя я предупреждаю, любезный друг». («Русск. Арх». 1901 г., № 1, стр. 156).

8. Хитрова овдовела 19 мая 1819 года, следовательно, Елиз. Мих. не могла носить по нем траур в 1826 или в 1828 г. Вместе с этим биограф Е. М. Хитровой Н. В. Измаилов полагает, что она была несчастлива именно в этом своем браке. Факт близости Пушкина и Хитровой подтверждается письмами Пушкина к Е. М. Хитровой.

9. Смирнова неточно процитировала эпиграмму Соболевского:

Не за пышные плечи,
Не за черный ваш глаз,
А за умные речи
Полюбил бы я вас.

10. Тот же эпизод в «Рассказах Смирновой в записи Я. П. Полонского». («Голос Мин»., 1917 г., № 11—12, стр. 164).

11. «Когда сердце бьется от радости, то, по словам Пушкина, оно:

То так,
То пятак,
То денежка,—

говорила Смирнова Полонскому. «Рассказы Смирновой в записи Полонского». («Голос Мин»., 1917 г., № 11—12, стр. 155).

12. Смирнова рассказывает об эпизоде 1842 года.

Глава X.

«В Берлине в 1832 г. Воспоминания о придворной жизни».

1. Материал взят из тетради 4612/11, стр. 32—38 об.

Глава XI.

«Киселев о себе».

1. Материал взят из тетради 4612/11, стр. 38 об.—42 об.

2. Вряд ли Языков был так дружен с Киселевым. По крайней мере в своих письмах из Дерпта от 20/XII—22 г., 26/I, 29/I—23 г., 2/III—24 г.. 10/V—25 г., 28/IX—26 г., он характеризует его, как доброго малого, худого остряка, первого танцора, («Киселев без бала ничего не значит»), говорящего о пустяках и фатоватого. Киселев человек добрый, образованный и необыкновенно услужливый, но как то мелок (klebrig) в знакомстве и дружбе. Это несколько неприятно в некотором смысле. («Языковский Архив», т. I, стр. 183).

Глава XII.

«Маскированный бал во дворце. Пушкин в 1830 г. в Царском».

1. Материал взят из тетради 4612/7 стр. 43.

2. Рассказ имеется в ином варианте в записи Полонского («Голос Мин.», 1917 г., № 11—12, стр. 151).

3. Бой под Остроленко произошел 14 мая 1831 г., во время польского восстания, поляки потеряли около половины сражавшихся и должны были отступить.

4. Tallemant des Réaux—французский писатель 17 века, произведения которого отличаются цинизмом содержания. В библиотеке Пушкина значатся произведения Шамфора (№ 724), Ривароля (801 и 1318), и Вольтера (91, 92, 93, 1490), а также Tallemant des Réaux (1421).

5. Вставлено из тетради 4612/8 стр. 38.

6. В тетради 4612/8 стр. 31 об. имеется следующее дополнение. «Пушкин жил в доме Китаева, придворного камерфурьера. В столовой красный диван, обитый кретоном, два кресла, шесть стульев, овальный стол и ломберный, накрываемый для обеда. Хотя летом у нас бывал придворный обед, довольно хороший, я все же любила обедать у Пушкиных. У них подавали зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем и на dessert варенье из белого крыжовника».

7. Подобный эпизод уже был приведен Смирновой ранее. (См. «Рассказы Смирновой в записи Полонского», Голос Мин., 1917 г. № 11—12, стр. 155—156). Различие лишь в том, что в «Автобиографии» он вложен в уста Н. Д. Киселева. Цитируемая песня «Царь наш немец прусский»... действительно, не Пушкина, а Рылеева.

Вот ее полный текст:

Царь наш, немец прусский,
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь.

Царствует он где же?
Целый день в манеже.
Ай да царь и т. д.

Прижимает локти,
Забирает в когти.
Ай да царь....

Судьи все—жандармы,
Школы—все казармы,
Ай да царь....

Князь Волконский—баба
Начальником штаба.
Ай да царь....

(Стихотворения К. Ф. Рылеева с его жизнеописанием. Лейпциг. 1862 г., стр. 87—78).

Что касается утверждения Пушкина, что стихотворение «Послание к Чаадаеву» не принадлежит ему, то к этому свидетельству следует отнестись с весьма большой осторожностью. Принадлежность его Пушкину еще в 1922 г. вызывала сомнения М. Л. Гофмана.

Ссылаясь на категорическое утверждение самого Пушкина, а затем на несоответствие структуры стиха, автор «Первой

главы науки о Пушкине» предлагал «не считать вопрос об авторстве Пушкина решенным и не помещать его безоговорочно в основном тексте сочинений Пушкина». Приводимые в «Автобиографии» Смирновой свидетельства являются новым аргументом в пользу осторожного отношения к данному стихотворению.

8. Процитировано неверно:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать! Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

Глава XIII.

«Глава исторических отступлений».

1. Материал взят из тетради 4612/34, стр. 60, 67, 68 об., 72.
2. Пользуясь отрицательной характеристикой Екатерины, Ольга Николаевна вложила ее во все рассказы «Записок».
3. Указ Екатерины о «Воспитании благородных девиц» был издан 5/V 1764 года.
4. То же самое Александра Осиповна писала и в своем «Дневнике» от 18 марта 1845 года. «Записки» («Федерация» М. 1929, стр. 291 и 292).
5. Павел путешествовал по Западной Европе в 1780 году.
6. В Эрфурте Талейран поднял вопрос о браке Наполеона с Екатериной Павловной. Талейран не пользовался расположением Александра, и тот дал уклончивый ответ. По возвращении Александра в С.-Петербург туда был вызван принц Ольденбургский и обвенчан с великой княжной (1810 г.).
7. Смирнова ошибается: Николай родился 25/VI 1796 г.
8. Стихотворение Державина «На кончину великой княжны Ольги Павловны» (Сочинения Державина, ч. II. С.-Петербург, 1831).
9. «Записки» генерала Раппа были опубликованы в Париже в 1823 г.
10. В «Дневнике» Пушкина под 8 марта 1834 г. записано: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон (куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скорятина и заставил его рассказывать 11-е марта. Они сели. В эту минуту входит гос[ударь] с гр. Бенкенд[орфом] и застает наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцей его отца! Скор[ятин] снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го».

Глава XIV.

«Жуковский. Встреча со школьным учителем».

1. Материал взят из тетради 4612/3, стр. 19 об-26.
2. О. Ж. П. Рихтере — «Рассказы Смирновой в записи Я. П. Полонского» (Голос Мин. 1917 г,, № 11—12, стр. 163).

Глава XV.

«Баденское общество».

1. Материал взят из тетради 4612/10, стр. 26—30.
2. Материал взят из тетради 4612/3.

Глава XVI.

«Обед у графини Нессельрод».

1. Материал взят из тетради 4612/21, стр. 30.
2. Вопрос о происхождении был, повидимому, для Смирновой больным вопросом. Недаром, она всегда считала, что случайно принадлежит к высшему кругу, что он никогда ее не любил. («Записки». М. Федерация. 1929 г., стр. 107).

Глава XVII.

«Парижские очи». Сперанский, Лермонтов.

1. Материал взят из тетради 4612/21, стр. 31-38.
2. Процитировано неверно:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая,
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

3. Франческа ди-Римини, дочь властелина Равенны, полюбившая Паоло Малатеста, брата своего мужа, и убитая последним (1285 г.). Судьба Франчески запечатлена в «Божественной Комедии» Данте, где в аду соединены в бесконечном страдании Франческа и Паоло.

4. Смирнова дает неверные сведения: Мария Александровна Щербатова, рожденная Штерич, позднее замужем за Лутковским И. С., за ней «волочился сын французского посла, барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом» (Н. М. Смирнов, «Из памятных заметок», «Русск. Арх.» 1882 г., № 2, стр. 239).

5. Пропущены две строки:

Сомненья далеко,
И верится и плачется...

Последняя строка:

«И так легко, легко»...

Глава XVIII.

«Флирт с Киселевым».

1. Материал взят из тетради 4612/18, стр. 1—7.

Глава XIX.

«Баденская идиллия».

1. Материал взят из тетради 4612/3, стр. 1—3.

2. Этот вечер с Михаилом Павловичем единственный во всех записях Смирновой. Из него Ольга Николаевна создала «салон», которого, конечно, не могла иметь фрейлина, принимавшая у себя лишь Михаила Павловича, Жуковского и тетушку Лорер.

Глава XX.

«Встреча через много лет».

1. Материал с большими пропусками взят из тетради 4612/8. Тетрадь относится к позднему времени и носит на себе черты болезни Александры Осиповны. Тем не менее, из нее приведены отрывки, так как они дают представление о той подлинной жизни Смирновой, которую она скрывала и которая не нашла никакого отражения в «Записках», ранее опубликованных.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

«Воспоминания о Гоголе».

1. Воспоминания берутся из тетради 4612/63. Смирнова многократно возвращалась к воспоминаниям о Гоголе. Помимо записи рассказов, имеющихся у П. А. Кулиша («Записки о жизни Гоголя») и А. Н. Пыпина, (А. О. Смирнова «Записки», «Федерация», М. 1929 г. стр. 322—328) и »Записки о Гоголе» (Ib. 311—323) в тетрадях А. О. имеется проспект ее работы о Гоголе на английском языке.

2. В одной из тетрадей Смирновой (4612/31, стр. 28) имеются следующие строки о первом представлении «Ревизора». На этом спектакле государь был в эполетах, партер был ослепителен, весь в звездах и других орденах. Министры и Поль

(П. Д. Киселев) сидели в первом ряду. Они должны были аплодировать при аплодисментах государя, который держал обе руки на барьере ложи. Громко хохотали, Поль громче других, так как ему не в чем было себя упрекать. Я не присутствовала на этом первом представлении «Ревизора», кажется, я была в Берлине».

3. Смирнова неточна: 5 июня Гоголь уже уехал из Петербурга, куда приехал 23 мая 1842 года.

4. Очень близкий материал к воспоминаниям о Гоголе дает М. П. Погодин, живший в Риме с Гоголем в 1839 году (Русск. Арх. 1865, стр. 1271—1274).

5. Факт относится к июню 1843 года.

6. Веревкин, Михаил Николаевич, был убит на поединке в Бадене в 1843 году.

7. П. А. Гендрикова (Хилкова) умерла в 1843 году 12 марта.

8. Гоголь выехал в Ниццу 5 октября 1843 года.

9. В архиве Смирновой имеется большая переписка с С. М. Сологуб, где выявляется несчастный брак С. М.

10. Гоголь выехал из Ниццы 19 марта 1844 года и приехал во Франкфурт в конце апреля 1844 г.

11. Тяжелые отношения между Александрой Осиповной и Ольгой Николаевной вполне подтверждаются этой фразой.

12. Филармонические концерты посещались Смирновой в 1829 году.

13. Смирнова и в «Автобиографии» и в «Записках» ошибочно называет Крылова Александром Андреевичем.

14. Гоголь жил во Франкфурте с конца сентября 1844 года до января 1845 года.

15. Эпизод в основном, но без деталей относительно Орлова передан в «Дневнике» Смирновой от 11 марта 1845 года, («Записки», «Федерация», 1929, стр. 283).

16. Гоголь уехал в Иерусалим только в январе 1848 года, хотя собирался туда с 1846 года.

17. Гоголь поселился у А. П. Толстого в декабре 1848 г.

18. В Греффенберге Гоголь в последний раз лечился в 1846 году.

19. Над. Ник. Шереметева скончалась 11 мая 1850 года.

20. Смирнова неожиданно переходит к событиям 1836—1837 гг., предшествовавшим дуэли Пушкина.

21. Эта подробность не была известна в прежних рассказах о подметных письмах.

22. «Банкаль» Долгорукий учился вместе с О. О. Россет в Пажеском Корпусе. (О. Р. фон Фрейман. «Пажи за 183 г.», стр. 293). Его роль в дуэли и смерти Пушкина достаточно освещена П. Е. Щеголевым. (Щеголев П. Е. «Дуэль и смерть Пушкина» Г. И. З. 1928. Изд. 3-е, стр. 488—514).

23. Кл. Ос. Россет переносил бездыханное тело поэта со смертного ложа в гроб и, бывало, вспоминая о том, говаривал: «какой он был легкий»—писал П. И. Бартенев в примечаниях к письмам. («Русск. Арх.», 1896, № 2, стр. 270).

24. А. О. Смирнову известие о смерти Пушкина действительно застало в Париже, но, по всей вероятности, не в ложе Тюфякиной, а за обедом. О совершившемся рассказал ей А. Н. Карамзин. («Старина и Новизна», кн. XVII, стр. 292).

25. Смирнова ошибается, так как Геккерен умер в 1884 г.: позднее ее.

26. Александра Осиповна переехала в Калугу 13 ноября 1845 года.

27. Гоголь направился в Калугу не весною, а около 5 июля 1849 года, через Малоярославец.

28. Веселовский, В. И., рассказывает, со слов Н. М. Щепкина, что Гоголь пришел к ним в середине обеда, и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни. («Русск. Ст.» 1872 г., февраль, стр. 282—283).

29. Вместе с Ал. Кон. Толстым Гоголь был у Смирновой в июне 1850 г.

30. Смирнова прибавляет новые подробности к тем, которые помещены с ее слов Кулишем («Записки», II, стр. 222—26). Управляющий у Чаграновой, молодой человек, недавно выпущенный из университета, имеет теперь свою биографию. В лице Чаграновой, «петербургской львицы», Гоголь бесспорно хотел изобразить Смирнову. Недаром она озаглавила один из набросков своей биографии „Воспоминания А. О. Чаграновой».

31. См. письмо Смирновой—Гоголю от 1 августа 1849 г.

32. Гоголь ездил в Оптину пустынь в июне 1850 года.

33. Смирнова ошибается, так как Гоголь был знаком с о. Матвеем еще в 1847 году. Она не учитывала его отрицательного влияния на писателя.

34. Гоголь сжег главы «Мертвых душ» 12 февраля, скончался 21 февраля 1852 г.

35. О похоронах Гоголя и присутствии на них Закревского, см. в заметке Н. Бельчикова («Кр. Архив», 1925, № 9, стр. 300—303).

36. 20 октября 1851 года, в Москве, получив известие о смерти Гоголя (24 февраля 1852 г.), Тургенев пишет статью, за которую 16 апреля 1852 года сажается на съезжую, 16 мая он освобождается и уезжает в Спасское. Тургенев приехал в Спасское в июне 1852 года, где пробыл в ссылке полтора года. Смирнова верно указывает, что Тургенев написал под арестом «Муму», «Постоялый двор» написан также в 1852 году. «Муму» напечатано в 3 книге «Современника» за 1854 год, «Постоялый двор» в II книге «Современника» за 1855 год, «Гамлет Щигровского уезда»—в 1849 г. во 2 книге «Современника».

37. Смирнова довольно точно передает содержание разговора Гоголя с Тургеневым в отношении к акту творчесгва. Тургенев свидетельствует, что Гоголь «говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям, высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если возможно так выразиться, физиологии сочинительства». (См. И. С. Тургенев, «Литературные воспоминания», Полное Собр. Сочин., т. У, стр. 67).

38. С Максимовичем Гоголь был в Калуге в 1850 году, в июне, в первых числах июля он был в Васильевке, откуда он уехал в октябре.

39. Эпизоды с кошкой, «стук времени, уходящего в вечность», а также ранее приведенный эпизод со шляпой Александра Осиповна передавала Висковатову. («Из рассказов А. О. Смирновой о Гоголе», «Русск. Стар.» 1902 г,, сентябрь, стр. 486, 489).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ *).

Августа Саксен-Веймарская, род. в 1811 г., жена принца Фридриха Вильгельма-Людвига Прусского—194.

Адина (Александра Максимилиановна Лейхтенбергская), (1840—31 июля 1843)—286.

Адлерберг Владимир Федорович (1791—1884 г.) с 1847 г. граф, с 1852 г.—1870 г. министр императорского двора—223.

Адлерберг Юлия Федоровна (1760—1839) рожд. Багговут. По смерти мужа по рекомендации Ш. К. Ливен была приглашена гувернанткой к вел. княжнам. В 1802 г. назначена начальницей Смольного института, занимала эту должность по 1839 г.—84, 166, 223.

Аксаков Константин Сергеевич, (1817—1860) славянофил—182, 303, 304.

Аксаковы—303.

Актон—министр Неаполитанской королевы Каролины—31.

Александр, слуга—277.

Александр Великий Македонский (356—323 до н. э.) знаменитый полководец—250.

Александр, герцог Вюртембергский (1771—1833), брат имп. Марии Федоровны, управлял ведомством путей сообщения с 1822 г.—109.

Александр II (1818—1881) император—292.

Александр I (1777—1825), император с 1801 г.—25, 30, 46, 64, 65, 89, 100, 105, 110, 111, 112, 113, 154, 186, 214, 293.

Александра Иосифовна, вел. кн. (1830—1900), дочь герцога Саксен-Альтенбургского, жена вел. кн. Константина Николаевича—221.

Александра Павловна (1783-1801), дочь Павла I, жена палатина Венгерского Иосифа. Когда вел. кн. было девять лет, начались переговоры о ее замужестве с шведским королем Густавом IV. Король и регент приехали в С.П.Б. и было назначено обручение, но Густав IV отказался подписать договор, в котором находился пункт о сохранении вел. княжной православия, и брак расстроился. Через 3 года в 1799 году (20/II) она была обручена с эрцгерцогом Австрийским Иосифом, 19/X—1799 г. состоялось бракосочетание, 12/XI уехали за границу. Жизнь за границей сложилась очень тяжело. Плохие отношения имп. Терезии (ревность к памяти покойной жены, тетки Ал. Павл.), притеснения религиозного характера. Во время беременности и родов уход был намеренно плохой, ребенок умер через несколько часов, а через десять дней от молочной горячки умерла и А-дра Павловна—220.

Александра Федоровна (1798-1860), жена имп. Николая I. Дочь короля Прусского Фридриха-Вильгельма III. Вступила в брак с Николаем I в 1817 г., управляла всем ведомством им. Марии Федоровны—49, 86, 88, 95, 105, 133, 182, 194.

Алопеус Ал-др Давид. (ум. в 1841), состоял при нашей миссии в Турине—132.

Альбедиль Петр Романович (1764—1830), вице-президент придворной конторы—88.

Альберт, принц. В своих записках А. О., назвав Альберта «подлецом», писала, что он позволял себе неприличные шутки и жесты—209.

*) Составлен к тексту „Автобиографии".

Альбини, гувернер—237.
Анакреон (560—478 до н. э.) греческий лирический поэт—240.
Ангальт, граф, Федор Евстафьевич, с 1786—1794 г. управлял Шляхетским Кадетским корпусом—216, 219.
Андрианов, ун.-офицер—54.
Анна Ивановна, с 1730 по 1740 гг.—царица—278.
Анна Павловна, (1795—1865) вел. княжна, дочь Павла I, королева Нидерландская. Наполеон в 1809 году просил ее руки (через посла Коленкура), Александр I дал уклончивый ответ, ссылаясь на завещание Павла I, по которому судьба дочерей была вручена императрице-матери. В 1810 г. Александр I сообщил Коленкуру, что в виду молодости вел. кн. не может согласиться на брак раньше, чем через два года. Это был полный отказ. В 1816 г. была обручена с наследным принцем Оранским Вильгельмом—52, 223.
Анна Федоровна, (1781—1860), вел. княг., жена вел. кн. Константина Павловича—222.
Аннушка—46, 63, 73, 74.
Ancillon (1767—1837) прусск. министр иностранных дел—234.
Антоний, настоятель—300.
Антонини Просперо (1809—1884), барон, экс-министр неаполитанский в Берлине—171, 229.
Antouchevitch Félice—незаконорожденная дочь Т. Ф. Радзивилл—94.
Анфиса Павловна—игуменья—71.
Апраксина Екат. Владим., рожд. Голицына (1767—1854), статс-дама в. к. Елены Павловны—229.
Аракчеев, граф, Алекс. Андр., (1768—1836), любимец Александра I—известен своей жестокостью и устройством военных поселений—66, 97, 118, 181.
Арапова—165.
Арендт Ник. Фед. (1785—1859), лейб-медик—110, 111, 122, 138, 188.
Armand, капитан—232.
Арнольди, рожд. Молчанова—66.
Арнольди Александр Ив. (1817—1898)—был на Кавказе, отличился с Моздокским казачьим полком, в 1888 г. уволен в отставку, начальник 6-й кавк. дивизии, ген. от инф. женат на Юлии Ян. Фогтс (1826—1882)—63, 66, 67, 68, 70, 71.
Арнольди Ал-др. Карл.—66, 67, 68, 70, 71.
Арнольди Иван Карлович. Ген.-майор, род. 27/XII. 1780 г.; воспитывался во 2 Кадетском корпусе, откуда выпущен 8/XII. 1799 г. подпоручиком в полевой артиллерийский баталион; участник войн 1806—1807 и 1812—1815 гг.; за сражение под Торгау награжден орденом Георгия 4-й ст.; полковник—6/X. 1813; начальник артиллерии 5 резервного кавалерийского корпуса и командир конной № 17 роты; командир л.-гв. конной артиллерии; ген.-майор с 1821, с назначением состоять при Аракчееве по особым поручениям; начальник артиллерии военных поселений Херсонской и Екатеринославской губ. с 9/VIII. 1822 по 11/V. 1826 г., когда назначен состоять по особым поручениям при ген.-фельдцейхмейстере вел. кн. Мих. Пав.; впоследствии ген.-от-артиллерии (1851), сенатор — 21/IX. 1852, ум. 11/X. 1860, погребен в Царском селе, на Казанском кладбище. Был женат первым браком на Надежде Ивановне Лорер (по первому браку Россети), вторым браком на Софье Карловне Х... (+1860); у него были сыновья: Александр, Иван и Лев и дочь Софья (от 2 брака) замужем за кн. Ухтомским. На его родной племяннице женился впоследствии декабрист А. П. Беляев.—38, 39, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 94, 95, 96, 114, 144, 181, 245, 250, 256.
Арнольди Ек. Ив.—64, 72, 73.
Арнольди Лев Иванович (1822—1860)—55, 241, 298, 299, 300, 301, 302, 311.
Арнольди Ольга Ив.—замужем за П. С. Оболенским—73, 245, 301.
Арнольди Павел Карлович—55, 56, 67.
Арнольди Петр Карл.—38, 67.
Арнольди Софья Ив., замужем за кн. Ухтомским—245.
Арнольди Софья Карловна, вторая жена И. К. Арнольди—245.
Арсеньев Николай Иванович (1770—1840), полковник, воспитатель вел. кн. У Смирновой ошибочно назван Павлом Ив.—164.

Арсеньева Екатерина Ивановна (1778—1835)—фрейлина—164.
Архаров Андр. Ник.—106.
Афанасий, слуга—302.

Багратионовы—27.
Баденский герцог—см. Карл Баденский.
Бакур (Adolphe Fourier de Bacourt) (1801—1865) французский дипломат. Был послом в Лондоне, в 1835 г. министр в Карлсруэ, с 1840—42 послом в Америке, затем в Турине, пэр Франции.—125, 128, 129, 147, 171, 173.
Балабин Викт.Петр.(ум.в1864г.)—дипломат—258, 263.
Балабины—83.
Балинский, курьер—287.
Балугьянская Мария, р. 1804, замужем за ген. бар. Н. В. Медемом—93, 94, 163.
Баранова Луиза, по мужу Шарнгорст (1815—1860 г.)—106.
Баранова Юлия Фед., рожд. гр. Адлерберг (1789—1864 г.) статс-дама—106.
Барвабано, маркиз—258.
Бартенев П. И. (1829—1912) изд. „Русск. архива", напечатавший в своем журнале много материалов А. О. Смирновой—215, 300.
Бартоломей Мария Федоровна (1770—1839), дочь Фед. Ив. Б., придворного хирурга—92, 163.
Барятинская А.—169.
Барятинские, кн.—69, 113.
Барятинский Ал-др Ив. (1815—1879) фельдмаршал—242.
Барятинский Ал-др Фед., консул в Лондоне—219.
Барятинский, кн. Федор Серг., (1742—1814)—убийца имп. Петра III—113.
Баско, чревовещатель—292, 293.
Батист, садовник—26, 39, 40, 41.
Батюшков Конст. Ник. (1787—1855)—поэт—130.
Бахметьев, (регент)—295.
Беарн (Hector de Bearn) граф—128e, 129, 135, 233, 287.
Беверлей—128h.
Безобразов—108.
Безобразова Любовь Ив. (тетка Н. М. Смирнова)—132, 193.
Беккарини—294.
Беклешова Наталия Ник., она же ошибочно названа у Смирновой Беклемишевой (ум. в 1850 г.), фрейлина—124, 186.
Беллини Дж. (1426—1516)—художник, глава венецианской школы—273.
Bellissine, маркиз—172.
Белокуров—177.
Белосельская Ел. Павл.(Héléne) рожд. Бибикова, падчерица гр. А. Х. Бенкендорфа, замужем за Эспером Ал-др. Белозерским-Белосельским ген. майором (1802—1846), вторым браком за Вас. Викт. Кочубеем (1811—1850)—147, 286.
Бентинг, адмирал—31.
Берг Георгина (по мужу Вилькинс)—234.
Бергик (банкир)—77.
Березовский Максим Созонтович (1745—1777), композитор, в 1765 г. был отправлен в Италию, был доведен до самоубийства вкрадчивым и низкопоклонным Сарти—107.
Бермудец Зеа (1772—1850)—испанский дипломат, с 1824—1825 г.г. председатель совета министров—171, 236.
Бернадот (1764—1844), шведский король, с 1818 г. носивший имя Карла XIV—220.
Бертинг, капельмейстер—82.
Бетховен Людвиг (1770—1827) композитор—103, 104, 115, 128d, 297.
Бетюн кнж., представительница рода Бетюн, восходящего к XI в.—171, 186, 289.
Бибиков Илья Гаврилович (1794—1867), адъютант в. кн. Мих. Павловича—104.
Бирон Эрн. Иоганн. (1690—1772), герцог, регент России—278.
Blessington lady—знаменитая красавица—246.
Блудов Дм. Ник. (1785—1864) гр., тов. мин. нар. просв., статс-секретарь, мин. внутр. дел, презид. Ак. Наук и предс. Гос. Совета—63, 174, 216.
Блудовы—174.
Блюм (Блом) Оттон граф (1770—1849), датский посол—155.
Боборыкина—163.
Бобринская гр. Софья Алдр-на, рожд. Самойлова, замужем за Алекс. Алекс. Бобринским (1800—1868) агрономом и общественным деятелем—192, 193.
Богданка, слуга—108, 109.
Богданов—109.

Богданович Ив. Ив., декабрист, член Сев. Об-ва—91.
Богданович Ип. Фед. (1743—1803), автор поэмы „Душенька"—161.
Боголюбов Вас. Ив., учитель—78.
Боголюбов—107, 110.
Боголюбский, городничий—63, 65, 204.
Bologüël, портниха—115.
Болховские—63.
Бонгескул—28.
Бонгескул Варвара—42.
Боратынская Ал-дра Фед. рожд. Черепанова—мать поэта—69.
Боратынские—69.
Боратынский Абрам Андреев. (1767—1810), отец поэта, был приближен Павлом I через фрейлину Нелидову, после воцарения Павла I получил поместье и чин ген.-майора. Внезапно попал под опалу, в 1798 г. уволен в чине ген.-лейт.—66.
Боратынский Ал-др Абрамович—66, 70.
Боратынский Евг. Абрамович, (1800—1844), поэт—69.
Боратынский Ираклий Абрамов. (1802—1859), ген.-лейтенант—68.
Боратынский Лев Абрамович—68, 70.
Борде, учитель—79.
Бороздина Нат. Ник. (по мужу Каменская) р. 1816, дочь ген.-адъют. Н. М. Бороздина (1777—1830)—256.
Бороздины—163.
Бортнянский Дм. Степ. (1751—1825), знаменитый композитор, вышедший из придворных певчих—101, 295.
Борх граф. Софья Ив. (1809—1871), рожд. Лаваль, замужем за Борх Ал-др Мих. граф. (1804—1867), камергером—205.
Beaufort, герцог—242.
Борщева Наталья Семеновна (1759—1843), дочь отставного фурьера Семена Иван. Борщова. Принята в Смольный при первом приеме воспитанниц в 1764 г. Окончила курс в первом выпуске 1776 г. с золотой медалью первой величины. С 14/VI. 1776 г. принята ко двору фрейлиной к Марии Федор. В этом звании сопровождала ее в 1782 г. заграницу. Была замужем два раза:—за К. С. Мусиным-Пушкиным и за ген.-майор. В. Л. Ховеном. В 1809 г. была назначена гофмейстериной при фрейлинах и пожалована в кавалерствен. дамы орд. св. Екатерины—220.
Боссюэт, (1627—1704), франц. проповедник и писатель—284.
Боткин Вас. Петр. (1810—1869), писатель, эстет, друг И. С. Тургенева—273.
Боткин Серг. Петр. (1832—1889), врач-терапевт—274.
Брант Леон. Вас. писатель, фельетонист 40-х гг., сотрудник «Северной Пчелы»—73.
Браницкая, гр.—200.
Браницкий Ксав. Петров. граф—(1731—1819) ген.-аншеф.—279.
Брауншвейгский герцог—287.
Бредихины—43, 257.
Брейткопф Анна Ивановна, рожд. Парис, ум. в 1823 г. в СПБ. Первая начальница Екатерининского института.—77, 83, 84, 166.
Брейткопф Бернг. Теодор. (1749—1820)—166.
Брейткопф Наталия Федоровна—77.
Брейткопф Эмилия Федоровна (1790—1857)—77.
Бремзен, полковник—62, 64, 65.
Бригель, портной—189.
Бриммер, банкир—186.
Броун граф Георг. Георг. (1698—1792), лифляндский ген.-губ.—218, 219.
Брунов Фил. Ив. (1797—1875) с мая 1823 до 1826 г. чиновник особых поручений при новорос. ген.-губ. гр. М. С. Воронцове в Одессе, с 1832 г. при гр. К. В. Нессельроде, дипломат, член главн. управ. цензуры, запретил «Москов. Телеграф» Полевого, позднее русский посол в Англии—185.
Брюллов Карл Павл. (1799—1852), знаменитый художник—120.
Буало—франц. писатель (1636—1711)—79.
Буанаротти Микель-Анджело (1475—1564), знаменитый живописец, архитектор, скульптор, поэт—285.
Бубнов, трактирщик—305.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), реакционный писатель—73.
Бунина Анна Петровна, почетн. член «Беседы Любит. Росс. Слова», «Русская Сафо»—сконч. 4 декабря 1829 г.—64.

Бунин Ив. Петр., флотский офицер, участ. шведского похода; умер в 1858 г.—64.
Bouncoal—madame—259.
Бурбоны—французская династ. фамилия, свергнутая в Велик. франц. революцию, восстановленная в 1816 году вновь низвергнутая в 1848 г.—33.
Буссе, учитель—166.
Бухвостов Сергей Леонтьевич (1683—1725), первый солдат Петра I.
Бухвостовы—103.
Burgeret—237.
Бюффон (1707—1778), один из крупнейших французских писателей, знаменитый натуралист—167.

Валуев Дм. Андр. (1820—1845), писатель, полит. деятель—305.
Валуевы—174.
Вальдкирх—235.
Вальполь Гораций (1717—1793), английский писатель, автор фантастического романа «Замок Отрантский» и трагедии «Таинственная мать»—227.
Walsch—гувернантка—76, 92, 93, 94, 95.
Васильев—слуга—109.
Васильчиков Дм. Вас. (1778—1859) егермейстер при в. к. Мих. Павл.—229.
Васильчиков Илл. Вас. (1777—1847) ген.-адъютант, командир гвардейск. корпуса—118, 294, 295.
Вассол—25.
Вахтанг Ираклиевич, груз. царь, ум. в 1814 г.—27.
Weber, ресторатор—124.
Вейкарт Егор Никол. (1756—1810) лейб-медик—99.
Вейнраух—202.
Велеурский Мих. Юрьев.—см. Виельгорский.
Веллингтон Арт. Коллей Веллеслей, герцог (1769—1858), глава торийского министерства, мин. ин. дел—180.
Веневитинов Алекс. Владим. (1806—1883), министр уделов—174.
Веннинг Вальтер (1781—1821), положил начало попечительного общества тюремных заведений—178.
Веревкин Мих. Ник., сконч. в 1843 г.—289.
Ветошникова Марья Ив., кастелянша—88.
Вигель Фил. Фил. (1786—1856), автор известных «Записок», у которого со Смирновой произошло столкновение после смерти Николая I—189.
Виельгорская Анна Михайлов. (1818—1884), замужем за Веневитиновым Алек. Влад.—290.
Виельгорская Луиза (1791—1853), рожд. прин. Бирон, вторая жена (с 1816 г.) Мих. Юрьевича Виельгорского—113.
Виельгорские—274, 292.
Виельгорский Иосиф Мих. граф (1817), ск. в 1839 г. в Риме, друг Гоголя—283.
Виельгорский Михаил Михайл. (1822—1855), сын Мих. Юрьев.—290.
Виельгорский (Велеурский) Мих. Юрьев., (1787—1858), граф, первым браком женат на герцогине Екат. Карл. Бирон (сконч. 1813), вторым браком на ее сестре Луизе Карловне—107, 108, 116, 123, 127, 212, 221, 274, 286, 293, 294, 299.
Викулин Сергей Алексеевич (1800—1848), писатель, болел душевной болезнью. Кроме Гоголя, о нем заботились Жуковский, Вяземский, Тургенев—291.
Вилламов. Григорий Иванович (1771—1842), статс-секретарь Марии Федоровны—82, 113, 127, 161.
Вильгельм III Фридрих (1770—1840), король прусский, отец имп. Александры Федоровны.
Вильгельм Прусский (1795—1861), брат в. кн. Александры Федоровны, позднее вступил на престол под именем Фридриха Вильгельма IV, женат на принц. Августе Саксен-Веймарской—128 g.
Вилькинс—234.
Вильсон m-me—179, 197.
Винберг, учитель—166.
Винклер, доктор—190.
Витгенштейн Елена, по мужу Репнина-Волконская—113.
Витгенштейн Леонила Иванов., рожд. Барятинская (1816—1918) замужем за Л. П. Витгенштейном—173.
Витгенштейн Луи (Людвиг Петрович) (1799—1866), старший сын фельдмаршала, женат первым браком на Стефани Радзивилл и вторым с 1834 г. на кнж. Леониле Ивановне Барятинской—107, 109, 115, 116, 161, 168.
Витгенштейн Мария, по мужу Hohenlohe род. 16 февраля 1829 г, умерла в 1847 г.—117.

Витгенштейн Петр Львович, гр. (1831—1887), генерал-адъютант—117, 184.
Витгенштейн Петр Христианович, фельдмаршал (1769—1843)—108.
Витгенштейн Сайн, Ферд.-Луи, Карл Адольф. (1772—1827)—107.
Витлих Каролина Ивановна—72,74.
Waud m-me.—227.
Воейков Николай Иванович—202.
Волков—22.
Волков губернатор—215.
Волконская Александра Никол., (1756—1834), рожд. книж. Репнина, мать декабриста кн. С. Г. Волконского, женатого на М. Н. Раевской, „утаенной" любви Пушкина.
Волконская Александра Петр. (1804—1859), замужем за Дурново Павлом Дм. (1804—1864).
Волконская Зинаида Александровна (1792—1862), рожд. книж. Белосельская, жена Никиты Григор. Волконского, поэтесса, знаменита своим салоном—173.
Волконский кн.—59.
Волконский кн. Григорий Мих. (1808—1882), пом. попеч. петерб. уч. округа, внезапно переведен в Одессу; художеств. натура, любитель пения и певец, женат на гр. Марии Алекс. Бенкендорф (1820—1880)—147.
Волконский кн. Петр Мих. (1776—1852), принимал участие в убийстве Павла I, 15 сентября 1801 г. сделан ген. адъют. Участвовал в камп. 1805 г., квартирмейстер, начальник штаба при Кутузове, сост. проект Гл. штаба, с 1842 канцлер империи. С 1826 г. Николай I назначил его министром двора—64, 65, 100, 108, 116, 124, 193.
Вольтер (1694—1778), знаменитый французский писатель—энциклопедист—30, 208, 214, 216, 250.
Вольф, нем. писатель—209.
Ворожейкины—44.
Вороновская Ек. Ив.—30, 41, 47.
Вороновский Антоний Ефимович—72.
Вороновский Дмитрий Антонович—72.
Вороновский Сергей Ефим.—41.
Воронцов—245.
Воронцов гр. Сем. Мих. (1782—1856)—118, 185.
Воронцова Елизав. Ксаверьевна (1792—1880), рожд. граф. Браницкая, жена М. С. Воронцова; в одесский период жизни Пушкина вызывала в нем горячее увлечение. Об отношениях Пушкина и Е. К. Воронцовой см. сб. „Пушкин". Статьи и материалы, в. III. Одесса 1927—119, 185, 205.
Воронцов-Дашков Ив. Ил.—посланник в Бельгии—120.
Воронцова-Дашкова Ал-дра Кир. граф. (1817—1856), рожд. Нарышкина—171.
Whuler Daniel—178.
Würflein—248.
Высоцкий—38, 154.
Вяземская Вера Фед, княгиня (1790—1886), рожд. книж. Гагарина—170.
Вяземский кн. („престарелый"), м. б. кн. Николай Петрович (1769—1890), женат первым бр. на Екат. Вас. Васильчиковой—24, 149.
Вяземский кн. Петр. Андр. (1792—1878), известный писатель, давший характеристику А. О. Россет в своей „Старой Записной Книжке" (Изд. пис. в Ленинграде 1929, стр. 158—160), находился с А. О. в большой дружбе, воспевал в стихах. О взаимоотношениях Вяземского и Смирновой см. в биографии А. О. См. (А. О. См. „Записки". Федерация, 1928)—110, 112, 128d, 128e, 131, 137, 146, 190, 194, 196, 197, 201, 213, 225, 251, 252, 253, 274, 275, 288, 292, 293, 294, 299, 306.

Haber 139.
Гагарин Андр. Павл.—88.
Гагарин кн. Ив. Сергеев. (1814—1882), дипломат, писатель, в 1843 г покинул Россию, стал католиком—99, 238, 309.
Гагарин м. б. Сергей Сергеевич (1745—1798), церемониймейстер, женат на книж. Варв. Ник. Голицыной (1762—1802).
Гагарина Изабелла—243.
Гагарина Мария Ал-др., рожд. Стурдза—217.
Гагарина Мария Алексеев., рожд. Бобринская, дочь гр. Алекс. Григ. (1762—1813) и граф. Анны Влад. Бобр., жена Ник. Серг. Гагарина—240.
Гаген гр., секретарь прусского посольства—120.
Гайден Иос. (1732—1809), нем. композитор—294.
Гакебуш полковник—25, 62, 64, 71

Галаган Григорий Павлов. (1819—1888), обществ. деятель, учредитель коллегии Павла Галагана в Киеве—246.

Galevay lady—259.

Галкин—73.

Галлен—309.

Галль доктор, повидимому, Смирнова путает его со знаменитым врачом и физиологом Галлем (1758—1828)—202, 256.

Гальвани (1737—1798) знаменитый физик—167.

Гальяни (рожд. Багратион)—128 a.

Гамс—116.

Ган, адъютант—58.

Гангеблов Александр Семенов. (1801—умер в начале 90-х г.г.), член Северного общества, затем служил в Владикавказском гарнизон. полку, участвовал в Персидской кампании. Автор „Записок"—28, 91.

Гангеблова—91.

Гандольеф—148.

Hanemann, доктор—123, 126, 142.

Гапка—26, 35, 36, 41.

Гауф, кондитер—249.

Гауфельд—287.

Гегель (1770—1831), знамен. нем. философ—202.

Геерович—73.

Heidenreich m-me, акушерка—131, 140, 229, 236.

Гейне Г. (1799—1856), знам. нем. писатель—139, 227.

Геккерн, барон, Якоб — Теодор. (1791—1884 г.), родом голландец, нидерландский поверенный в делах с 1823 г., с 1826 г. посланник в СПБ., приемный отец убийцы Пушкина Дантеса—299, 300.

Гендель (1685—1759), знам. нем. композитор, автор многочисленных опер—128d.

Гендерсон—168.

Гендрихов Ал-др Ив. (1806—1881), штальмейстер, обершенк—289.

Георгий Гессенский—Дармштадский, род. в 1804 г.—172, 236.

Гербель Карл Астаф.—39.

Герман Кар. Фед. (1767—1838), проф., инспектор классов училища ордена св. Екатерины, с 1836 г.—академик, в 1805—адъюнкт статистики, с 1806—проф. в Пед. институте—86, 87, 166.

Герсдорф—128d, 171, 172.

Герц—287, 289.

Гете Иоган—Вольфганг, (род. в 1749 во Франкфурте на Майне, ум. в 1832 г.), великий немецкий поэт—227, 228.

Гизо (1787—1774), франц. историк и государственный деятель—284.

Гильфердинг—213.

Глинка Борис. Григ.—84.

Глинка Дмитрий Григор. (ум. в 1883), старш. секр. нашей миссии в Стокгольме и посол в Бразилии и Лиссабоне—83, 84.

Глинка Мих. Иван. (1804—1857), знамен. композитор—122.

Глюк (1714—1787), знам. нам. композитор—121d, 169.

Гнедич Ник. Ив. (1784—1833), писатель, переводчик Илиады—239.

Говард Дж. (1725—1790), англ. филантроп—98.

Гогель Ив. Григ. (1773—1834), ген.-майор, директор Пажеского корпуса.

Гоголь Н. В. (1809—1852)—61, 73, 128h, 144, 145, 181, 193, 211, 212, 226, 228, 235, 243, 265, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311.

Голицын Алдр. Ник., кн. (1773—1844), прокурор синода, затем мин. нар. просв., близок Александру I—92, 99, 123.

Голицын кн. Дм. Влад. (1771—1844), с 1820 г. был моск. генерал-губерн. до 1844 г.—105.

Голицын Мих. Алдр. (1804—1870), библиофил, с 1856 г. посол в Испании, жен. на кн. Марии Ильиничне Долгоруковой—235.

Голицын Серг. Григ. (1806—1868), друг Глинки, музыкант, дружил с Россет (см. «сборник старинных бумаг Щукина», вып. 9, стр. 196 и стих. Пушкина «Полюбуйтесь же вы, дети» (1831). Носил прозвище «Фирс»—111, 122.

Голицын Федор Алдр. (1805—1848), камер-юнкер, состоявший сверх штата при русской миссии в Риме, католик, волонтер папской армии и член иезуитского ордена—128c, 128d, 146, 237, 250.

Голицына—«красная»—242, 293.

Голицына—237.

Голицына Наталья Петровна (1741—1837), рожд. гр. Чернышева, за свои усы была прозвана «Moustache». Отсюда шутка—А. О. «Mous-

tache брилась», прототип пушкинской Пиковой дамы, выехала из Парижа незадолго до революции—186.

Гёлер, церемониймейстер герцога Баденского Карла—235.

Горголий Ив. Сав., ген.-майор, и. д. Санкт-петерб. оберполицмейстера. Смирнова ошибается, т. к. он был полицмейстером с 1811 г. по 1821 г.—157, 158.

Гофман (1776—1822), нем. писатель, фантаст—82.

Граббе, полковник—58.

Грабовский Степан Фомич (ум. в 1847), министр статс-секретарь царства польского—84, 85, 115.

Грачев—121.

Greville Charles—143, 147, 245.

Грез Ж. Б. (1726—1805), знамен. французск. живописец—109.

Грессер Александр Алдр., адъютант в. к. Мих. Павл.—247, 248.

Греч Ник. Ив. (1787—1867), писатель и издатель журн. «Сын отечества» и «Северная Пчела»—73.

Грибоедов А. С. (1795—1829)—122, 203, 255.

Григорий, ламповщик—265.

Грильпарцер, выдающийся австр. драматург (1791—1872)—227.

Гримм, камердинер—121.

Гримм, барон (1723—1807), энциклопедист, Екатер. I переп. с ним с 1774 до смерти—30, 214.

Гришка—55.

Гронский, учитель—76.

Грузинский Егор Алдр. (1762—1852), женат на Варваре Ник. Бахметевой, у Смирновой ошибочно назв. Алдр. Ег.—217.

Гугорт, врач—136, 160, 288.

Гудовичи—259.

Гуммель Иог. (1778—1837), ученик Моцарта и Сальери, знамен. пианист и композитор—93, 95, 179.

Гурьев, слуга—107.

Гурьев Никол. Дмитр. (1789—1849), посол в Риме—289.

Houssaye Alfred—142.

Houssaye (брат Альфреда Houssaye)—143.

Густав IV Адольф (1778—1837), король шведский, свергнутый с престола в 1809 г.—220.

Да-Винчи Леонардо (1452—1519), знамен. итальянск. живописец, скульптор и архитектор—109.

Давыдов, сенатор—304.

Давыдова Адель Ант., дочь Аглаи Антоновны Давыдовой. Характеристику ее см. в «Записках» А. О. Смирновой, изд. Федерации, 1929 г.—стр. 184—185.

Давыдовы—27.

Дагобер, французский король, ум. в 638 г.—261.

Даламбер Жан (1717—1783), знамен. писатель, философ и математик. Один из основателей «Энциклопедии»—214.

Дальгейм Lise—132.

Д'Альмейда, граф—121.

Дандорф, парикмахер—236.

Данилевский Алдр. Сем. (1809—1888), ближайший друг Гоголя—271, 272.

Дантес (1812—1895), убийца Пушкина—299, 300.

Дашковы—279.

Двойвичева—58.

Дебле—123.

De Broglio, кн.—216.

Девоншир Спенсер (1790—1858), дюк, английский посол—105.

Де Галенто, адмирал—24.

De-Lage M-me—128g.

Делафон Софья Ивановна (1717—1797), начальница Смольного института—215.

Делинсгаузен, барон—111, 189.

Делон, граф—59.

Делош, аббат, препод. физики в Смольном институте—79, 87, 167, 177.

Дельваль Каролина, по мужу Barbet—233, 241, 261, 262, 263, 264, 266.

Де-Мармонт (1774—1852), маршал Франции, посол—105.

Де-Местр Жозеф (1754—1821), франц. писатель—129, 250.

Демидов, возможно Николай Петрович, проводивший целые годы за границей—237.

Державин Гав. Романов. (1743—1816), поэт—183.

Де-Ремюза, придворная дама Жозефины, жены Наполеона I. В своих «Записках» описывает последние годы Консульства и первые годы Империи. Книга переведена А. О. Смирновой—222.

Де-Рибас Ос. Мих. (1749—1800), принимал участие в поимке Таракановой, адмирал—31.

Де-Роган (1734—1803), кардинал, участник дела с «ожерельем королевы», в котором была замешана

Мария Антуанетта (1734—1803)—221.
Де-Севинье (1626—1696), известн. фр. писательница, знам. своими «Письмами»—152.
De St. Hilaire, учитель—78.
Де-Сталь (1766—1817), писательница, автор «Дельфины», «Коринны», «Писем из Германии»—139.
De-Traversay, маркиза, рожд. Сенявина—112.
Джунковский—235.
Дибич Ив. Ив. (1785—1831), ген.-фельд.—184.
Дивова Ал-дра Гаврил. (1772—1827), камер-фрейлина—124.
Didelot (Дидло) Карл Людовик (1767—1837), балетмейстер—82.
Дидерот (1713—1784), франц. философ-энциклопедист—214.
Dickinson, няня—172.
Dillon—221.
Диран, эконом Смольного института—81.
D'Ystrie duchesse—290.
Дмитриев—83, 84, 85.
Дмитриев-Мамонов Ал-др. Матв., граф (1758—1803)—99.
Дмитриева-Мамонова Дарья Федоровна (1762—1801), урожд. кн. Щербатова—99.
Дмитрий, сын Н. Д. Киселева—262, 263.
Дмитрий (повар)—34, 37, 61, 64, 71.
Д'Оггер Ал-дра Вас. замужем за Сенявиным Ив. Гр., тов. мин. внутр. дел, сенат. (1801—1851)—119.
Долгорукая, княгиня—257.
Долгорукий, кн. Вас. Вас. (1787—1858), обер-шталмейстер, женат на Варв. Серг. рожд. Гагариной (1793—1833)—175.
Долгорукий, кн. Илья Андр. (1797—1848), ген.-адъютант, женат на Екатер. Алдр-не, рожд. Салтыковой (1803—1852), сестра его жены Марья Алдр-на (1806—1845) замужем за родным братом Софьи Станиславовны Киселевой, церемониймейстром Болеславом Станиславовичем Потоцким (1806—1875)—126, 128, 289.
Долгорукий Петр Влад. (1816—1868), камергер, занимался генеалогией «Сказание о роде кн. Долгоруких» и «Собр. русск. родословных», на французском языке «Notice sur les principales familles de la Russie», был сослан в Вятку (1843), затем выпустил 4 тома «Российск. родосл. книги», в 1859 г. уехал за границу. Здесь издал «Verites sur la Russie», Paris 1860. В 1861 г. был лишен всех прав состояния и признан изгнанником. Женат на Ольге Дмитриевне Давыдовой,—299.
Д'-Олон, граф—25.
Домбровская—33.
Дондуков Мих. Алдр., тов. мин. нар. просв.—274.
Достоевский Фед. Мих. (1821—1881)—308.
Драшевич Вантос. Ив.—48.
Дризен, генерал—67, 118, 244.
Дубельт Леон. Вас. (1792—1862), ген.-лейт., упр. III отд.—275.
Дубницкий—48, 72, 212.
Дудина—248.
Дункер Шарлотта Карловна, воспит. в. к. Ольги Ник.—123.
Дургольц—122, 130, 140.
Дурново Ал. Петр. (1804—1859), рожд. Волконская, замужем за шталмейстером Павлом Дмитр. Дурново (1804—1864), дружила с Гоголем и Жуковским—126, 128, 133.
Дурновы—174, 248.
Дурова Над. Андр. (1783—1866), девица-кавалерист, известна своими „Записками“, изд. Пушкиным—309.
Дюбуа—123, 127.
Дюваль—172.
Duval М-г—235.
Дюссек—179.

Евгений, герцог Вюртембергский (1788—1857)—109.
Евлампий, епископ—301.
Екатерина II Алексеевна (1729—1796), императрица—30, 98, 99, 121, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 226, 301.
Екатерина Павловна, четвертая дочь имп. Павла I (1788—1818). На Эрфуртском свидании сватана кн. Талейраном Наполеону I, но Ал-др I сватовство отклонил. 1/I—1808 г. обручена с принцем Петром Ольденбургским (1784—1812). Жила в Твери, покровительствовала литераторам. Карамзин передал ей «Записку о древн.

нов. России» и читал у нее первые тома «Истории». Вторым браком за Вильгельмом I, королем Вюртембергским—222.
Елагина—306.
Елена Павловна (1806—1873) вел. кн., жена вел. кн. Мих. Павловича. Дочь Вюртембергского принца Павла-Карла. Воспитывалась в Париже в пансионе Кампан, через подруг по пансиону познакомилась со знаменитым ученым Кювье. 5/XII. 1823 г. б. наречена Еленой и помолвлена с вел. кн. Мих. Павл. по желанию имп. Марии Федоровны. Семейная жизнь б. очень тяжелой в виду несходства характеров супругов. Потеряла четырех дочерей. Имела литературный салон, где собирались видные ученые и литераторы. Покровительствовала начинающим талантам. Участвовала в организации Русск. музык. об-ва, принимала участие в уничт. креп. права—89, 107, 167, 168, 200, 287.
Елена Павловна, (1784—1803). 2-ая дочь Павла I, замужем за Фридрихом, наследным принцем Мекленбург-Шверинским—221.
Елизавета Алексеевна, (1779—1826), императр., жена Александра I-го—89, 105, 179.
Елизавета Петровна, (1709—1761), императрица—216.
Ельский, граф—114, 161.
Емельян, денщик—39, 71, 73.
Ермолов, Алекс. Петр. (1777—1861) генерал, герой войны 1812 г. и Кавк., был знаком с Пушкиным—202.

Жанлис, m-me (1746—1830), автор педагогических сочинений и нравоуч. комедий—64.
Жданов, адъютант—62.
Genthe m-lle—166.
Жеребцова Ольга Алдр-на, по мужу гр. Орлова (ум. в 1852 г.), фрейлина—198.
Giny—257, 259.
Girardon—120.
Joinville (1225—1317), франц. историк и литератор—309.
Жуков Вас. Ив., м. б. Смирнова ошибается и должен быть Мих. Мих., тайный советник, род. в 1729, ум. в 1803 г.—100.
Жуковская Елизавета Евграфовна, (1821—1856) рожд. Рейтерн, жена поэта—291.
Жуковский Вас. Андр. (1781—1852), поэт—106, 113, 118, 123, 228c, 128f, 128, 131, 137, 144, 174, 175, 176, 177, 179, 192, 193, 224, 225, 242, 265, 272, 277, 281, 285, 287, 291, 294, 296, 299, 306, 307.
Jumilhoc—146, 149.

Заас—311.
Заборовская, книж.—27.
Завадовская, гр. Ел. Михайловна—рожд. Владек (ум. в 1874), известная красавица, воспетая Козловым и Вяземским—120, 204.
Загор—полковник—278.
Sachs Hans—нем. поэт (1494—1576)—79.
Зам—289.
Sengen—229.
Зибах (актриса)—227, 228
Зиновьев Вас. Ник., брат кнг. Ек. Ник. Орловой, жены гр. Г. Г. Орлова, был женат три раза: на Лубенской В. М.; на Устинье Фед. Брейткопф и на Розановой Ек. Павл. От всех 3-х браков имел 17 человек детей—83, 84, 163.
Зиновьев Степан Вас. (1805—1871)—83.
Зиновьева Вера Мих., рожд. Дубенская—83.
Зонтаг гр. Росси, певица (1805—1853) с 1830 по 1837 г. концертировала в Спб.—46.
Зонтаг Анна Петровна (1785—1864) писат., автор многочисленных детских книг—306.
Зубов Алексей Николаевич (1798—1864), тайный советник, б. знаком с Жуковским и Пушкиным—112.
Зубов Валериан Алдр. (1771—1804)—103.
Зубов Дмитрий, кн.—103.
Зубова Ал-дра Ал-дровна, см. Эйлер.
Зубова рожд. Воронова—103.
Зуров Эльпидифор Антиохович, (1798—1871) адъютант при гр. Орлове-Денисове и Дибиче, впоследствии тульский губернатор—176.

Иванов Ал-др Андр. (1806—1858), знаменитый живописец—292.
Ивановский—108.
Игнатьев Сергей—слуга—108, 110, 116.
Измаил, смотритель—21, 48.
Измайлов—24.

Икскуль Ал-др Карл. барон (1805—1888), камергер, директор тюремного комитета—231.
Икскуль баронесса (рожд. Волконская)—157, 231, 232, 234.
Илья, слуга—95.
Иосиф IV, австрийский император с 1765 по 1790 г.—215.
Иосиф, палатин Венгерский (1776—1847)—220.
Иннокентий, митр.—144, 263.
Иноземцев Фед. Ив. (1802—1869), знамен. врач—297, 305.
Иринарх, настоятель—237.
Исакова—163.

Кавос А. (1776—1840), известный композитор и капельмейстер, переселившийся в Россию в конце 1798 г.—92.
Кайданова Елиз. Яковлевна—163.
Кайданова Наталия Яковлевна—163.
Кайдановы—165.
Каменский, муж Наталии Николаевны Бороздиной, дочери ген.-адъютанта Н. М. Бороздина (1777—1830)—256.
Камерон (1783—1811), шотл. архитектор, работал в Спб. и Царском селе—226.
Кампенгаузен Рудольф—188.
Кан m-lle—260.
Canina Л., итальянский археолог и архитектор—263.
Каниц—128g, 209, 230, 234.
Каниц, рожд. Щлиппенбах—211.
Канкрин, гр. Ег. Фр. (1774—1845), мин. финансов—118, 122.
Кантакузены—31.
Кантемир кн. Дм. Конст. (1763—1822), молдавский господарь—23.
Cantu—284.
Каподистрия гр. Иоанн Антонович (1776—1831), один из уполномоченных России на Венском конгрессе, впоследствии т. наз. «Председатель греческого правительства», губернатор Мавромихали—217.
Капнист Вас. Вас. (1757—1828), писатель, автор «Ябеды»—156.
Капнист Илья Иванович—212.
Карамзин Ал-др Ник. (1816—1868), служил в гвардии—111, 190.
Карамзин Андр. Ник. (1817—1854), сын историографа, полковник, погиб во время войны с турками близ Каракала в Румынии. Ухаживал за Смирновой в ее бытность в Париже в 1836—37 гг.—111, 186, 189, 225, 260, 273.
Карамзин Владимир Ник. (1819—1879), служил в сенате, участвовал в турецкой кампании (1854 г.), мировой посредник в 1868 г., сенатор—111, 112, 190.
Карамзин Ник. Мих. (1766—1826), историограф—123, 225, 296.
Карамзина Екат. Андр. (1780—1851), по отцу родная сестра Петра Андр. Вяземского, вторая жена (с 1804) Н. М. Карамзина—89, 103, 123, 133, 174, 175, 179, 189, 190, 191, 207, 225.
Карамзина Елиз. Ник. (1821—1899), фрейлина—111, 112.
Карамзина Софья Ник. (1802—1856), дочь Н. М. Карамзина от первого брака с Е. Н. Протасовой, фрейлина—111, 123, 174, 189, 213, 225, 254.
Карамзины—111, 118, 120, 123, 133, 173, 175, 188, 299.
Каратыгин Вас. Андр. (1802—1853), знаменит. трагик—227.
Карл, Леопольд, Фридрих Баденский, р. в 1790 г. женат на Софии Вильгельмине, род. 1801 г., дочери Густава Адольфа Шведского—289.
Карл Прусский (1801—1883), брат имп. Алдр. Фед.—103, 222, 229.
Карл-Фридрих, в. герц. Саксен-Веймарский (ум. в 1853)—222.
Каролина (Мария), (1752—1814) королева неаполитанская, благосклонностью ее пользовался кн. Андр. Кир. Разумовский, отличалась властолюбием и жестокостью—31.
Каролина Ивановна—296.
Каролина, принцесса—194.
Карцов Петр Кондратьевич (1750-1830), адмирал—90.
Кастельно граф—25.
Каталани А., певица—87, 88, 89.
Катарова—163.
Кахов—43.
Кахов Ваня—43.
Качалова Мария Федоровна, пепиньерка—117.
Кашперовы—257.
Queler барон—172.
Кезоли ген. (Кис-Оглу)—145.
Кейрамарап—122.
Келлер—111.
Керву д—158.

Кетчер Николай Христофор. (1809-1886), переводчик Шекспира и Гофмана—143.
Кибнер—278.
Киндякова Елизавета Петровна, вторым брак. за ген.-майором Ал-др. Вас. Пашковым (1792—1862)—248.
Киреевский Ив. Вас. (1806—1856), журналист, философ, славянофил; в июне 1829 И. В. уехал в Берлин, затем был в Дрездене и Мюнхене, где слушал лекции—304.
Киселев Ал-др Дм. убит в Бородинском сражении—201.
Киселев Никол. Дмитр. род. в 1800 г. в Москве, умер во Флоренции 26/XI. 1869 г. В Дерптском у-те окончил курс со степенью кандидата в 1823 г. 2/I. 1824 г. поступил на службу в Гос. колл. ин. дел. В 1826 г. был отправлен в Персию с кн. Меншиковым. В 1829 г. назначен секретарем при посольстве в Париж. В 1834 г. получил звание камергера. В 1837 г. назначен советником посольства в Лондоне. В этом же и в 1839-40 г. исполнял должность поверенного в делах в Лондоне. В 1840 г. переведен советником посольства в Париже. В следующем году получил чин действ. ст. сов. В 1841—1851 г.г. исправлял должность поверенного в делах. В 1851 г. был назначен управлять русск. посольством в Париже. В 1854 г. 23/4/II вручил Наполеону III ноту о прекращении диплом. сношений России с Францией и уехал в Германию. 6 янв. 1853 г. назначен чрезвыч. посланником при Наполеоне. 8/VI—1855 г. был отправлен чрезв. посланником и полномочным министром ко дворам Римскому и Тосканскому. 1864 г. назначен представителем России при короле объединенной Италии. Был женат на вдове гр. Торлония, урожд. княжне Франческе Русполи. 128a, 128b, 128c, 128d, 128e, 128f, 128g, 128h, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 146, 147, 150, 157, 160, 167, 172, 183, 186, 192, 197, 200, 201, 203, 212, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240. 241, 242, 244, 249, 250, 251, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 287, 299.
Киселев Пав. Дм. гр. (1788—1872), принимал участие в войнах в 1806, 07, 12, 13, 17 гг. С 1812 г. адъютант Милорадовича, в 1814 г. флигель адъютант, в 1817 г. произведен в ген-майоры, в 1819 г. нач. штаба 2-ой армии, в 1829 г. командир 4-го резервного кавалерийского корпуса и полномочный председатель диванов княжеств Молдавии и Валахии. При нем выработан органический регламент для обоих княжеств и проведена крестьянская реформа, на кот. обрат. внимание Николай I. В 1834 г. ген. от инфант. чл. Гос. совета. Работая в области крестьянского вопроса, принадлежал к сторонникам ограничения и уничтожения крепост. права; в в 1836 г. учрежд. V отделение Собств. е. и. в. канцелярии с Киселевым, а в 1837 г. стал мин. гос. имуществ. В 1839 г. получил титул графа. В 1856 г. занял пост посла в Париже, в 1862 г. оставил, как сторонник франко-р. союза, свое место. Крестьянская реформа совершилась без его участия. В 1821 году женился по любви на гр. Софии Стан. Потоцкой, дочери красавицы «фанариотки», но разошелся в 1829 г.—27, 91, 128a, 128b, 154, 184, 198, 201, 214, 215, 243, 256, 261, 266.
Киселев Сер. Дм. (1792—1851), полковник в отставке, женат на Е. Н. Ушаковой (ум. 1872), с 1837 г. московский вице-губернатор, с 1838 г. председатель московской казенной палаты—121, 128a, 201.
Киселева Софья Станисл., рожд. Потоцкая (1801—18), дочь Феликса Щенсного Потоцкого и «la belle Fanariotte», С. С. появилась в свете в 1818 г., вызывая восхищение своей красотой. Вяземский звал ее «похотливой Минервой». В 1821 г. вышла замуж за Павла Дм. Киселева, в 1822 году у нее родился сын Владимир, умерший в двухлетнем возрасте. Брак С. С. был несчастлив: с одной стороны—это вызывалось увлечением П. Д. ее сестрой Софьей Станиславовной Нарышкиной, с другой—расхождением политических симпатий мужа и жены. Расставшись с мужем, но не получив от него развода, Киселева жила за границей главным образом в Париже, Ницце и Монте

Карло. Под старость очень увлекалась рулеткой—26, 121, 128, 175.
Киселевы—121.
Китаев, камер-фурьер 207.
Клеманс—189.
Клингер Фридрих Макс. (Фед. Ив.) (1752—1831), друг Гёте, автора «Фауста». В 1780 г. вступил в русск. службу, директор I-го кад. корпуса, Паж. корпуса и попеч. Дерп. учебного округа, женат на побочной дочери Г. Г. Орлова Елизавете Алексеевой (ум. 1831)-81.
Клюгель—252.
Кнорринг Зинаида—106.
Кобле Аполлон Фом. род. 1811—41, 96.
Кобле Клавдия Фомин., род. 1801, вторая жена маркиза Филиппа Осиповича Паулуччии (1779-1849)—37, 96.
Кобле Фома (Томас) Алдр. (1761—1818), англичанин по происхождению, сын консула в Ливорно и брат жены графа Николая Сем. Мордвинова, принял русск. подданство и поступил в 1788 г. на русскую службу из камергеров польского двора капитаном; в том же году 9 ноября произведен в секунд-майоры в приморской николаевский гренадерский полк, в 1793 г. произведен в подполковники; в начале следующего года перешел в Сумский полк, а 8 апреля 1796 г. в таврический конно-егерский. Кобле участвовал во 2-ой турецкой войне, сначала на гребном флоте под Очаковым под начальством адмирала Мордвинова, а затем в составе молдавской армии; был при взятии Бендер и Аккермана и на штурме Измаила, где был контужен, участвовал в победе при Мачине. В 1798 г. произведен в полковники, в 1799 г. в ген.-майоры и через полгода уволен в отставку. Принятый вновь на службу 1801 г. назначен комендантом в Одессу и шефом ладожского пехотного полка. В 1816 г. он получил особое «высочайшее благоволение» за труды по прекращению в 1812 г. в Херсонской губернии «заразы» (чумы) и награжден орденом Анны 1-ой степени. По болезни Кобле был уволен со службы с мундиром и пенсией. Женат на дочери царицынского коменданта Цыплетева, которая неверно назв. Смирновой, в 1817 г. он был уже вдовцом. По поводу степени образования Кобле в его формулярном списке за его собственной подписью отмечено: «грамоте по российски, французски, итальянски, английски читать и писать, арифметики, геометрии, фехтовать, танцовать и в манеже ездить умеет"—25, 37, 38, 94, 96.
Кобург—Готский, герцог—224.
Коднев, юнкер—67.
Колычев К. дьякон—88.
Комаровский гр. Евг. Евг. (1801—1875), адъютант принца Евгения Вюртембергского, жен. на С. В. Веневитиновой—112, 190, 215.
Коновницын Ал.—245.
Коновницын гр. Ив. Петр. (1806—1867), прапорщ. кон. артил., позднее директ. Конторы Харьк. Комм. банка—92.
Коновницын гр. Петр. Петров. (1802—1830) подпоручик гвард. ген. штаба, член сев. об-ва, разжалов. в солдаты—90, 92.
Конради—126.
Константин Павлович (1779—1831), вел. кн.—второй сын Павла I-го, воспитывался под руководством Лагарпа. При Павле I участвовал в Итальянском походе Суворова. При Ал-дре I в войнах против Наполеона. В 1816 г. назначен главным предводителем польских войск. В 1820 г. развелся с первой женой—герцогиней Саксен-Кобургской Анной и женился на Иоанне Грудзинской, которой Ал-др I дал титул княгини Лович. В виду этого брака отказался от прав на престол, что держалось в тайне до смерти Ал-дра I, участвовал в подавлении польского восстания 1830 г.—197, 214.
Константиновский Матв. Андр., свящ.—304, 305.
Копьева—164.
Копылов—187.
Корнель Ж. П. (1606—1684) франц. трагик—79.
Коробьин Григорий, депутат Козловского дворянства в Екатер. комиссии для составления проекта нового уложения, предлагал уменьшить власть помещика и определить оброк—215.
Королева—85.
Корреджио (1494—1534), знам. итальянск. живописец—281.
Корсаков—254.

Кортец Донозо (1809—1853) испанский госуд. деятель, представ. либер. напр.—138.
Косов, купец—96.
Костецкий, генерал—40, 110.
Котревицкий—107.
Коцебу Авг. (1761 — 1819), изв. реакц. нем. романист, убитый К. Зандом—227.
Кочетова. Ек. Ник., фрейлина—88, 103, 107, 125, 127, 162.
Кочинский—83, 85, 115, 116.
Кочубей кнг.—156.
Кочубей Арк. Ив.—246.
Кочубей Вик. Павл. (1768—1834), гос. канцлер и крупн. магнат—246.
Кошелев Алдр. Ив. (1806—1883) славянофил, в молодости был влюблен в А. О. Россет и делал ей предложение (см. биографию А. О. Смирновой «Записки», изд. Федер. 1929 г. стр. 33)—174.
Кошелев Родион Алдр., друг кн. А. Н. Голицына, дядя Алдр. Ив. Кошелева, который жил у него в 1826 г.—178.
Крейтон Алдр. Алдр. (сконч. в 1856 г.), лейб-медик—97, 114, 181.
Кремпин Амалия Яковлевна (1778—1839) рожд. фон-Шредер, начальница СПБ Екат. инст. с 1823 г.—84, 86, 87, 90.
Кречетников Мих. Ник. (ск. в 1793), ген-поруч. Калужской губ.—301.
Кривова m-lle—109.
Криницкий, свящ.—101, 182.
Крупенникова—76, 164.
Крупетьева, институтка—163, 179.
Крюденер m-me (1764—1825), известная проповедница мистического суеверия—178.
Крылов, Ив. Андр. (1768—1844) баснописец — 78, 169, 294, 295.
Кудашева кн. Анна Сергеевна—43.
Кудашева Катенька—44.
Кудашевы — 38, 39.
Кудрявцев—213.
Кулябко Мария Павл.—44.
Кульнев, юнкер—68.
Куракин, Алекс. Борис. (1759—1829), тайный советник, сенатор, член гос. совета—161.
Куракин, кн. Александр Борисович (1752—1818, сын гофмейстера кн. Бор. Алексеевича от брака с Ел. Степ. Апраксиной. Воспитывался вместе с вел. кн. Павлом Петровичем. Образование довершил в Лейденском у-те. В 1772 г. был пожалован в камер-юнкеры, в 1775 г. определен в сенат. В 1778 г. сделан действительным камергером, а затем назначен обер-предводителем дворянства. Сопровождал вел. кн. Павла Петр. за границу; его дружба с наследником не нравилась Екат. Петр. и он был сослан на житье в с. Надеждино, Саратовской губ. По вступлении Пав. I на престол был возвращен к делам и осыпан милостями. Был назначен членом совета при императоре, вице-канцлером, произведен в действ. тайн. советники. В 1798 г. его постигла опала, и он был отставлен от дел. Незадолго до кончины Павел I вернул ему должность вице-канцлера, а Алдр. I назначил его канцлером российских орденов и иногда давал ему дипломатические поручения. Он был очень тщеславен и склонен к пошлости—223.
Курень m-me—96.
Курень—162.
Кутайсов Павел Ив. (1780—1840), обер-гофмейстер—123.
Кутузов (Голенищев) светл. князь Смоленский Мих. Илл. (1745—1813), знаменитый полководец—188.
Кутузов Василий—107.
Кушелев-Безбородко — 197, 276.
Кушелева-Безбородко, графиня. м. б. Ал-дра Григ. (1800—1855)—248.
Кюба—248.
Кюхельбекер Юстина Яковлевна, рожд. Ломен, ум. в 1841 г.—77.
Кюхельбекер Юстина Карловна (1748—1871), замужем за Глинкой Гр. Андр.—84.

Laharpe, девица—23.
Лагарп Фридр. Цес. (1754—1838), швейцарец, воспитатель Алекс. I—23, 178.
Лагренне Теод. (1800—1862) I-ый секрет. франц. посольства в 1828—31 г.—116.
Лазарев Лазарь Якимович—по всей вероятности Смирнова ошиблась, надо Иван Якимович (1787—1838), богач, меценат, благотворитель—284.
Ламбро (адмирал)—24.

Ла-Мотт, родилась в 1756, ум. в Лондоне 1791, шантажистка и замешана вместе с кардиналом Рогаом в дело «ожерелье королевы»—221.

Ланжерон, графиня, рожд. Бриммер — 103, 186.

Ланжерон гр. Ал-др. Фед. (1763—1831) с 1815 года был Одесск. губернатором—39, 49, 75, 102, 184, 185, 186.

Ланкастер, Иосиф (1771—1838), английский педагог, введший систему взаимного обучения—166.

Лано—25.

Ланской Алекс. Дмитриевич (1758—1784) фаворит Екатерины II, сын бедного смоленского помещика. Начал службу в Измайловском полку в 1772 г. солдатом. В 1776 г. был пожалован в кавалергарды с производством в армейские поручики. В 1779 г. на него обратила внимание Ек. II, проживавшая в Цар. Селе. Ланской был назначен в октябре этого года адъютантом к Потемкину. В ноябре он был пожалован во фл.-адъютанты и переехал во дворец. Умер от горловой болезни, в чине генерал-поручика, ходили слухи, что был отравлен. Екат. II похоронила его в парке Царского Села. Его состояние доходило до 6—7 миллионов—99.

Ланской Сергей Степанович (1787—1861) деятель крестьянской реф.—293.

Ласунский Павел Мих. (1777—1829), камергер, позднее гофмаршал—123, 124.

Лафатер Иог. Каспар, (1741—1800) известный писатель—243.

Лафероннe Пьер (1777—1842), французский дипломат—87.

Лафонтен Август (1758—1831), нем. романист, автор сентиментальных повестей—237.

Лахман—128а.

Лебле—85.

Левенштерн—299.

Лейтон, акушер, лейб-медик—131.

Лейхтенбергский герцог Максимилиан, (1817—1852) первый муж в. кн. Марии Николаевны—286.

Lenormand (1772—1843) гадальщица—293.

Ленский—161.

Ленхен—300.

Леонидас—235.

Леопольд Кобургский принц, предполагаемый жених вел. княг. Екатерины Павловны, позднее король бельгийский—229.

Леонтьева Ек.—163.

Лепри, ресторатор—274.

Лермонтов М. Ю. (1814—1841)—213, 241, 247, 248, 292.

Лессинг (1729—1781), нем. драматург и теоретик театра—227.

Летцбок, барон—171.

Лехнер, адъютант Сухтелена—185.

Лехнер рожд. Брюсс—185.

Ливен кн. Дарья Христ. (1785—1857), дочь Хр. Ив. Бенкендорфа (мать ее Шиллинг фон Капштадт), в 1800 г. вышла замуж за Хр. Андр. Ливен, жила в Берлине и Лондоне. Здоровье ее, сильно потрясенное смертью от скарлатины двух ее младших сыновей, потребовало перемены климата, и она воспользовалась этим предлогом, чтобы уехать в 1835 г. за границу и никогда больше не возвращаться в Россию. Поселилась сначала в Бадене, затем в Париже. При большом уме и страсти к политике она не отличалась ни образованностью, ни начитанностью, но владела в совершенстве пером. Расчетливая, эгоистичная, с характером прямым и правдивым, она была постоянна в своих привязанностях и соединяла с отсутствием настоящей сердечности большую чувствительность. Честолюбивая и не лишенная большой доли снобизма, она дорожила успехом среди гос. деятелей—129, 172, 190, 242, 243, 249.

Ливен светл. княгиня Шарлотта Карловна (рожд. фон-Поссе) (1743—1828), жена ген. майора Андрея Романовича (Отто-Генрих) фон-Ливен (1726—1781). Воспитательница всех дочерей Павла I, выбранная на эту должность Ек. II по рекомендации рижского ген.-губер. Броуна. Играла крупную роль при дворе. Имела большое влияние на имп. Марию Феодоровну, ее считали опорой немецкой партии при дворе. Прожила при дворе 45 лет, принимала участие и в воспитании великих князей. Екатериной II пожалована в 1794 г. в статс-дамы, в 1799 г. была возведена с потомством в графское достоинство, в коронацию Ник. I

была возведена в княжеское достоинство и в декабре того же года получила титул светлости—105, 107, 218, 219, 220.
Ливен, гр. Христ. Андр. (1774—1838), полномочный министр и посланник при короле Прусском, а затем посол в Лондоне—178.
Лиза—130, 140, 230.
Лингард (1771—1851), английский историк—179.
Линней (1707—1778), знаменитый шведский натуралист—87, 167.
Лист Франц (1811—1886), знамен. композитор и пианист—260.
Лобанов-Ростовский кн. Ив. Ал-др. (1789—1869), обер-прокурор и обер-гофмейстер, женат на Елиз. Петровне Киндяковой, с кот. развелся в 1828 г.—248.
Лобанова, кн.—171.
Лоде—50.
Ломоносов, Мих. Вас. (1712—1765)—44.
Лопухин, светл. кн. Петр Вас. (1753—1827), председ. гос. сов.—101, 102.
Лопухин Ив. Влад. (1756—1816), деятельный участник литерат. и филантропических предприятий новиковского кружка, мартинист—178, 181.
Лорер Александр Иванович (род. 19 сент. 1779 г.), похоронен в селе Киятове, Гдовского уезда; по словам местного священника, надпись на кресте была в несколько вольном духе, почему по приказанию полиции были выдерганы из нее металлические буквы и надпись оказалась неразборчива—31, 42, 45, 46, 212.
Лорер Вера Ив.—72, 212.
Лорер Вера Ив. (по мужу Мазараки)—36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49.
Лорер Дмитр. Ив.—32, 43, 49, 90, 92, 94, 96.
Лорер Евдокия Ив.—48.
Лорер Екат. Евс. рожд. княж. Цицианова—26, 27, 29, 41, 43, 44, 45, 126, 141, 217.
Лорер (фон) Ив. Ив.—28, 141.
Лорер Карл Иван. 41, 47.
Лорер Мария Ивановна (рожд. Корсакова)—31, 43, 46, 92, 96, 121, 143, 179, 212, 255.
Лорер Ник. Ив. род. в 1795 г.; сын советника Вознесенского губернского правления, женатого на княжне Екатерине Евсеевне Цицияновой; воспитывался в доме П. В. Капниста (наставником его был гернгутер Нидерштеттер), а затем в Дворянском полку, откуда в 1812 г. выпущен офицером по армейской пехоте; переведен в л.-гв. Литовский полк, уволен от службы штабс-капитаном, а затем служил в л.-гв. Московском полку; майор Вятского пехотного полка (1825). Масон, член ложи в гор. Офенбахе.—Был принят в Северное общество кн. Е. П. Оболенским; член Южного общества; арестован в Тульчине—23/XII. 1825; доставлен в Петропавловскую крепость, приговорен в каторжную работу на 12 лет; поступил в Нерчинские рудники—по указу 1832 г. обращен на поселение; в 1837 г. определен рядовым в Кавказский корпус, назначен в Тенгинский пехотный полк, произведен в унтер-офицеры, в прапорщики—10/X. 1840; уволен от службы 11/II. 1842 г. с воспрещением въезда в столицы; поселился сперва в Херсоне, а затем переехал в имение своего брата Дмитрия, село Водяное, Херсонского уезда; по высочайшему повелению 18/I. 1851 дозволено Д. И. Лореру, по его о том ходатайству, принадлежащее ему родовое имение передать по смерти своей духовным завещанием в потомственное владение брата Николая; ум. в 1873 г. женат на Над. Вас. Изотовой, дочь Екатерина замужем за бар. В. К. Гротщеом—23, 29, 43, 49, 50, 74, 96.
Лореры—95.
Лос-Риос—Жозе-Амадор (1818—1878), историк испанской литературы, проф. мадридского университета—138, 172, 202.
Лошкарев, полковник—51.
Lu—287.
Лубенский Фома—161.
Lonis швейцар—260, 265.
Лука слуга—121, 225.
Лука крепостной—111.
Лунина Авд. Мих., фрейлина—105, 125, 197.
Лунковский Серг. Алдр.—121.
Лутковская Поликсена (по мужу Грессер)—247.

Любецкий кн.—84, 115.
Luo пастор—244.
Львов Андрей—114.
Львов Александр Фед. (1799—1870), в 1837 г. директор певческ. капеллы—295.
Львова кнг. Екатерина Владимировна, гофмейстрина в. к. Елены Павл.—287.
Людовик XVI, (1754-1793) франц. король,—казнен, 221.
Людовик XVIII (1755-1824), король французов царствовал в 1814-1824 гг.—217.

Мазараки—49.
Мазараки Екатерина, по мужу Сталь-Гольштейн—49.
Майер, банкир—171.
Макарова—246.
Маланья ключница—41.
Малерб (1555—1628), французск. поэт—223.
Малибран Maria Felice Garcia (1808-1836) знаменитая певица—148.
Мальвер—218.
Мальмберг—226.
Мальтиц, бар. Франц Петр. (1798-1857), служ. в посольстве в Берлине.
Мальцев Ив. Серг., ум. в 1880 г.—203, 247, 255.
Мандт Мартин (1800-1858), домашн. врач Елены Павловны, затем Николая I—155.
Мансветов Григ. Ив. (1775-1832), протоиерей придв. собора и дух. писатель—79.
Мансуров Алдр. Павл. (1788-1880), посланник в Ганновере и Гааге—229, 234.
Мансурова рожден. Трубецкая Агрип. Ив., (1795-1861), вышла замуж 12 ноября 1826 г. за своего двоюродного брата А. П. Мансурова—135, 229, 233, 234, 235, 236.
Мансурова Зин. Алдр.—233, 234.
Марийка—40, 54, 61, 72, 151.
Мария-Антуанетта (1755-1793), жена Людовика XVI, казнена на эшафоте—218, 221.
Мария Вюртембергская—124.
Мария-Луиза (1791-1847), вторая жена Наполеона I, после его падения—герцогиня пармская, дочь имп. австрийского Франца I—281.
Мария Максимилиановна Лейхтенбергская род. в 1841 г., в 1863 г. вышла замуж за принца Вильгельма Баденского—286.
Мария Михайловна вел. книж. (1825-1846)—287.
Мария Николаевна вел. кн. (1819-1876), дочь Николая I, первым браком за Макс. Лейхтенбергским, вторым (1852 г.) тайным за гр. Григ. Алдр. Строгановым—113, 173, 200, 286, 292.
Мария Павловна, (1786-1859), дочь Павла I, вел. герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская. В 1804 году вышла замуж за наследного принца Саксен-Веймарского Карла. Создала в Веймаре музей, посвященный Гёте, Шиллеру, Виланду и др. В 1842 г. по ее приглашению приезжал Лист—220, 221.
Мария Федоровна (1759-1828), императрица, жена Павла I. До смерти Екат. II и вступления Павла I на престол не играла никакой роли в политической жизни—38, 78, 84, 95, 101, 105, 106, 109, 114, 116, 117, 123, 126, 180, 181, 187, 197, 218, 222.
Мария Саксен-Веймарская, род. в 1808 г., жена принца Фридриха Карла Ал-дра Прусск.—222.
Мария Савельевна-горничная—161, 175.
Маркевич Болеслав (1822-1884), писатель-ретроград—307.
Masclet—290.
Матиссон Фридр., (1761-1831), нем. поэт—79.
Махмуд II (1809-1839) турецкий султан—128b.
Медем Алдр.—118, 128c, 128d, 140, 299.
Медем Пав. Ив. (1800-1854), советник посольства в Париже—128c, 128d, 146, 213, 243, 245.
Мезонфор, маркиз—21, 25.
Мейендорф барон Петр Казимирович (1796-1863), дипломат, посол в Берлине, член Гос. совета—105, 124.
Мейер банкир—235.
Mellina учитель немецк. яз.—79.
Менцель Вольф (1797-1873) нем. публицист, вел ожесточенную полемику против Гёте и демократов—209.
Мердер Карл Карлович (1788-1834), генерал, воспитатель Александра II—128a.
Meron (de) Mathilde—77, 164, 166.
Меттерних кнг.—299.
Мещерская книж. Варв. Степановна, (1808-1844) рожд. Жихарева,

жена кн. Элима Петр. Мещерского —289.
Мещерская кнг. Ек. Ник. (1805-1867), дочь Н. М. Карамзина, замужем за Петром Ив. Мещерским (1802-1876) —253
Миклашевский—197.
Milici m-me—279.
Миллер доктор—73.
Миллер метр д'отель—64.
Миллеры (скрипачи)—295.
Милов купец—96.
Мириани Грузинский царевич ум. в 1834 г.—127, 198, 244.
Михаил Иванович, дворецкий—201.
Михаил Николаевич, вел. кн. (1832-1909), сын Николая I.—131.
Михаил Павлович (1798-1849), сын Павла I, ген.-инспектор по инженерной части (с 1825 г.), в Госуд. совете с 1826 г., главный начальник Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов и дворянского полка (с 1831 г.), главнокомандующий гвардейских и гренадерских корпусов (с 1844 г.), в 1814 г. участвовал в военных действиях против Наполеона, в 1817-19 гг. совершал образовательную поездку по Европе под руководством Лагарпа, в 1826-28 гг. участвовал в Турецкой войне, в 1830-31 гг. в усмирении Польского восстания. Отличался жестокостью и деспотизмом—26, 65, 89, 102, 103, 104, 116, 118, 124, 128, 162, 166, 186, 187, 198, 199, 206, 223, 229, 247, 254.
Михайла слуга Киселева—128, 136, 171, 175, 182, 203, 212, 242, 259, 263, 265.
Мицкевич Адам (1798—1855) польский поэт—175, 288.
Молодецкий—78.
Моден гр. Гавр. Франц. (1774—1833), обер-егермейстер—95, 97, 100, 101, 180.
Моден София Гавр. (1804—1884), замужем за кн. Вас. Мих. Шаховским (1801—1851)—97, 107, 108, 114, 150, 181, 197.
Мойер Ив. Филип. (1786—1857), хирург-профессор, женат с 1817 г. на Марии Андр. Протасовой (1793—1823), которую любил Жуковский—200, 208.
Мойер Екат. Ивановна (род. в 1820 г.), замужем за Вас. Алексеев. Елагиным—228.
Monbrison граф—218.
Монгольфьер, братья Ио (1740—1810) и Этьенн (1745—179 изобретатели воздушн. шара—16
Монэ m-me—242.
Мордвинов Ник. Степ. адмирал 24, 96, 118, 244.
Морков граф Арк. Ил. дипломат сконч. 29 янв. 1827 г.—162, 254.
Мортемар Каз. Луи (1787—1875 франц. генер. и дипломат, в 1828-1830 и 1831—33 гг. посланник СПБ—25.
Моцарт Вольфганг (1756—1791 знам. немецкий композитор—294
Мудров Матв. Як. (1772—1831 изв. врач и проф.—131.
Мудровы—174.
Музовский протоиерей—182.
Муравьев Андр. Ник. (1809—187 автор клерикальных произведений отлич. фанатизмом—173, 215.
Муратори (1627—1750), итальян ский историограф—284.
Мутковская Машенька—74.
Мутковский Ив. Сергеевич—74
Муханов Влад. Алексеев (1805-1876), камер-юнкер двора—157.
Муханов Ник. Алекс. (1802—1875 тов. мин. иностр. дел, в 30-х года чиновник особых поручений; П. И Бартенев писал, что он и бра являлись образцом классическо дружбы—136, 137, 157, 200, 201 236, 237.
Муханов Павел Алдр. (1797—1871), штабс-капитан л.-гв. драгун ского полка—174.
Мухановы—128а.
Мюнстер—234.
Мюрат (1771—1815), муж сестры Наполеона I Каролины Бонапарт король неаполитанский—31.
Мяновский доктор—173.
Мятлев Ив. Петр. (1796—1844) писавший смешанными стихами франц. и русскими. Автор „Сенса ций и замечаний г-жи Курдюковой за границей „Дан л'этранже" Тот же стиль в его посланиях Смирновой—199, 203, 205, 217, 300 310.

Nagel учительница—163, 166, 76, 93 94.
Нагель Капитол. Осип.—93, 94 163, 179.
Наполеон I (1769—1821) им. фран цузов—222, 223, 281.
Нарышкин Кирилл Алдр. у Смир новой ошибочно назван Алексееви

(1786—1838), председатель придв. конторы—119.
Нарышкин Лев Кириллович (1809-1855) д. ст. совет., женат на княж. Марье Вас. Долгорукой (1814—1869)—288.
Нарышкина Екат. рожд. Кнорринг—259, 264, 266.
Нарышкина Елиз. Петр., рожд. гр. Коновницына (1800—1867), последовала в Сибирь за мужем декабристом Нарышкиным Мих. Мих. (1798—1863)—92.
Нарышкина Зинаида—265, 266.
Наталья Алексеевна (Вильгельмина) (1755—1776), принцесса Гессен-Дармштадтская, первая жена цесаревича Павла Петровича—217.
Наташка служанка—49, 54, 55.
Наумов Вас. Мих., свящ.—78, 91, 92, 80, 86, 87, 93, 94, 176.
Нащокин Пав. Воинович (1800—1854), друг Пушкина, с 1824 года. жил в Москве, не служа—305.
Nedaillon—172.
Недешов, свящ.—80.
Недобров Вас. Алдр., ген.—60 61, 62, 63, 64,66, 71.
Недобров Данила—68.
Недоброва Варвара Васильевна—68, 69, 70, 71.
Недоброва Екат. Васильевна—68, 70, 71.
Недоброва Надежда Вас.—68.
Нейперг граф Ад. Альб. (1775—1829), австрийский генерал, состоял в морганатическом браке (с 1882) с Марией Луизой, вдовой Наполеона I и был при ней в Париже мин. иностр. дел—281.
Нелединский-Мелецкий Юр. Алд. (1752—1828), с 1826 жил в Калуге у дочери А. И. Оболенской.
Нелидова Варвара Аркадьевна, ум. в 1897, фрейлина Ал. Фед. и фавор. Николая I—118.
Нелидова Екатерина Ивановна (1758—1839). В 1771 г. по окончании института была назначена фрейлиной к вел. кн. Наталии Алексеевне, потом к Мар. Фед. Друг имп. Павла I, затем Мар. Фед. Сопровождала цесаревича Павла Петровича и его жену в заграничное путешествие—220.
Нерон римский император I-го века, отличавшийся жестокостью—283, 284.
Нессельрод гр. Мария Дм. (1768—1849) жена гос. канц. гр. Карла Вас., дочь министра финансов Дм. Алекс. Гурьева—103, 125, 172, 187, 193, 194, 200, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 249.
Нессельрод Карл Васильевич (1780—1862), гос. канцлер—102, 169, 203, 239, 240, 249, 255.
Nybly Antonio (1792—1839), итальянский археолог, проф. археологии—283.
Никита—46.
Никитич слуга—301.
Николай I Павлович (1796—1855), император с 1825 по 1855—46, 88, 101, 105, 124, 126, 154, 223, 247.
Николай епископ—301, 302.
Николь (аббат). В 1811 г. по ходатайству герц. Ришелье Николь был назначен визитатором кат. церквей на юге России и поселился в Одессе, здесь в 1817 г., по его плану, был основан Ришельевский лицей, где он был первым директором. В 1820 г. аб. Николь оставил Россию—33, 36.
Ничипорка—44, 45.
Новиков Никол. Иван. (1744—1818) издатель сатирических журналов, друг масонов. В 1792 г. был арестован и на 15 лет заточен в Шлиссельбург—178.
Новосильцев Иван Петров.—125.
Ностиц, графиня—235.

Обрезкова Елиз. Семен. рожд. Волкова (по второму мужу Хилкова), ум. в 1856 г.—226.
Овер—305.
Овербек m-me—232, 278, 280, 300.
Овербек Ив. Фр. (1789—1869), знаменитый нем. живоп.—109.
Одоевский—кн. Влад. Федоров. (1803—1869), писатель, музыкант и общ. деятель. Заведывал благотворительными учреждениями в. кн. Елены Павловны—174, 295.
Озеров Ив. Петр. (ум. в 1880 г.), первый секретарь посольства, поверенный в делах в Бадене (1846—1854 г.г.) посланник в Португалии (1854—1863 гг.), в Баварии (1863—1880 гг.)—194, 210, 214.
Озеров Петр Ив.—229.
Озерова Röschen—194, 211, 229.
Озеровы—194.
Ольга Николаевна, вел. княжна (1822—1892), дочь Николая I—97, 125, 123.
Ольга Павловна, вел. кнж. (1792—1795), дочь Павла I—223.
Ольховы—174.

Омельяненко Никита Кузьмич (1778—1841), до 1825 г. губернатор, с 1836 г. губерн. предвод. дворянства в Калуге—100.
Орест слуга—230.
Орлов-Чесменский Алексей Григор. (1737—1808), ген.-аншеф, сыграл видную роль при перевороте 1762 г. (отвез Петра III в Ропшу)—216, 226.
Орлов кн. Алекс. Федорович (1786—1861) 14 дек. 1825 г. содействовал усмир. восставших. Возведен в граф. достоинство, становится близким советником Николая I, исполняет важные дипломат. поручения, заседает во всех комитетах, в 1828 г. сопровожд. Николая в действ. армию, содействует заключению Адрианопольского мира. В 1844 г. стал самым близким лицом государя, комендант импер. главной квартиры, шеф жандарм. и главн. нач. III отделения—185, 198, 203, 204, 205, 296.
Орлов гр. Григорий Григорьевич (1734—1783), фаворит Екатерины II—98.
Орлова-Чесменская Анна Алексеевна (1785—1848), дочь гр. Ал. Гр. Орл.-Чесм., фрейлина двора, после смерти отца отправилась в паломничество по монастырям, отказалась от светской жизни, поселилась в Юрьевском м-ре—215.
Осиповы—174.

Павел (Панька) камердинер—242.
Павел Вюртембергский (брат Ел. Павл.)—113, 222.
Павел Мекленбург-Шверинский (1800—1842)—221, 229.
Павел I Петрович, имп. (1754—1801)—66, 98, 217, 223, 224.
Павловский—35, 36, 41, 306.
Палашка—72.
Пален Ник. Петр.—141.
Пален Павел Петр. (1775—1834) граф, принимал деят. участие в походах 1794—95 гг. и 1807—1812 гг.—59, 141, 243.
Паллас Петр Сим. (1741—1811), знаменит. путешествен. и натуралист—47, 309.
Панин Викт. Никитич (1801—1874), министр юстиц., член Госсовета—169, 220.
Парис. доктор—77.
Паскевич, капитан—57, 62, 63.
Паскевич Иван Федорович (1882—1856), генерал-фельдмаршал, участник войны 1812—14 гг., руководитель военных действий на Кавказе и против турок, в 1831 г. главнокомандующий в Польше, наместник царства Польского, в 1849 г. усмирял венгерское восстание—62, 206.
Паткуль Ал-др Васильев. (ум. в 1877 г.), генерал—125.
Пашка—63, 64, 66.
Пашков Алдр Васильевич (1792—1868), женат на Ел. Петр. Лобановой-Ростовской, рожд. Киндяковой—248.
Пелагея—56, 57.
Перовский Вас. Алекс. (1795—1857) член Гос. совета, «незаконный» сын Алекс. Кир. Разумовского, друг Жуковского и Пушкина. Сражался в Бородинском сражении, был взят в плен, был адъютантом Николая I. Пережил увлечение А. А. Воейковой. (Н. В. Соловьев. История одной жизни, ПТБ 1915) обладал цельным, самостоятельным, оригинальным характером; сохранилась его переписка с А. О. С. (Русск. Стар. 1888, № 6). В 1833—1842 гг. был Оренбургским военным губернатором, в 1839 г. предпринял неудачный поход в Хиву. В 1851—1857 гг. был Оренбургским и Самарским ген.-губернатором—191, 192, 193, 277, 281.
Peronezi—283.
Персон—131.
Перуджино (1446—1524), знаменитый итальянский художник, учитель Рафаэля—273.
Пестель Петр Ив. (1793—1826), полковник, получил тщательное образование, участвовал в походах 1812—1814 гг. Член и директор Южного Общества, составитель «Русской Правды». Казнен 13/VII—1826 г.—91.
Песталоцци (1746—1827), знаменитый швейцарский педагог—166.
Petitot (1794—1862) — художник скульптор—218.
Петр I (1672—1725), имп.—90, 103.
Петр III (1728—1764) имп.—28, 214, 311.
Петров Матвей Петр., камердинер—123.
Петровская—260.
Пирамидова—85.
Питт, Вильям (1759—1806), англ. обществ. деятель, противник революции—178.

Пихлер Каролина (1769—1843), автор многочисленных романов—227.
Платон, митрополит—75, 301.
Платонов Валериан—122, 137, 139, 147, 148, 171, 191, 236, 273, 287.
Плейель (1757—1831), композитор—76.
Плетнев Петр Алдр. (1799—1865) писатель—79, 86, 87, 92, 120, 123, 128, 160, 167, 176, 179, 182, 195, 213, 225, 244, 274, 275, 292, 294, 297, 306.
Плиний младший (62—114), римский оратор, писатель и государственный деятель—278.
Погодин, Мих. Петр. (1800—1875), профессор, академик русск. истории и публицист, изд. журналов «Московск. Вестник» (1827—1830) и «Москвитянин» (1841—1856)—303, 305.
Погожева—164.
Поджио—53.
Пожидор—40, 73.
Полетика Петр Иванов. (1778—1849)—225, 243.
Полина—117.
Полторацкая, рожд. Лобанова—248.
Попандопуло m-me—33, 34, 36, 145.
Попандопуло Клеопатра—163.
Попандопуло Мария—163.
Попандопуло—185.
Попов Алдр Никол. (1821—1877), историк, член-корреспондент Акад. Наук—235.
Попов, свящ.—308.
Povarin—236.
Потемкин Григ. Алексан. (1736—1791), кн. Таврический, фельдмаршал, фаворит Екатерины II—24, 25, 98, 121, 200.
Потемкин Ив. Алдр. (1778—1849), с 27 апреля 1843 г. был посланником в Папской области и вместе с тем в Тоскане—286.
Потемкина Дарья Вас. рожденн. Скуратова (1704—1780), мать Григ. Андр. Потемкина—286.
Потемкина Татьяна Бор. (1797 или 1801-1869), петербургская филантропка, председательница СПБ попечительного о тюрьмах комитета—305.
Потоцкие—121, 153.
Потоцкая Делия—77, 78, 164.
Потоцкая Пелажи—78, 164.
Потоцкий Иван, граф (1757/1761/-1815/1816), потомок старой польской фамилии, путешественник и писатель, автор романа «Manuscrit trouvé à Sarogosse» и утер. повести «Les trois pendus». Покончил жизнь самоубийством—165.
Потоцкий граф Станислав Станиславович (1787-1831), сын известного воеводы червонорусского, а потом генерала от инфантерии р. службы, мужа «belle Fanariote» Станислава Щенсного. Потоцкого (1752-1805) от брака с граф. Юзефой Амалией Мнишек (1752-1798). Принимал участие в первой войне с Наполеоном, при Аустерлице в 1807 г., участвовал в стане при Гейльсбурге, в 1809 г.—камергер, отправился в Молдавию. В 1810 г. флигель-адъютант, в 1811 г. в Преображенском полку, участв. в битвах при Бородине, Кульме, Лейпциге. В 1822 г. вышел в отставку. В мае 1826 г. поступил на придворную службу и был назначен обер-церемониймейстером. Пользовался расположением Николая. Женат на кн. Екат. Ксавериевне Сапега, рожд. гр. Браницкой, сестре гр. Е. К. Воронцовой—115, 117, 118, 119, 120, 153.
Потоцкий-Щенсный-Феликс Станисл. (1752-1805), женат на Софии Главоне (1765-1822), у нее три сына и две дочери.—Ольга Стан. за Нарышкиным Льв. Алдр-ем, София за гр. П. Д. Киселевым.—29.
Поцци—юнкер—53.
Прасковья Михайловна служанка—95, 96.
Préfontaine аб.—94.
Протасова по муж. Карамзина Елиз. Ник. (1767-1802)—225.
Прудниковы—72.
Пузанов—58.
Пурталес Альб., граф (1812-1861), прусский госуд. деятель—229.
Пурталес Анна—232.
Пурталес Г. граф—209, 229, 230, 234.
Пурталес Ф., граф—232.
Пурталес графиня—232, 278.
Путятин—263.
Пушкин А. С. (1799-1837)—44, 52, 69, 73, 110, 111, 119, 120, 121, 123. 128c, 128e, 128f, 131, 137, 140, 171, 173, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 188, 189, 191, 192, 199, 200, 203, 206, 207, 208, 213, 217, 223, 224, 240, 246, 250, 254, 265, 288, 292, 299, 310.

Пущина Елизавета Сергеевна. фрейлина—186.
Пяннинг, доктор—111.

Радзивилл Антон Генр. (1775-1833), женат на принц. Луизе Фридерике Прусской, музыкант, дом в Берлине был центром выдающихся людей—105, 108.
Радзивилл Вильгельм (1797-1875) —105.
Радзивилл, Доминик ум. в 1832 —84.
Радзивилл Луиза Фридерика—194, 209.
Радзивилл, Стеф. кнж. (1809-1832) в 1828 г. вышла за гр. Л. П. Витгенштейна, ум. 14 июля 1832 г. —78, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 128, 161, 164, 165, 177, 179, 198, 253.
Радзивилл Фердинанд Луи, ум. в 1827 г.—105, 107.
Радзивилл Элиза—128g, 194.
Радзивиллы—127, 194, 234.
Радлер—188.
Раевский Алдр. Ник. (1795-1868), друг Пушкина, член семьи Раевских, с которой был связан Пушкин; А. Н-у посвящены стихи «Демон» и «Коварность». В 1826 г. был чиновником особых поручений при гр. М. С. Воронцове, Новороссийский ген.-губ.—185.
Разумовский Андрей Кирил. (1752-1836), фаворит первой жены Павла I Наталии Алексеевны. чрезвычайный посланник в Неаполе, Вене—217.
Разумовский Кирилл, назван Смирновой ошибочно. Следовало Алексей Григорьевич (1709—1771) —216.
Ранцев—311.
Рапп Ж. (1772-1821), ген.-лейт.—223.
Расин, (1639-1699) франц. писатель-трагик—77.
Растиньяк Charles, кузен Ришелье —25, 26.
Растрелли Карл - скульптор — 103.
Рафаэль Санти Санцио (1489-1520)—знаменитый художник—273, 281, 285, 286.
Редерн Вильгельм гр., главноуправляющий королевск. театрами —234.
Редерн графиня—234.
Рейнбот, доктор—93.
Рейтерн Евг. (1794-1865), живописец, потерял руку в сражении под Лейпцигом—176, 125.
Рембрандт (1606-1669), известный голландск. живоп. и гравер—109.
Рено—37.
Репнин Ник. Васильев. (1734-1801), крупный госуд. деятель, тесно дружил с масонами и Лопухиным—178.
Репнина княгиня—197.
Репнина - Волконская, княг. Ал-дра Ник. (1757-1834), статс-дама, гофмейстерина—103, 104, 124.
Ржевусский граф—153.
Рибопьер граф Алдр. Ив. (1781-1865), камергер, управляющий гос. коммерческим банком, посланник в Турции, был посланником в Пруссии с 1831 по 1835 г., дипломат и финансист—99, 125, 128, 128e, 211, 216, 222.
Рибопьер София Алд. замужем за Вас. Павл. Голенищевым-Кутузовым (ум. в 1873 г.).
Рибопьер Аглая Алдр. (ум. в 1842 г.), замужем за Зенденом—229.
Рибопьеры—229.
Ривароль Ант. граф (1754-1801)—208, 250.
Ризенко Антон, доктор—32.
Римплер—115.
Рихтер Жан Поль (1763-1825)—нем. писатель—224, 225, 291.
Ришелье, Арманд Эм. (1766-1822), министр Людовика 18-го—23, 25, 26, 30, 31, 35, 41, 65, 141, 146, 149, 233.
Robert Joseph (1797-1890) живописец—285.
Роде (фон)—209.
Родзянко, рожд. Самарина—84.
Розанова—163.
Роман, приказчик—36, 38, 40, 42.
Романья, доктор—278.
Ромм, гравер—221.
Россет Александра, графиня—30,
Россет (Смирнова) А-лдра Осипов.—везде.
Россет Арк. Ос. (1811-1881), ген.-лейт. сенатор, тов. мин. внутр. дел—30, 42, 67, 71, 105, 142, 145, 146, 176, 185, 206, 225, 277, 275, 299.
Россет Иван—238.
Россет Иосиф Иосифов. корнет лейб-гвардии гусарского полка,

умер полковником—30, 39, 50, 105, 114, 142, 145, 162, 206, 238, 245.
Россет Карл Алдр. (1813-1851)—полковник—31, 50, 54, 55, 61, 65, 67, 71, 72, 142, 154, 206, 245.
Россет Клементий Ос. (1811-1866), уволен майором в 1846 г.—30, 31, 38, 39, 40, 43, 52, 55, 59. 71, 94, 105, 124, 142, 206, 214, 259, 298, 299, 302, 237.
Россет Над. Ив., рожд. Лорер (1789-1825) по второму браку Арнольди—26, 30, 51, 117, 151, 250.
Россет, Огюстина—238.
Россет Ос. Ив. (1760-1813), инспектор карантина в Одессе—23, 24, 93. 50, 95.
Россети—238.
Rossolet, повар—187.
Ростопчина граф. Евд. Петр. (1811-1858), писательница — 180, 195, 292.
Рубо—25.
Румянцев—253.
Рюисдаль, Яков (род. в 1628 г.), знаменитый голландский живописец. В Эрмитаже находятся 13 его картин—202.
Рюль, Ив. Фед. (1769-1846), придв. врач—126.
Russel Джон (1792-1878), англ. госуд. деятель—105.

Сабатье аббат—261.
Сакен, Фаб. Вильг. (1752-1836), фельдмаршал, в 30-х годах ему были подчинены губ. Киевская, Подольская, Волынская—118.
Саломея Грузинская царевна—198.
Салтыкова Ек. Алдр (1803-1852), фрейлина, замужем за ген. адъютант. кн. П. А. Долгоруким—97, 200.
Салтыковы—108.
Same—235.
Сангушко—78.
Sarajaga—235.
Сарти, Дж. (1730-1802) композитор—101, 295.
Сашка, институт. прислуга—91.
Сашка, лакей—182, 230.
Свербеева Екат. Александровна ум. в 1892 г., жена Дм. Ник. Свербеева (1799-1874 г.), автора «Записок», родств. А. С. Хомякова—303.
Сверчков Алексей Вас. д. ст. сов. камергер, посланник при Тосканском дворе, ум. в 1828 г.—237.
Свистуновы по всей вероятности Над. Львовна Сологуб (ум. в 1903 г.), фрейлина в. к. Ел. Павловны, жена Алекс. Ник. Свистунова, дир. деп. ин. дел (1808-1872)—287.
Сен-Бев (1804-1869), знаменитый французский критик—283.
St. Priest гр. Эм. Карлович, воспет Пушкиным в «Онегине»—237, 238.
Сен-Симон (1675-1755), мемуарист,—207.
Сенявин Дм. Ник. (1763-1831), адмирал—112, 190.
Сенявин Ив. Григ.—119.
Серафим—92.
Сестренцевич—92.
Сидорко—41, 48.
Сикар Карл Яковлевич (1773-1830), франц. негоциант, приехавший в Одессу в 1804 г. и составивший себе состояние благодаря покров. Ришелье—25, 50.
Сильвио, повар—300.
Скалон, Ник. назначен пажем 4 мая 1827 г., затем прапорщиком Л.-Гвард. полка, уволен подполковн. ген. штаба в 1839 г.—299.
Скарятин Яков Федорович, офицер Измайловск. полка, поручик. с 1800 (15/X) штаб.-кап. Измайлов. полка—224.
Скачко—35.
Скоропадская, девица—28.
Слонецкий Демьян Гавр. ум. в 1838 г., преп. арифметики в Екатерининском институте—76, 77, 67, 79, 167.
Слонецкая, учительница—76.
Смирнов Николай Михайлович (16-го мая 1807—4-го марта 1870) Отец его Михаил Павлович Смирнов служил в конной гвардии и вышел в отставку полковником; он был женат на Федосье Петровне Бухвостовой, внучке «первого русского солдата» и любимца Петра I, пожаловавшего ему богатые поместья в Псковской и Московской губ. М. П. Смирнов жил после отставки в Москве богатым барином и славился между прочим собственным театром на Знаменке и оркестром роговой музыки. Н. М. Смирнов сдал «чиновничий» экзамен в Московском университете и слушал лекции, у И. М. Снегирева; затем несколько лет в сопровождении гувернера странствовал по Европе—в Швейцарии и Италии, где пристрастился к коллекционированию

картин и собрал хорошую галлерею; обладал большим состоянием—3000 душ крестьян в Московской, Тульской, Тамбовской, Калужской и Псковской губ. Был зачислен на службу в Моск. Архив мин. ин. дел, в 1825-1828 гг. жил во Флоренции, числясь при миссии, и в 1829 г. 6-го декабря пожалован в камер-юнкеры. 13 января 1832 г. женился на А. О. Россет. С марта 1835 по сентябрь 1837 г. Смирнов служил при русской миссии в Берлине, затем был членом общего присутствия Азиатского департамента, директором комиссии погашения долгов (3 февраля 1839 г.), 1-го июля 1839 г. пожалован в должность церемониймейстера, в феврале 1842 г. переведен на службу по мин. вн. дел, исполнял разные командировки, с 3-го мая 1845—камергер, в 1845-1851 г. был губернатором в Калуге и в 1855-1860 в Петербурге, с 1-го января 1861 г. сенатор. Он оставил любопытные и очень ценные, хотя и краткие заметки о Пушкине и о Лермонтове—112, 121, 127, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 147, 150, 157, 167, 171, 174, 176, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 202, 212, 237, 238, 239, 241, 242, 245, 249, 301.

Смирнов Петр Петрович (1772-1854), тайный советник—292, 293.

Смирнова рожд. Бухвостова—103.

Смирнова Александра Николаевна, родилась 18 июня 1834 г. сконч. 17 марта 1837 г. в Париже, где похоронена на кладбище «Pere Lachaise» 122-126, 128, 128с, 139, 143, 172, 249, 258, 264.

Смирнова Надежда Николаевна (3 авг. 1840—7 мая 1899), замужем за англич. Сорен—232, 260, 277, 278, 281, 282, 232.

Смирнова Ольга Николаевна, родилась 18 июня 1834 г. умерла в Париже 13 дек. 1893 г.—122, 126, 128, 128с, 138, 141, 172, 232, 249, 278. 292.

Смирнова Софья Николаевна (2 авг. 1836-1884) замужем за церемониймейстером Андр. Вас. Трубецким (1834-1881)—27, 232, 278.

Смирновы—103.

Смит Эленс лорд—227.

Соболевский Серг. Алдр. (1803-1870), «незаконный» сын А. Н. Соймонова, товарищ Л. С. Пушкина, друг и приятель А. С. Пушкина—175.

Соколов Петр Фед. (1787-1848), академик, портретист, акв. живописец—209.

Солодовников—96.

Сологуб Алдр. Ив. (1787-1843), церемониймейстер, жен. на Софье Ивановне Архаровой—123, 125. 210.

Сологуб Владимир Андр. (1814-1882), беллетрист-драматург—125, 290.

Сологуб Лев Иван. женат на книж. Горчаковой Ан. Мих.—125, 273.

Сологуб Наталья Львовна—125.

Сологуб гр. Софья Мих. рожд. Виельгорская (1820-1878)—290, 291.

Сологуб Софья Ив., рожд. Архарова (1791-1854)—125, 290.

Солоха кухарка—41.

Soymer Пари—111.

Сперанская Елиз. (рожд. Стивенс, ум. в 1799 г.)—244.

Сперанский Мих. Мих. (1772-1839) знаменитый деятель Алекс. эпохи, в 1812 г. был сослан в Пермь, составитель «Полного собрания законов Росс. Империи» и «Свода законов»—102, 118, 241, 244, 246.

Staël (madame) (1766-1817), писательница—100.

Сталь-Гольштейн—41.

Статиньяно—157.

Стемпковский—36.

Стефани (род. 1789, овдов. 1818) баденская принцесса—236.

Столыпин Арк. Вас. м. б. Арк. Алексеевич (1778-1820), сенатор—224.

Столыпин «Монго» Алекс. Аркад. (1816-1858), лейб-гусар, друг Лермонтова—289.

Столыпина Вера Никол. (1790-1834), дочь адмирала Н. С. Мордвинова, женат. на плем. Кобле Ген. Алдрс. Коблей (1764-1743), вдова сен. Аркадия Алекс. Столыпина (1778-1875)—96.

Столыпина Елизавета Арк.—224.

Строганов граф Григ. Андр. (1770-1857), камергер, тайн. сов., был послом в Константинополе. Первую жену его звали Анна Сергеевна, рожд. Трубецкая, род. в 1765 г. умерла в Дрездене в 1824 г.—128а.

Строганова Идалия Григорьевна, по мужу Полетика, противница Пушкина, сыграла роль в его дуэли, ум. в 1889 г.—121, 128а, 128е.

Строганова гр. Юлия Петровна ум. в 1862 г., португ. графиня да Ега, рожд. Альмейда, гр. д'Ойен-

гайзен, у нее от Строганова побочная дочь Идалия Григорьевна—128a, 128b, 137, 159, 160.
Стурдза Алекс. Скарлат. (1791-1854), сын молдавского выходца.
Суворов Алдр. Арк. (1804-1882), внук фельдмаршала—206, 253.
Суворов Алдр. Вас. (1729-1800) полководец—24, 98.
Суза Аделаида маркиза (1761-1836), писательница, 6-ти томное собрание сочинений ее издано в 1822 г. —179.
Сутерланд, герцог—250.
Сухтелен граф Петр Кирилл. ум. в 1836 г. ген.-лейт.—124, 147, 185.
Суцца, молдавский господарь—147.

Табен—109.
Танке Ал-дра—183, 211.
Танке—182.
Танковы (Танке)—183, 186, 210, 235.
Тарабукин—293.
Тараканова, авантюристка, умерла в 1775 г. от чахотки в Петропавловской крепости, отказавшись назвать свое имя—216.
Тарасова—163.
Тардиф m-me—148.
Тассо (1544-1595) знаменитый итальянский поэт—285.
Татищева Юлия Алдр., жена Дм. П. Татищева, по мужу Урусова.—120.
Татьяна—33, 56, 57.
Тауберт, полковница—223.
Тацит (ок. 55-120), римский историк—283.
Телен художник—209.
Телепнев воевода—301.
Тернайль—167.
Thibaut, гувернер—111, 190.
Тизенгаузен графиня,—174, 175, 191.
Тизенгаузен гр. Аделаида Павл. (1807-1833), по мужу Штакельберг. —174, 175, 191.
Тизенгаузен Нат. Павл. замужем за гр. Викт. Никит. Паниным, тов. мин. юстиции—174, 175, 191.
Тизенгаузен Фед. Ив. (первый муж Е. М. Хитровой) убит в 1805 г. в Аустерл. сражении—188.
Тимаев—76.
Тимошка, кучер—53, 65, 71.
Титов Влад. Павл. (род. 1807) в 1828 г. перешел на службу в Аз. департ. Мин. ин. дел.—174.
Толстая Анна Петр. (1809-1897), неверно названа по отчеству, след. Матвеевна. фрейлина в. к. Елены Павловны, с 1838 г. замужем за камергером кн. Леон. Мих. Голицыным (1806-1860)—125, 287.
Толстой граф Алекс. Конст. (1817-1875) писатель—304.
Толстой гр. Алдр. Петр., обер-прокурор с 1856-1862—297, 298, 304, 305, 307.
Толстой Иван Матвеевич (1806-1867), обер-гофмаршал—205.
Толстой—193.
Томский, купальщик—236.
Требинские—39, 44, 45.
Трегубов, адъютант Ланжерона —184.
Трегубовы—31, 36.
Трембецкая—93.
Tropoli m-me—185.
Трохимовский, доктор—310.
Трощинский Дм. Прок. (1754-1829), министр удел.—124.
Трубецкая Клеопатра Констан. рожд. кнж. Гика—128в, 128с, 128е, 128h, 129, 135, 136, 233, 234, 236, 239.
Трубецкая София Николаевна см. Смирнова С. Н.
Трубецкая Ал-дра Васильевна (1827-1905) по мужу Апраксина—135
Трубецкая кн. Софья Алдр. рожд Вейс (1796-1848), фрейлина—97, 123, 262.
Трубецкой кн. Алдр. Вас. (1813-1889), сын Вас. Серг. Трубецкого (1776—1841) корн, кавалергардского полка, статс. сов., полковник—289
Туманская—204, 205.
Туманские—246.
Туманский Вас. Ив. (1800-1860 поэт—246.
Thun—109.
Тургенев Алдр. Ив. (1785-1846), друг Жуковского, директор департ главного упр. дух. дел, известе собр. материалов «Historiae Russia Monumenta». Сопровождал тел Пушкина в Святые горы.—128f, 17 175, 289, 303.
Тургенев Ив. Петр. (1752-1807 отец Алдра Ив. и Ник. Ив.—178.
Тургенев Ив. Серг. (1818-1883 писатель—307, 308.
Тургенев Ник. Ив. (1789-1874), слу жил в мин. финансов, сопровожда р. войска в походах 1814-1815 г после декабрьского восстания бы приговорен заочно к смертной ка ни, на родину не вернулся. Авто книги «La Russie el les Russes»- (1847)—178.

Тхоржевский, генер.—101.
Тютчев Фед. Ив. (1803-1873), поэт, был старш. секрет. миссии в Турине—194, 275.
Тюфякина Ек. Осиповна—ум. в 1802, м. б. жена гфм. Петра Ив. Тюфякина (1769-1845) с 1816 г. директ. имп. театров—229.
Тьер (1797—1877) истор., позднее министр внутр. дел и председатель совета министров, извест. жестокой расправой с франц.-коммунарами 1871 г.—128 с.

Уваров Серг. Сем. (1786—1855), мин. народн. просвещ.—118, 274, 297.
Уестер, лорд—242.
Улька—45.
Улька, юродивая—57, 62, 63.
Ungebauer, Елиз. Андр. гувернантка—85, 108, 109, 113, 115.
Урусова Софья Алдр. (1806—1889) фрейлина, в 1833 г. вышла замуж за кн. Леона Радзивилла (1808-1885). Отличалась красотой. «Царица московских красавиц». Пушкин посвятил ей четверостишие—114, 118, 150, 197.
Успенский, учитель—75, 77, 79.
Устинов—247.
Ушакова Елизавета Ник. (1810-1872), вышла в 1830 г. замуж за С. Д. Киселева, Пушкин ухаживал за Е. Н. и за ее сестрой. посвятил им четыре стихотворения-128 а.

Фаминицына—164.
Фарофонтов, учитель—76.
Федоров—63.
Федоровы—63, 64, 66.
Феона крепостная—111.
Ферапонтов, книжный торговец—303.
Ферзен—граф Е. Ив.—107, 187, 221.
Ферстер Егор Христ. ген-лейтенант, сконч. 4 дек. 1826 г. на 70 г.—33.
Фетинья, арапка—74.
Фикельмон Карл Людв. (1777—1857), австр. посол в Птб.—139, 188, 224, 299.
Филарет, (1772—1867) митрополит московск.—144, 215, 263.
Филипп, кучер—35, 38.
Филонов, майор—305.
Философов Алдр. Ив. (1799—1874), генерал от артилл., с 1838 г. воспитатель детей Николая I—289.
Фицлебен—209.
Флери, кардинал—263, 237.
Фомин—253.
Фонвизин Денис Иванович (1744—1792), писатель—194.
Forbsmiss—237.
Форман—168, 181.
Фридрих, слуга—53, 54, 55, 56, 61, 66, 71.
Фридрих Каспар Дав. (1774—1843), художник—202, 203.
Фридрих — Саксен — Руссенгальский герцог—287.
Фролова-Багреева, рожд. Сперанская Елизавета Мих. (1799—1857), писательница—246.

Hadler, доктор—126.
Ханыков Влад. Яковл. — 301, 308.
Ханыков — 286.
Hartfort, lord—111.
Hölty (1748—1776), нем. лирик—79.
Holtze, граф—103.
Херасков Мих. Матв. (1773—1807), писатель—78.
Хилков Дм. Алдр.—223, 303.
Хилков Степан—226.
Хилкова Любовь Александровна (1811—1855), замужем за Серг. Дм. Безобразовым (1801 — 1879) ген. адъют.—116, 118, 165.
Хилкова Праск. Алдр. по мужу Гендрикова—102, 103, 104, 228.
Хитрово Алексей Захар. (ум. в 1854) госуд. контролер—101.
Хитров Ник. Федорович (второй муж Е. М. Хитровой), ум. в 1819 г. Посланник при тосканском дворе—188.
Хитрова Дарья (Dolly) Федоровна, рожд. граф. Тизенгаузен (1804—1863)—188.
Хитрова Елиз, Мих. (1783—1839), дочь кн. М. И. Голенищева-Кутузова, приятельница Пушкина, по первому браку Тизенгаузен—110, 188, 189.
Хитрова Наталья Алекс., по мужу Долгорукова—101.
Хитровы—174.
Хованская книж.—63.
Ховен Нат. Сем. см. Борщева.
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860 г.), философ, поэт, славянофил—298, 303, 304, 305, 373.
Horn, доктор—126.
Храповицкий, автор кн. о сельском хозяйстве—309.
Худобашев Артемий Макарович, родом армянин, один из чиновников особых поручений при гр. М. С. Воронцове, позднее служил

в Кишеневе; о нем упоминает Пушкин в шуточном стихотворении.
В пятой паре для красы
Худобашев с Пульхерицей
Бекасиновы носы—37, 38.

Цаклер—портниха—115.
Циргольц, по мужу Миллер,—73.
Циргольц Дарья Ивановна—73, 74.
Циргольц Елизавета Ив.—73, 74.
Цицианов кн. Дмитр. Евс. (1747-1835), внучатный дядя А. О. Смирновой—27, 42, 128t, 156, 212, 228.
Цицианов Евс.—27, 28, 29.
Цицианова, (ум. в 1859 г.), тетка А. О., позднее монахиня—125, 300.
Цицианова Анна Дмитр.—74.
Цицианова Варвара Егоровна—74.
Цицианова Елизавета Дмит.—74.
Цицианова Матрона—25, 26, 29.
Цициановы—27, 43, 198.

Чепелевские—54.
Чепелевский Илья Ив.—28, 72.
Чернышев граф Ал-др Ив. (1785—1857), член след. комиссии по делу декабристов, председ. сов. министр., воен-министр—85.
Чернышева Феоф. Игн.. рожд. Моравская, потом Старжинская, Радзивилл, мать Стеф. Радзивилл—85, 86.
Чибисовы—122.
Чириков, помещик—300.
Чудной—35.
Чулков, кучер—108.
Чуркин—78.

Chaillet Rosalie—77, 164, 166.
Шаликов кн. Петр Ив. (1767—1852), поэт и переводчик—подвергавшийся постоянным насмешкам современников—203.
Шамфор (1741—1794), французск. писатель—258, 250.
Шевич Алдра Ив. (1807—1860), фрейлина—190.
Шевич Мария Христоф. (1784—1841), рожд. Бенкендорф, сестра гр. Д. Х. Ливен.—110, 190.
Шевырев Ст. Петр. (1806—1864) литературовед—303.
Шези Вильгельмина Христина (1783—1865), немецкая писательница—128в.
Шекспир (1564—1616) англ. драматург—143.
Шеман, учитель—76.
Шереметева Надежда Николаевна, рожд. Тютчева (1775—1850), ее дочь Анаст. Вас. замужем за декабр. Ив. Дм. Якушкиным—298.
Шеллинг Фридрих (1775—1854), философ—202.
Шереметев (любитель церковного пения), наверное гр. Сер. Дм., для которого Ломакин Гавр. Якимович (1812—1885) составил хор—295.
Шернваль Аврора Карловна, невеста А. А. Муханова, по первому браку за Павл. Ник. Демидовым (1798—1840), с 1846 г. за Андр. Ник. Карамзиным—69.
Шиллер Фридр. (1759—1805), немецк. поэт—79, 227, 229, 244.
Ширковы—163.
Широков, истопник—180, 181.
Шишкина Олимпиада Петровна (1791—1854), фрейлина в. кн. Екатерины Павловны, автор исторических романов—30, 122, 154.
Шклоревич Елиз. Серг., рожд. кнж. Баратова—43, 44, 45, 46, 72.
Schlein, пепиньерка—75.
Шмаков—28.
Шнуллер гувернер—73.
Шольц Вильг. (1748—1868), лейбмедик—131, 132, 202.
Spielman—286.
Шредер Амалья Ивановна—33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 55, 56, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 75, 151, 161.
Штанов прапорщик—311.
Штатникова—104.
Штейгер полк.—232.
Штерич Евг. Петр. (1809—1833) камер—юнкер—112, 196, 254.
Штерич Серафима Ив.—247.
Штодель m-me—201.
Шторх—163, 182.
Шуберт Фед. Фед. (1789—1865) генер.—294.
Шуберт-Франц. (1797—1828), композитор—231.
Шувалова Софья Львовна—27.

Щепетова—37.
Щепкин Мих. Сем. (1788—1863), знаменитый артист—303, 305.
Щербатова, рожд. Лутковская Мария—247, 248.

Юнг-Штиллинг (1740—1817), нем. мистический писатель—124.

Юрьевич Сем. Алекс. (1798—1865), ген.—113, 176, 254.
Юсупов кн. Ник. Бор. (1750—1831). дри Екетер. II посл. в Турине, затем сенатор и министр уделов, при Алекс. I член Гос. сов. Ему посвящено стих. Пушкина «К вельможе»—106.

Эвспиус Катенька—74.
Эдлинг граф. Роксандра Скарлатовна, рожд. Стурдза, (1. 1786 г.-1. 1844) фрейлина имп. Елизаветы Алексеевны. Ее муж Альберт Каэтан Эдлинг, министр иностран. дел и гоф.—маршал Веймарского герцога—217.
Эйландт—134, 136, 172.
Эйлер А. А. (по мужу Зубова)—(1808—1870)—93, 95, 97, 100, 101, 103, 110, 111, 112, 122, 164, 165, 178, 179, 180, 181, 197, 252.
Элмпт граф. Анна Ивановна (1777—1845). рожд. фон-Баранов, по первому мужу Будберг,—125.
Эмилий Гессен Дармштадский—172, 236.
Энте барон—236.
Эристовы—27.
Эрпинд—163.

Языков Ник. Мих. (1803—1840) г. писатель, в 1823 г. поступил в Дерптский университет—201, 203, 225, 226, 287, 286, 305.
Яким, дворник—28, 29, 30, 34, 35, 36.
Яков, кучер—101.
Яковлев, капитан—112.
Яковлев Алдр. Ив. председ. Калужск. уездн. палаты—100, 206.
Ярцева Люб. Вас. (1811—1867) замужем за Алекс. Аркадьев. Суворовым—110, 116, 127, 197, 253.
Яшвиль кн. Лев Михайлович, (1772—1836), ген. майор родом грузии, характеристику его дает и Пушкин, (см. «дневник» ГИЗ 1923. под ред. Б. Л. Модзалевского, стр. 1.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие 3
Введение 9

I. Автобиография.

I. Родословная А. О. Смирновой, урожденной Россет . . 23
II. Бабушка Екатерина Евсеевна Лорер 27
III. Ранние воспоминания 30
IV. Смерть отца . . . . . —
V. На хуторе 32
VI. «Le diable boiteux» 38
VII. У бабушки в Грамаклее 40
VIII. Семья Лореров 46
IX. Журнал походу Надежды Ивановны Арнольди . . 51
X. Усмань 60
XI. У генерала Недоброва 68
XII. Переезд в Петербург 71
XIII. В Екатерининском Институте 75
XIV. Учители и подруги 80
XV. Приезд Каталани 87
XVI. Наводнение 1824 г. 14 декабря 1825 г. Выпуск из института 89
XVII. Во дворце 95
XVIII. Фрейлины Стефани Радзивилл и Александрина Россет . 106
XIX. В свете. Встречи с Пушкиным 117
XX. При дворе Марии Федоровны 123

II. Баденский роман.

I. О милый гость, святое прежде 128
II. » » » » 136
III. Рассказы о детстве 143
IV. На прогулке 154
V. Поездка в замок «Фаворит» 159
VI. Рассказы про институт 162
VII. Великая княгиня Елена Павловна. Опять об институте . 167
VIII. Рассказы о салоне Карамзиных, о жизни во дворце, о встречах с Пушкиным 173

Стр.
IX. Смирнов. Пушкин. Перовский 182
X. В Берлине в 1832 году. Воспоминания о придворной жизни 193
XI. Киселев о себе 200
XII. Маскированный бал во дворце. Пушкин в 1830 г. в Царском 203
XIII. Глава исторических отступлений. 214
XIV. Жуковский. Встреча со школьным учителем . . . 224
XV. Баденское общество 231
XVI. Обед у графини Нессельрод 236
XVII. «Парижские очи». Сперанский. Лермонтов . . . 241
XVIII. Флирт с Киселевым 249
XIX. Баденская идиллия 251
XX. Встреча через много лет 257

III. Воспоминания о Гоголе.

Н. В. Гоголь 271
Приложения.
Примечания к «Автобиографии» А. О. Смирновой . . 312
Указатель 335

Кооперативное издательство «МИР»

Москва. Арбат, Плотников пер., 10. **Телеф.** 3-36-36.

Д. Д. БЛАГОЙ. Социология творчества Пушкина. 2-ое дополн. изд. Цена в перепл. 3 р. 30 к.

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ. Книга воспоминаний о Пушкине. Ц. в папке 2 р. 50 к.

С. М. БОНДИ. Новые страницы Пушкина. Ц. в перепл. 2 р. 10 к.

А. Б. ДЕРМАН. Творческий портрет Чехова. Ц. в перепл. 2 р. 90 к.

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА В МАРКСИСТСКОМ ОСВЕЩЕНИИ. Составили Б. Г. СТОЛПНЕР и П. С. ЮШКЕВИЧ.

Ч. I. Общие проблемы. 5-ое изд. Распрод.

Ч. II. Вопросы литературоведения и образцы марксистской критики. Западно-европейская литература. Печатается.

Ч. III. Образцы марксистской критики. Русская до-октябрьская литература. Печатается.

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛИЗМА в произведениях его представителей и историков. Т. I (до XVIII в.):

Часть I . . . . . Ц. 2 р. 70 к.
Часть II . . . . . Ц. 3 р. 20 к.

В. Д. ПАВЛОВ-ШИШКИН и П. А. СТЕФАНОВСКИЙ. Учебный словарь синонимов русского литературного языка. 2-ое изд. Ц. в папке 3 р.

В. Д. ПАВЛОВ-ШИШКИН. Практическое руководство к расстановке знаков препинания. 16-ое изд. Ц. 35 к.

В. Д. ПАВЛОВ-ШИШКИН и П. А. СТЕФАНОВСКИЙ. Сборник стилистических и синтаксических упражнений. 7-ое изд. Ц. в папке 1 р. 10 к.